

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ
Институт социологии

ЗАПАДНАЯ СОЦИОЛОГИЯ:

СОВРЕМЕННЫЕ
ПАРАДИГМЫ

АНТОЛОГИЯ

Составители: Г. Н. Соколова, Л. Г. Титаренко

Минск
«Беларуская навука»
2015

УДК 316(082.2)
ББК 60.5я43
3-30

Составители, авторы библиографических очерков:

Г. Н. Соколова, Л. Г. Титаренко

Рецензенты:

Д. Г. Ротман, директор Центра социологических
и политических исследований БГУ,
доктор социологических наук, профессор

С. А. Шавель, заведующий отделом социологии инноваций
Института социологии НАН Беларуси,
доктор социологических наук, профессор

Западная социология: современные парадигмы : анто-
3-30 **логия / сост., авт. библиогр. очерков Г. Н. Соколова, Л. Г. Ти-**
таренко. — Минск : Беларуская навука, 2015. — 573 с.
ISBN 978-985-08-1814-0.

Антология содержит оригинальные тексты выдающихся мыслителей-социологов, определяющих главные направления развития западной социологии XX–XXI вв. Рассмотрены концепции авторов, ведущих активную исследовательскую работу и оказавших большое влияние на течение мировой социологической мысли, но пока еще мало известных широкому кругу отечественных исследователей. Каждому тексту предпослан краткий биографический очерк, раскрывающий вклад того или иного ученого в развитие современной западной социологии.

Адресуется научным работникам, преподавателям и студентам социологических и управленческих специальностей, а также всем, кто интересуется трудами социальных мыслителей современности.

УДК 316(082.2)
ББК 60.5я43

ISBN 978-985-08-1814-0

© Соколова Г. Н., Титаренко Л. Г.,
составление, текст, 2015
© Оформление. РУП «Издательский
дом «Беларуская навука», 2015

ОГЛАВЛЕНИЕ

От авторов-составителей	6
Введение. Современные парадигмы развития мировой социологии ...	9
1. Экономические парадигмы	
Блок Фред (Block Fred). Роли государства в хозяйстве	15
Доббин Фрэнк (Dobbin Frank). Формирование промышленной политики (Фрагменты книги)	40
Флигстин Нил (Fligstein Neil). Государство, рынки и экономический рост	67
Сведберг Ричард (Swedberg Richard). Рынки как социальные структуры	88
2. Интеграционные парадигмы	
Гидденс Энтони (Giddens Anthony). Элементы теории структуризации ...	117
Луман Никлас (Luhmann Niklas). Концепт общества	130
Хабермас Юрген (Habermas Jürgen). Отношения между системой и жиз- ненным миром в условиях позднего капитализма	145
3. Теории конфликта	
Козер Льюис Альфред (Coser Lewis Alfred). Функции социального кон- фликта	167
Дарендорф Ральф (Dahrendorf Ralph). Элементы теории социального конфликта	174
Крисберг Луис (Kriesberg Louis). Конструктивный конфликт: разреше- ние конфликтов в теории и на практике	183
Коллинз Рэндалл (Collins Randall). Основы теории конфликтов	192
4. Современные критические теории	
Валлерстайн Иммануил Морис (Wallerstein Immanuel Maurice). Обще- ственные науки и современное общество: исчезающие основания ра- циональности	209

Оффе Клаус (Offe Claus). Расходящиеся рациональности административного действия	227
Буравой Майкл (Burawoy Michael), Райт Эрик Олин (Wright Erik Olin). Социологический марксизм	239

5. Сетевой подход в социологии

Грановеттер Марк (Granovetter Mark). Социологический и экономический подходы к анализу рынка труда: социально-структурный взгляд	266
Димаджио Пол (Dimaggio Paul), Пауэлл Уолтер Вуди (Powell Walter Woody). Новый взгляд на «железную клетку»: институциональный изоморфизм и коллективная рациональность в организационных полях	287
Коллинз Рэндал (Collins Randall). Социология философий. Глобальная теория интеллектуального изменения	304

6. Феминизм и сексуальная дифференциация

Чодоров Нэнси. Гендерная личность и воспроизводство материнства	332
Викс Джеффри (Weeks Jeffrey). Жить с неуверенностью	341
Элиот Патриция, Менделл Нэнси (Elliot Patricia, Mandell Nancy). Теории феминизма	355

7. Модернити / постмодернити

Бауман Зигмунт (Bauman Zygmunt). Постмодернити, или Жизнь с амбивалентностью	368
Айзенштадт Шмуэль Ноах. Многообразие модернити	391
Джеймисон Фредрик (Jameson Fredric). Постмодернизм и общество потребления	404
Арнасон Йохан (Arnason Johan). Восточно-азиатский тип модернити	421

8. Постиндустриальное / информационное общество

Инглхарт Рональд (Inglehart Ronald). Модернизация и постмодернизация	432
Турен Алан (Touraine Alain). Возвращение человека действующего	450
Кастельс Мануэль (Castells Manuel). Становление общества сетевых структур	461

9. Парадигмы глобализма

Бек Ульрих (Beck Ulrich). Жизнь и выживание в обществе всемирного риска	477
Ритцер Джордж (Ritzer George). Глобализация ничто	488
Валлерстайн Иммануил Морис (Wallerstein Immanuel Maurice). 2008: Провал неолиберальной глобализации	520

10. Переосмысление теоретических основ социологии

Бурдьё Пьер (Bourdieu Pierre). Физическое и социальное пространства	527
Штомпка Петр (Sztompka Piotr). Формирование социологического воображения. Значение теории	540
Йоас Ханс (Joas Hans). Возникновение универсализма: позитивная генеалогия	556
Заключение	569

ОТ АВТОРОВ-СОСТАВИТЕЛЕЙ

Предлагаемая вниманию читателей антология по современной западной социологии конца XX – начала XXI в. содержит оригинальную коллекцию текстов по современной западной социологии, в которых излагается логика ее развития, видение процесса ее обогащения и изменения, формирования новых этапов в осмыслении и интерпретации происходящих в обществе процессов. Данный подход позволяет провести классификацию существующих и возникающих концепций, теоретических и эмпирических поисков социологами ответа на поставленные жизнью вопросы.

Данная книга значительно отличается от хрестоматии, изданной теми же авторами-составителями в 2008 г. в издательстве «Тесей». В новом издании внимание авторов сконцентрировано на «Новейших концепциях современности», причем в антологию включены четырнадцать новых текстов (из тридцати трех), которые переведены для этого издания.

Преимущества и новое качество данного издания состоят в следующем.

Во-первых, в отличие от прежнего издания, включающего тексты классической (Р. Парк, Ф. Знанецкий, П. Сорокин, Т. Парсонс, Р. Мертон и др.) и неклассической (А. Шютц, П. Бергер, Дж. Г. Мид, Г. Блумер и др.) социологии XX века, новая антология содержит только тексты, относящиеся к этапу постнеклассической социологии. Сюда включены авторы, которые являются признанными мэтрами современного этапа развития социологии (Э. Гидденс, П. Бурдьё, Н. Луман, Ш. Айзенштадт и др.).

Во-вторых, в антологии главное внимание уделено новейшим концепциям, авторы которых ведут сегодня активную исследовательскую работу. Речь идет о результатах исследований, которые уже успели оказать влияние на общее течение мировой социологической мысли и получили мировую известность (И. Валлерстайн, З. Бауман, А. Турен).

В-третьих, в научный оборот отечественной социологии вводятся новые парадигмы, такие как экономическая (Ф. Блок, Ф. Доббин, Н. Флигстин, Р. Сведберг); сетевой подход в социологии (М. Грановеттер, П. ДиМаджио, П. Уолтер); парадигма информационного общества, связанная с именем М. Кастельса; парадигма глобализма (У. Бек и др.). Эти тексты могут расширить поле профессиональных интересов как социологов, так и тех, кто интересуется развитием современной западной социологической мысли, и послужить им хорошей основой для усвоения современного социологического знания.

Особо отметим, что в текст антологии включены работы, относящиеся к марксистской традиции – к неомарксизму, который продолжает успешно развиваться в западной социологической мысли (М. Буравой и О. Э. Райт). Также отметим главу, посвященную феминистским концепциям и теориям сексуальности (Н. Чодоров, Д. Викс и др.), поскольку данное направление выдвинулось в качестве самостоятельного именно во второй половине XX в.

Важнейший элемент построения хрестоматии связан с отбором авторов. В каждом случае мы отбирали ведущих ученых, которые не просто представляют то или иное исследовательское направление, но и сами входят в число его создателей, а их работы дают наиболее полное представление о данном направлении. В одних случаях речь идет об изложении авторских концепций, в других – предлагаются аналитические обзоры исследований в той или иной области, которые демонстрируют и позицию авторов данного обзора.

Наш многолетний научно-исследовательский и преподавательский опыт свидетельствует о том, что полноценное обучение студентов высших учебных заведений неразрывно связано

с приобщением будущих специалистов к творческому наследию классиков, а также к трудам наиболее интересных и плодотворных мыслителей современности. Вместе с тем многие книги, составляющие «золотой фонд» науки социологии, оказываются труднодоступными или вообще недоступными даже для преподавателей. Поэтому в предлагаемой Антологии собраны воедино, структурированы и снабжены необходимыми комментариями самые яркие и информационно насыщенные выдержки из произведений, отражающие содержательную глубину фундамента современной западной социологии.

Антология раскрывает эволюцию идей и поисков, анализ внутренней лаборатории мыслителей по исследованию социальных проблем общества с разных точек зрения и различных позиций. Каждая представленная концепция имеет основание для своего существования, содержит в себе новые грани обогащения научного знания, хотя и имеет те или иные ограничения, связанные с определенным историческим этапом развития. Полагаем, что эта книга принесет пользу как научным работникам, преподавателям и студентам, так и всем желающим ознакомиться с трудными путями познания, по которым шла и продолжает идти социальная наука.

Г. Н. Соколова, Л. Г. Титаренко

ВВЕДЕНИЕ

Современные парадигмы развития западной социологии

В развитии мировой социологии, несмотря на ее неоднородность, можно выделить ряд проблем, характеризующих содержание и организацию этой науки на современном этапе. Что касается содержательной характеристики нынешнего этапа мировой социологии, то она по-прежнему находится в состоянии теоретико-методологического кризиса, начавшегося со второй половины XX века, уже прошедшего стадию обострения, но еще не нашедшего своего разрешения. Речь идет о противоборстве существующих теоретических ориентаций и подходов к социальной реальности, выражением чего является *плюрализм социологических парадигм*: объективистской, активистской, интеракционистской, феноменологической, бихевиористской, неопрагматистской и др.

Проблема не только в наличии многих подходов к определению природы общества, возможностей его познания или активного преобразования. Теоретический плюрализм неразрывно связан и с отсутствием единого (общепринятого среди социологов, а также используемого для практических целей) методологического подхода к определению современной эпохи. Одни авторы упорно настаивают на том, что мир еще находится на стадии индустриализма, другие называют современность модерном или поздним модерном, тогда как третьи утверждают, что человечество уже преодолело постмодерн и движется в неизвестном новом направлении. Отсюда – разнообразие рекомендаций, касающихся социальной политики, будущего демократии, наций, государства и т. д. Подчеркнем, что речь идет о взглядах признанных

мэтров современной социологии, хорошо знающих историю науки и заинтересованно ищущих консенсус в этом вопросе. Однако ни синтетическая попытка преодоления противоположности субъективизма и объективизма и интеллектуальной фрагментации знаний в социологии, предпринятая Э. Гидденсом, ни оригинальная интегралистская концепция П. Бурдьё, равно как и другие попытки (теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса, системная теория Н. Лумана), не были однозначно восприняты большинством социологов мира как приемлемые. Социология все еще остается «открытым проектом», незавершенность которого отнюдь не тождественна низкому уровню развития науки, хотя и не позволяет считать кризис до конца преодоленным.

Вторая важная теоретико-методологическая проблема, непосредственно связанная с первой, – *расширение предметной области социологии*. Четкие границы социологии размываются, все новые процессы и явления становятся фокусом социологического исследования. Так, известный американский социолог Дж. Ритцер выпустил в 2004 г. новую книгу, посвященную изучению глобализации того, что реально не существует («The Globalization of Nothing», 2004). Ничто – это обобщенный образ симулякров, пустых социальных форм без субстанционального содержания, которыми столь богата современная массовая культура США, и которые, по мнению автора, являются результатом уродливой глобализации, отрывающей локальное от глобального, реальное от виртуального. Ритцер не только ввел понятие «ничто» как предмет критического исследования, но и доказал, что «ничто», как важная характеристика современного процесса глобализации, также может стать предметом социологического изучения, как и любой другой предмет или аспект общества постмодерна.

Размывание границ социологии, сближение ее с другими социальными науками проявляется и в том, что ряд традиционных предметов исследования теперь рассматриваются как *междисциплинарные*. Так, социология (наряду с другими науками, прежде всего – психологией и биологией) привлекается к изуче-

нию военных конфликтов в Юго-Восточной Азии, состояний детства и взрослости, этнической сегрегации, границ памяти, процесса умирания и сохранения здоровья человека, синтеза экологического и экономического развития партнерства европейских и азиатских институтов, и т. д. И все это – не упоминая этнографических, этнометодологических, глобализационных процессов, ставших предметом социологии несколькими десятилетиями ранее. На мировые социологические форумы собираются представители самых разных профессий, которые совместно заняты проведением современных социологических исследований прикладного характера. По сути дела, социология не столько занята конструкцией (или реконструкцией) собственного дисциплинарного поля, что было ей присуще как академической дисциплине ранее, сколько участвует *в диалоговом режиме с другими науками* в совместной разработке междисциплинарных полей исследования.

Отличительной чертой конца прошлого века в развитии социологии явилось появление большого числа *новых парадигм*, изначально сконструированных для изучения отдельных новых процессов или фрагментов социума, или предлагавших новый подход к их пониманию. Появились или значительно окрепли такие направления, как историческая социология, идея многообразия типов общества модерна. Именно так появилась в социологии и парадигма культурной травмы, созданная П. Штомпкой для объяснения посткоммунистической трансформации ряда европейских стран. Однако по прошествии нескольких лет оказалось, что данная парадигма вполне подходит и для понимания других процессов мирового развития, связанных с болезненными переходными состояниями общества, социальных групп, отдельных людей, с необходимостью культурной адаптации к новым условиям существования человечества. Как хорошо показал один из признанных лидеров теоретической социологии Дж. Александер (Alexander J. Towards a Theory of Cultural Trauma // *Cultural Trauma and Collective Identity*, 2004), парадигма культурной травмы помогает изучать современную социальную поляризацию – процесс, болезненный для ее участников,

конструируемый, а не естественно возникающий, полный рисков, но одновременно продуцирующий новые формы групповой ответственности. События 11 сентября 2001 г. – пример культурной травмы, осмысление которой привело не только к радикальному изменению представлений о мировых конфликтующих силах, но и к формированию новых социальных и национальных типов идентичности в разных странах мира.

Укажем также на расширяющийся *разрыв между социологами-теоретиками и социологами-практиками*, который резко усилился во второй половине XX века и продолжает иметь место в XXI веке. Абсолютное большинство социологов мира занято прикладными проблемами и нуждается в разработке корректных методик и исследовательского инструментария. Лишь малая толика ученых разрабатывает социологию на макроуровне. Оба лагеря всегда отличались отсутствием интереса друг к другу: теоретики работают «для себя» и нужд университетского образования, тогда как практики, получая конкретные заказы на те или иные исследования, заняты сугубо прикладными вопросами и полностью абстрагируются от проблем общетеоретического уровня. Представители лагеря практиков имеют свои журналы, организуют свои корпоративные группы, не считая нужным заниматься теоретической интерпретацией предмета исследования; они рассматривают социологию как рыночную индустрию, сугубо прикладную дисциплину. В свою очередь, теоретики также предпочитают общаться в своем узком профессиональном кругу и не иметь ничего общего с практиками, для которых наука – средство зарабатывания денег.

Данная ситуация, иногда называемая *«балканизацией»* науки, характерна сегодня для любой страны, включая постсоветские государства: социологи-практики гораздо более востребованы, чем теоретики; причем оба лагеря критикуют друг друга. Данная особенность развития социологии лишь углубляет кризис, ибо без «хорошей теории» (хотя бы отраслевого уровня) практика, в конечном счете, лишается плодотворной «питательной среды» и не может ни объяснить, ни верно интерпретировать сложные современные процессы и явления. Засилие эмпи-

рии без развития теории не обогащает социологию и не позволяет ей служить эффективным средством в решении тех или иных социальных проблем, как на этом настаивают сами эмпирики.

Современная социология имеет некоторые новые черты и в плане организационного развития. Во-первых, *углубляется неравенство* в формах, интенсивности работы, финансовых средствах, которыми располагают социологи в разных странах и регионах мира. После распада системы социализма социологи из постсоветских стран намного хуже представлены в управленческой структуре международных социологических организаций, они реже участвуют в мировых форумах (или же их участие зависит от наличия богатых спонсоров). За редким исключением, они не развивают новых собственных теорий общесоциологического уровня, а заняты «проверкой» (практическим применением) западных концепций к постсоветскому обществу, исследованием особенностей протекания социальных проблем в своем регионе, стране, что в целом снижает их вклад в развитие мировой социологии, делает их теоретические наработки «вторичными», не имеющими большого значения в науке.

Во-вторых, поскольку социологи из стран так называемого «второго» и «третьего» эшелонов не могут на равных конкурировать с социологами из наиболее обеспеченных стран, не печатаются регулярно (или мало печатаются) в международных журналах на английском языке, издаваемых на Западе, то даже их реальные научные достижения часто остаются неизвестными западным коллегам, *не получают заслуженного мирового признания*. В рейтинги цитирования включаются в основном международные журналы на английском языке, что еще больше увеличивает разрыв между социологами, постоянно пользующимися английским языком, и социологами остальных стран мира, публикующимися на других языках. Гегемония английского языка широко обсуждается в мировом социологическом сообществе, однако положение дел, а именно – неравенство в социальных науках, существенно не меняется. В свою очередь, новые западные публикации далеко не всегда известны социологам развивающихся стран, что создает непреодолимые барьеры

в профессиональном обмене идеями, организации полноправного научного диалога социологов разных стран и регионов. И хотя все больше западных публикаций переводятся на русский язык, все еще остается проблемой свободный доступ к западной социологической литературе, развитие коммуникации между социологами разных стран.

Социология с самого своего возникновения была и остается *интернациональной* по духу и целям. Поэтому и сегодня необходимо хорошо понимать важность развития и углубления профессиональных связей социологов, активного включения ученых из постсоветских стран в международные профессиональные сети как посредством их членства в национальных ассоциациях (а этих последних – в международных), так и через международные исследовательские коллективы и проекты. Только профессиональная активность и инициативность социологов из постсоветских стран позволят им на равных включаться в профессиональный диалог, непосредственно участвовать в разработке теоретико-методологических конструктов, осмысливать новую роль своей науки в XXI веке и, отвечая таким образом на «вызовы» глобализации, пытаться преодолеть симптомы ее нынешнего кризиса.

**БЛОК Фред
(BLOCK Fred)**

(р. 1947)

Фред Блок (р. 28.06.1947, Нью-Йорк, США) – один из ведущих экономических социологов в сфере изучения хозяйственных идеологий и экономической политики. В 1968 г. получил степень бакалавра по социологии и истории в Колумбийском колледже, в 1970 г. – степень магистра социологии в Калифорнийском университете, в 1974 г. – степень доктора социологии в том же университете.

В настоящее время Ф. Блок является профессором Университета Калифорнии в Беркли и Университета Калифорнии в Девисе, США. Читает курсы – экономическая социология, корпорации и общество, политика и общество и др. По состоянию на 2001 г. Ф. Блоком опубликовано более 30 профильных статей и 5 научных монографий. Труды Ф. Блока российским специалистам пока почти не знакомы. Между тем он хорошо известен своей книгой «Постиндустриальные возможности», нацеленной на критику неоклассического направления в экономической теории; стал одним из авторов самого влиятельного сборника работ по экономической социологии по редакцией М. Смелсера и Р. Сведберга, написав важную главу о роли государства в хозяйственной жизни.

Еще студентом Колумбийского колледжа он посещал курс Т. Хопкинса «Социология хозяйств», когда в американской социологии не было такого понятия, как экономическая социология. Примерно с этого времени он стал ощущать себя социологом хозяйств (a sociologist of economies) и продолжателем традиций анализа экономического процесса К. Маркса, М. Вебера, Э. Дюркгейма.

Основные работы: «Постиндустриальные возможности: критика экономического дискурса» (1990); «Роли государства в хозяйстве» (1994); «Государство-вампиры и другие мифы и заблуждения относительно американской экономики» (1996).

В предлагаемом фрагменте книги «Роль государства в хозяйстве» Ф. Блок проводит сравнение старой и новой парадигм анализа роли государства в хозяйственной жизни общества и обосновывает более полный и более плодотворный набор аналитических инструментов в рамках новой парадигмы.

БЛОК ФРЕД

РОЛИ ГОСУДАРСТВА В ХОЗЯЙСТВЕ¹

Роль государства в хозяйстве уже не одно столетие является центральной проблемой политической и социальной теории. И в продолжительной борьбе между либерализмом и абсолютистскими режимами, и в конфликте между «социализмом» и «капитализмом» ключевое место занимает вопрос о том, какую роль государство должно играть в хозяйстве. В результате на исследования в данной области существенно повлияли эти фундаментальные нормативные дебаты. В то же время литература по данной теме весьма обширна именно вследствие чрезвычайного разнообразия видов хозяйственной деятельности государства. В самом деле, трудно даже вообразить себе вид хозяйственной деятельности, который, по крайней мере где-либо или когда-либо, не подвергался бы прямому регулированию со стороны государственной власти. Сочетание сложной и неоднозначной истории вопроса, с одной стороны, и великое множество проблем, рассматриваемых в данной области, с другой, делают эту тему очень не простым предметом для изложения в одной главе при условии ее ограниченного объема.

Тем не менее эта задача все-таки представляется нам посильной по двум причинам. Во-первых, в данной главе будет рассматриваться только опыт «современного» государства – т. е. той его формы, которая возникла в Европе в эпоху ранней совре-

¹ Блок Ф. Роли государства в хозяйстве // Западная экономическая социология: Хрестоматия современной классики / сост. и науч. ред. В. В. Радаев. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. – С. 569–599 (в сокр.). Пер. с англ. М. С. Добряковой и др.

менности и затем стала универсальной, распространившись в результате развития конкурентной международной системы государств, охватившей весь земной шар. Во-вторых, недавно появившиеся работы по экономической социологии и смежным дисциплинам позволили по-новому поставить вопрос о роли государства в хозяйстве. В этих работах подвергаются сомнению способы определения роли государства в хозяйстве, унаследованные нами от социальных теоретиков XIX в. Следовательно, мы можем взглянуть на этот вопрос, анализируя столкновение старой и новой парадигм. Первый раздел данной главы посвящен различным теоретическим позициям в рамках старой парадигмы. В нем также высказываются предположения относительно того, почему прежние теоретические объяснения предмета кажутся неудовлетворительными. Во втором же разделе излагается новая парадигма и обозначаются некоторые направления исследований, которые она открывает.

Старая парадигма

Старая парадигма строится вокруг двух основных исходных предположений. Первое заключается в том, что государство и хозяйство — это две аналитически самостоятельные общности, каждая из которых функционирует согласно собственным основополагающим принципам. Данное предположение позволяет концептуализировать различные уровни «вмешательства» государства в функционирование хозяйства. Второе положение состоит в том, что все общества, реально существующие или воображаемые, можно расположить вдоль единого континуума, с одной стороны которого располагается «ночной сторож» (*night watchman state*) — минималистское государство классического либерализма, а с другой — общество, в котором государство взяло на себя ключевые экономические функции производства и распределения, практически перекрыв возможность рыночных транзакций.

Нормативные дебаты в рамках старой парадигмы сосредоточены на поиске идеального места на данном континууме. Часто утверждается, что этот континуум в точности воспроизводит

политический спектр левых и правых движений. Считается, что по мере смещения вправо предпочтение отдается все менее значительной роли государства, а сдвиг влево предполагает поддержку более сильной его роли. Различные позиции в рамках старой парадигмы следует анализировать, рассматривая аргументы, которые они используют для оправдания вмешательства государства в хозяйственную деятельность. Хотя на практике эти аргументы пересекаются, среди них можно выделить пять «идеальных типов», которые вполне логично ранжируются от более «правых» до более «левых».

Тип 1. Государство общественных благ (public goods state)

Среди объяснений вмешательства государства в хозяйственную деятельность самой «правой» является идея о том, что государство должно обеспечивать только те общественные блага, которые рынок не может произвести сам. Общественные блага определяются как товары или услуги, которые, «будучи предоставленными одному человеку, могут быть доступны другим без каких бы то ни было дополнительных затрат с их стороны» [Pearce, 1986]. Такая характеристика создает препятствия на пути рыночного производства этих товаров, поскольку предоставляющий их предприниматель не может получить оплату от большинства получателей этих благ. Еще Адам Смит писал, что у суверена есть три обязанности: защита отечества, обеспечение справедливости и «возведение и поддержание общественных институтов и механизмов, которые, даже если они в высшей степени выгодны большей части общества, тем не менее имеют такую природу, что выгода от их работы никогда не может возместить затраты одного индивида или небольшой группы» [Smith, 1776].

Первым важным типом общественных благ являются товары и услуги, которые не могут быть произведены с целью извлечения прибыли отдельными предпринимателями, действующими на свой страх и риск. Наглядный тому пример – городские парки, извлечь из которых прибыль невозможно в силу сложности сбора платы за их посещение. Другие примеры имеют менее

ярко выраженный характер и занимают промежуточное положение между чистыми общественными благами и чистыми частными благами. В этих случаях выгоды от увеличения предложения данного блага превышают размер разумной оплаты, которую можно получить от его потребителей. Классический пример – платные автомагистрали и каналы; теоретически они могут быть построены частными предпринимателями, взимающими плату за их использование. Однако поначалу ее размер должен был бы превышать стоимость иных способов передвижения в то время, и нежелание потребителей переходить на более дорогой вид транспорта поставило бы выгодность предприятия под угрозу. Но поскольку новый более эффективный способ передвижения принес бы немалую выгоду многим жителям данной территории, если бы они могли им воспользоваться, общественное финансирование становится необходимым, чтобы обеспечить реализацию выгод от эффективности данного блага. Аналогичный пример – фундаментальные научные исследования.

Второй важный тип общественных благ представляют действия правительства, направленные на сокращение негативных экстерналий (*externalities*), которые возникают в результате частной хозяйственной деятельности. Такие экстерналии, как загрязнение окружающей среды, небезопасные условия труда, вредные продукты питания, можно назвать «общественным злом» (*public bads*) [Roemer, 1992]. Их классическое объяснение приводит К. Маркс в «Капитале», описывая продолжительность рабочего дня [Marx, 1867]. Конкуренция между фирмами порождает у каждой из них стимул увеличивать продолжительность рабочего дня, что является общественным злом, отрицательно сказываясь на здоровье рабочих. Английское фабричное законодательство наделило государство властью регулировать продолжительность рабочего дня и непосредственно вовлекло его в производство общественного блага – в процесс систематического регулирования продолжительности рабочего дня. Аналогичные аргументы можно использовать и применительно к другим проявлениям общественного зла – например, поддельным

товарам, загрязнению окружающей среды, захвату отдельных рынков олигополиями и монополиями.

Наконец, последний тип включает общественные или смешанные (одновременно общественные и частные) блага, в случае которых индивидуальное истребление имеет значительные позитивные экстерналии, однако существующее распределение доходов удерживает частное потребление ниже оптимального уровня. Именно этот аргумент часто высказывался в пользу развития государственного образования: образованная рабочая сила приносит больше экономических выгод, однако если образование обеспечивается только рынком, многие не смогут его себе позволить. Аналогичные аргументы высказывались в отношении здравоохранения, жилья и питания; позитивные экстерналии от жизнедеятельности здорового, сытого населения, имеющего хорошее жилье, делают неэффективной ситуацию, в которой эти услуги предоставляются одним только рынком.

Концепция государства как производителя «общественных благ» не дает определенного ответа на вопрос о том, где именно роль государства в хозяйстве должна располагаться на континууме между вариантом «ночного сторожа» и полным государственным контролем над экономикой. Однако большинство авторов, рассуждающих об общественных благах, твердо придерживаются убеждения, что именно конкуренция между частными агентами ведет к оптимальному результату, и следовательно, общественное производство следует удерживать на минимальном уровне.

Тип 2. Государство макроэкономической стабилизации (macroeconomic stabilization state)

Вторая распространенная концепция роли государства акцентирована на смягчении влияния бизнес-цикла. Поскольку рыночные хозяйства характеризуются чередованием периодов подъема и спада, высказывались убедительные аргументы в пользу попыток государства выровнять данный цикл. Это означает сдерживание хозяйства в период бума и предупреждение экономического спада, удержание его под контролем. И хотя подобную

роль государства можно описать как производство общественного блага – большей экономической стабильности и предсказуемости, – макроэкономическую стабилизацию обычно описывают в других терминах. В действительности в США консерваторы зачастую высказывались против активного вмешательства государства в процесс макроэкономической стабилизации. Они утверждают, что ограничение его роли обеспечением стабильного увеличения предложения денег гораздо более эффективно, нежели его более широкое вмешательство. Одним словом, монетаристы выступали против функции макроэкономической стабилизации, заявляя, что единственное, что требуется от правительства, – это обеспечить общественное благо стабилизации денежного обращения [Friedman, 1963].

Хотя концепция макроэкономической стабилизации обычно связывается с распространением кейнсианской экономической теории, она возникла задолго до Кейнса. В XIX в. периодические кризисы финансовой системы интенсифицировали бизнес-цикл и подталкивали к разнообразным попыткам стабилизировать экономику. Под давлением населения правительства пытались поддерживать постоянный доступ к кредитам, учреждая институты кредитования в критической ситуации, регулируя банковскую сферу и препятствуя вывозу золота [Polanyi, 1944]. <...>

Но, несмотря на эти интеллектуальные предпосылки, понятие «стабилизирующее государство» обычно ассоциируется с кейнсианской революцией – массовым распространением в 1930–1940-е годы идеи о том, что государственные средства можно и должно использовать как противовес бизнес-циклу [Hall, 1989]. Пожалуй, меньше всего дебатов вызвала идея Кейнса о действии «автоматических стабилизаторов» (например, расходов на страхование от безработицы), направленном на поддержание покупательной способности потребителей даже в период роста безработицы. Более противоречива идея о целенаправленном увеличении государственного дефицита как средстве стимулирования слабого хозяйства. Предполагается, что снижение налогов увеличит покупательную способность потребителей, а увеличение расходов государства призвано укрепить совокупный спрос и стимулировать

частные инвестиции, которые позволят предотвратить экономический спад. Однако многие современные экономисты опровергают мнение об эффективности подобного наращивания дефицита. Один из аргументов заключается в том, что увеличение государственных займов приводит к соответствующему сокращению покупательной способности [Barro, 1990].

С помощью идеи государственной стабилизации хозяйства путем ограничения влияния бизнес-цикла можно оправдать множество действий правительства – изменение обменного курса, корректировку налогового кодекса, увеличение прав профсоюзов, снижение или повышение расходов общественного сектора на инфраструктуру и общественные блага, распространение или сокращение предоставляемых государством трансфертов и социальных программ, и т. д. И здесь также понятие стабилизирующего государства не предполагает определенного вывода о том, насколько активной должна быть роль государства в хозяйственной деятельности.

Тун 3. Государство социальных прав (social rights state)

В третьем идеальном типе повышение роли государства в хозяйственной деятельности связывается с более глубоким осознанием смысла гражданства. Этот тезис опирается на два явления, о которых говорили аналитики общественных благ: роль государства в регулировании частных трансакций и его роль в обеспечении определенных товаров и услуг для всех граждан.

Наиболее влиятельной в этой традиции является концепция Т. Маршалла о прогрессирующем развитии института гражданства в западных демократиях [Marshall, 1950]. По мнению Маршалла, этот институт зародился в XVIII в., однако в то время ограничивался гражданскими правами, обеспечивавшими защиту граждан от произвола государственной власти. В следующем столетии, когда доступ к избирательному праву был расширен, гражданские права послужили основой для обретения политических прав. Это, в свою очередь, способствовало развитию в XX в. социальных прав, когда граждане начали использо-

вать избирательное право для защиты от стихии рыночных сил путем более интенсивного государственного регулирования хозяйства и введения более значительного государственного обеспечения в случае болезни, инвалидности и старости.

Согласно Маршаллу, развитие социальных прав вынуждало государство играть более активную роль в преодолении последствий рыночных процессов в сфере распределения. Действия государства отчасти способствовали «декоммодификации» рабочей силы, обеспечивая ее источниками дохода помимо тех, что предоставлял рынок.

Концепция Маршалла иллюстрирует общее развитие современного государства благосостояния (*welfare state*), однако едва ли объясняет существенные вариации в социальных правах в различных рыночных обществах. Почему одни общества давным-давно признали всеобщее право на доступ к медицинской помощи, а другие (например, США) по-прежнему бесконечно далеки от этого? Неясно также, где пролегают внешние границы социальных прав. Велось много дискуссий, например, о том, должны ли граждане иметь право на занятость. Ответ на этот вопрос имеет принципиальное значение для выработки позиции о том, насколько активной должна быть роль государства в хозяйстве. Словом, концепция социальных прав (как и другие подобные концепции) не дает определенного ответа на вопрос о том, в какой точке на описанном нами континууме роль государства была бы оптимальной.

Тип 4. Государство развития (developmental state)

В XX в. в концепции государства развития наметилось два основных течения. Первое представляет собой попытку осмыслить опыт других стран, успешно справившихся с проблемами запаздывающего развития (*late developers*). Ключевой работой здесь является «Экономическая отсталость в исторической перспективе» Александра Гершенкрона, в которой он показывает, что страны Западной Европы, позднее вставшие на путь индустриализации, в отличие от Англии полагались на активную

роль государства, взявшего на себя роль частных инвесторов. Что касается более новых работ, то все больше авторов настаивают на том, что успех Японии после Второй мировой войны, а позднее – Южной Кореи, Тайваня и Гонконга следует связывать с деятельностью государства развития, которое успешно поддерживало нарождающиеся отрасли и направляло поток финансирования на поддержание высокого уровня инвестиций в производстве [Gerschenkron, 1962].

Эти работы постепенно начали сливаться со вторым течением в рамках этой концепции, которое подчеркивает, что уровень частного инвестирования в рыночных хозяйствах может быть хронически недостаточным, и поэтому для обеспечения адекватного объема инвестиций необходимо постоянное вмешательство государства. Это один из наиболее радикальных тезисов, выдвинутых Кейнсом в «Общей теории...»: он предположил, что функцию инвестирования в конечном счете должно выполнять государство. Кейнс опасался, что предприниматели, столкнувшись с ситуацией неопределенности, не захотят рисковать новыми инвестициями в масштабе, который был бы достаточен для поддержания экономического роста. Лишь обобществление (*socializing*) инвестиционной функции могло обеспечить полноценное использование экономических ресурсов. Этот тезис имеет аналитически иной характер, нежели идеи стабилизирующего государства, также встречающиеся в работах Кейнса. Последние предполагают необходимость периодического вмешательства государства в целях преодоления последствий бизнес-цикла, в то время как тезис об огосударствлении инвестиций (*socialization-of-investment argument*) предполагает необходимость постоянной экспансии экономической роли государства. <...>

В 1980-е годы эти предложения в Швеции потерпели поражение, однако кейнсианская концепция государства развития возродилась в иной форме – в виде поддержки высокого уровня государственных расходов на инфраструктуру как средства стимулирования частных инвестиций и общего уровня инвестирования в целом. Конечно, обеспечение инфраструктуры государством легко встраивается в концепцию общественных благ.

Однако нынешний масштаб подобных практик в таких странах, как Германия, Франция и Япония, выходит далеко за рамки этой концепции. Значительные расходы государства на развитие транспорта, коммуникаций, энергетики, а также научно-исследовательскую деятельность призваны способствовать частным инвестициям, ускорять технологический прогресс и повышать уровень конкурентоспособности на международном рынке. К концу 1980-х годов эта инфраструктурная версия государства развития получила широкое распространение даже в США [Reich, 1991].

Тип 5. Социалистическое государство

Сущность пятого идеального типа государства заключается в том, что его экономическая роль должна быть расширена, чтобы преодолеть несправедливость, вызванную рыночным распределением ресурсов. В марксистской традиции рынок и частная собственность трактуются как источники неравенства и отчуждения, которые можно уничтожить только путем отмены частной собственности. При этом Маркс и Энгельс полагали, что как только частная собственность на средства производства будет отменена, члены общества смогут организовывать и контролировать хозяйственную деятельность без формирования мощного аппарата государственной власти. Но на практике марксистские режимы привели к построению очень сильного государства, и выполняемый им широкий спектр хозяйственных видов деятельности представляет собой крайний случай государства развития [Skocpol, 1979]. Экономические провалы советской модели в 1970-е и 1980-е годы не отменяют исторического факта: в ряде стран хозяйственное развитие осуществлялось во многом в стиле советского режима.

Фундаментальным в концепции социалистического государства является вопрос о том, что же в рыночном хозяйстве ведет к неприемлемой несправедливости. Представители одного течения подчеркивают, что рынки усиливают дифференциацию в обществе на бедных и богатых и в результате для бедных справедливость оказывается недостижимой. Представители другого показывают, что рыночные трансакции по природе своей

негуманистичны: они подчиняют человеческую деятельность инструментальным расчетам, которые заставляют людей отказываться от своих основополагающих потребностей и убеждений или идти на компромиссы по их поводу. Сторонники обоих этих течений вторят влиятельной концепции научного марксизма об эксплуатации и концепции критического марксизма об отчуждении [Gouldner, 1980]. Они также предлагают аргументы, которые в ходе истории использовались для оправдания действий государства, направленных на отмену или ограничение рыночных трансакций.

Оценка старой парадигмы

Самым удивительным во всем этом многообразии взглядов в рамках старой парадигмы является степень неопределенности суждений. Например, легко представить доводы в пользу определенной инициативы в области государственной политики – например, реформы трудового права – с опорой на аргументы всех пяти позиций. Более того, в рамках каждой из них можно обосновать целый ряд различных предпочтений относительно того, насколько активной должна быть роль государства в хозяйстве.

Проблема заключается в том, что все эти позиции в рамках старой парадигмы на самом деле предоставляют гораздо меньше аналитических инструментов, чем они претендуют. Как будет показано ниже, это происходит потому, что они опираются на ошибочные исходные суждения относительно анализируемого предмета. Более того, кажущаяся обоснованность этих различных позиций на самом деле объясняется рядом предубеждений, которые лишь изредка упоминаются в открытую или подвергаются серьезной критике.

Первая группа предубеждений связана с оценкой действий государства. Часто считают, что государство – это расточительный паразит: оно по природе своей склонно извлекать из общества больше ресурсов, чем может оправдать своими действиями, при этом оно не способно эффективно распорядиться этими ресурсами. Считают также, что при производстве общественных

благ государственные чиновники гораздо менее производительны, нежели частные предприниматели, при этом приоритеты государства искажаются под давлением политических интересов. Вторая группа предубеждений связана с представлением о рынке, сформулированном явно в духе концепции социалистического государства: якобы рынок по природе своей неизбежно порождает неравенство в обществе и его дегуманизацию.

Называть эти взгляды предубеждениями – вполне справедливо, поскольку они высказываются просто как оценочные суждения без какого бы то ни было анализа или выявления конкретных обстоятельств, при которых возможны эти негативные последствия. Однако суть в том, что кажущаяся логичность пяти описанных выше позиций проистекает именно из специфических предубеждений их сторонников. Например, теоретики государства общественных благ, по всей видимости, имеют наиболее сильные предубеждения против действий государства и наиболее слабые – против последствий работы рынка. В результате они выступают против дальнейшего расширения роли государства. И напротив, по мере смещения к левой части континуума недоверие к государству уменьшается, сменяясь недоверием к рынку.

Новая парадигма

Новая парадигма начинается с опровержения идеи невмешательства государства в хозяйственную деятельность. Вместо этого утверждается, что его действия всегда играют ключевую роль в формировании хозяйства, и позиционировать государство как нечто за рамками хозяйственной деятельности – бессмысленная задача. В отличие от старой парадигмы, рассматривавшей количественные вариации степени вмешательства государства в хозяйственный процесс, новая парадигма сосредоточена на качественных различиях в его деятельности. Она подчеркивает важные элементы сходства между государствами, которые старая парадигма практически не учитывала. Большинство государств: предлагают правила использования производственных активов; устанавливают законодательные рамки, определяющие течение

воспроизводимых (*recurring*) отношений (таких, как отношения между работодателями и наемными работниками); обеспечивают средства платежа для экономических трансакций; наконец, поддерживают границу между своей территорией и остальным миром. Различия в выполнении этих задач имеют важные последствия, которые предоставляют гораздо больше аналитических инструментов, нежели понятия старой парадигмы.

Старая парадигма была структурирована двумя группами предубеждений – недоверием к государству и недоверием к рынку; подход новой парадигмы – совершенно иной. В соответствии с ней хозяйственная деятельность всегда предполагает некоторое сочетание действий государства и рынков. Действия государства необходимы для построения хозяйства. Однако рынки также являются неотъемлемой частью социальной организации, поскольку при наличии у индивидов возможности выбора рынки обеспечивают им логичный и полезный инструмент агрегирования актов их разрозненного выбора. При этом рынки могут быть структурированы самыми разными способами, и вариации в основополагающих правилах этого структурирования будут иметь весьма различные последствия. Просто все зависит от особенностей сочетания действий государства и рынков. Следовательно, предубеждения сменяются эмпирическими вопросами: какое сочетание государства и рынков порождает хищническое государство? Какое их сочетание ведет к увеличению неравенства?

Новая парадигма появилась в последнее десятилетие и пока не получила согласованного названия. Здесь мы будем называть ее *реконструированием рынка* (*market reconstruction*), поскольку такое название подчеркивает степень наличного выбора при структурировании рынков и возможность их реконструирования для увеличения эффективности, равенства и достижения других целей. Как и любое важное интеллектуальное течение, концепция реконструирования рынка имеет ряд серьезных исторических предпосылок. В XX в. появились по крайней мере три важных интеллектуальных течения, в рамках которых была возвращена критика старой парадигмы. Первое – это теория институциональной экономики [Commons, 1924], предложившая влия-

тельную критику предпосылок неоклассической экономической теории. Эта институционалистская традиция снова и снова указывала на ограничения в восприятии действий государства как внешних по отношению к хозяйству. Вторая традиция связана с теорией правового реализма в США. В 1920–1940-е годы сторонники данной традиции выступили с критикой экономических положений, лежавших в основе американской государственной политики, – критикой, которая основывалась на идее о естественности саморегулирующихся рынков [Cohen, 1927]. Позднее критическое направление правовых исследований сделало важный вклад в развитие новой парадигмы, целенаправленно попытавшись развить идеи правовых реалистов [Kennedy, 1987, Singer, 1988]. Наконец, высланный из своей страны венгерский ученый Карл Поланьи написал в 1940–1950-е годы ряд работ, ставших весьма influentialными в социальных науках и еще более пошатнувших позиции старой парадигмы [Polanyi, 1944]. <...>

Как правило, теоретики реконструирования рынка одинаково критично реагируют на утверждение о том, что единственный путь, по которому могут далее развиваться бывшие социалистические страны, – это капитализм свободного рынка. Они приводят три аргумента. Во-первых, не существует такой единой однородной субстанции, как «капитализм свободного рынка», – существующие рыночные общества характеризуются весьма различными способами структурирования хозяйственных институтов. В реальности нигде нет и не может быть той рыночной экономики, о которой пишут в учебниках. Во-вторых, в процессе перехода к новому типу хозяйства государство должно играть абсолютно ведущую роль в формировании новых прав собственности и новых рынков. В-третьих, общества могут выбирать из целого ряда различных способов сочетания рынков и действий государства, и на самом деле адекватный уровень функционирования экономики может быть достигнут на основе множества таких сочетаний. Поэтому общества при реструктурировании хозяйственных институтов должны сопоставить экономическую эффективность с проблемами равенства, демократии и прав личности [Block, 1990; Block, 1992]. <...>

Реконструирование рынка: роли, которые играет государство

Исследования в рамках старой парадигмы зачастую были сосредоточены вокруг проблемы сопоставления двух плоскостей анализа. Первая плоскость образована типологиями различных способов организации хозяйств – такими, например, как известная марксистская схема, в которой на основании господствующих отношений собственности выделяются три типа обществ: феодальное, буржуазное и социалистическое. Вторая плоскость образована типологиями различных политических режимов, – например, разграничениями между либерально-демократическими, социал-демократическими, фашистскими и консервативными авторитарными режимами. Проблема согласования двух этих плоскостей связана с тем, что при совершенно различных политических режимах порою работают схожие хозяйственные механизмы. Один из способов разрешить это противоречие – выработать всевозможные подкатегории и попытаться уловить более тонкие различия в типах хозяйств и политических режимов. Многие хорошие современные работы как раз и следуют этой стратегии в них, делая попытки более детально проанализировать институциональные образования конкретных обществ или построить более сложные типологии среднего уровня, которые описывали бы вариации в различных обществах. Однако, хотя аргументы в пользу этих новых подкатегорий и типологий зачастую весьма убедительны, опасность заключается в том, что если для каждого случая будет выведена особая категория, это не позволит проводить более общие сопоставления.

Концепция реконструирования рынка предлагает несколько иную аналитическую стратегию. Поскольку государство и хозяйство фундаментально взаимозависимы, попытка анализировать их порознь представляется бессмысленной. Вместо этого предлагается сконцентрировать внимание на особых способах взаимодействия государств и хозяйств и начать исследовать вариации этих способов взаимодействия во времени и пространстве. Данная стратегия обладает рядом преимуществ. Во-первых, она исходит из того, что ключевой вопрос старой парадигмы, –

в какой степени государство должно предоставить свободу рынку, — зачастую вовсе не является самой важной проблемой. Во-вторых, следствие этой стратегии заставляет нас осознать высокую степень преемственности между феодальными, буржуазными и социалистическими формами собственности, которая в старой парадигме практически не учитывалась. В-третьих, данная стратегия указывает на возможность выработки более эффективных типологий, которые позволят уловить подлинные исторические вариации способов организации взаимодействий государства и хозяйства. Сферы взаимодействия, которые будут рассматриваться далее, включают: роль государства в установлении контроля над производственными активами, определение природы его обязательств и ответственности в воспроизводимых отношениях (*recurring relations*), обеспечение средствами платежа и поддержание границы между территорией государства и остальным миром. Данный список сфер не исчерпывающий, однако он позволяет осветить многие наиболее важные вопросы.

Контроль над производственными активами

<...>

В любом сложном обществе одной из неизбежных задач государства является установление режима прав собственности. При конструировании такого режима реализация концепции Локка, согласно которой система частной собственности предполагает абсолютные права индивида (*individual's ownership rights*), не только невозможна, но и нежелательна. С одной стороны, позитивные и негативные экстерналии, связанные с любой сложной формой производства, требуют определенного режима регулирования, который ограничивает способы использования производственных активов. С другой стороны, современное производство зависит от сотрудничества между людьми, контролирующими различные активы: работники контролируют человеческий капитал, менеджеры — физический, инвесторы — финансовый капитал, к ним добавляются также владельцы интеллектуальной собственности. Абсолютистское определение

прав собственности не вполне проясняет то, как максимизировать производственную кооперацию между перечисленными владельцами активов. В реальности существует множество способов определения прав собственности для каждой из этих групп. Лишь недавно исследователи начали сравнивать экономические последствия применения различных наборов правил, регулирующих права собственности, но уже сейчас очевидно, что превосходство англосаксонской концепции прав собственности в духе Локка весьма сомнительно [Doge, 1986].

Эти вопросы прав собственности сегодня часто обсуждаются в экономической теории в терминах отношений между принципалом и агентом. Акционеры фирмы являются принципалами, которым теоретически принадлежат права собственности, однако в достижении своих целей они зависят от агентов – менеджеров фирмы. Ведутся жаркие дебаты по поводу того, каковы должны быть институциональные образования и мотивы, которые обеспечат достижение агентами целей принципалов. Одна из ключевых линий в этих дебатах – сопоставление институциональных моделей корпоративного управления в развитых рыночных хозяйствах. И хотя фундаментальные механизмы собственности в этих странах практически одинаковы, существуют значительные различия в том, как решаются проблемы взаимоотношений между принципалом и агентом. Более того, эти различия напрямую вытекают из законодательных действий, которые помогали структурировать определенные способы встраивания фирм в финансовые рынки [Zysman, 1983]. Эти принципиальные различия напоминают нам о том, что зашоренность на вопросах собственности серьезно ограничивает нашу аналитическую перспективу.

Структура воспроизводимых отношений

Со структурой собственности тесно связано государственное регулирование воспроизводимых отношений, наиболее важными из которых являются отношения между членами семьи, работниками и работодателями, владельцами недвижимости и арендаторами. И вновь конкретные наборы правил, структурирующих

эти воспроизводимые отношения, влекут за собой чрезвычайно важные последствия. Различие между системой, когда все наследовал старший сын, и правилами, диктующими раздел собственности между сыновьями, порождало принципиальные последствия для моделей землевладения. Наличие или отсутствие прав собственности у жены существенно влияло на стратегии увеличения семейного благосостояния и экономическую активность женщин (анализ важной роли государства в формировании семьи см. в работах F. Olsen и др.). И даже в рамках старой парадигмы признается принципиальный характер того, могут ли наемные работники или арендаторы выйти из отношений эксплуатации.

Принципиальное воздействие на отношения занятости оказывает государственная налоговая политика. Классическим примером здесь служит подушный налог, которым европейские колонисты облагали коренное население. Целью его введения было заставить фермеров, занимавшихся натуральным хозяйством, участвовать в наемном труде, чтобы получить наличные деньги, требуемые для уплаты налогов. Однако вопрос о налогах имеет гораздо более общий характер. Всем государствам необходима система налогообложения, но конкретная структура налоговой системы будет влиять на количество времени и объем усилий, которые индивиды готовы посвятить наемному труду.

Кроме того, на протяжении последних пяти столетий государства участвовали в формировании и фиксации трудовых навыков работников. Развитие государственного образования и сложных систем государственных дипломов с очевидностью это доказывает. Однако и прежде действия государства формировали систему обучения, через которую проходили квалифицированные ремесленники. Сущность этих правил, а также вариации в доступе к возможностям получения образования и профессиональной подготовки влияют на предложение рабочей силы, обладающей определенными типами навыков, а это, в свою очередь, определяет относительный объем власти различных категорий работников.

Более того, проблемы получения навыков связаны и с другими усилиями различных категорий людей, направленными

на социальное закрытие определенных профессиональных позиций. Вебер подчеркивал, что «любая характеристика группы – расовая принадлежность, язык, социальное происхождение, религия – может быть использована для монополизации специфических, как правило, экономических, возможностей» [Weber, 1922]. Подобные попытки монополизации экономических позиций определенными группами также имеют принципиальное значение для определения масштабов власти различных категорий работников. В этот процесс всегда вовлечены и правительства, стремящиеся либо поддержать попытки закрытия группы от других групп, либо найти другой путь такого закрытия, либо пресечь подобные формы профессиональной дискриминации, либо тем или иным образом сочетать эти стратегии.

Наконец, государства всегда вовлечены в процесс регулирования коллективного действия работниками и работодателями. Даже решение государства не вмешиваться, если работодатели прибегают к незаконному насилию и терроризируют работников (как это бывает в распространенных ситуациях «принудительного труда» (*coerced labor*), отражает политику, которая формирует отношения занятости. Аналогично, запрет на деятельность профсоюзов, так же как и целый ряд юридических правил, защищающих их права, имеет решающие последствия для отношений занятости.

Средства платежа: деньги и кредиты

<...>

Вопрос об относительном объеме власти заемщиков и кредиторов связан с более общим вопросом о доступности кредита. В советской модели руководители государственных предприятий практически являлись единственной группой, имевшей такой доступ. В других обществах возможности различных групп прибегать к кредиту определяются взаимодействием стратегий правительства и решений финансовых институтов. Во многих странах ключевым политическим вопросом является доступ к кредитным ресурсам фермеров, владельцев малых предприятий, кооперативов работников, желающих приобрести жилье, и некоммерческих структур. Государства предпринимают целый

ряд инициатив, направленных на расширение доступа к кредиту, а также на прекращение различных дискриминационных практик – например, систематического отказа в кредите определенным категориям заемщиков.

Причина, по которой проблема доступа к кредиту столь важна, отчасти заключается в том, что рынки кредитования не подчиняются одному лишь закону спроса и предложения. Финансовые институты регулируют объемы кредитования, в том числе они постоянно принимают решения отказать кому-либо в кредите, даже если потенциальные заемщики готовы заплатить значительные проценты по ссудам, превышающие их обычный уровень. Эти ограничивающие решения всегда имеют экономическое основание: тот или иной заемщик может не иметь кредитной истории, надежных гарантий или достаточно сильного бизнес-плана, которые могли бы оправдать получение кредита. Однако при принятии таких решений кредиторы склонны во многом полагаться на сигналы, которые посылают им потенциальные заемщики. Расшифровка этих сигналов позволяет кредиторам тратить меньше времени на сбор информации о надежности различных заемщиков и вероятности успеха их предприятия. Подобное полагание на сигналы может приводить к систематическим отказам в кредите тем или иным предпринимателям, поскольку их предприятия не соответствуют требуемой организационной форме, а им не хватает нужных социальных или политических связей, или поскольку они принадлежат не к той тендерной, расовой, этнической или религиозной группе. И вновь правительства участвуют в этом процессе распределения кредитных ресурсов, поддерживая процедуры, используемые кредиторами, либо стремясь их изменить.

Одним словом, сложилась серьезная потребность в «социологии финансов», которая занялась бы систематическим изучением того, как и почему одни виды деятельности финансируются, а другие – нет, а также того, какими способами на это влияет государственная политика. В последнее время некоторые исследователи начали обращаться к этим вопросам [Hamilton, 1991], однако многое в данном направлении еще предстоит сделать.

Поддержание государственных границ

Поддержание территориальной целостности нации долгое время являлось основной задачей государства. В сущности, военные расходы и расходы на поддержание правопорядка исторически являлись главными элементами государственного бюджета, а развитие способности государства к наращиванию доходов было обусловлено именно этой потребностью бюджета [Schumpeter, 1918]. Едва ли следует пояснять, что проводимая тем или иным государством военная и налоговая политика имеет чрезвычайно важные экономические последствия. Отсутствие адекватных инвестиций в военную сферу, по стратегическим ли соображениям либо в силу ограниченности доходов, может привести к поражению в войне и разрушению значительной части хозяйственной инфраструктуры. Однако избыточное инвестирование в военно-промышленный комплекс также способно породить негативные последствия – будь то избыточные налоги или недостаточное развитие гражданских отраслей промышленности. Важное направление современных исследований посвящено вопросу о том, насколько избыточное военное производство ослабляет экономические возможности господствующих мировых держав [Kennedy, 1987].

Другой аспект проблемы поддержания национальных границ связан с ролью государства в определении потоков денег, товаров и рабочей силы, проходящих через государственные границы. Это классический образец серьезных различий между государствами, одни из которых позволяют этим потокам двигаться по воле рыночных сил, а другие пытаются заблокировать рыночные потоки административными мерами. Однако и здесь ситуация гораздо более сложна, чем это рисует старая парадигма, – очень уж трудно себе представить международную систему правительственного невмешательства в хозяйственные процессы.

Если рассмотреть, например, потоки рабочей силы, становится очевидным, что исторически лишь немногие страны полностью открывали свои границы, никак не регулируя приток иностранцев. Даже когда государства активно поощряли имми-

грацию, они поступали так не потому, что верили в глобальный свободный рынок труда. Они полагали, что высокий уровень иммиграции поможет им решить определенные национальные задачи, – например, ускорить экономический рост. Аналогично государства, позволявшие своему населению свободно эмигрировать за рубеж, как правило, поступали так, стремясь предотвратить кризисную ситуацию в стране; ведь сокращение численности населения обычно являет собой угрозу территориальной целостности нации. Словом, предоставление привилегий собственным гражданам по сравнению с иностранцами является частью внутренней организации современного государства.

Ряд проблем связан с межстрановыми различиями в политике охраны окружающей среды и политике в отношении прав человека и охраны труда. Необходимо ли для развития международной торговли, чтобы товары, произведенные с использованием труда детей или рабов, могли свободно конкурировать с товарами, произведенными наемными работниками, которые надежно защищены полноправными профсоюзами? Аналогично должны ли товары, произведенные в стране, где стандарты охраны окружающей среды весьма не развиты, свободно конкурировать с товарами, произведенными в странах со строгими нормами в отношении охраны окружающей среды?

Эти дилеммы встают особенно остро, когда дело касается перелива капитала через национальные границы. Конфликт между ролью государства в обеспечении адекватного национального предложения денег и кредита, с одной стороны, и идеей о том, что капитал должен иметь возможность по воле рыночных сил перемещаться через национальные границы – с другой, может быть весьма серьезным. Поланьи утверждает, что в XIX в. государства начали изыскивать способы предотвращения дестабилизирующего вывоза капитала, а в XX в. для его ограничения использовались еще более разнообразные инструменты [Polanyi, 1944]. Однако в последние годы этот конфликт усилился, поскольку стремительное распространение международных финансовых транзакций сопровождалось мощным давлением на государства, заставлявшим дерегулировать эти транзакции. Многие

правительства отреагировали на это давление отменой прежде установленного контроля над международным перемещением капитала.

Заключение

Предложенный анализ роли государства в сложных обществах с точки зрения концепции реструктурирования рынка позволяет также лучше понять неадекватность пяти концепций государства, описанных нами выше. И установление контроля над производственными активами, и определение прав и обязанностей в воспроизводимых отношениях, и обеспечение денежного обращения и кредита, и поддержание национальных границ можно описать в терминах общественных благ. Однако именно потому, что все эти роли могу выполняться столь многими способами, понятие государства общественных благ оказывается весьма слабым аналитическим инструментом. Предложенная Маршаллом концепция государства социальных прав также имеет серьезные недостатки, поскольку она не учитывает, что функция государства по определению прав и обязанностей разных социальных групп зародилась задолго до капитализма. Аналогично идея стабилизирующего государства упускает из виду неотъемлемую историческую роль государства в установлении уровня цен посредством влияния на системы денежного обращения и кредита. Наконец, есть причина полагать, что большинство государств стремятся стать государствами развития; при этом подлинная проблема заключается в различиях их возможностей и эффективности их политики.

Наиболее же существенное преимущество нового подхода состоит в том, что он переносит наше внимание на важные вопросы, касающиеся экономической роли государства. В традиционных формулировках поднимается только один вопрос: в какой степени те или иные общества полагаются на рыночное регулирование в противоположность государственному регулированию? Однако зачастую это вовсе не самый главный вопрос, вдобавок он уводит в сторону от изучения других важных вариаций государственного действия. Например, практически нет работ, в ко-

торых рассматривались бы способы, какими различные стратегии государства влияют на относительные возможности сторон отстаивать свои интересы в повторяющихся транзакциях. Концепция реконструирования рынка предлагает экономической социологии насыщенную и сложную программу исследований. Поскольку между старой парадигмой и реальными практиками, которые наблюдаются в обществах на протяжении последних пятидесяти или ста лет, имеются существенные расхождения, предстоит большая работа по изучению этих практик, сопоставлению их в зависимости от времени и региона, а также встраиванию их в новые теоретические схемы.

Литература

- Barro R. J.* Macroeconomic Policy. Cambridge: Harvard University Press, 1990.
- Block F.* Capitalism without Class Power // *Politics and Society*. 1990. Vol. 20. No. 3. P. 277–303.
- Block F.* Postindustrial Possibilities: A Critique of Economic Discourse. Berkeley: University of California Press, 1992.
- Cohen M. R.* Property and Sovereignty // *Cornell Law Quarterly*. 1927. Vol. 13. No. 1. P. 8–30.
- Commons J. R.* Legal Foundations of Capitalism. Clifton, NJ: Augustus M. Kelley. [1924] 1974.
- Dore R.* Flexible Rigidities: Industrial Policy and Structural Adjustment in the Japanese Economy. London: Athlone Press, 1986.
- Friedman M., Schwartz A. J.* A Monetary History of the United States, 1867–1960. Princeton: Princeton University Press, 1963.
- Gerschenkron A.* Economic Backwardness in Historical Perspective. Cambridge: Harvard University Press, 1962.
- Gouldner A. W.* The Two Marxisms: Contradictions and Anomalies in the Development in Theory. N.Y.: Seabury Press, 1980.
- Hall P. A.* (ed.) The Political Power of Economic Ideas: Keynesianism across Nations. Princeton: Princeton University Press, 1989.
- Hamilton G.* Business Networks and Economic Development in East and South-east Asia. Hong Kong: Centre of Asian Studies, 1991.
- Kennedy P.* The Rise and Fall of the Great Powers. New York: Vintage Books, 1987.
- Marshall T. H.* Citizenship and Social Class and Other Essays. Cambridge: Cambridge University Press, 1950.
- Marx K.* Capital / Transl. and ed. by E. Paul, C. Paul. New York: E. P. Dutton, [1867] 1930.

Pearce D. W. The MIT Dictionary of Modern Economics. Cambridge: MIT Press, 1986.

Polanyi K. The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time. Boston: Beacon Press, [1944] 1957.

Reich R. The Work of Nations: Preparing Ourselves for 21st Century Capitalism. New York: Knopf, 1991.

Roemer J. Can There Be Socialism after Communism? // Politics and Society. 1992. Vol. 20. P. 261–276.

Schumpeter J. The Crisis of the Tax State // Joseph A. Schumpeter: The Economics and Sociology of Capitalism / R. Swedberg (ed.). Princeton: Princeton University Press [1918] 1991. P. 99–140.

Skocpol T. States and Social Revolutions. Cambridge: Cambridge University Press 1979.

Smith A. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. 2 Vo.: Oxford: Clarendon Press, [1776] 1976.

Weber M. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology / G. Roth, C. Wittich (eds.); Transl. and ed. by E. Fischhoff et al. 2 vols. Berkeley: University of California Press, [1922] 1978.

Zysman J. Governments, Markets, and Growth: Financial Systems and the Politics of Industrial Change. London: Cornell University Press, 1983.

Перевод с английского М. С. Добряковой

ДОББИН Фрэнк (DOBBIN Frank)

(р. 1956)

Фрэнк Доббин (р. 05.12.1956, Остин, Техас, США) – один из ведущих экономических социологов в сфере изучения национальных промышленных стратегий. В 1980 г. окончил Колледж в Оберлине, получив степень бакалавра искусств, а в 1987 г. – Стенфордский университет, получив степень доктора социологии.

В настоящее время Ф. Доббин является профессором Отдела социологии Гарвардского университета. Читает курсы: «экономическая социология»; «комплексные организации: менеджмент, бюрократия и работа»; «техники и методы социальной науки»; «мини-семинар по социальной стратификации». По состоянию на 2001 г. Ф. Доббином опубликовано 4 профильные статьи и 4 научные монографии. Профессиональные интересы: комплексные организации, стратификация, экономическая социология, публичная политика, сравнительная историческая социология.

По мнению Ф. Доббина, американская социология, в отличие от экономической теории, является полипарадигмальной дисциплиной.

За ключевые позиции в рамках экономической социологии борются три основные парадигмы: теории конфликтов и власти, идущие от К. Маркса; концепции идентичности и социальной среды, берущие начала у Э. Дюркгейма; институциональные течения, восходящие к работам М. Вебера. Современная экономическая социология по-прежнему следует этим трем направлениям.

Основные работы: «Формирование промышленной политики» (1994); «Встреча экономики и социологии в стратегическом менеджменте» (2000); «Социология экономики» (2004); «Новая экономическая социология» (2004).

В предлагаемых фрагментах книги «Формирование промышленной политики» цель автора заключается в том, чтобы скептически взглянуть на понятия индустриальной рациональности, попытаться проследить их истоки в социальных практиках и истории, вместо того чтобы объяснять их происхождение существованием внешних рационализированных принципов, правящих этим миром.

ДОББИН ФРЭНК

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ¹ **(Фрагменты книги)**

Политическая культура и индустриальная рациональность

<...>

Выводы

Введение

Я начал с утверждения о том, что к XX веку США, Франция и Великобритания выработали чрезвычайно различные стратегии промышленного роста, которые сохранились и поныне несмотря на серьезные политические изменения. Параллели между современными парадигмами промышленной политики этих наций и их традиционными парадигмами политического устройства просто удивительны. Многие авторы воспринимают параллели

¹ Доббин Ф. Формирование промышленной политики // Западная экономическая социология: Хрестоматия современной классики / сост. и науч. ред. В. В. Радаев. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. – С. 607–631 (в сокр.). Пер. с англ. М. С. Добряковой и др.

между политическими и хозяйственными системами наций как некую данность и используют такие общие термины, как политика *laissez-faire*, либерализм, стейтизм (*statism*), авторитаризм, для описания сразу обеих систем. Моя задача состояла в том, чтобы показать неочевидность таких параллелей; я предположил, что раскрытие их связи является ключом к пониманию того, почему между нациями сохраняются различия в проводимой политике. Изучая влияние государственных институтов начала XIX в. на последующее развитие политики в области железнодорожного хозяйства, я попытался понять, каким образом индустриальные культуры начали походить на политические культуры. При этом я не утверждаю, что парадигмы промышленной политики, сложившиеся в этих странах, были предопределены политической культурой, – напротив, в США самая первая парадигма промышленной политики была отвергнута и в течение XIX в. заменена другой. Скорее, мне хотелось показать, что, выделяя одни социальные процессы как конституирующие для существующего порядка, а другие – как деструктивные, институционализированная политическая культура формировала типы индустриальных практик, которые нации пытались создать, и практик, возникновение которых они пытались предотвратить. Иными словами, придавая символическое значение определенным причинно-следственным связям в социальной жизни, политическая культура формировала средства, которые использовались нациями для достижения целей промышленной организации и роста.

Я не буду обращаться к межстрановым сопоставлениям, а остановлюсь на теоретических выводах исследования. Последние позволяют предположить, что взгляд на современность с позиций социального конструктивизма, отказывающийся от привычных описаний процесса выработки политических решений (*policymaking*), как они представлены в современном мировоззрении, ведет нас к нетрадиционному пониманию этого процесса. Это понимание существенно отличается от доминирующих в социальных науках парадигм, и едва ли его можно отстоять на ограниченном пространстве одной небольшой книги. Поэтому

моя цель заключалась не в систематических доказательствах несостоятельности существующих теорий, а в предложении некоторых свидетельств в поддержку альтернативного взгляда на роль культуры, политики, экономики и институтов в процессе построения политики в современных рационализированных национальных государствах. Прежде чем перейти к анализу роли рационализированного смысла в каждой из этих сфер, я продемонстрирую исторические выводы, вытекающие из основной идеи книги.

Возникновение парадигм промышленной политики

Несомненно, политическая культура влияла на то, как нации понимали и институционализировали экономическую рациональность. В каждой стране традиционные государственные институты поддерживали одни социальные практики и подавляли другие, представляя одни из них конституирующими существующий порядок, а другие – разрушающими его. Сталкиваясь со стремительными изменениями в сфере хозяйства, политики пытались перенести принципы политического порядка в промышленную сферу. Так логика политической организации становилась логикой промышленной организации. В целом, государства достигали искомого политического порядка, предоставляя суверенные права местному сообществу, централизованному государству или индивиду. В каждом случае политические институты символически обозначали возможный контроль со стороны других сфер как угрозу существующему порядку.

Американская политическая культура символически обозначила суверенитет местного сообщества как средство достижения политического порядка, и на ранних этапах политика в отношении железных дорог представляла контроль местного сообщества за планированием и финансированием в этой сфере в качестве ключа к достижению искомого хозяйственного порядка. Эти ранние стратегии были нацелены на то, чтобы воспрепятствовать контролю над отраслью со стороны влиятельных частных акторов и центральной политической власти. Однако, когда вместо этого подобные стратегии начали укреплять

скрытую власть фирм и местных правительств, американцы перешли к новой парадигме в политике. Согласно новой парадигме центральное государство (*central state*) превращалось в рыночного арбитра, и в результате власть вновь была передана гражданскому обществу, но в данном случае – воплощенному в рыночных силах, а не в городских собраниях. И к концу столетия США выработали четкую концепцию экономической рациональности, ориентированную на рынок.

Французская политическая культура конструировала суверенитет государства в качестве ключа к политическому порядку. И в железнодорожной политике государственный контроль над планированием, финансированием, координацией и конкуренцией был представлен как необходимое условие достижения искомого хозяйственного порядка и рациональности. Во французской политической жизни частные посредники, которые могли вмешаться в прямые отношения суверенитета (*direct relationship of sovereignty*) между государством и гражданином, представлялись как угроза политическому порядку, и в результате частные агенты, корпорации и местные правительства были отстранены от принятия политических решений. В свою очередь, французские стратегии в сфере железнодорожного хозяйства, нацеленные на то, чтобы не допустить передачи контроля над отраслью автономным частным акторам и бездумным рыночным механизмам, органично влились в концепцию экономической рациональности. Таким образом, ключевая идея военного абсолютизма, состоящая в том, что для достижения порядка государство должно регулировать развитие частной сферы (*privatism*), стала формировать и промышленные институты. К началу XX в. французы сформировали представление об экономической рациональности, согласно которому правительственный дирижизм (*state concertation*) частных, своекорыстных действий выступал обязательным условием роста.

В британской политической культуре ключом к искомому политическому порядку считался неотчуждаемый суверенитет индивида, и соответственно в железнодорожной политике ключом к искомому хозяйственному порядку и рациональности вы-

ступал контроль предпринимателей за планированием, финансированием, координацией и конкуренцией в этой сфере. Британские политические институты отвергали полномочия власть имущих, государства и администрации, передавая их отдельным гражданам (*individuals*) и их представителям в парламенте. Аналогичным образом железнодорожная политика была выстроена так, чтобы: не допустить контроля над всей сферой со стороны доминирующих железнодорожных компаний, ограничить их деятельность и предупредить возможности экспансии; не позволить государственным чиновникам диктовать свои условия железным дорогам; оградить фирмы от рыночных сил и сопряженной с ними изнурительной конкуренции. Со времен Адама Смита и до конца XIX в. представления британцев об институциональном оформлении рациональности изменились слабо: по-прежнему в качестве основы виделось свободное следование множеством предпринимательских фирм собственному экономическому интересу. Впрочем, изменилось представление о роли государства, по мере того как идеология *laissez-faire* уступила место идеологии, в соответствии с которой государство должно активно защищать предпринимателей.

В каждом случае мы имеем уникальный пример институционализации рационализованного смысла в публичной политике (*public policy*). История американских железных дорог показывает, как изменения могут объясняться при помощи конструктивистского подхода к рациональности. На смену первоначальной промышленной парадигме активного, построенного на соперничестве местного самоуправления пришла парадигма пассивного поддержания рыночных механизмов. Почему так произошло? Американцы не видели ничего дурного в активном местном самоуправлении как таковом, однако порою оно порождало негативные эффекты концентрированной власти (например, монополистическое ценообразование и коррупцию). Поскольку политические институты США представляли концентрацию власти как явление, вредное для политического порядка, американцы считали эти практики порочными и всячески стремились положить им конец. Таким образом, первоначальная промышленная

парадигма США изменилась потому, что она порождала непредвиденные порочные практики. Парадигмы политики могут меняться и в силу других причин. С одной стороны, они подвергаются частой и все более существенной корректировке – во многом подобно тому, как корректируются научные парадигмы после проверки вторичных гипотез. Например, в течение последних двух десятилетий американские политики проверяли гипотезу о том, что рыночные механизмы повышают эффективность работы даже в таких олигополистических секторах с высокими постоянными издержками, как воздушный транспорт и телекоммуникации. С другой стороны, подобно научным парадигмам, парадигмы политики особенно подвержены изменениям в условиях, когда опровергаются положенные в их основу причинно-следственные отношения. Например, в начале Великой депрессии государства быстро приняли новые промышленные стратегии, полагая, что их традиционные парадигмы вели к обратным результатам [Dobbin, 1993].

Пример Франции иллюстрирует утверждение Токвиля о том, что *политическая культура* (понимаемая в узком смысле как институционализируемая логика порядка) определяется не только *политической идеологией*. Например, один и тот же набор политических практик и смыслов вполне может сочетаться с несколькими различными идеологиями. Во Франции традиционная политическая культура пережила несколько революций и изменений режимов, приводящих к власти группы с весьма различными идеологиями. Оказалось, что институты централизованного технократического правления одинаково работают и в империи, и в монархии, и в республике. И напротив, та или иная идеология может предполагать различные наборы практик и смыслов. Так, демократическая идеология связывалась и с децентрализованной федеральной структурой управления в США, и с централизованной государственной структурой во Франции. Демократия возможна при различных политических культурах, при этом в каждой стране демократы-теоретики считают свои политические традиции *необходимыми* для ее утверждения. Таким образом, институциональные модели политического порядка пе-

режили переход от колониального к демократическому правлению в США, от монархии к викторианской демократии в Великобритании и от абсолютизма к республике во Франции. Поскольку идеи, касающиеся причинно-следственных механизмов, лежащих в основе социального и хозяйственного порядка, можно отделить от идеологии, уже несложно понять, каким образом политические группировки с весьма различными идеологиями приходят к одинаковому видению того, как достичь искомого политического устройства и индустриальной рациональности. Так, в Америке и левые, и правые могут верить в эффективность рыночных механизмов, а их французские коллеги – в эффективность государственного дирижизма.

Пример Великобритании позволяет отметить два важных момента. Во-первых, контраст между Великобританией и США показывает, что различия между нациями едва ли можно описать при помощи континуума «государство – рынок». Обе нации придерживались политики *laissez-faire* и вывели контроль за промышленностью из сферы ведения государства, однако передали его при этом в совершенно разные руки и сконструировали индустриальную рациональность совершенно по-разному. Американская политика была нацелена на укрепление рыночных механизмов за счет неизбежного уничтожения множества мелких фирм; британская же политика сводилась к поддержанию мелких фирм против картелей, жертвуя тем самым рыночными механизмами. Впрочем, моя задача видится не в том, чтобы заменить дихотомию «государство – рынок» трихотомией «государство – рынок – фирма», а в том, чтобы показать, что подобная дихотомическая схема может быть неадекватной для объяснения различий в политике разных наций. Вместо этого я предложил метод изучения парадигм политики. Во-вторых, контраст между Великобританией и Францией подчеркивает, что в XIX в. железнодорожная политика являлась прямым продолжением доиндустриальных стратегий строительства каналов и дорог, а не рациональной реакцией на особые экономические характеристики отрасли, как это склонны утверждать экономические историки. Тот факт, что железнодорожные стратегии государств

существенно различались, будучи при этом практически идентичными стратегиям строительства каналов в этих государствах, заставляет усомниться в утверждениях экономических детерминистов. Кроме того, все три страны перенесли эти стратегические парадигмы и на другие новые отрасли – даже те, где не было ни одной из специфических экономических особенностей железнодорожной промышленности: высокого уровня постоянных издержек, специфичности активов, малого числа прямых конкурентов. Например, в электронной промышленности в послевоенный период США вводили ценовую конкуренцию, Франция консолидировала сектор и управляла процессами экспансии, а Великобритания поддерживала существующие фирмы [Dobbin, 1992b]. Оказывается, что промышленная политика в большей степени ориентирована на прошлые практики, нежели на сегодняшние особые хозяйственные потребности отрасли.

Разработка культурных моделей политики сегодня происходит несколько иначе, чем это было в XIX в. В раннюю эпоху железнодорожного строительства понятие промышленной политики было неизвестно, и те, кто принимали решения, были вынуждены полагаться на принципы каузальности, заимствованные преимущественно из социальной жизни. Сегодняшние политики по-прежнему копируют стратегии, однако теперь они могут опираться на опыт промышленных парадигм, которые внедрялись и совершенствовались на протяжении столетия. Стратегия применения сконструированных принципов каузальности остается прежней, однако процесс поиска значительно упростился.

Далее я перейду к более общим теоретическим выводам исследования, которые позволят показать роль рациональности в современных культуре, политике, экономике и институтах.

Культура и рациональность

Рационализированный культурный смысл (*rationalized cultural meaning*), воплощенный в институтах публичной политики рассмотренных трех наций, оказался более *коллективным* и *структурным*, чем это предполагают гипотезы о «национальном характере» и другие распространенные культурологические подходы.

Эти теории ограничивают культуру и культурную преемственность когнитивными рамками индивида. В истории же железнодорожной политики культурный смысл связывается непосредственно с реальными социальными практиками. Смысл оказался более *институциональным*, чем представления о коллективной политической восприимчивости в гегелевских терминах Духа (*Geist*) и мировоззрения (*Weltanschauung*). В принципах промышленной эффективности, институционализировавшихся в этих странах, не было ничего сверхъестественного, хотя во всех этих странах акторы полагали, что трансцендентальные законы экономической рациональности, эти воплощения Духа, отражены в современных институтах. Оказалось, что смысл – в большей степени продукт активного конструирования, нежели это считается согласно рефлексивным теориям культуры, с позиций которых она предстает лишь как зеркало социальной реальности. Мы видели, что люди активно пытаются понять политические структуры, чтобы выделить принципы, на основе которых затем организовывать и индустриальную жизнь. В русле этих усилий люди заново интерпретировали историю с телеологических позиций, и оказывалось, что она порождала идеализированные, совершенно рациональные социальные и хозяйственные институты. Смысл оказался более *изменчивым* и *случайным*, чем это предполагается социальными науками в их трактовках хозяйственной культуры. Ключевые принципы экономической рациональности существенно варьируются от страны к стране. Как правило, предполагается, что хозяйственная культура подвергается лишь поверхностному воздействию культурных практик или социальных сетей. В нашем же случае оказалось, что культурные практики затрагивают ее самый глубинный уровень, и это позволяет предположить, что основные правила экономической рациональности, постулируемые неоклассической теорией, – не более чем абстракции, выстроенные на базе одного-единственного убедительного примера, и возможны также иные наборы абстракций, выстроенных на основе других, не менее эффективных социальных систем. Словом, полученные результаты добавляют аргументы в дискуссии по поводу культуры

и смысла; при этом, пожалуй, самый серьезный вызов брошен нынешним представлениям о рациональности. Эти аргументы сводятся к тому, что рациональность имеет семиотическое измерение, которому социальные науки не уделяли достаточного внимания, ибо рациональность считалась скорее прозрачной и самоочевидной, нежели содержащей самостоятельный внутренний смысл.

Политика и рациональность

Реализм в сфере построения политики начинается с посылки о том, что ее выбор отражает волю соперничающих социальных групп с различными материальными интересами. Такой подход строится на идее о том, что политические коллективы формируются вокруг естественным образом складывающихся хозяйственных групп, что эти группы выражают и преследуют объективные материальные интересы и что выбор политики отражает относительный политический вес конкурирующих групп. История развития железных дорог позволяет несколько иначе взглянуть на эти политические процессы.

Группы интересов существуют изначально или конструируются?

Откуда возникают группы интересов? Большинство политических аналитиков считают, что они отражают хозяйственные фракции, стихийно возникающие по мере развития капитализма. Предполагается, что капитализм развивается согласно своей собственной внутренней динамике; следовательно, группы интересов порождаются силами, внешними по отношению к государству. Однако данные, приведенные в этой книге, показывают, что группы интересов конституируются характеристиками отдельных государств, — так было в эпоху обсуждения самых первых регулятивных законов. В США соперничество между штатами побудило торговцев, производителей и фермеров региона объединяться и вместе выступать за развитие каналов и железных дорог. Во Франции в ранние периоды политика в отношении общественного транспорта сформировала влиятельную

группу государственных инженеров, поддерживавших развитие железных дорог точно так же, как они поддерживали развитие всех прочих видов транспорта. Британская политика *laissez-faire* в сфере транспорта привела к появлению сильной группы частных владельцев каналов, выступавших против выдачи разрешений на строительство железных дорог. И выстраиваемая политика была подчинена целям этих групп. В ответ на поддержку транспортной сферы региональными элитами американские штаты поддерживали развитие железных дорог, раздав права на их строительство всем желающим; в ответ на требования государственных бюрократов, жаждавших контроля над железными дорогами, Франция выдавала разрешения только на строительство веток, спланированных государственными инженерами; сталкиваясь с противодействием со стороны операторов водных каналов, Великобритания требовала тщательного уточнения инженерных расчетов будущих железнодорожных веток. Группы интересов несомненно играли важную роль в построении политики, однако сами эти группы во многом являлись продуктом институтов политики (*policy institutions*) [DiMaggio, 1988; Dobbin, 1992a].

Объективны или субъективны интересы?

Теоретики рационального выбора и прочие исследователи проблемы интересов высказывали идею о том, что стихийно возникающие группы интересов движимы *объективными* материальными интересами, и показывали, что люди стремятся реализовать свои предсказуемые материальные предпочтения при помощи столь же предсказуемых стратегий. Их критики подошли к анализу теории экономического интереса с разных сторон, утверждая, что не всякая цель по сути своей экономическая (существует, например, любовь) и не всякое поведение служит только собственному интересу (существует и альтруизм), однако они не затронули ключевых идей об интересах и рациональности. Я попытался показать, что даже в случае экономической максимизации полезности «объективные» интересы обусловлены локальными, социально сконструированными представлениями

об эффективности. Таким образом, «объективные» интересы в значительной степени субъективны, поскольку подчинены культурным представлениям нации о рациональности и эгоистическом интересе. Иными словами, национальные институты воплощают самые разные идеи о том, как действует экономическая рациональность, и эти идеи влияют на представления людей об их собственных интересах. Наиболее убедительным доказательством, опровергающим то, что предпочтения в сфере политики опираются на «объективные» интересы, является тот факт, что в разных странах в железнодорожном хозяйстве проводилась совершенно различная политика в каждой из четырех ключевых сфер². Рассмотрим, например, сферу финансов. Казалось бы, каждой железнодорожной компании выгодно поощрять любую помощь со стороны государства. Тем не менее, поскольку американцы полагали, что конкуренция между регионами (*localities*) подстегнет конкуренцию в целом, а действия на федеральном уровне будут лишь провоцировать взяточничество, большая часть американских железнодорожных компаний одобрительно относились к финансовой поддержке со стороны штата и местной власти, но не к федеральной поддержке. Французы же полагали, что экономический рост должен направляться централизованным государством, и французские железнодорожные компании поддерживали государственное финансирование из центра, но избегали при этом финансирования на местном уровне, считая его иррациональным. Британцы, в свою очередь, верили, что любое вмешательство правительства неэффективно, и британские железные дороги противились правительственному финансированию в любой форме. Эти и другие представления о том, в чем же состоит собственный интерес, очевидно, сформированы под влиянием национального контекста.

Предположить, что агенты в сфере железнодорожного сообщения должны иметь прогнозируемые, универсальные предпочтения в области политики, означает выставить исследования групп интересов в карикатурном свете. И если для того чтобы

² Имеются в виду планирование, финансы, техническая и управленческая координация, ценообразование и конкуренция.

предсказать, как будут осознаваться и затем преследоваться «объективные» материальные интересы, необходимо знать национальный контекст, то возможно, он заслуживает своего места и в теориях интереса. В сущности, на многих этапах истории развития железных дорог мы гораздо лучше могли предсказать предпочтения в политике того или иного индивида на основании его национальности, нежели на основании его отношения к средствам производства.

Всегда ли побеждает сильнейшая группа?

Исследователи групп интересов изначально убеждены, что выбор политики отражает волю наиболее сильной группы интересов или коалиции. В результате возникает весьма неудачная тавтология: группа, которая хочет провести свои интересы, должна располагать наибольшим объемом власти. В подкрепление своей теории исследователи групп интересов анализируют случаи, когда кажется, будто влиятельные группы проигрывают важные сражения и доказывают, что какая-то другая группа в действительности была более сильной (стратегия один) или что избранная политика на самом деле была одобрена наиболее влиятельной группой (стратегия два). В качестве примера можно привести дебаты по поводу Акта о регулировании торговли между штатами (*Act to Regulate Interstate Commerce*), против которого выступали влиятельные железнодорожные компании. Следуя первой стратегии, армия аналитиков пыталась показать, что группы фермеров, торговцев, нефтяников, вместе или порознь, на самом деле имели больший политический вес, чем железнодорожники, и поэтому выиграли битву за регулирование железных дорог. Габриэль Колко позднее пытался разрешить эту дилемму при помощи второй стратегии, утверждая, что к моменту принятия акта железнодорожники уже одобрили проект регулирования [Kolko G., 1965]. Я же, напротив, полагаю, что ведущие железнодорожные компании обладали огромным политическим влиянием, но проиграли схватку, которую считали для себя очень важной. В результате был принят акт, запрещавший фиксированные цены, в то время как железные дороги выступали

за их легализацию. Тем не менее они потерпели поражение, поскольку в запасе у их противников было непобедимое риторическое оружие, затрагивавшее самые основы политической культуры. Американские государственные институты представляли концентрацию власти как угрозу сложившемуся политическому порядку и всячески стремились ее не допустить. Сторонники регулирования привели убедительный аргумент: государство должно не допустить концентрации власти в промышленной сфере точно так же, как оно не допускает ее в сфере политической.

Быть может, подобный исход кажется очевидным, но на него тем не менее стоит обратить внимание, если учесть, сколь популярна проблематика групп интересов в социальных науках. Сильные группы интересов постоянно проигрывают политические баталии, и зачастую это происходит именно потому, что политическая культура подсказывает их противникам убедительные аргументы, практически не оставляя возможностей для их опровержения. Дело в том, что институционализированная политическая культура не только *предписывает* то, как достичь определенных социальных целей, но и *предостерегает* против социальных практик, которые могут оказаться разрушительными и неэффективными. Эти предписания и предостережения и являются кирпичиками при построении риторических стратегий, которые зачастую сами в значительной степени институционализированы. Разного рода риторические ресурсы позволили клиентам американских железных дорог не допустить образования картелей, утверждая, что это приведет к неприемлемому уровню концентрации власти. Британские железные дороги теми же средствами сумели достичь противоположного результата — поддержать образование картелей, утверждая, что они защитят основных железнодорожных предпринимателей от хищнической ценовой конкуренции. А французские технократы отстаивали созданные государством монополии, заявляя, что централизованное управление увеличит эффективность. Сегодня с учетом распространенных в США идей по поводу рациональности и связанных с ними риторических ресурсов трудно представить, что та или иная отрасль американской промышленности, сколь бы

политически влиятельной она ни была, сумеет на федеральном уровне провести политику, которая позволит создать хотя бы одного-единственного монополиста, «национального чемпиона», — в то время как французы делают это регулярно. Отчасти это происходит потому, что согласно американским представлениям о рациональности такая политика выглядит иррациональной, но также и потому что трудно себе представить, какие аргументы могла бы предложить отрасль в пользу такой политики.

Экономическая теория и рациональность

Многие исследователи политики начинают с посылки о том, что миром управляют трансцендентальные экономические законы, и рассматривают ее как реакцию на эти законы. В первой главе данной книги говорилось, что вера в существование внешних экономических законов есть артефакт современной рационализированной смысловой системы, где социальная реальность подчиняется некой общей теории, которая сродни физической. Против подобных экономико-детерминистских утверждений выдвигаются два контраргумента. Во-первых, существуют данные о том, что стратегии, построенные на основе весьма различных экономических принципов, ведут к схожим результатам с точки зрения промышленного роста и преуспевания. Во-вторых, данные показывают, что экономические законы, обнаруженные в тех или иных национальных пределах, отражают не столько действие внешних, универсально-исторических законов, сколько институциональную историю этих наций.

Экономическая теория как естественная наука

Экономический детерминизм предполагает, что результаты политики отражают рациональное применение ее творцами естественных экономических принципов или же что в результате действия естественных законов происходит отбор оптимальных политик выживания. Возникновение в рассматриваемых странах трех совершенно различных политических стратегий и связанных с ними представлений об экономической рациональности заставляет усомниться в подобной логике. В каждой из этих

стран творцы политики, вопреки всякой логике, верили в эффективность именно своей уникальной национальной стратегии. Они были уверены, что понимают экономические законы, по которым развивается железнодорожное хозяйство, и что только строгое следование этим законам приведет к прогрессу. В то же время оттого, что каждая из наций не соблюдала экономические законы, действовавшие в двух других, железнодорожная отрасль во всех этих странах не погибла. Так, несмотря на убежденность французов в том, что передача планирования железных дорог в частные руки превратит железнодорожное сообщение в разьединенную, несвязанную и неэффективную систему, эта стратегия доказала свою работоспособность и в США, и в Великобритании.

Наиболее убедительным доказательством того, что экономические законы не определяют жестко понятия эффективности, является тот простой факт, что реализация радикально различающихся стратегий США, Франции и Великобритании позволила достаточно быстро сформировать в них скоростные, надежные и прибыльные транспортные системы. Несомненно, между этими системами были важные различия. Поощряя выход предпринимателей на рынок, Великобритания ускоряла строительство железных дорог; тщательное планирование маршрутов позволило Франции избежать избыточного предложения и перепроизводства транспортных услуг. И при этом ни одна из стратегий не потерпела серьезных провалов. В последние годы увеличивается число свидетельств, показывающих, что совершенно различные промышленные парадигмы могут вести к сходным темпам роста. В первые десятилетия XX в. проведение американской стратегии усиления ценовой конкуренции совпало с достижением высочайших темпов экономического роста – однако к такому же результату привела и германская стратегия поддержки картелей [Chandler, 1990].

После Второй мировой войны свою успешность доказала французская стратегия государственного промышленного планирования, однако не менее успешной оказалась и японская политика межфирменного сотрудничества, ориентированного на экс-

порт [Johnson, 1982; Shonfield, 1965]. Опыт Японии заставил западных аналитиков превозносить новую парадигму развития конкурентоспособности Юго-Восточной Азии как наиболее эффективную – до тех пор, пока Сингапур, Гонконг, Тайвань и Южная Корея не достигли тех же результатов, используя совершенно иные стратегии [Chiu, 1992; Deyo, 1987; Hamilton, 1988]. Всякий раз, когда аналитики думают, что они, наконец, нашли «наилучший путь» к экономическому росту, история преподносит им массу контрпримеров. Очевидный урок, который следует извлечь из всего этого, заключается не в том, что «все дороги ведут в Рим», но в том, что в действительности к нему ведут *многие* дороги. При этом несколько удивителен тот факт, что при наличии такого множества данных в пользу возможности роста на основе самых разных хозяйственных систем экономисты-теоретики продолжают верить в наличие единственного «лучшего пути» и продолжают придерживаться взглядов Адама Смита на этот путь. Не менее удивительно и то, что Латинская Америка и Восточная Европа следуют предписаниям Милтона Фридмана и Джеффри Сакса, чьи идеи опровергаются почти всеми последними примерами достижения экономического успеха. <...>

Экономические детерминисты не забывают подчеркнуть, что индустриализация стран проходила при очень разных режимах политики (*policy regimes*). Эти аргументы они увязывали со своей метатеоретической приверженностью общей экономической теории, утверждая, что оптимальные стратегии зависят от уровня развития страны и от ее места относительно стран, следующих данному пути развития: те, кто позднее встал на этот путь (*late developers*), нуждаются в более активном вмешательстве государства. Первая гипотеза (зависимость от уровня развития страны) опровергается данными о том, что за всю историю развития железных дорог стратегии США, Франции и Великобритании не следовали сколько-нибудь отчетливой модели. Вторую гипотезу (зависимость от относительного положения страны) можно опровергнуть двояким образом. Во-первых, согласно этой теории, правительство США, которые последними из анализируемых стран вступили на путь индустриального

развития, должно было бы более активно вмешиваться в экономику, чем правительство Франции. Этого не произошло. Во-вторых, один из выводов, которые можно сделать на основе рассуждений А. Гершенкрона, заключается в том, что в ходе индустриализации нации избирали различные степени вмешательства государства в хозяйственные процессы – в зависимости от потребностей своего развития. Однако в Великобритании и во Франции железнодорожная политика выросла непосредственно из политики в сфере строительства автодорог и каналов, использовавшихся еще в XVII в. Французские технократы взяли в свои руки развитие автомагистралей и каналов, чтобы обеспечить передвижение военного транспорта; и позднее государство взяло под контроль железные дороги скорее по привычке, нежели в результате рационального расчета. В целом утверждения Гершенкрона основаны на примерах интервенционистской политики, проводимой континентальными соседями Великобритании, позднее приступившими к индустриализации. Однако во Франции и других континентальных странах распространение промышленного интервенционизма объясняется скорее наследием абсолютистских государств, постоянно выдвигавших армии для защиты своих неустойчивых границ, нежели императивами позднего развития.

Социальные истоки хозяйственных принципов

Откуда же берутся столь четкие представления наций об индустриальной рациональности, если не из трансцендентальных экономических законов? Здесь можно указать на три процесса. Во-первых, в XIX в. все три рассматриваемые нации вменили существовавшим тогда социальным институтам определенные цели. По общим отзывам, на тот момент эти цели заключались в том, чтобы институты способствовали экономическому росту и помогали достичь: военного господства (абсолютистская административная система Франции); политической гармонии между соперничающими землевладельческими элитами (британская парламентская система участия); политического порядка в развивающихся колониях (американское местное самоуправление).

Каждая страна трактовала свои государственные институты так, чтобы они стали неотъемлемой частью позитивной, рациональной теории экономического роста. К началу эпохи железных дорог Жан-Батист Кольбер и Анри де Сен-Симон объявили, что государственный дирижизм – залог экономического роста по Франции: Адам Смит и Давид Рикардо указали на защиту экономических свобод как тактику экспансии Англии; а Томас Джефферсон и Эндрю Джексон признали децентрализованное управление и самоопределение местного сообщества основной стратегией достижения прогресса в США. Урок, который можно вынести из этого опыта, таков: в современном мире институты служат неким целям, и мы склонны полагать, что институты, выдержавшие проверку временем, должны отвечать нашим нынешним целям; не имея данных о дисфункциональности социальных институтов, мы считаем их функциональными, отвечающими нашим целям и конструируем теории о том, как они работают.

Во-вторых, парадигмы промышленной политики на рубеже веков продемонстрировали удивительную устойчивость. Я предположил, что отчасти это произошло в силу того, что, вырабатывая эти парадигмы, нации проводили в жизнь стратегии, поддерживавшие политический порядок и свободы как необходимое условие роста. Каждая нация выработала индустриальную идеологию, соответствовавшую ее политической культуре, поскольку политика, которую она избирала для защиты политических прав, связывалась в сознании граждан с экономическим ростом. В США ограничения торговли ассоциировались с политической тиранией, и политика, проводимая для защиты свободы путем снятия ограничений в сфере торговли, вскоре стала рассматриваться как позитивная мера, способствующая экономическому росту. Во Франции железнодорожная политика, построенная так, чтобы не дать сильным частным предприятиям вмешиваться в отношения политического суверенитета между государством и его гражданами, вскоре стала изображаться как принципиально важная для единства отрасли и ее эффективного развития. Опека со стороны государства стала, таким образом,

позитивным предписанием для индустриальной рациональности. В Великобритании стратегии, призванные защитить политические свободы граждан-предпринимателей, избавив их от хищнической конкуренции, вскоре стали представлять в качестве неотъемлемой части хозяйственной системы, выживание которой зависит от существования множества мелких фирм. Таким образом, в США политическая свобода стала ассоциироваться со свободной рыночной конкуренцией; во Франции попытки поставить интересы нации выше частных интересов оказались связанными с рационализирующим промышленным дирижизмом; а в Великобритании укрепление гражданских прав сопрягалось с поддержкой динамичного малого предпринимательства. Поскольку парадигмы промышленной политики ассоциировались со стратегиями, призванными поддерживать политический порядок и свободы, они становились устойчивыми к изменениям. Изменение парадигмы промышленной политики теперь требовало новой трактовки политического порядка. В США Рузвельт столкнулся с этим во время Великой депрессии, попытавшись заменить антимонопольные законы и законы регулирования железных дорог политикой, разрешавшей образование картелей: он обнаружил, что при этом должен сформулировать и новую риторику демократии, делающую больший акцент на сотрудничество и коллективизм [Dobbin, 1993].

Не все парадигмы политики столь тесно связаны с поддержанием политического строя. Например, большинство стран отделили макроэкономическую политику от политической культуры, что позволило им трактовать фискальную и монетарную теории как совокупность непривязанных к какой-либо нации, опровергаемых гипотез. Одним из результатов стало то, что нации смогли достаточно легко отказаться от ортодоксальной макроэкономической политики и после Великой депрессии заменить ее кейнсианством [Gourevitch, 1986; Hall, 1992].

Третье доказательство социального происхождения экономических принципов заключается в том, что помимо интерпретации стратегий (когда экономическая эффективность предполагала соответствие политическим целям) эти нации приспособливали

каузальные связи, которые им удавалось обнаружить в политических институтах, к задачам экономического роста. В США источником политического порядка выступал местный суверенитет при нейтральной федеральной надстройке. Американцы сначала распространили на промышленность принцип местного суверенитета и увязали его с политикой интервенционизма, а затем – и принцип нейтрального федерального надзора и внедряли стратегии, которые превратили правительство в нейтрального арбитра свободного рынка. Во Франции основой политического порядка было централизованное государственное регулирование военной и политической сфер. Французы распространили этот принцип и на промышленную сферу, развив его в течение XIX в. таким образом, чтобы он сочетал государственный контроль и частную инициативу. В Великобритании источником политического порядка выступало экономически слабое центральное государство, защищавшее политические свободы граждан. Британцы обобщили этот принцип, осознанно выработав промышленные стратегии невмешательства, призванные защищать свободу индивидов, способствуя экономическому порядку и росту. <...>

Соответственно трудные экономические времена зачастую толкают даже успешные нации к поискам новых промышленных стратегий. В 1960-е годы Великобритания экспериментировала с несколькими моделями государственного планирования – последним криком моды среди экспертов в области промышленной политики. Однако когда ни одна из них не помогла хозяйству оправиться от трудностей, страна вернулась к своим традиционным (хотя и неудачным) стратегиям, отказавшись от новых (столь же неудачных). Во Франции политические группы, от самых правых до самых левых, начиная с 1980-х годов, превозносили достоинства приватизации. Возможно, в долгосрочной перспективе приватизация оказала бы на Францию более существенное влияние, чем планирование на Великобританию, однако исторический опыт позволяет предположить, что все эти международные тенденции едва ли способны значительно и постоянно воздействовать на выработку парадигм промышленной политики в развитых капиталистических странах.

Институты и рациональность

Как действует зависимость от первоначально избранного пути (*path-dependence*)? Иными словами, как выбор политики нации в момент времени t влияет на ее выбор политики в момент времени $t+1$? Новый институциональный / стейтистский (*institutional/statist*) подход к сравнительной политике предполагает, что старые политические стратегии рождают схожие новые стратегии, формируя особые *организационные каналы* (*organizational avenues*) для решения проблем. Я попытался показать, что при этом подходе уделяется недостаточно внимания тому, как существующие ныне стратегии формируют то, что *воспринимается с точки зрения культуры* (*culturally conceivable*). Институционализированные политические стратегии влияют на то, как мы воспринимаем причины и следствия, и этот процесс не менее важен, чем то, что эти стратегии обеспечивают организационные каналы для действия. В нашей книге неоднократно говорилось о том, что разделить результаты действия организационных характеристик и культурных предписаний отнюдь не просто; эта задача связана с самой сущностью социальной структуры и смысла. Социальные практики институционализируются, лишь обретая коллективный смысл, т. е. акторы воспроизводят практики, только если они воспринимают цели этих практик. Следовательно, всякая структура (или упорядоченная социальная практика) имеет свой смысл. На эмпирическом уровне трудно разделить структурные и культурные элементы, поскольку все они связаны и в результате в любой стране движутся в одном и том же направлении. Так что нет стран, о которых можно было бы сказать, что они переняли ориентированную на рынок культуру США или же ориентированную на государство структуру Франции. Нет стран, изучая которые можно было бы понять, какой же фактор сыграл роль причины. Но хотя рассматривать структуру и культуру как два разных измерения не имеет большого смысла [Sewell, 1992], на некоторых этапах работы я пытался аналитически их разделить, чтобы учесть аргументы против культурно-ориентированного подхода. <...>

Институционалисты предполагают, что когда нации сталкиваются с новыми проблемами, они скорее развивают уже существующие институты, нежели строят новые. В результате институциональные структуры влияют на выбор стратегии [Weir, Skocpol, 1985]. Некоторые факты подтверждают эту гипотезу в отношении Франции: страна передала управление железными дорогами компании «Мосты и шоссе» (*Pontset Chaussees*), в ведении которой находились каналы и автомагистрали. Однако подобные факты можно интерпретировать и иначе – как особый случай в управлении, когда при решении новых проблем политики воспроизводят логику, укорененную в уже существующей политике. Они могут делать это, используя существующие институциональные рамки; в тех же случаях, когда это невозможно, учреждаются новые институты. В США для управления железными дорогами правительства штатов сформировали новые агентства, скопировав логику регулирования банковских комиссий (*banking commissions*). В Великобритании парламент создал новую структуру для управления железными дорогами, скопировав логику ранее существовавшей фабричной инспекции. Одним из результатов подобного копирования логики в рамках этих наций является то, что промышленные институты обрели здесь некую каузальную обоснованность (*causal coherence*). Модифицированные на основе стратегий других отраслей железнодорожные стратегии, оказавшиеся успешными, впоследствии были скопированы другими секторами. Железные дороги, как и ряд других, рано сложившихся отраслей, послужили экспериментальной площадкой для современных промышленных стратегий; те, что признавались успешными, активно перенимались разработчиками стратегий и в XX столетии.

Интересное замечание в связи с этим высказывает Джон Зисман: национальные финансовые системы, охватывающие и государственные, и частные организации, определяют границы промышленных стратегий этих государств [Zysman, 1983]. Например, страны, не имеющие государственных банков, едва ли могут всерьез рассматривать национализацию как подходящую промышленную стратегию. Зисман предполагает, что в результате

таких ограничений в промышленных стратегиях государства будет весьма немного инноваций. Тем не менее на заре развития железнодорожного хозяйства, до того как сформировались современные финансовые системы, инноваций было довольно много. Американские штаты отреагировали на появление железных дорог, выпустив государственные облигации (*public bond guarantees*) для привлечения капитала. Французское правительство разработало систему смешанной государственно-частной капитализации и временных частных концессий: система была новинкой и, несомненно, чутко реагировала на фискальные ограничения того времени. В Великобритании железные дороги сыграли основную роль при возникновении региональных фондовых бирж, позволявших привлечь местный капитал для строительства магистралей, которые удовлетворяли бы интересам местного сообщества. Вполне возможно, что в современном мире финансовые системы ограничивают возможности выбора стратегий, однако в XIX в. нации, похоже, действовали не в таких жестких пределах, ограниченных рамками существующих институтов.

Я пытался показать необходимость более выраженного антропологического подхода к анализу современных государственных институтов – подхода, который рассматривал бы организационные каналы, по которым эти институты направляют действие, и культурные предписания, которые эти институты представляют как два измерения одного и того же явления. Данный подход позволяет выявить различия между структурой и смыслом, а также между инструментальным и несущим смысловую нагрузку (либо бессмысленным). В сфере железных дорог организационные каналы и культурные предписания влияли на разворачивание политики, определяя типы организационно возможных и культурно мыслимых стратегических решений. Хотя разделить организационные и культурные аспекты социальных обычаев для оценки их относительной значимости довольно не просто, я попытался показать, что средства, которые приходят людям в голову, когда они приступают к решению той или иной проблемы, формируются культурой.

Заключение

Одна из моих идей состояла в том, что господствующие ныне объяснения способов построения политики не социологичны в том смысле, что они воспринимают социально сконструированные категории и принципы современных обществ буквально и затем начинают анализировать социальное действие при помощи этих же самых категорий и принципов. В современной картине мира выбор политики представлен как результат конкуренции между изначально существующими группами интересов, которые действуют в рамках политико-институциональных ограничений и стремятся выбрать наиболее выгодные им стратегии согласно принципам универсальных экономических законов, однозначно воспринимаемых всеми акторами. В этой картине мира существуют высшие экономические правила, которые способствуют отбору эффективной политики. Однако следует помнить, что понимаемые на уровне здравого смысла категории и принципы, задействованные в этих взглядах, являются социальными конструктами – точно так же, как категории и принципы в обществах с нерациональной системой смыслов. Изучая нерациональные общества, антропологи весьма критически анализируют местную систему смыслов и предполагают, что причинно-следственные связи и социальные категории, воплощенные в социальных обычаях, суть культурные явления, заслуживающие отдельного внимания. Моя цель заключалась в том, чтобы скептически взглянуть на понятия индустриальной рациональности, попытаться проследить их истоки в социальных практиках и истории, вместо того чтобы объяснять их происхождение существованием внешних рационализированных принципов, правящих этим миром.

Литература

Chandler A. D. Scale and Scope. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1990.

Chiu S. The State and Industrial Development in the East Asian Newly Industrializing Countries. Ph.D. diss. Department of Sociology, Princeton University, 1992.

Deyo F. (ed.) *The Political Economy of the New Asian Industrialism*. Ithaca: Cornell University Press, 1987.

DiMaggio P. Interest and Agency in Institutional Theory // *Institutional Patterns and Organizations: Culture and Environment* / L.G. Zucker (ed.). Cambridge: Ballinger, 1988. P. 3–22.

Dobbin F. The Origins of Private Social Insurance: Public Policy and Fringe Benefits in America, 1920–1950 // *American Journal of Sociology*. 1992a. Vol. 97. P. 1416–1450.

Dobbin F. Metaphors for Industrial Rationality: The Social Construction of Electronics Policy in the United States and France // *Vocabularies of Public Life: Empirical Essays in Symbolic Structure* / R. Wuthnow (ed.). London: Routledge, 1992b. P. 185–206.

Dobbin F. The Social Construction of the Great Depression: Industrial Policy During the 1930s in the United States, Britain, and France // *Theory and Society*. 1993. Vol. 22. P. 1–56.

Gourevitch P. *Politics in Hard Times: Comparative Responses to International Economic Crises*. Ithaca: Cornell University Press, 1986.

Hall P. A. The Movement From Keynesianism to Monetarism: Institutional Analysis and British Economic Policy in the 1990s // *Historical Institutionalism in Comparative Politics: State, Society, and Economy* / S. Steinmo, K. Thelen, F. Longstreth (eds.). New York: Cambridge University Press, 1992. P. 90–113.

Hamilton G. G., Biggart N. W. Market, Culture, and Authority: A Comparative Analysis of Management and Organization in the Far East // *American Journal of Sociology*. 1988. Vol. 94. P. S52–S94.

Johnson C. *MITI and the Japanese Miracle*. Stanford, CA: Stanford University Press, 1982.

Kolko G. *Railroads and Regulation 1877–1916*. Princeton: Princeton University Press, 1965.

Sewell W. H. A Theory of Structure: Duality, Agency, and Transformation // *American Journal of Sociology*. 1992. Vol. 98. P. 1–29.

Shonfield A. *Modern Capitalism*. London: Oxford University Press, 1965.

Weir M., Skocpol T. State Structures and the Possibilities for «Keynesian» Responses to the Great Depression in Sweden, Britain, and the United States // *Bringing the State Back In* / P. Evans, D. Rueschemeyer, T. Skocpol (eds.). New York: Cambridge University Press, 1985. P. 107–163.

Zysman J. *Governments, Markets, and Growth: Financial Systems and the Politics of Industrial Change*. Ithaca: Cornell University Press, 1983.

Перевод с английского М. С. Добряковой

ФЛИГСТИН Нил
(FLIGSTEIN Neil)

(р. 1942)

Нил Флигстин (р. 23.04.1942, Беркли, Калифорния, США) – один из ведущих экономических социологов в сфере изучения нового институционализма, автор так называемого «политико-культурного подхода к анализу рынков». В настоящее время Н. Флигстин является профессором социологии Университета Калифорнии в Беркли, США. Читает курсы «экономическая социология», «рынки как социальные структуры», «архитектура рынков». В 2001 г. выпустил книгу «The Architecture of Markets: An Economic Sociology of Twenty-First-Century Capitalist Societies», которая стала одним из главных событий в современной экономической социологии.

В своей концепции Н. Флигстин выделяет два основных направления исследований в экономической социологии. Первое – это исследование социальной структуры рынка, ориентированное на сравнительный анализ рыночных архитектур как социальных феноменов. Второе более связано с политической экономикой: здесь ученых интересует роль государства в работе рынка, отношения между рыночными и государственными акторами. Это связано с вопросом о том, как работают конкретные рынки. При этом, первое и второе направления сложным образом переплетаются и воздействуют друг на друга.

Основные работы: «Поля, власть и социальные навыки: критический анализ новых институциональных течений» (2001), «Рынки как политика: политико-культурный подход к рыночным институтам» (2004), «Государства, рынки и экономический рост (2007), «Архитектура рынков. Экономическая социология капиталистических обществ XXI века» (2013) и др.

В предлагаемой статье из книги «Экономическая социология капитализма» (Экономическая социология. 2007. Т. 8. № 2. С. 41–60 <http://ecsoc.msses.ru>) Н. Флигстин выдвигает концепцию рынков как социальных институтов и анализирует связи между рынками и государством. На примере Силиконовой долины как очага инноваций в компьютерной отрасли он показывает ключевую роль государства в создании условий для развития экономики США.

ГОСУДАРСТВА, РЫНКИ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ¹

Хозяйство США часто приводят в качестве примера системы «свободного предпринимательства» [free enterprise], в которой конкуренция обеспечивает эффективность и динамичность развития фирм. Именно динамичное развитие, как полагают, должно порождать экономический рост. Роль государства в этих процессах видится в нормативных терминах: ему не следует становиться на пути участников рынка, выделять среди фирм или технологий победителей и проигравших; целью вмешательства государства могут быть только обеспечение конкуренции и контроль за соблюдением контрактов. Однако в действительности движущие силы хозяйственного развития оказываются сложнее. С самого начала американское федеральное правительство и власти штатов были напрямую вовлечены в организацию хозяйственных связей. Более того, экономический рост и формирование новых рынков обеспечиваются не только усилиями предпринимателей. Им помогает целый ряд государственных и частных институтов. Я не собираюсь отрицать, что для создания новых рынков и отраслей необходимы предпринимательство и конкуренция. Моя цель состоит в том, чтобы расширить наше понимание этих видов деятельности, показав, что их существование невозможно в отсутствие государства и поддерживающих их устойчивых социальных структур.

Стратегические действия фирм в основном формируются двумя силами: действиями конкурентов и тем, как государство определяет, какое поведение фирм является конкурентным, а какое препятствует конкуренции. Моя основная мысль состоит в следующем: менеджеры и владельцы фирм стремятся к установлению стабильных отношений со своими крупнейшими конкурентами. Если это удастся сделать и отношения оказываются выгодными и не противоречат закону, то их стараются поддер-

¹ Флигстин Н. Государства, рынки и экономический рост // Экономическая социология. Электронный журнал www.ecsoc.msses.ru. – Т. 8, № 2. – 2007. – С. 41–60 (в сокр.). Пер. с англ. Е. Б. Головлиничиной. Науч. ред. В. В. Радаев, М. С. Добрякова.

живать в дальнейшем. Подобные устойчивые взаимодействия основаны на совокупности представлений о том, как следует зарабатывать деньги. У менеджеров и владельцев конкурирующих фирм складываются взаимные ожидания, что способствует воспроизводству их позиций на рынке [Fligstein, 2001: ch. 4]. Например, начиная с 1950-х годов на американском рынке безалкогольных напитков господствуют две фирмы – «PepsiCo» и «Coca-Cola». Их главная стратегия в конкурентной борьбе состоит в удержании своей доли рынка путем рекламы и регулярного, раз в неделю или две, предоставления скидок на свою продукцию. Когда на рынке появляются новые игроки, эти фирмы часто перекупают их бизнес. В результате их господство на данном рынке остается неизменным вот уже почти пятьдесят лет.

Есть три основных способа прямого вмешательства правительства США в работу конкретных рынков. Во-первых, государство принимает законы и устанавливает правила налогообложения, определяет использование корпорациями собственного и заемного капитала, регулирует отношения занятости, обеспечивает защиту патентов и прав собственности, регулирует конкуренцию или проводит антимонопольную политику. Во-вторых, государство может выступать в качестве заказчика продукции фирм и финансировать научно-исследовательские разработки. В этом отношении всегда была велика роль Министерства обороны США. Государство финансирует исследования в университетах и поддерживает разработку новых технологий. Оно также может способствовать коммерциализации производства перспективных продуктов. В-третьих, государство может устанавливать правила, которые выгодны конкретным фирмам на конкретных рынках, зачастую следуя воле наиболее влиятельных участников этих рынков. За последние тридцать лет правительство США практически отказалось от главного вида вмешательства в работу рынков – прямого владения фирмами; однако в собственности государства по-прежнему находятся коммунальные предприятия. И небесполезно знать, как способы вмешательства федерального правительства и властей штатов в работу рынков помогают создавать условия для экономического

роста. По существу, именно государство выстраивает общественную и частную инфраструктуры, которые стимулируют возникновение новых фирм и отраслей.

В данной работе я рассмотрю два основных явления в американском хозяйстве, которые обычно считаются знаковыми для развития свободных рынков: возникновение концепции деятельности фирмы в интересах ее акционеров [*«shareholder value» conception of firm*], а также формирование и расцвет Силиконовой долины как очага инноваций в компьютерной отрасли. Моя цель – показать, что эти явления возникли не только благодаря активности предпринимателей. Напротив, оба они укоренены в ранее существовавших социальных отношениях, и в обоих случаях правительство играло ключевую роль в создании условий для «предпринимательской деятельности».

Рассмотрев роль государства в этих процессах, я перехожу к более общему вопросу о том, почему эта роль порою не учитывается в экономическом или экономико-социологическом анализе рынков и экономического роста; критикую подобные взгляды и демонстрирую наличие достаточной теоретической и эмпирической базы – и в экономической науке, и в социологии – для того чтобы учитывать важную роль государства в развитии хозяйства. Наконец, я выдвигаю предположение о том, что экономическая социология и предлагаемая ею «концепция укорененности» [*embeddedness*], включающая властные структуры, законодательство и поддерживающие институты, дают более полную картину эволюции рынка. Эта более полная картина помогает понять, отчего возникла та или иная структура рынка. Она также позволяет выяснить, как господствующие в определенной отрасли фирмы добились такого положения. Например, мы с большей уверенностью сможем сказать, использовали ли эти фирмы свои связи в правительстве для контроля над конкуренцией или же они стабилизировали рынок путем рыночно-ориентированных стратегий. Подобный экономико-социологический подход может быть использован для оценки того, в каких случаях вмешательство государства вызывает более, а в каких менее значительный экономический рост.

Силиконовая долина и компьютерная отрасль

Взрывное развитие информационных технологий в конце XX века породило широкий ряд новых рынков. Давайте опишем эти рынки с точки зрения тех, кто считает их возникновение следствием спонтанных действий предпринимателей. Многие верят, что новые технологии изменяют мир, в котором мы живем [Castells, 1996]. Эта идея захватила внимание журналистов, политиков и ученых. Предполагается, что на новых рынках возникают фирмы иного типа. Они менее иерархичны, более вплетены в сети связей и поэтому могут быстрее воспользоваться появляющимися возможностями. Фирмы нового типа постоянно учатся и видоизменяются – ведь остановившись, они рискуют погибнуть. При этом они приносят невиданную ранее прибыль. Они также трансформируют и труд своих работников: одни специалисты быстро сменяются другими, и предлагаемые работникам опционы – это во многом то, ради чего они столь напряженно трудятся, продвигая новые продукты на рынок. Силиконовая долина и ее аналоги в Остине, Сиэтле, Вашингтоне, Бостоне, Нью-Йорке (Силиконовая аллея) и Анн-Арборе служат наглядным доказательством того, что будущее принадлежит гибким, постоянно обучающимся небольшим фирмам, выживание которых зависит от поддерживаемых ими альянсов и сетей.

Технологии в этом новом мире делают невозможным возникновение монополий. Фирмы, пытающиеся узурпировать какие-либо технологические процессы или продукты, быстро обнаруживают, что другие фирмы обходят их, изобретая альтернативные продукты. Так, компании «Apple» (обладатель «закрытой» операционной системы) и «Sony» (обладатель формата видеозаписи «Бетакам») потеряли лидерство на рынках, так как пользователи предпочли более дешевые и стандартизированные продукты, создаваемые на основе «открытых» систем. Продукты корпораций «Intel» и «Microsoft» породили целую отрасль поставок оборудования и программного обеспечения, основанную именно на «открытости» их программной архитектуры. Из этого был извлечен следующий урок: успех приходит не к тем, кто стремится

захватить продукт в собственность, а к тем, кто производит «открытые» продукты. Для победы на рынке нужно оказаться первым и превратить свой продукт – за счет того, что он самый лучший – в стандарт для всех прочих. Чтобы выдержать натиск технологий следующего поколения, необходимо постоянно совершенствовать продукт, и единственный способ это сделать – обучение организации [organizational learning]. Остаться в игре смогут лишь те, кто следит за конкурентами и потребителями и использует сети связей для развития своей продукции. Так замыкается бесконечный круг: лучшая технология выигрывает, а создавшая ее фирма сохраняет свои позиции лишь до тех пор, пока она продолжает осваивать все новые и новые технологии.

По логике «старой» экономической теории отраслевых рынков, чем больше становится фирма, тем более насыщается рынок, тем более снижается цена товара, и в конечном счете предельная прибыль от продажи каждой последующей единицы товара снижается до нуля. В современной экономической науке появилось новое направление, опровергающее этот закон. Дело в том, что информационные технологии порождают эффект «растущей отдачи от масштаба» [increasing returns to scale] [Arthur, 1994]. Для такого продукта, как программное обеспечение, начальные издержки производства весьма велики. Но если продукт превращается в общий стандарт, рынок «замыкается» на нем. Это происходит потому, что пользователи привыкают к конкретному продукту, а также потому, что именно на него ориентируются производители смежных товаров. Предельные издержки производства дополнительных единиц продукта становятся очень низкими, так как, если говорить о программном обеспечении, стоимость физического носителя чрезвычайно мала. Прибыль от продажи продукта, ставшего отраслевым стандартом, растет с продажей каждой дополнительной единицы, поскольку издержки ее тиражирования близки к нулю.

Если верить сторонникам этого подхода, все описанные выше перемены в «новой экономике» произошли безо всякого участия государства [см. Castells, 1996; Powell, 2001]. Государство не регулировало новые рынки, не выбирало победителей и про-

игравших; не было и государственных инвестиций, помогавших одной группе фирм в ущерб другим. Созданные в университетах наукоемкие отрасли, управляемые предпринимателями, которые постоянно учатся друг у друга, – вот на какой основе возникло новое сообщество фирм. И действительно, децентрализованность рынков и открытость производственных стандартов зачастую противопоставляются медлительности и неэффективности бюрократических структур государства.

Но оказывается, что данный подход имеет множество недостатков. Первый и самый существенный – упущена из виду решающая роль государства как учредителя правил, регулирующих деятельность производителей компьютерной техники и программного обеспечения; как источника финансирования фундаментальных и прикладных научно-исследовательских разработок, производимых в университетах и других учреждениях, наконец, как заказчика продукции. На возникающие рынки всегда устремляется поток фирм-новичков, подобный социальному движению. Новых участников рынка становится все больше, и возникает множество концепций действия [Fligstein, 2001]. Новые фирмы предпочитают стратегию небольших, объединенных в сети и обучающихся» предприятий. Рынок неустойчив, и неизвестно, какие продукты выйдут на лидерские позиции. Модель «включенной в сеть и обучающейся» фирмы позволяет справиться с этой проблемой. По сути, она превращает свои недостатки в достоинства. Если не удастся контролировать конкурентов, то можно попытаться установить с другими фирмами такие отношения, которые позволяют быть в курсе событий и предсказывать предстоящие изменения на рынке.

В этом разделе мы рассмотрим два вопроса. Во-первых, какова роль государства в появлении волны изобретений, создавшей целые отрасли компьютерной техники, программного обеспечения, телекоммуникаций и Интернет-технологий, и как государство способствовало развитию Силиконовой долины. Во-вторых, интересно узнать, насколько представление о компьютерной отрасли как совокупности мелких и гибких фирм соответствует тому, как на самом деле объединяются фирмы для получения

прибылей. Возникает следующий вопрос: будет ли данная модель фирмы господствовать на рынке потому, что в условиях быстрой смены технологий «не срабатывает» тактика более крупных фирм, ориентированных на достижение стабильности? Или же из них вырастут крупные фирмы, у которых получится «замкнуть» рынок на свои продукты и тем самым стабилизировать технологии и захватить контроль над этим рынком?

В описываемых отраслях было зафиксировано четыре волны инноваций. Первая была вызвана к жизни Второй мировой и «холодной» войнами, которые дали толчок инновациям, связанным с радио, микроволновыми передатчиками, радарам и управляемыми ракетными установками. Вторая волна пришла в конце 1950-х годов с изобретением и началом коммерческого производства интегральных схем, ставших основой производства полупроводников (прежде эти схемы использовались преимущественно в ракетных комплексах). Третья волна связана с появлением в начале 1970-х годов персональных компьютеров. Наконец, в 1990-х годах был изобретен Интернет, и началось его взрывное развитие. В каждый из этих периодов государство играло определенную роль – где-то более, где-то менее активную. Чтобы понять, что это была за роль, обратимся к некоторым работам.

До начала Второй мировой войны в Силиконовой долине существовало небольшое производство электроники [Sturgeon, 2000]. В США большая часть фирм в этой отрасли принадлежала крупным корпорациям и располагалась на Восточном побережье. Первым реальным толчком к возникновению современной электронной промышленности в Силиконовой долине стала Вторая мировая война, когда производство электроники здесь резко расширилось. У возникшей в Силиконовой долине корпорации «Hewlett Packard» в 1939 г. в штате было девять человек, и продажи составляли 70 тыс. долларов; к 1943 г. ее штат увеличился до ста человек, а продажи превысили 1 млн долларов – и все за счет поставок для армии. В 1950-х годах быстрее всех в Силиконовой долине росла фирма «Varian Associates», более 90 % продукции которой приобретало Министерство обороны США. К концу 1950-х годов компании «Hewlett Packard», «Varian»,

«Lockheed» и некоторые другие продавали государству большую часть производимых ими компьютеров, электроники, управляемых ракет и космических аппаратов [Henton, 2000].

В тот период Министерство обороны было не просто основным потребителем продукции региона. Как утверждает С. Лесли, военная экономика стимулировала создание множества родственных инноваций, в частности, была усовершенствована технология производства электронных ламп, а также открыты новые элементы спектра электромагнитных волн [Leslie, 2000]. В первые годы «холодной» войны Министерство обороны стало важнейшим источником финансирования научно-исследовательских разработок и заказчиком ранних версий множества различных технологий. Значительная часть этих денег была вложена в развитие фирм. Однако государство также поддерживало исследовательские и образовательные программы во многих университетах. По различным оценкам, более 70 % финансовой поддержки научных исследований в машиностроении, вычислительной технике и смежных отраслях проходило по линии федерального правительства. Как минимум половина обучавшихся в университетах по данным специальностям также получали поддержку из федеральных фондов. Более чем в половине статей, опубликованных в журналах по вычислительной технике, в качестве главного источника финансирования исследований названы федеральные фонды.

Одним из основных получателей щедрых даров государства стал Стенфордский университет. Декан Стенфордской бизнес-школы Ф. Терман превратил Инженерную школу Стенфордского университета в ведущий исследовательский центр на Западном побережье. Терман понял, что развитие производства в Силиконовой долине зависит от формирования исследовательской инфраструктуры в регионе. Для ее создания Стенфордская инженерная школа должна была установить тесные связи с правительством [Leslie, 2000]. Усилия декана увенчались успехом. Стенфордский университет запустил множество программ обучения, ориентированных на использование потенциальных связей между предпринимателями и правительством, с одной стороны,

и студентами и преподавателями – с другой. Терман первым начал поощрять практику открытия инициативными студентами и преподавателями собственных предприятий в Силиконовой долине. Его наибольшей удачей стала компания «Hewlett Packard». Чтобы помочь делу, Терман часто использовал свои связи в правительстве и среди предпринимателей. Стенфордский университет готовил инженеров по различным специальностям, и фирмы Силиконовой долины приглашали их на работу. Другой особенностью региона, в создании которой участвовал Терман, стало развитие венчурных капиталовложений. Он заботился о финансовом благополучии «Hewlett Packard» и помогал компании в поиске средств для расширения деятельности. В 1950-е годы поддержку венчурных капиталистов получили компании «Varian and Associates» и «Fairchild Semiconductor». Фирмы пользовались доверием у кредиторов, поскольку обладали надежным рынком сбыта в лице государственных органов.

В 1945–1965 гг. федеральное правительство, в особенности Министерство обороны, поддерживало производство транзисторов, полупроводников и компьютеров [Lerner, 2000]. Пионером на рынке полупроводников стала компания «Fairchild Semiconductor» – первый производитель транзисторов для приборов на полупроводниках. Важные технологические новинки, которые эта фирма создавала на протяжении 1950-х годов, позволили ей закрепить за собой немалую долю военного заказа в США. К 1960 г. данная компания лидировала среди американских производителей кремниевых электронных компонентов, и ее основным заказчиком вновь было Министерство обороны. Впоследствии многие руководители компании «Fairchild Semiconductor» покинули ее и занялись собственным бизнесом. Они основали в Силиконовой долине множество фирм, в том числе и компанию «Intel». Благодаря этим продуктам данный регион получил свое название и мировую известность.

Вплоть до конца «холодной» войны государство продолжало поддерживать проведение научно-исследовательских разработок, и на его долю приходился весьма существенный сегмент рынка наукоемкой продукции. Получали поддержку и многие

университетские исследователи. В 1970-х и 1980-х годах ассортимент продукции предприятий Силиконовой долины начал изменяться. Появление персональных компьютеров и затем сети Интернет привело к быстрому увеличению продаж продукции Силиконовой долины на потребительских рынках, тогда как рынки товаров для военного ведомства росли медленнее или вообще сокращались.

Говоря о Силиконовой долине, обычно имеют в виду именно этот период, когда государство занимало уже менее заметное положение в ее развитии. Однако следует помнить, что основа новых отраслей была заложена инновациями в период «холодной» войны. Более того, в 1970-х годах Силиконовая долина превратилась в столь значимого участника новых отраслей хозяйства лишь потому, что там уже трудились тысячи инженеров – главным образом на предприятиях, связанных с оборонной промышленностью. В последующие двадцать лет в Силиконовой долине произошел взрывной рост предпринимательской активности, а также сопоставимый с ним по силе рост венчурного капитала. Но оба они коренятся в послевоенных разработках, финансировавшихся государством.

Однако и в последующие два десятилетия, несмотря на неоспоримую роль предпринимателей в развитии новых рынков, участие государства также значило немало. Последнее по счету изобретение – Интернет – обязано своими ключевыми характеристиками Министерству обороны США. Основанное в 1960 г. Управление перспективного планирования научно-исследовательских работ Минобороны США [Advanced Research Projects Agency, ARPA] финансировало разработку компьютерной сети «Арпанет», целью которой было создание децентрализованной сети, которая могла бы обеспечивать коммуникацию в случае ядерной войны. Ученым предоставили доступ к Арпанет, и они пользовались ею для пересылки сообщений и документов. Для повышения функциональности сети потребовалась разработка ряда существенных инноваций: программных средств, позволяющих хранить и передавать большие объемы информации. Большая часть ключевых новшеств в сфере информационных

технологий была основана на результатах университетских исследований, выполненных при финансовой поддержке со стороны государства.

Впрочем, государственная помощь отраслям производства компьютерного и электронного оборудования выходит за рамки закупок продукции и финансирования фундаментальных исследований. Конгресс принимал законы, которые служили интересам фирм. Патентное законодательство, а также законодательство по вопросам прав собственности благоприятствовали держателям патентов [Lerner, 2000]. Например, в Калифорнии действует тщательно проработанное законодательство по вопросам прав интеллектуальной собственности, которое, что неудивительно, отвечает интересам программистов. Закон о телекоммуникациях 1996 г. установил правила конкурентной борьбы, в целом выгодные для компаний, которые господствовали на рынке телефонной и кабельной связи. Вместо поощрения конкуренции между участниками рынка, принятое законодательство закрепило позиции ведущих игроков. Фирмы Силиконовой долины добились от правительства ослабления законов об иммиграции, что сделало возможным приток инженеров в регион, при этом производство тех же фирм перенеслось в оффшорные зоны. Интернет-торговля не облагается налогом с продаж (по состоянию на 2003 г.), что дает онлайн-розничным торговцам 5–7 %-ное ценовое преимущество перед их конкурентами, ведущими обычную (офлайн-овую) торговлю. Таким образом, государство присутствует повсеместно. Оно поощряет развитие новых технологий, разрешает их использование частными компаниями, обеспечивает нормативную базу, упрощающую получение фирмами финансирования и извлечение прибылей. Государство также позволяет фирмам определять правила конкуренции.

Все это подводит нас ко второму вопросу. Действительно ли главными действующими лицами в Силиконовой долине являются работники мелких фирм, которые объединены в сети и активно сотрудничают друг с другом? Могут ли в рамках такой модели сложиться стабильные условия для производителей? Многие авторы полагают, что именно эта особенность фирм Си-

ликоновой долины явилась их основным конкурентным преимуществом [Castells, 1996]. Изложенные выше факты о роли государства в поддержке инноваций и обеспечении сбыта прямо противоречат такому представлению. Они также заставляют усомниться в том, что от действий государства выигрывают в первую очередь крупные корпорации.

На мой взгляд, здесь есть два спорных момента. Во-первых, успех Силиконовой долины определяется множеством факторов, набор которых менялся с течением времени. Следовательно, необходимо учитывать воздействие всех возможных факторов на протяжении всего периода существования Силиконовой долины. Если взять последние 60 лет, легко увидеть, что ядро новых отраслей было сформировано военными заказами периода «холодной» войны, а также активностью предпринимателей в университетах и фирмах, воспользовавшихся появившимися возможностями. Кроме того, для исследователей важно не упускать из виду все те социальные факторы, которые могли воздействовать на возникновение таких промышленных агломератов, как Силиконовая долина, – даже если их интерес ограничен настоящим периодом. Если пренебречь тем, что государство финансировало исследования и обучение в университетах, и не рассматривать это как причину последующего успеха Силиконовой долины, то роль государства в происходящем покажется незначительной. Если акцентировать только сетевые связи между инженерами и венчурными капиталистами, то окажется, что отношение к предмету исследования имеют лишь эти социальные группы. Во-вторых, я вовсе не отрицаю при этом особой роли дальновидных предпринимателей, создавших инновационные продукты, на основе которых возникли целые отрасли. Я лишь не могу согласиться с утверждением, что они сделали это самостоятельно, безо всякой поддержки государства и других институтов.

По-моему, сетевой подход пренебрегает рядом наиболее значимых фактов относительно отраслевых рынков Силиконовой долины. В основных нишах, сложившихся в результате революции в сфере информационных технологий, уровень концентрации уже очень высок. Компании «Microsoft» (программное обеспечение),

«Sun» (рабочие станции), «Cisco Systems» (компьютерное, сетевое и коммуникационное оборудование), «Intel» (компьютерные микросхемы), «Comcast» (кабельная и дальняя связь), «AOL-Time-Warner» (Интернет-услуги и кабельная связь) контролируют более 60 % соответствующих рынков. Хотя многие из этих фирм внедряют технологические новшества, для контроля над конкуренцией они пользуются давно испытанными методами. «Microsoft», «Intel» и «Cisco» участвовали в качестве ответчиков на антимонопольных судебных процессах по обвинению в хищнической конкуренции [predatory competition]. В «деле Microsoft» было представлено множество подтверждений того, что компания прибегала к методам хищнической конкуренции. Каждый раз, когда возникает новый рынок, господство на нем завоевывает одна-единственная фирма.

Стоит все же задуматься, какого типа рынки сложились в этих новых отраслях промышленности на самом деле. Господствующие фирмы пристально следят за разработчиками новых технологий и либо перекупают их, либо встраивают в свои основные продукты. Они остаются в игре, следуя агрессивной стратегии и покупая фирмы-победители на соответствующих рынках. Компания «Microsoft», к примеру, известна тем, что постоянно обращается к небольшим фирмам по разработке и продаже программного обеспечения с предложением купить их бизнес. Если фирма отказывается, часто ее программный продукт воспроизводят и используют в следующей версии операционной системы.

Если ведущие игроки [incumbents] на этих рынках используют свои позиции для скупки и вытеснения конкурентов, то что же делать фирмам-претендентам [challengers]? У них есть одна потенциально выигрышная стратегия. Претенденты принимают на себя все риски, связанные с разработкой инноваций. В случае успеха у них появляется выбор из трех достойных вариантов (по крайней мере с точки зрения их владельцев): выходить на фондовый рынок, продать бизнес одной из крупнейших фирм в отрасли или попытаться самим стать такой фирмой.

Данная концепция контроля задает характеристики структуры отношений между господствующими компаниями и фирмами,

претендующими на господство. Это означает, что в случае успеха продукта инвесторы получают отдачу, а крупнейшие фирмы – новые технологии, позволяющие им удерживать центральные позиции на рынках. Хотя и являясь конкурентами, фирмы обоих типов образуют симбиоз: они создают негласные правила, позволяющие выживать всем участникам.

Вопрос «открытости» компьютерных систем и связанная с ним проблема создания технических стандартов весьма сложны [Edstrom, 1999]. Способность присоединять к существующей структуре вновь произведенные программы и оборудование повышает ценность этой структуры. Поэтому «открытость» выгодна и производителям новых продуктов, и владельцам устанавливаемых стандартов. Крупные устойчивые фирмы постоянно обновляют свою продукцию и сохраняют свою устойчивость именно благодаря замыканию рынка. «Открытость», таким образом, – это способ стабилизации рынка. Мне представляется, что он возник после провала попытки создать системы, находящиеся в исключительной собственности фирмы-разработчика [proprietary systems]. Если технологические рынки не удастся контролировать с помощью патентов, то вторым по выгодности решением является превращение своего продукта в открытый стандарт. Он порождает устойчивость, поскольку появляется фирма-лидер, и рынок организуется вокруг установленных ею стандартов. Ключевые технологии, лежащие в основе открытых стандартов, приносят прибыль господствующим фирмам, которые их контролируют. Схожим образом действуют и технические стандарты.

Если я прав, то по мере развития отрасли следует ожидать укрупнения фирм во многих важных продуктовых нишах. Также можно ожидать, что фирмы на новых рынках будут следовать одной из двух тактик: или быть небольшим инновационным предприятием (готовым к тому, что его выкупит более крупная фирма), или попытаться стать одной из крупных диверсифицированных компаний, на чьи стандарты ориентируются остальные и которые постоянно производят и перекупают новые технологии для поддержания своих позиций. Возникнув и закрепившись, эта концепция контроля образует глубинную структуру, в рамках

которой фирмы зарабатывают свои доходы. Ведущими игроками являются крупные компании, а «претендентами» – небольшие фирмы. В последних, тем не менее, тоже можно заработать целое состояние, но иным способом. Их владельцы участвуют в игре, чтобы продать свой бизнес. Мелкие, объединенные в сети фирмы самостоятельно существовали лишь на начальном этапе развития новых рынков. В дальнейшем структура этих рынков будет становиться все более и более привычной.

Государства, рынки и экономический рост

Итак, с нашей точки зрения, существование фирм и рынков в значительной степени обусловлено законами, институтами и действиями государственной власти. Невозможно вообразить себе фирму, которая может выстроить устойчивые схемы решения проблем, связанных с конкуренцией, вне развитой системы социальных отношений. Точно также невозможно представить и то, что многие из ныне существующих рынков и продуктов могли бы появиться без активного вмешательства государства. Концепция действия фирмы в интересах акционеров позволила решить одну из конкретных проблем американских фирм. В 1980-х годах в связи с высокой инфляцией и замедленным экономическим ростом предыдущего десятилетия финансовые показатели фирм оставляли желать лучшего. Вина была возложена на менеджеров фирм, и были разработаны финансовые инструменты, чтобы изучить и переломить ситуацию. На помощь пришло и федеральное правительство, приостановив действие антимонопольных законов и сократив налоги на корпорации. Администрации Картера и Рейгана пришли к мнению, что вмешательство государства в работу товарных рынков и рынка труда было избыточным, и приняли меры к его сокращению. В администрации Рейгана стремились ослабить и без того непрочные позиции профсоюзов. Эти действия были восприняты как сигнал к реорганизации фирм в соответствии с пожеланиями их собственников.

Стоит отметить, что все эти меры не помогли решить проблеме недостаточной конкурентоспособности американских предприятий. Американские компании так и не сумели вернуть

себе рынки, потерянные ими в 1970-е – начале 1980-х годов. Финансовая реорганизация фирм не сделала их прибыльнее, вместо этого часть средств переместилась от рабочих к менеджерам и собственникам. Некоторые полагают, что концепция действия фирмы в интересах акционеров решает проблему отраслевой конкуренции, но, увы, это не так. Она лишь вынуждает фирмы при принятии решений руководствоваться в первую очередь финансовыми критериями, нежели стратегическими соображениями. Именно этим стремлением всячески максимизировать стоимость акций вызвано то, что в случае затруднений с определенным продуктом менеджеры не пытаются повысить его конкурентоспособность, но вместо этого избавляются от него.

Компьютерная революция 1980-х и 1990-х годов, ведущая роль в которой принадлежала фирмам Силиконовой долины, является символом американского предпринимательского капитализма. Однако тщательное изучение фактов показывает, что на протяжении последних пятидесяти лет американское правительство принимало непосредственное участие в финансировании исследований и образовательных программ, в приобретении продукции компьютерной отрасли. Правительство также ввело налоговые льготы и патентное законодательство, дающие преимущество производителям и инвесторам рискованных венчурных предприятий. Но даже этого оказалось недостаточно для стабилизации неустойчивых рынков наукоемкой продукции. Фирмы стремятся к образованию олигополий или монополий, при этом крупные фирмы избирательно поглощают мелкие инновационные предприятия. Причем от этого выигрывают обе стороны. Основатели мелких фирм в состоянии брать на себя высокие риски, надеясь на высокую отдачу. А крупнейшие фирмы получают возможность упрочить свои позиции, привлекая новые технологии.

Рекомендации, которые обычно выводят из наблюдений за развитием экономики США, удивительно просты: сохраняйте дистанцию между государством и фирмами, заставьте фирмы конкурировать между собой, дерегулируйте рынки труда. Даже

социологам доводилось «покупаться» на эту иллюзию и утверждать, что происходящее в Силиконовой долине обусловлено скорее внутриорганизационными сетевыми связями между фирмами, нежели системой производства в целом [Castells, 1996; Rowell, 2001]. Наша работа должна побудить читателя усомниться в этом. Государство и фирмы связаны самым тесным образом. Именно эти связи определяют относительный успех, достигнутый капиталистическими хозяйствами в создании богатства, доходов, товаров и услуг. Любое описание успеха или провала американского (или любого другого) хозяйства, в котором не учтены действия обоих агентов, будет в лучшем случае неполным, а в худшем – неверным.

Мнение о вреде государственного вмешательства в хозяйственные процессы проистекает из идей группы экономистов, считавших, что государство перераспределяет рентный доход в свою пользу или в пользу фирм, заинтересованных в государственной поддержке. В любом случае, подразумевается, что вмешательство государства скорее всего нарушает эффективную работу рынков или же полностью неоправданно [эта линия аргументации разбирается в работе: Block, 1996].

В каждой модели государству отводится важная роль. Однако восстановление и относительный успех американской экономики в 1990-х годах побудили исследователей вновь обратиться к изучению опыта США и искать причину экономического роста в особенностях сложившихся здесь отношений занятости и стиля корпоративного управления. А поскольку, согласно распространенному в США представлению, вмешательство государства должно быть сведено к минимуму, воздействие государства сегодня вновь остается «за кадром».

Зачастую направления научной мысли не учитывают всей сложности поиска причин экономического роста. Подразумевается, что всякое вмешательство государства тормозит экономический рост, так как расходует хозяйственные ресурсы, которые могли бы быть более продуктивно использованы частным сектором. Это утверждение ошибочно и с теоретической, и с эмпирической точек зрения. Даже в рамках экономической теории

возможно обоснование позитивной роли государства в развитии хозяйства. Так, в новой институциональной экономической теории описан ряд механизмов положительного воздействия государственных расходов и соответствующей политики на темпы экономического роста. Расходы на образование, здравоохранение, связь и транспортную инфраструктуру способны ускорять экономический рост, как утверждается, например, в теории эндогенного роста. Так, Д. Норт [North, 1990] полагает, что государство также обеспечивает политическую стабильность, правовые институты, устойчивую денежную систему и надежную систему управления; все это побуждает предпринимателей инвестировать и создавать новые рынки.

Предложенный нами подход вполне согласуется с этим направлением. В отсутствие упомянутых социальных институтов хозяйственные акторы не захотят инвестировать в производство, где действуют эффекты экономии от масштаба и диверсификации продукции. Как считают П. Эванс и Дж. Раух, «компетентность» государственных служащих способствует экономическому росту [Evans, Rauch, 1999]. Некоторые экономисты готовы поверить в то, что с помощью промышленной политики можно повысить эффективность путем осуществления инвестиций в научно-исследовательскую деятельность, обеспечения капитала для венчурных рискованных предприятий, а также повышения расходов на оборону.

В нашем распоряжении достаточно теоретических аргументов в пользу того, что государство по-прежнему много значит в стимулировании экономического роста: оно предоставляет общественные блага, обеспечивает устойчивую власть закона и при определенных условиях проводит адекватную промышленную политику. Экономическому росту способствуют инвестиции в научно-исследовательскую деятельность и в систему высшего образования, субсидирование начальных этапов разработки новых технологий. Права собственности и правила, регулирующие конкуренцию и обмен, облегчают установление стабильных отношений между фирмами. В свою очередь, это стимулирует инвестиции и экономический рост.

Заключение

Одна из целей экономической социологии состоит в теоретическом осмыслении того, какой тип вмешательства государства в работу рынков оказывается полезным, а какой – приводит к негативным последствиям. Главное, что может сделать экономическая социология в этом отношении, – это попытаться тщательно изучить эмпирические данные о ситуации на конкретных рынках и понять: кому изменения в хозяйстве идут на пользу, кому – во вред, и как они воздействуют на экономический рост в целом. Например, до сих пор не проведен внятный эмпирический анализ положительных и отрицательных эффектов увеличения стоимости акции. Подобное исследование пригодилось бы разработчикам экономической политики, которые занимаются реформами практик корпоративного управления.

Во многих экономико-социологических исследованиях рыночные структуры рассматриваются вне их институционального контекста. Так, при изучении сетей зачастую не принимаются во внимание факторы успеха или провала фирм и рынков, выходящие за рамки конвенциональных инструментов сетевого анализа. Такой подход противоречит самой сути социологического метода. Социологи обычно работают с многомерными моделями социальных процессов, поскольку они позволяют учитывать разнообразие причинно-следственных связей. Те экономические социологи, которые не замечают или не хотят замечать все прочие формы социальной укорененности, упускают из виду ключевые переменные, объясняющие положительные и отрицательные результаты экономической политики. Как я попытался показать, государство и фирмы тесно взаимосвязаны; изменение этой связи с течением времени – важнейшее указание на направления ключевых сдвигов в фирмах и на рынках. Исследователи, которые не учитывают эти факторы, рискуют неверно понять многие хозяйственные процессы.

Внимательное отношение к эмпирическим данным предполагает, в том числе, отказ от априорных суждений о том, как вмешательство государства и перемены в хозяйстве сказываются на фирмах, занятости, уровне неравенства, темпах экономического

роста. Погоня за рентой – будь то со стороны менеджеров, фирм, государства или работников – не более чем теоретическое допущение; и нам следует быть осторожнее в оценке того, имеет ли она место на самом деле и насколько ее последствия опасны для других социальных групп. Например, хотя корпорацию «Microsoft» обвиняют в монополизме, существование единой господствующей платформы в сфере программного обеспечения может приносить пользу другим секторам экономики. В этом случае экономическая социология может порекомендовать регулировать монопольное положение «Microsoft» исходя из соображений общественной пользы, а не пытаться создать несколько несовместимых платформ с целью усиления конкуренции.

Одной из основных задач экономико-социологического анализа часто является получение полной картины той или иной конкретной ситуации. Например, очевидно, что вмешательство государства в работу рынков программных продуктов и рынка труда в Силиконовой долине принесло обществу ощутимую пользу. Участие государства в подготовке инженеров, финансировании инноваций и поощрении перехода на новые технологии стимулировало экономический рост и накопление богатства во всех секторах экономики. Сейчас государство явно пытается добиться того же в отрасли биотехнологий.

Экономическая социология уникальна тем, что помогает понять место фирм и рыночных процессов в более общем политическом и правовом контекстах. Ее метод может быть также использован при изучении эволюции стабильных структур конкретных рынков. Тем самым теоретические и эмпирические исследования в рамках экономической социологии позволяют лучше разобраться в том, кто выигрывает от изменений на рынке, а кто оказывается в проигрыше.

Литература

Arthur W. B. Increasing Returns and Path Dependence in the Economy. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1994.

Block F. L. The Vampire State: And Other Myths and Fallacies about the U.S. Economy. N.Y.: W. W. Norton, 1996.

Castells M. The Rise of the Network Society. Information Age 1. Oxford: Blackwell, 1996.

Edstrom M. Controlling Markets in Silicon Valley: A Case Study of Java // M. A. thesis, Department of Sociology, University of California, 1999.

Evans P. B., Rauch J. E. Bureaucracy and Economic Growth // American Sociological Review. 1999. Vol. 64. P. 187–214.

Fligstein N. The Architecture of Markets: An Economic Sociology of Twenty-First Century Capitalist Societies. Princeton: Princeton University Press, 2001.

Henton D. A. Profile of the Valley's Evolving Structure // The Silicon Valley Edge: A Habitat for Innovation and Entrepreneurship / Ed. by C. M. Lee et al. Stanford: Stanford University Press, 2000.

Lerner J. Small Business, Innovation, and Public Policy in the Information Technology Industry // Understanding the Digital Economy: Data Tools, and Research / Ed. by E. Brynjolfsson, B. Kahin. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2000.

Leslie S. W. The Biggest «Angel» of Them All: The Military and the Making of the Silicon Valley // Understanding Silicon Valley: The Anatomy of the Entrepreneurial Region / Ed. by M. Kenney. Stanford: Stanford University Press, 2000.

North D. C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

Powell W. W. The Capitalist Firm in the Twenty-First Century: Emerging Patterns in Western Enterprise // The Twenty-Century Firm: Changing Economic Organization in International Perspective / Ed. by P. DiMaggio. Princeton: Princeton University Press, 2001.

Sturgeon T. J. How Silicon Valley Came to Be // Understanding Silicon Valley: The Anatomy of the Entrepreneurial Region / Ed. by M. Kenney. Stanford: Stanford University Press, 2000.

Перевод с английского Е. Б. Головяницкой

СВЕДБЕРГ Ричард (SWEDBERG Richard)

(р. 1950)

Ричард Сведберг (р. 1950) – американский социолог, один из наиболее известных в мире специалистов в сфере «новой экономической социологии». Область его интересов – история экономической социологии, а также социология рынков и социология финансов. Специализировался в области юридических наук и социологии. Имеет диплом юриста Стокгольмского университета и диплом по социологии Бостонского колледжа (1978). В настоящее время преподает в качестве профессора социологическую теорию и экономическую социологию в Стокгольмском университете. По мнению Сведберга, в мировой эко-

номической социологии существуют три основных направления исследований: концепция сетевого метода, в котором предметом анализа становятся не только люди и организации, но и вещи (материальные объекты) (М. Granovetter); социологическая теория рационального выбора или новый институционализм, авторы которого выступают скорее социологами, чем экономистами (J. Coleman, V. Nee); концепция исследования экономических институтов с социологических позиций, что ближе всего экономистам (D. Noort). Р. Сведберг считает, что эти теории взаимодополняют друг друга и их синтез может быть плодотворным. Теория рационального выбора имеет отличную перспективу в исследовании роли интересов в жизни людей, а новая экономическая социология в американской версии и современная европейская экономическая социология обладают хорошо разработанной теорией социального действия. Отдавая должное бурному развитию экономической социологии в США, Р. Сведберг отмечает формирование интересных научных школ в области экономической социологии во Франции, Италии, Германии, Португалии и считает, что в ближайшее десятилетие эта тенденция сохранится.

Основные работы: «Экономическая социология: Прошлое и будущее текущей социологии» (1987); «Экономика и социология – Переосмысление их границ: Беседы с экономистами и социологами» (1990); «Социология экономической жизни» (1992, в соавторстве с М. Грановеттером); «Учебник по экономической социологии» (1994, в соавторстве с Н. Смелсером); «Макс Вебер и идея экономической социологии» (1998); «Йозеф Шумпетер – его жизнь и работа» (1999); «Предпринимательство: Взгляд социальной науки» (2000).

В предлагаемой работе воспроизводится история формирования концепции рынка как социальной структуры, суть которой состоит в интеграции экономических и социологических подходов к анализу рынка труда. Сведбергом обоснована недостаточность определения рыночных отношений через ценообразующие механизмы (что характерно для экономической теории), так как это не дает полного представления о базисном взаимодействии включенных в рынок индивидов. В анализе истории рынков (от античности до современности) Сведберг уделяет особое внимание рассмотрению рыночных отношений через понятия «обмен» и «конкуренция».

РЫНКИ КАК СОЦИАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ¹

Рынок представляет собой один из наиболее важных экономических институтов в современном обществе. Это понятие стало ключевым в политическом дискурсе во всем мире. По концепции рынка существует огромное количество литературы, я же рассматриваю рынки как специфический тип социальной структуры. Социальную структуру можно определять различным образом, но обычно этим термином обозначают определенный вид текущих и стандартных отношений между агентами, которые поддерживаются через санкции. В дискуссии о рынках недостаточно определить их через *ценообразующие механизмы* (как это часто делается в экономической теории), так как это не дает нам какого-либо представления о базисном взаимодействии включенных в него индивидов. Более плодотворным в этом контексте является рассмотрение рынков в терминах *обмена*, особенно если обмен представляется в широком смысле, как это делает Р. Коуз, определяя рынок как «социальный институт, который содействует обмену» [Coase, 1988]. <....>

Сложность феномена рынка

Понятие «*рынок*» описывает множество различных явлений и может быть иллюстрировано его семантической историей. Этот термин введен в английском языке в XII в. и означал «торговлю» или «место для торговли». Вскоре он приобрел три различных значения: физическое месторасположение рынка; собрание людей в таком месте; законное право собираться в месте расположения рынка. В XVI в. понятие «рынок» стало использоваться в смысле «покупки и продажи в целом» и скоро стало обозначать «продажу, контролируемую посредством спроса и предложения» (Oxford English Dictionary). В XVII в. термин начал расширяться, включая географическое пространство, в пре-

¹ Swedberg R. Markets as Social Structures // The Handbook of Economic Sociology / Ed. by N. Smelser and R. Swedberg. – N.Y., 1994. – P. 255–260, 261–274 (в сокр.). Пер. с англ. Г. Н. Соколовой.

делах которого существовал спрос на определенный продукт. Фондовая биржа XIX в. все в большей мере рассматривалась в качестве прототипа современного рынка. Экономисты впоследствии стали исследовать рынок как абстрактный *ценообразующий механизм*, который является центральным в размещении ресурсов в той или иной экономической системе <....>

Рынок в экономической теории

Ключевой вопрос этого раздела – в какой мере экономическая теория способна объяснить сложность феномена рынка. Отвечая на этот вопрос, я буду рассматривать через призму истории экономики, как анализировался рынок, начиная от Адама Смита и до наших дней. Поступая таким образом, я в основном попытаюсь отслеживать практику анализа рынка как *ценообразующего механизма*, и одновременно – как института со своим собственным правом на существование <....>

Рынок в классической политической экономии

(от А. Смита до К. Маркса)

Существует много интересных различий между концепцией рынка в классической политической экономии и той, которая стала популярной в начале столетия благодаря маржиналистской революции. Во-первых, классические экономисты рассматривали рынок как синоним месторасположения рынка или географического пространства. В их глазах рынок являлся чем-то конкретным в противоположность абстрактному рынку современных экономистов. Во-вторых, главное внимание в классической политической экономии уделяется скорее производству продукции, нежели обмену. Вопрос цены решался через количество труда, вложенного в производство товаров, а не через взаимодействие спроса и предложения, как считают нынешние теоретики. И, в-третьих, обнаружилось, что существует много случайных факторов, влияющих на рыночную цену (что делает ее отличной от натуральной цены) и вводящих в заблуждение аналитиков. Это правда, что классические экономисты расценивали рынок как важный институт в рамках капитализма. Однако,

анализируя и осмысливая экономическую жизнь, они считали производство товаров гораздо более важным, чем их обмен.

А. Смит в своей книге *«Богатство наций»* [Smith, 1776] только две главы из тридцати связывает с проблемами рынка. Это «Ограничивающее влияние рынка на разделение труда» и «Натуральная и рыночная цена товаров». В качестве центральной проблемы анализа рынка он рассматривал проблему взаимосвязи между рынком и разделением труда, а также влияние рынка на ценообразование. Согласно А. Смиту, обилие товаров является результатом труда, а производительность труда детерминируется, в свою очередь, развитием разделения труда. Он отмечал, что обычный рыночный город мог себе позволить рудиментарное разделение труда, в то время как город покрупнее, особенно если он расположен на реке или на берегу моря, может, в тенденции, иметь более развитое разделение труда. Он отмечал также, что бизнесмены обычно способствуют расширению рынка и, следовательно, развитию разделения труда. Благодаря этому факту рынки сельскохозяйственных продуктов часто опережали в своем развитии рынки мануфактурных товаров. А. Смит обосновывал, что более крупные рынки свидетельствуют о большем благосостоянии граждан и нации в целом.

А. Смит очень интересовался тем, как формируются цены. Он писал, что актуальная цена, по которой продается любой товар, называется его рыночной ценой. Она может быть выше, ниже или точно такой же, как и его натуральная цена. Согласно А. Смиту, рыночные цены в принципе тяготеют к уровню натуральной цены. Однако в течение долгого времени они могут оставаться выше натуральной цены. Подобное положение может вызываться естественными причинами (например, засухой, которая поднимает цену на хлеб) или вероятностью того, что бизнесмены скрывают жизненно важную информацию от своих конкурентов. А. Смит верил также, что «невидимая рука рынка» руководит обществом и может примирять посредством рыночного обмена частные интересы индивидов с генеральным интересом общества в целом.

Благодаря работам Д. Рикардо и Д. С. Милля политическая экономия становится более абстрактной, теряя в значительной мере интерес к конкретным экономическим институтам, в том числе к рынкам. Главным толчком к новым подходам явилось и то, что производство формировало корректную, или натуральную, цену, в то время как рыночная цена имела тенденцию выступать результатом случайных влияний. Книга Д. Рикардо *«Принципы политической экономии и налогообложение»* [Ricardo, 1817] содержит, например, главу с эффектным названием *«Натуральная и рыночная цена»*. Д. С. Милль в книге *«Принципы политической экономии»* [Mill, 1871] обосновывает научный приоритет «законов производства». Однако как Д. Рикардо, так и Д. С. Милль создавали в сфере их анализа особую область – анализ спроса и предложения. Это особенно характерно для Д. С. Милля, который, по мнению ряда комментаторов, осмыслил и обосновал главные изменения в экономической теории.

Подобно другим теоретикам в области классической политической экономии, К. Маркс придерживался мнения, что производство является более важным, чем рынок, назначение которого состоит в определении цены товара. Тем не менее в главных работах К. Маркса можно также обнаружить большое число интересных наблюдений по поводу рынка, или «сферы обращения», как он предпочитал его называть. Прежде всего К. Маркс придавал особое значение тому, что рынок состоит из социальных взаимодействий. «Очевидно, – саркастически отмечал он в *«Капитале»*, – что товары не могут идти на рынок и совершать операции обмена, исходя из собственного расчета» [Marx, 1867]. Он утверждал, что стоимость не присуща товару; это скорее отношение между индивидами, выражающее себя как отношение между вещами. Однако направление, в котором экономисты рассуждали о ценах, формировало иллюзию, что стоимости не создаются людьми, а каким-то образом конституируют качество предметов сами по себе. «Товарный фетишизм», – говорил К. Маркс, – приводил к тому, что люди «проектировали свою жизнь в вещи», потому что не понимали, что они сами создали эти ценности своим собственным трудом.

К. Маркс придавал также особое значение тому, что все рынки имеют оригинальные истории своего развития. Например, многие европейские и колониальные рынки создавались посредством преступлений или угрозы преступлений. К. Маркс также обосновывал, что существуют важные юридические и идеологические измерения рынка. Согласно законам капиталистического способа производства, все участники рыночных отношений изначально являются равноправными и свободными. Это, однако, не более чем иллюзия. По К. Марксу, рынок является не раем для природных прав человека, а скорее местом, где трудящиеся вынуждены продавать свою рабочую силу капиталисту за ничтожное жалование. Секретный ключ капиталистической экономики по отношению к трудящимся обнаруживался в «скрытом факте производства», а не в рыночных отношениях – «этой шумовой сфере, где все выходит на поверхность» [Marx, 1867].

Маржиналистская революция и создание современной концепции рынка

К концу XIX в. концепция рынка в экономической теории подверглась драматическому изменению в связи с работами Вальраса [Walras, 1926], Джевонса [Jevons, 1871], Менгера [Menger, 1883] и др. Различие между новой концепцией рынка и концепцией классических политических экономистов было значительным. Для экономистов, подобных А. Смиту, рынок был чем-то конкретным, но аналитический интерес ограничивался признанием того, что рыночная цена товара подвергается влиянию случайных факторов. Однако сейчас мышление стало почти противоположным: рынок воспринимается как абстрактная концепция и вызывает огромный аналитический интерес как *ценообразующий и ресурсоразмещающий механизм*. Исторические и социальные подходы в течение этого периода настойчиво отвергались в ходе сражения методов, которое началось в Германии и Австрии, а затем распространилось на Англию и США. Новое понимание феномена рынка позволяет делать акцент на термине «совершенный». Итак, «совершенный рынок» – это весьма абстрактный рынок, характеризуемый совершенной конкуренцией

и полной информацией. Рынки, по мнению многих экономистов, превратились в эмпирически пустую концептуализацию форумов, на которых совершались операции обмена. Данное превращение и составило суть так называемой маржиналистской революции.

Вместе с тем, несмотря на критическое отношение к этой революции, следует признать, что одним из ее достижений явилось представление рынка как *центрального механизма размещения экономики*. Эта идея несомненно отразила изменение, постепенно захватывающее Запад: экономика все в большей мере концентрировалась вокруг рынков. Это также предполагало, что все рынки в экономике взаимосвязаны и изменения на одном из них ведут к изменениям на других.

Среди наиболее крупных экономистов этого периода А. Маршалл был единственным, кто обратил внимание на рынок как эмпирический феномен с его собственными правами. Ключевая идея в его определении рынка состоит в том, что если местные цены на один и тот же продукт совпадают, то продукты становятся частью одного и того же рынка. В книге *«Принципы экономики»* А. Маршалл [Marshall, 1890] представил также весьма амбициозную программу того, как исследовать «организацию рынков». Сравнение различных работ А. Маршалла показывает, что его мышление относительно рынков с годами изменялось. Если в *«Принципах экономики»* рынки рассматривались им, по преимуществу, в терминах спроса и предложения, то тридцать лет спустя он акцентировал внимание на проблемах измерения их социальной организации. В книге *«Промышленность и торговля»* (1920) А. Маршалл определял рынок следующим образом: «Во всех его различных значениях «рынок» соотносится с группой или группами людей, одни из которых желают приобрести определенные вещи, а другие – продать то, что хотят первые».

Из работ А. Маршалла становится ясным, что, по его мнению, в понимании рынков наиболее важны следующие пять факторов: пространство, время, формальная регуляция, неформальная регуляция и знакомство между покупателями и продавцами. При анализе рынков в работе *«Принципы экономики»* он

фокусирует внимание на первых двух из этих пяти факторов; три других фактора рассматриваются в более поздней работе «*Промышленность и торговля*». В отношении пространства рынков, по А. Маршаллу, может быть как «широким», так и «узким». Рыночное пространство может расширяться или сжиматься в зависимости от обстоятельств. Степень, в которой время принимается в расчет, также может воздействовать на рынок – был ли проблемный период «коротким» (это означает, что предложение ограничивалось возможностями рынка), «более длинным» (это означает, что на предложение влияла цена производимого товара) или «очень длинным» (это означает, что на предложение влияла цена труда и других материалов, необходимых для решения проблемы) [A. Marshall, 1920]. Рынок может быть «организован» или нет; под этим А. Маршалл подразумевал, что данный процесс может регулироваться формальным или неформальным образом. Фондовый рынок является, например, организованным рынком. В самом деле, А. Маршалл, подобно многим другим экономистам этого периода, рассматривал фондовый рынок как наиболее высокоорганизованную форму рынка. Рынки могут быть как «общими», так и «частными». Под частным рынком А. Маршалл имел в виду рынок, в рамках которого существуют определенные социальные связи между покупателями и продавцами, которые облегчают их взаимодействие; в то же время общий рынок является, в принципе, анонимным. В зависимости от степени неформальной регуляции рынок может быть «открытым» или «монополистическим». По мнению А. Маршалла, конкуренция обычно различается в зависимости от типа рынка, в который она включена. Например, «жесткость и жестокость» форм конкуренции более всего проявляется на рынках, которые становятся монополистическими. <....>

Критика Кейнсом понимания законов рынка

Критика Дж. М. Кейнсом «классиков» основывалась на убежденности в том, что теория должна учитывать институциональные факторы, к числу которых можно отнести как систему трудовых договоров, так и отделение капитала-собственности от

капитала-функции, а также существование современных финансовых рынков. Сегодня всеобщее внимание вызывает подход Кейнса к проблемам неопределенности, его представления об ограниченности нашего знания как важнейшей характеристике реального мира и проекция этих представлений на экономическую теорию.

С именем Кейнса связано возникновение современной системы государственного регулирования, которая позволила капиталистической экономике пройти сквозь серьезные испытания 1920–1930-х годов XX в. В «Общей теории занятости, процента и денег» [Keynes, 1936] Кейнс признал наиболее острую социально-экономическую проблему – безработицы – предметом экономической теории, предложил объяснение этого феномена и указал меры, которые не только отражали понимание более активной роли государства в решении этой проблемы, но определяли фокус вмешательства государства в экономику. Важную роль в этом сыграла не только «Великая депрессия», но и имевшее место еще в конце XIX в. осознание необходимости решения социальных проблем и повышения ответственности государства. Причем этот процесс происходил при одновременном укреплении доверия к науке и ее способности дать ориентиры для осуществления социальных преобразований. Тогда же определилась и общественная сила, способная стать субъектом научного подхода к социальным проблемам – научная и управленческая элита, которая должна была потеснить образованных любителей в сфере политики и экономики. Кейнс оказался таким профессионалом, одним из первых *adviser* от науки.

Основные новации кейнсианской исследовательской программы: сдвиг от анализа экономических процессов в рамках долгосрочного периода к их анализу в рамках краткосрочной перспективы; предположение об устойчивости функций потребления и неустойчивости функций инвестиций и спроса на деньги из-за влияния фактора неопределенности; признание того, что сбережения и инвестиции осуществляются разными субъектами по разным мотивам, а процент определяется не равновесием спроса и предложения ссудного капитала, а денежными факторами;

понимание того, что рынок труда функционирует не как автономный рынок, а как органическая часть экономики, и что реальная заработная плата определяется объемом производства, а предложение рабочей силы зависит от номинальной заработной платы.

Эти новации в аналитическом аппарате позволили Кейнсу показать возможность существования равновесия при неполной занятости. Смысл утверждения состоит в том, что неполная занятость может не означать неравновесной ситуации, преодоление которой обеспечивается механизмом цен, а может быть ситуацией, когда отсутствуют автоматические силы, стремящиеся вывести экономику из этого состояния. Таким образом, принципиальное расхождение с классиками состоит в том, что у Кейнса механизм, который традиционно был в центре внимания (механизм цен), оказался не способным вывести экономику из состояния, когда количество желающих работать и величина спроса на рабочую силу не равны. Кейнс был первым, кто ввел понятие вынужденной безработицы. И это новое понятие позволяло увидеть явление, которое старая исследовательская программа попросту игнорировала. <....>

Индустриальная организация и концепция рыночной структуры

Назначение теорий индустриальной организации – введение новой концепции рынка, в которой рынок определяется как индустрия, а также формирование установки на эмпирические исследования рынков в целом. Согласно идеям Дж. М. Кейнса, поле индустриальной организации появилось в беспокойный период между двумя мировыми войнами. Новый подход коренился в работе А. Маршалла «Индустрия и торговля» [Marshall, 1920], но капитализирующим моментом в появлении поля индустриальной организации явилась публикация Э. Чемберлина «Теория монополистической конкуренции» [Chamberlin, 1933]. Отправной точкой для Э. Чемберлина стала критика теории совершенной конкуренции, в которой он ощущал большое количество слабых мест. В частности, в этой теории рассматривался лишь

один из двух ключевых элементов конкуренции, а именно, число акторов на рынке. Второй ключевой элемент – различие произведенных товаров – игнорировался. Э. Чемберлин обосновывал, что различие товаров можно осуществлять различным образом, например, с помощью патентов, торговых марок и рекламы. Чисто социальные факторы также могут способствовать различению товаров путем «создания репутации» продавца, «установления личных связей» между покупателями и продавцами и «общего тона или характера учреждения, где эти товары производятся». Реализация концепции Э. Чемберлина естественно предполагает новые перспективы развития рынков, которые проявляются следующими положениями. «Под воздействием чистой конкуренции рынок каждого продавца полностью сливается с рынками его соперников; ныне же можно признать, что каждый из них в определенной мере изолирован, так что целое не является единым рынком многих продавцов, но представляет собой сеть рынков, где все связаны друг с другом» [Chamberlin, 1933]. При этом определять связи между рынками становится еще более затруднительным.

Следующим этапом в эволюции поля индустриальной организации стала, несколькими годами позже, важная статья Э. Мейсона [Mason, 1939]. Согласно Э. Мейсону, возникла необходимость исследовать политику цен корпораций и вводить эмпирическое содержание в неоклассическую теорию цен. Э. Мейсон предлагал осуществить это через классификацию эмпирического материала в терминах «рыночных структур». Э. Мейсон был в какой-то мере неясен в терминологии, но главным его достижением является заявление о том, что «рынок и рыночную структуру следует определять со ссылкой на позицию единого продавца или покупателя; что структура рынка... включает все те соображения, которые он принимает в расчет при определении его политики и практики бизнеса». Поскольку рыночная структура известна, продолжал Э. Мейсон, было бы возможным определять «ценовой ответ» и, исходя из этого, его воздействие на экономику и общество в целом.

Идеи Э. Мейсона породили множество эмпирических исследований и вскоре были сформированы в виде парадигмы «Структура – Управление – Исполнение». Согласно этому подходу, рынок рассматривается как органично присущий промышленности. «Рыночная структура» связывается с такими факторами, как барьеры вхождения в состав и концентрации продавцов. «Управление рынком» означает политику, регулирующую соперничество и установление цен. «Исполнение» в рамках рынка соотносится с оценочными вопросами реализации той или иной политики, например с вопросами справедливости тех или иных действий. <....>

Послевоенное развитие и исследование рынков

После Второй мировой войны наибольшее развитие получила экономическая теория, основу которой составило понимание рынков как *ценообразующих механизмов*. Это было характерным как для исследования рынков в целом, так и для изучения таких специальных рынков, как рынки труда и финансовые. Так, с помощью генеральной теории равновесия изучались трудные теоретические проблемы анализа взаимосвязанных рынков. Теория игр явилась пионерной во введении интерсубъективности в главное русло экономики, предложив тип анализа, в котором каждый актер принимает во внимание решения других акторов. Чикагская школа обосновала центральное место рынка как в экономической теории, так и в вопросах политики. И, наконец, появилось большое число интересных подвижек в экономической информации. Акцент на роли знания в разработке рыночных моделей привел к исследованиям «неудач рынка», «сигналов рынка» и т. д.

Однако при рассмотрении рынков как социальных структур некоторые из наиболее современных теорий утрачивают свои объяснительные способности. Так, абстрактная модель рынка, разработанная в контексте генеральной теории равновесия, не в состоянии управлять занятостью, неполной занятостью и безработицей. Большинство исследований теории игр также абстрактны и часто терпят неудачу в объяснении социальных явлений. Чикаг-

ские экономисты добились, с одной стороны, успехов в изучении таких тем, как «скрытые рынки», правовая рыночная система, общественная регуляция рынка, взаимосвязь свободы и рынка. С другой стороны, они имеют тенденцию априорно воспринимать рынок как положительное явление и отождествлять с ним экономическую жизнь в целом.

Тем не менее все больше исследователей-экономистов проявляют интерес к теории рынков как социальных структур. Примером тому служат работы Д. Карлтона, который обосновывает, что существует множество различных механизмов, через которые рынки себя проявляют. *Ценообразующий механизм* комбинируется, как правило, с другими механизмами, социальными по своей природе (например, продолжительность отношений между продавцами и покупателями или знание продавцами нужд покупателей) [Carlton, 1989].

Наиболее существенный вклад в современную экономику, с применением социальной теории рынка, содержится в работе, называемой «*Новая институциональная экономика*». Этот подход привлек ученых из нескольких смежных областей, особенно специалистов по праву и экономической истории (R. Coase, O. Williamson, D. North), ключевые концепции которых включают «урегулирование издержек» и «права собственности», «издержки на поиск партнеров», «издержки внеэкономического (принудительного) характера» и «издержки на измерение стоимости товаров» в поисках общего эквивалента. Одни из этих концепций (издержки на поиск партнеров, издержки внеэкономического характера и издержки на измерение стоимости товаров) применялись исключительно к рынку, а другие (урегулирование издержек и права собственности) как к рынку, так и к иным экономическим институтам. В «*Новой институциональной экономике*» значительное внимание уделялось рынку как специальному институту с собственным кодексом прав.

Идея урегулирования издержек заключается в том, что обмен всегда связан с издержками и что, в одних случаях, они могут оплачиваться с использованием рынка, а в других – быть менее дорогими, оплачиваясь через фирму [Coase, 1988]. О. Вильямсон

популяризовал эту идею в своей книге *«Рынки и иерархии»* [Williamson, 1975]. Идея прав собственности заключается в том, что экономические институты могут быть концептуализированы не только в стандартных экономических терминах, но также в терминах юридических прав. Издержки на поиск партнеров заключаются в том или ином размещении потенциальных покупателей и продавцов, тогда как издержки внешнеэкономического характера исходят из факта, что обмен влечет за собой затраты, необходимые для поддержания закона и порядка в рамках рынка и вне его. Издержки на измерение стоимости товаров – это издержки, вытекающие из исследования покупательского спроса на товары того или иного качества [Barzel, 1982].

Тем, кто вооружен этими концепциями, становится значительно легче анализировать работу рынка. *«Новая институциональная экономика»* формирует также непосредственное отношение к рынку как специфическому социальному институту. Особенно это касается разделов Р. Коуза и Д. Норта. В современной работе, названной *«Институты, институциональное изменение и экономическое исполнение»* [North, 1990], Д. Норт определяет главные шаги в развитии рынка, используя инструменты, почерпнутые из *«Новой институциональной экономики»*. Он также порывает с общепринятой тенденцией уравнивать рынок с эффективностью и отмечает, что для некоторых экономических институтов, включая рынок, актуально скорее повышать урегулирование издержек, нежели понижать их. Д. Норт заключает, что рынок – «это смешение в сосуде институтов, одни из которых повышают свою эффективность, а другие понижают ее». Подобные мысли проводятся Р. Коузом, но с определенными критическими замечаниями. В статье конца 1980-х годов Р. Коуз намечает основные программные положения теории рынка как института. По его мнению, экономисты слишком часто уравнивают рынок с определением рыночных цен, что ведет к ситуации, в которой «дискуссия о самом рынке полностью исчезает». Он также подвергает критике положение о рыночной структуре, обосновывая, что многие исследователи рыночных структур рассматривают такие факторы, как число фирм и различие товара, но забывают анализировать рынок как таковой. <....>

Для устранения подобной небрежности Р. Коуз советует исследователям рассматривать рынок как «социальный институт, который содействует обмену». Согласно Р. Коузу, физическая структура рынка, как и его правила и регуляции, существует в основном для того, чтобы снижать издержки обмена, когда рынок высоко организован; например, фондовая биржа, в которой принуждение ее членов к выполнению тех или иных правил обычно сводится на нет. Когда же рынок рассеян на обширной территории, то, по Р. Коузу, государству приходится вмешиваться в его функционирование и регулировать куплю и продажу, сводя рыночные отношения до минимума.

Рынок в социологической теории

Сейчас я хотел бы рассмотреть способ, которым социологи анализировали рынок и, в частности, как они пытались справиться со сложностью феномена рынка. Во-первых, следует отметить, что социологи уделяли рынку гораздо меньше внимания, чем экономисты. Во-вторых, обратим внимание на то, что социологическая и экономическая теории развивались более или менее независимо друг от друга. Одним из нежелательных последствий этого явилась весьма малая способность их взаимопроникновения. Й. Шумпетер однажды пошутил по этому поводу, сказав, что в результате экономисты создали собственную «примитивную социологию», а социологи – собственную «примитивную экономику» [Shumpeter, 1954]. В этом есть определенная доля правды, но я постараюсь показать, что социологи внесли значительный вклад в понимание рынков.

Рынок в классической социологической теории

Из ранних социологов более всего интересовался рынками М. Вебер. Он полагал, что экономика должна быть широкой наукой, включающей такие темы, как «социология рынка»; он также пытался сделать эскиз этого типа социологии [Weber, 1922]. Однако другие социологи – особенно Г. Зиммель и Э. Дюркгейм – затрагивали вопросы рынка именно в своих социологических изысканиях. Г. Зиммель, в частности, акцентировал внимание

на доминирующей роли денег в современном обществе [Simmel, 1907]. Что касается Э. Дюркгейма, то он сосредоточил свое внимание на том, как безнормность (аномия) воздействует на поведение людей разных сферах, включая экономику [Durkheim, 1893].

М. Вебер испытывал особый интерес к рынку и на протяжении своей научной карьеры анализировал его с различных точек зрения. Например, будучи молодым юристом, он участвовал в общественном обследовании фондовой биржи. Из его произведений становится ясным, что М. Вебер особенно интересовался тем, каким образом и в каких местах организуются фондовые биржи. Являясь профессором экономики в 1890-х годах, М. Вебер следовал в своем подходе за Менгером, развивая его теорию и обосновывая, что «цена на рынке является результатом экономической борьбы» (борьбы цен). Он объяснял, что борьба цен на рынке имеет два аспекта, которые необходимо различать. С одной стороны, существует «борьба интересов» на рынке между двумя группами, которые реально вступают в обмен; с другой стороны – «конкуренция» между всеми, кто потенциально заинтересован в обмене с самого начала процесса.

Когда М. Вебер начал самоопределяться как социолог (десятилетием позже), он переработал свой анализ рынка с точки зрения методологического индивидуализма и понимания акторов. В результате в работе *«Экономика и общество»* М. Вебер определяет рынок следующим образом: «О рынке можно судить по наличию в нем конкуренции в случаях взаимобмена между множеством потенциальных групп. Их физическое собрание в одном месте, например на местной рыночной площади, ярмарке («продолжительный рынок») или обмен («рынок торговцев»), лишь конституируют наиболее последовательный вид рыночной формации. Вместе с тем только физическое собрание людей на рыночной площади способствует полному проявлению наиболее отчетливых особенностей рынка» [Weber, 1922].

М. Вебер признает концептуальное различие между обменом и конкуренцией. Если быть более точным, то социальное действие на рынке начинается, согласно М. Веберу, как конкуренция, а заканчивается как обмен. В первой фазе «потенциальные

партнеры руководствуются в своих предложениях потенциальным действием неопределенно больших групп реальных или воображаемых соперников в значительно большей мере, нежели своими собственными действиями». Вторая, или финальная, фаза структурируется, однако, иным образом: «Завершенный бартер конституирует соглашение только с непосредственными партнерами». М. Вебер придавал рыночному обмену исключительное значение в том смысле, что последний представляет наиболее инструментальный и предсказуемый тип социального действия, который только возможен между человеческими существами. Он говорил, что обмен представляет «архетип всего рационального социального действия» и формирует, как таковой, «отвращение к любой системе с общинной этикой».

М. Вебер также сосредоточивал внимание на элементе борьбы или конфликта в рыночной системе. Он использовал такой термин, как *рыночная борьба*, и говорил о сражении людей друг против друга в сфере рыночных отношений. Например, конкуренцию он определял как «мировой» конфликт... обширный в той мере, в какой он выражает мировую попытку достигать контроля посредством возможностей и преимуществ, которыми хотел бы владеть каждый». Вместе с тем он определял обмен как «компромисс интересов тех или иных групп, в русле которого товары или другие преимущества выступают в качестве взаимной компенсации». М. Вебер неоднократно подчеркивал, что цены в их денежном выражении всегда являются результатом ожесточенной борьбы между группами на рынке.

М. Вебер весьма интересовался взаимодействием между рынком и остальным обществом. Красной нитью через веберовский анализ рыночных отношений проходит мысль о роли регуляции в сфере рынка. В докапиталистических обществах обычно наблюдается, по М. Веберу, значительная доля «традиционной регуляции» рынка. Но чем более рациональным становится рынок, тем меньше он подвержен формальной регуляции. Высочайшая степень «рыночной свободы», или «рыночной рациональности», достигается, согласно М. Веберу, в капиталистическом обществе, где большинство иррациональных элементов элиминировано. <...>

Попытка в 1950-х годах оживить социологический анализ рынка

Хотя ранние социологи обладали солидным фундаментом для исследования рыночных отношений, идея социологии рынков в то время еще не вызрела. В течение 1920-х и 1930-х годов исследования в этом направлении почти не проводились. После Второй мировой войны в 1950-х годах была сделана попытка оживить социальный анализ рынка. Прежде всего здесь следует упомянуть работы Т. Парсонса, Н. Смелсера, К. Поланьи. В *«Экономике и обществе»* (1956) Т. Парсонс и Н. Смелсер стремились показать, что экономическая и социальная теории могут быть интегрированы плодотворным образом, а также предлагали некоторые «стартовые позиции для систематизированного развития социологии рынков». Авторы указывали, что можно концептуализировать рынок как особую социальную систему с ее собственным правом на существование. Но в главном их усилия были направлены на решение другой задачи, а именно – показать, что рынки различаются не только по степени развитости, но и по «социологическому типу» в зависимости от их положения в социальной системе в целом [Parsons and Smelser, 1956].

Анализ рынка, который можно обнаружить в работах К. Поланьи, гораздо менее абстрактен, чем у Т. Парсонса и Н. Смелсера, и, соответственно, более полемичен. Согласно К. Поланьи, было необходимо развивать новый подход к рынку, поскольку «наша главная интеллектуальная задача сегодня решается в поле экономических исследований». К. Поланьи видел свою задачу в развитии нового типа экономического учения, в котором экономика рассматривалась бы как один из компонентов общества.

Первая попытка К. Поланьи изложить суть своего видения нового типа экономики содержится в его работе *«Великая трансформация»* [Polanyi, 1944]. В этой работе он стремился объяснить, почему рынки стали столь важными в современном обществе, но делал это в манере, отличной от общепринятой. К. Поланьи обосновывал, что экономисты обычно сначала ссылаются на склонность людей к обмену, а затем набрасывают эскиз естественного прогресса от малых исторических рынков к гигант-

ским современным рынкам. Согласно К. Поланьи, подобный подход имеет мало общего с исторической эволюцией реальных рынков. Анализируя работы ряда ведущих экономистов, он указывал, что среди очень ранних существовало только два типа маломасштабных рынков: местный и «внешний» рынки (последний термин К. Поланьи использовал для обозначения рынков на длительных расстояниях). Оба эти типа рынков обычно регулировались и, как правило, не достигали динамики, достаточной для создания экономического прорыва. Отвергая прежние подходы, К. Поланьи утверждал, что в возникновении рыночной экономики сыграло свою роль государство, а также радикальная элиминация всех рыночных регуляций в Англии в середине XIX в. Интерпретация К. Поланьи английской теории была, однако, всецело его собственной. К. Поланьи обосновывал, что все регуляции рынка в течение 1830–1850-х годов превращались в утопическую попытку сделать из Англии «один большой рынок». Земля, так же как и труд, трактовались таким образом, как если бы они были обычными продуктами купли и продажи на рынке. Результат подобной попытки был невыразимо мизерным для большинства людей до тех пор, пока наконец не возникли контрдвижения по защите общества от «саморегулирующегося рынка». Однако эти контрдвижения имели свою собственную противоречивую динамику; К. Поланьи отслеживает многие из ключевых событий XX в., включая Первую и Вторую мировые войны, с тем чтобы объяснить ретроспективным путем превращение всего общества в один гигантский рынок в Англии середины XIX в.

В русле своего анализа в *«Великой трансформации»* К. Поланьи ввел как новую терминологию, так и новые теоретические перспективы рынков. Свои новые концепции он представил в ныне знаменитом эссе *«Экономика как институциональный процесс»* (1957). К. Поланьи обосновывает тот факт, что существуют несколько различных путей организации экономики: посредством «взаимодействия», «перераспределения» и «рыночного обмена». Согласно его концепции, было бы ошибкой думать, что экономика организуется только через рыночный обмен; ошибочно

также уравнивать торговлю с рынками, а деньги с обменом. К. Поланьи показывает, что торговля и деньги существовали во многих различных формах. В русле данной концепции для существования рынка необходимы прежде всего «спрос на толпу», «предложение толпы» и нечто, что может служить «эквивалентом». Сюда можно добавить ряд функциональных элементов, например, «физическое месторасположение, представление товаров, обычай и закон». Но даже этого недостаточно для адекватного отражения стандартного рынка в экономической теории, поскольку цены на нем могут быть как фиксированными, так и свободными («рынки с фиксированными ценами» против «ценообразующих рынков»). К. Поланьи считал, что цены, которые постоянно изменяются благодаря конкуренции, представляют позднюю стадию рыночного развития. <....>

Возрождение социологии рынков

Идеи К. Поланьи не оказали существенного влияния на развитие социологии рынков, и в период 1950–1970-х годов практически не было социологических работ, посвященных анализу рыночных отношений. Однако в 1970-е годы социологи вновь стали проявлять интерес к изучению феномена рынка. Эссе Б. Барбера [Barber, 1977], посвященное «абсолютизации рынка», появилось в середине 70-х годов. Примерно в то же время немецкий социолог К. Хейнеманн (Heinemann) внес предложение о создании «социологии рынков». Появилось также несколько социологических исследований, затрагивающих различные аспекты рыночных отношений [Bonachich, 1973; Granovetter, 1974; Wallerstein, 1979]. В одном из них М. Грановеттер явился пионером сетевого подхода к анализу рынков, обратив внимание на роль знакомств и друзей в поисках работы индивидом. В другом – И. Валлерстайн представил теорию «современной мировой системы», в которой торговля и международные рынки играют ключевую роль. Интерес к рынкам появился и в русле теории организаций.

С начала 1980-х годов интерес социологов к рынкам усилился и появилось множество работ на эту тему. К настоящему времени

апробируется, с разной степенью успеха, целый ряд теоретических подходов: социально-структурный (White, Burt, Baker); социально-конструкционистский (Garcia, Smith); историко-сравнительный (Hamilton and Biggart, Lie); социально-системный (Luhmann); подход социальных правил (Burns and Flam); подход с позиции теории игр (Opp, Vanberg); подход с позиции конфликтологии (Collins). Некоторые социологические работы инспирируются трудами современных экономистов, посвященных рынку, особенно исследованием О. Вильямсона *«Рынки и иерархии»* [Williamson, 1975].

Особенно выделяется нами социологическая теория рынка – так называемый структурный подход. Этот подход доминирует в дебатах по вопросам рынка по двум причинам: он представляет наиболее устоявшуюся попытку создания социологической теории рынков и привлекает ряд весьма компетентных последователей. Трое из них – Х. Уайт [White, 1981], Р. Бёрт [Burt, 1982] и В. Бейкер [Baker, 1984] – особенно преуспели в развитии этого типа анализа. Что характеризует структурную социологию в главном, так это фокусирование внимания на социальной структуре, попытка описывать структуру в очень конкретной манере (обычно через сети рыночных отношений) и глубокое недоверие к психологическим и культурологическим объяснениям. Отвержение сторонниками структурного подхода того, что ценности, идеи и культура являются центральными в социологическом анализе, вызывает определенные дебаты.

Одним из тех, кто заслуживает признания за возрождение интереса к рынкам, является Х. Уайт. Его исследование проблем рынка, начавшееся в середине 1970-х годов, представляет попытку поднять базисные вопросы рыночных отношений. «Почему возникают частные рынки? В силу каких причин тот или иной рынок проявляет устойчивость? Какой вид социальной структуры составляет основу рыночных отношений?» Ответы на эти вопросы, обнаруженные в работе Х. Уайта, в большой мере определяются его неудовлетворенностью неоклассической экономикой. Согласно Х. Уайту, современная экономика практически

не испытывает интереса к конкретным рынкам и озабочена рынками обмена в противоположность рынкам производства. Он заявляет, что не существует неоклассической теории рынка, а только чистая теория обмена. Вместе с тем Х. Уайт находится под глубоким влиянием экономической теории в своих теоретических подходах к рынку. Он позитивно относится к анализу А. Маршалла и Э. Чемберлина и отдает должное теории рыночного сигнализирования М. Спенке [M. Spence, 1974].

Влияние М. Спенке особенно ощущается на ключевой характеристике теории рынков Х. Уайта – а именно, что рынки состоят из структур, которые воспроизводятся посредством сигнализации или коммуникаций между его участниками. Типичный рынок, описываемый Х. Уайтом, – это производственный рынок как оппозиция рыночному обмену. Причина такого подхода заключается в том, что Х. Уайт считает производственные рынки характерными для экономики индустриального общества. Х. Уайт утверждает, что производственный рынок, как правило, состоит примерно из дюжины фирм, которые оценивают друг друга как конституированный рынок и воспринимаются в качестве такового покупателями. Центральным *механизмом* формирования рынка является его *«рыночная шкала»*, операционализованная Х. Уайтом в виде системы координат X и Y , где X применяется для обозначения получаемого дохода, а Y – для объема производимой продукции. Согласно Х. Уайту, такая шкала гораздо более реалистична, чем экономический анализ спроса и предложения. Бизнесмены знают, сколько стоит производство того или иного продукта, и пытаются максимизировать свой доход, определяя конкретный объем производимого продукта. При корректном расчете они размещают свою нишу на рынке продукции таким образом, который позволяет определять объем продукции в соответствии с запросами покупателей. Наиболее адекватное определение рынка, содержащееся в работах Х. Уайта, звучит следующим образом: «Рынки представляют собой реальные группировки, которые бдительно наблюдают друг за другом. Давление со стороны покупателей создает зеркало, в котором производители видят себя самих, но не потребителей» [White, 1981].

Исследование рынков Р. Бёртом относится к середине 1970-х годов. В своих исследованиях он использовал особый тип представления данных, а именно в виде таблиц затрат и дохода в мануфактурной промышленности США. На базе этих данных Р. Бёрт развивал новую концепцию, описывающую структуру рынка, – «структурную автономию». Р. Бёрт утверждал, что фирма может быть или не быть автономной в зависимости от трех следующих факторов: 1) взаимодействие между фирмой и ее конкурентами; 2) взаимодействие между лицами, предлагающими фирме свои услуги; 3) взаимодействие между потребителями продукции фирмы. Автономия является максимальной для фирмы в том случае, если последняя имеет: 1) минимальное число конкурентов; 2) много разрозненных продавцов рабочей силы; 3) много разнообразных потребителей продукции. Р. Бёрт убедительно показал, что чем выше степень структурной автономии фирмы, тем больше ее доход. Фирмы, имеющие высокую степень рыночного ограничения, пытаются кооптировать своих конкурентов и увеличивать свою выгоду различными методами, включая объединение директоров [Burt, 1982].

Подобно Р. Бёрту и Х. Уайту, В. Бейкер начал развивать структурный подход к анализу рынков в 1980-х годах. В своем труде *«Social Structure of National Securities Market»* [Baker, 1984] В. Бейкер представил как теоретическую аргументацию развития социологической теории рынка, так и конкретный эмпирический анализ. Он считал, что для экономистов характерен скорее имплицитный, нежели эксплицитный анализ рынка: «Так как рынок обычно предполагается, а не изучается, то большинство экономистов имплицитно характеризуют рынок как плоскость, лишенную специфических черт». В реальности, однако, рынки не гомогенны, а социально структурированы различным образом. И основная задача теории среднего уровня «рынков как сетей» – анализ данной структуры. <...>

Интеграция экономических и социологических подходов к рынку

Как уже упоминалось, интересные попытки анализа рынков как социальных феноменов с их правом на собственное

существование — а не только как ценообразующих механизмов — осуществлялись как в экономической теории, так и в социологии. В экономике А. Маршалл, например, создал впечатляющую программу исследования «организации рынков». Хотя он и потерпел неудачу в завершении этой программы, однако в его работах можно обнаружить плодотворные попытки создания различных рыночных типологий. Рынки, согласно А. Маршаллу, можно анализировать в соответствии с такими критериями, как пространство, формальная организация, неформальная организация и наличие или отсутствие социальных связей между покупателями и продавцами. Э. Чемберлин, так же как и А. Маршалл, стремился понять, как действуют конкретные рынки. Он, в частности, сосредоточил внимание на дифференциации товаров (и, следовательно, рынков) посредством введения патентов, торговых марок, репутации продавца и т. п. Далее следует отметить исследования Д. Карлтона, выдвинувшего идею комбинирования ценообразующего механизма с другими механизмами, социальными по своей природе. И наконец, в «*Новой институциональной экономике*» [Williamson, 1975] обосновывалось, что рынок можно рассматривать как институт с правом на собственное существование, а не только как ценообразующий механизм. Основное внимание здесь уделялось юридическому обоснованию обмена и концепциям, объясняющим урегулирование издержек, издержки на поиск партнера, издержки внеэкономического характера и издержки на измерение стоимости товаров.

В социологии осуществлялись попытки анализировать рынки как комплексные социальные феномены с собственным правом на осуществление. Например, М. Вебер подчеркивал роль, которую конфликты и социальная регуляция играют в структурировании рынков. Более поздние социологи рассматривали в качестве своей первостепенной задачи обоснование того, что рынки не просто состоят из гомогенных пространств, где покупатели и продавцы вступают в обмен друг с другом, но что рынки представляют собой особые сети взаимодействия. Социологи пытались также обосновать роль юридических и политических факторов в функционировании рынков. Основные дебаты раз-

вернулись между социологами и авторами *«Новой институциональной экономики»* относительно степени, в которой эффективность может объяснять структуру частных рынков.

Даже при наличии значительного прогресса в понимании социальной структуры рынков пока еще существует очень сильная тенденция анализа рынков, как если бы они были всего лишь механизмами обмена. Это касается как социологов, так и экономистов и создает препятствие появлению полноценной теории рынков. Следуя М. Веберу, я полагаю, что в содержание рыночного феномена входят не один, а два элемента – обмен в комбинации с конкуренцией. Более точно – социальная структура рынка характеризуется особым типом взаимодействия, которое начинается как конкуренция между большим числом покупателей и продавцов, а кончается обменом между несколькими действующими лицами.

Концепция рынков как конкуренции в случаях обмена становится более интересной, если она включает в себя все, что происходит вне рынка, но в связи с ним: как конкуренцию производства, так и конкуренцию обмена. Конкуренция, возникая в случаях обмена, начинает пронизывать все общество за пределами непосредственного рынка, который благодаря рыночному прогрессу превращается из нединамичной в динамичную силу общества. Таким образом, конкуренция, возникающая в случаях обмена, ощущается во всем обществе и характеризует современное капиталистическое общество в целом.

Целесообразно обратить внимание на блестящую интерпретацию конкуренции, предложенную Г. Зиммелем. Конкуренцию, согласно Г. Зиммелю, можно охарактеризовать как форму «косвенного конфликта». Она отличается от обычных форм конфликта тем, что не оказывает непосредственного влияния на оппонента, а скорее содержит «параллельное усилие». Вместо того чтобы уничтожить оппонента, конкурент пытается превзойти его или ее. Это означает, что реализуется сверхэнергия и что общество выигрывает в результате всех этих усилий значительно больше, чем в результате только одной победы.

Г. Зиммель также подчеркивал, что даже если конкуренты мотивированы тем, что они ожидают получить от обмена, им,

тем не менее, придется производить продукцию согласно желаниям партнеров по обмену. Конкуренция, иными словами, представляет собой «субъективные мотивы усилий как средства производства объективных социальных ценностей». Процесс конкуренции, по Г. Зиммелю, отображает то, что А. Смит называл «невидимой рукой рынка», и свидетельствует о том, что «основная цель для индивида» оказывается «средством для социальной группы или сообщества».

Многие из рассмотренных нами вкладов в развитие теории рынков, – как, например, идеи издержек внешнеэкономического (принудительного) характера и издержек на измерение стоимости товаров – могут быть легко включены в веберовскую теорию рынка как конкуренции в процессе обмена. И с помощью этой последней теории возможно развивать различные типологии рынков как социальных структур. Исторические рынки существенно отличались друг от друга в зависимости от степени, в которой конкуренция охватывала общество. Например, в средние века типичный городской рынок не оказывал особого влияния на остальное общество. Что же касается современного общества, то все наиболее важные рынки формально свободны и характеризуются как конкуренцией на рыночной площади, так и конкуренцией в производстве. Издержки внешнеэкономического характера и издержки на установление адекватной стоимости товаров (при отсутствии денег в качестве эквивалента) варьировали в ходе истории, но имели общую тенденцию к уменьшению и даже исчезновению с появлением современного государства и стандартизированных мер и весов. В качестве других элементов, введенных в типологии рынков для представления полной картины их социальной структуры, рассматривается количество покупателей и продавцов, а также уровень их организованности (индивиды, организации).

Творческие усилия как в современной экономике, так и в социологии развиваются в направлении замещения традиционного подхода к рынку как механизму обмена рассмотрением рынка как сложного социального феномена с правом на собственное существование. Пока что эти усилия находятся в ранней стадии

своего развития, хотя в последние 50 лет наблюдается значительный прогресс в этом плане. Основная задача состоит в развитии аналитически интересной модели, которая может быть эффективно использована в эмпирических исследованиях. Предложение М. Вебера относительно того, что можно рассматривать рынок как форму взаимодействия конкуренции и обмена, является одним из способов выполнения этой задачи. Пока еще проблема понимания рынков как особых социальных структур не имеет адекватных средств своего решения. Несомненно, изучение названной проблемы должно быть одним из наиболее важных вопросов в повестке дня как экономической теории, так и экономической социологии.

Литература

Barber B. Absolutization of the Market // *Markets and Morals* / Washington D. C.: Hemisphere Publishing Corporation, 1977. P. 15–31.

Barzel Y. Measurement Cost and the Organization of Markets // *Journal of Law and Economics*. 1982. Vol. 25. P. 27–48.

Baker W. Social Structure of National Securities Market // *American Journal of Sociology*. 1984. Vol. 89. P. 775–811.

Bonacich E. The Theory of Middleman Minority // *American Sociological Review*. 1973. Vol. 38. P. 583–594.

Burt R. Toward a Structural Theory of Action: Network Models of Social Structure Perception and Action. N.Y.: Academic Press. 1982.

Carlton D. The Theory and the Facts of How Markets Clear // *Handbook of Industrial Organization*. Amsterdam: North-Holland. 1989. P. 909–946.

Chamberlin E. The Theory of Monopolistic Competition. Cambridge, MA: Harvard University Press. 1933.

Coase R. The Firm, the Market and the Law. Chicago: University of Chicago Press. 1988.

Durkheim E. The Division of Labor in Society. N.Y.: The Free Press. [1893] 1984.

Granovetter M. Getting a Job: A Study of Contacts and Careers. Cambridge, MA: Harvard University Press. 1974.

Jevons W. S. The Theory of Political Economy. London: Macmillan and Co. [1871] 1911.

Keynes J. M. The General Theory of Employment, Interest and Money. London: Macmillan and Co. 1936.

Marshall A. Principles of Economics. London: Macmillan and Co. [1890] 1961.

Marshall A. Industry and Trade. London: Macmillan and Co. 1920.

Marshall A. Money, Credit and Commerce. London: Macmillan and Co. 1922.

- Marx K.* Capital: Critique of Political Economy. N.Y.: Modern Library. [1867] 1906.
- Mason E.* Price and Production Policies of Large-Scale Enterprises // American Economic Review. 1939. Vol. 29. P. 61–74.
- Menger C.* Investigations into the Method of the Social Sciences with Special Reference to Economics. N.Y.: New York University Press. [1883] 1985.
- Mill J. S.* Principles of Political Economy. London: Rout Ledge and Kegan Paul. [1871] 1965.
- North D.* Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press. 1990.
- Parsons T., Smelser N.* Economy and Society. A Study in the Integration of Economic and Social Theory. London: Rout Ledge and Kegan Paul. 1956.
- Polanui K.* The Great Transformation. Boston: Beacon Press. [1944] 1957.
- Ricardo D.* On the Principles of Political Economy and Taxation. Cambridge: Cambridge University Press. [1817] 1951.
- Shumpeter J.* History of Economic Analysis. London: Georgian Allen and Unwind. 1954.
- Simmel G.* The Philosophy of Money. Boston: Rout Ledge and Kegan Paul. [1907] 1978.
- Smith A.* An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Oxford: Clarendon Press. [1776] 1976.
- Spence M.* Market Signaling. The Informational Structure of Hiring and Related Processes. Cambridge: Harvard University Press. 1974.
- Wallerstein I.* The Modern World-System. N.Y.: Academic Press. 1979.
- Walras L.* Elements of Pure Economics. Homewood: Richard D. Irwin. [1926] 1954.
- Weber M.* Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. Berkeley: University of California Press. [1922] 1978.
- White H.* Production Markets as Inducted Role Structure // Sociological Methodology. San Francisco: Jossey Bass Publishers. 1981. P. 1–57.
- Williamson O.* Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications. N.Y.: The Free Press. 1975.

Перевод с английского Г. Н. Соколовой

ГИДДЕНС Энтони
(GIDDENS Anthony)

(р. 1938)

Энтони Гидденс (р. 18.01.1938, Лондон) – один из основных представителей социологической теоретической мысли современной Англии. В 1956–1959 гг. учился в университете Халла (Hull) на отделении социологии и психологии. Затем, с 1959 по 1961 год, посещал Лондонскую школу экономики по специальности «Социология», закончив ее с отличием. В 1976 г. в Кембридже получил степень доктора философских наук. На данный момент Гидденс является директором Лондонской школы экономики и политических наук (LSE). Он зарекомендовал себя как самый читаемый и цитируемый теоретик нашего времени.

На первом этапе своего творчества Гидденс внес существенный вклад в развитие теоретической социологии. В центре внимания Гидденса – проблемы теории действия, деятельности и структуры, а также способность социального деятеля к познанию. Решению этих проблем посвящена теория структуриации Гидденса. На втором этапе своего творчества, который продолжается до нынешнего момента, Гидденс предлагает критику постмодернизма как теории общества, разрабатывая в качестве альтернативы идею рефлексивности эпохи модернизма и говоря о «высоком модернизме» как определенной стадии развития общества. Модернизм, в понимании Гидденса, – это социальная система, возникшая вместе с национальным государством и капиталистическим производством в постиндустриальную эпоху и переживающая сегодня бурное развитие. Одной из причин возникновения такой социальной системы является изменение системы ценностей человека, их переориентация с внешних на внутренние, с материальных на нематериальные. В последних работах Гидденс обосновывает необходимость нового (третьего) пути политического развития современных обществ. Основной акцент в теории третьего пути делается на сбалансировании

мощи капитализма и усилении солидарности и гражданских ценностей, развиваемых социальной системой. Сейчас Гидденс обращается к теоретическому обоснованию проблемы глобализации, выделяя двух основных субъектов этого явления – «гиперглобализаторов» и «скептиков глобализации». Придерживаясь «золотой середины», Гидденс рассматривает глобализацию как противоречивый процесс, порождающий солидарность в одних социальных системах и разрушающий ее – в других. Он выделяет четыре события в истории человечества, приведшие к глобализации: информационная революция конца 1960-х; развитие экономики, состоящей из мировых финансовых, товарных и информационных рынков; падение советской коммунистической плановой системы; изменения, произошедшие на уровне повседневной жизни и приведшие к равноправию мужчин и женщин. Благодаря этим событиям, по Гидденсу, произошел переход к обществу, ориентированному на будущее.

Основные работы: «Капитализм и современная социальная теория: анализ работ Маркса, Дюркгейма, Вебера» (1971); «Политика и социология в учении Макса Вебера» (1972); «Классовая структура развитых обществ» (1973); «Эмиль Дюркгейм» (1978); «Политика, социология и социальная теория: встреча с классической и современной социальной мыслью» (1982); «Конституирование общества: основные принципы теории структуризации» (1986), «Социальная теория и современная социология» (1991); «Последствие модернизма» (1991); «Новые правила социологического метода: позитивная критика понимающей социологии» (1993); «Влево или вправо: будущее радикальной политики» (1995); «Третий путь и его критика», «Третий путь: обновление социальной демократии» и «Глобальные споры о Третьем пути» (2001); «На грани: жизнь и глобальный капитализм» (2001); «Неудержимый мир: как глобализация меняет нашу жизнь» (2002); «Куда теперь новой рабочей силе?» (2002).

В предлагаемом тексте Э. Гидденсом рассматриваются основные элементы теории структуризации, ключевым моментом которых является субъект, конструирующий социальную реальность в новых условиях постиндустриального общества.

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ СТРУКТУРАЦИИ¹

Для пояснения основных понятий теории структуризации удобно начать с разногласий, существующих, с одной стороны, между функционализмом (включая теорию систем) и структурализмом, а с другой – между герменевтикой и различными формами «интерпретативной» социологии. Функционализм и структурализм – направления, имеющие, несмотря на очевидные различия, некоторое сходство. Оба они исходят из натуралистических позиций и склонны к объективизму. Функционалистская мысль, начиная с Конта, опиралась на биологию как науку, наиболее приемлемую в качестве модели для социальных наук. Биология указала способ концептуализации структуры, функционирования социальных систем и анализа процессов эволюции через механизмы адаптации. Структуралистская мысль (что особенно проявилось в работах Леви-Стросса) отрицала идею эволюции и биологические аналогии. Гомологичность социальных и естественных наук здесь – прежде всего когнитивного плана, поскольку предполагается, что в каждой из них выражаются сходные черты общей структуры сознания. И структурализм, и функционализм особо подчеркивают преобладание социального целого над его индивидуальными частями (т. е. составляющими его актерами, социальными субъектами).

В герменевтических традициях социальные и естественные науки считаются радикально различными. Герменевтика стала пристанищем того «гуманизма», против которого настойчиво протестовали структуралисты. В герменевтической мысли, в том виде, в каком она представлена Дильтеем, разрыв между субъектом и социальным объектом максимален. Субъективность – это изначальный центр опыта культуры и истории, и в качестве такового служит основой социальных или гуманитарных наук. За пределами субъективного опыта, и чуждый ему, находится материальный мир, управляемый безличностными отношениями

¹ Социология. Классические и современные парадигмы: хрестоматия по социологии / авт.-сост.: С. А. Кравченко, М. О. Мнацакян. – М., 1998. – С. 296–305.

причины и следствия. В то время как для школ и направлений, которые тяготеют к натурализму, субъективность представляла собой некую загадку или даже остаточное явление, для герменевтики скрытым является как раз мир природы, который, в отличие от человеческой деятельности, можно понять только со стороны. В интерпретативной социологии приоритет в объяснении человеческого поведения отдается действию и значению: структурные концепции не особенно развиты, как и тема принуждения в целом. Для структурализма и функционализма, наоборот, структура (в различных смыслах, в зависимости от концепции) имеет приоритет над действием и акцентируются именно принуждающие качества структур.

Обычно считается, что различия между этими направлениями мысли в вопросе о социальных науках имеют эпистемологический характер, но в действительности здесь важны также и онтологические аспекты. Проблема заключается в том, как должны быть определены концепции действия, значения и субъективности и как их можно соотнести с понятиями структуры и принуждения. Если интерпретативная социология основана, так сказать, на империализме субъекта, то функционализм и структурализм предполагает империализм социальных объектов (все, в том числе социальные субъекты, становится социальным объектом. — *прим. пер.*) Одна из принципиальных целей теории структуризации — в том, чтобы положить конец этим имперским попыткам. Предметом социальных наук, в соответствии с теорией структуризации, является не опыт индивидуального актора² и не существование какой-либо формы социетальной тотальности, а социальные практики, упорядоченные в пространстве и во времени. Социальная деятельность, подобно некоторым самовоспроизводящимся элементам природы, является повторяющейся. Это означает, что она не создается социальными актерами, а лишь постоянно воспроизводится ими, причем теми самыми средствами, которыми они реализуют себя как акторы. В своей деятельности и посредством этой деятельности агенты³ воспроизводят

² Актер — действующий индивид.

³ Агент — индивид, обладающий властными полномочиями и способный влиять на те или иные процессы.

условия, которые делают ее возможной. Однако тип сознательности (knowledglability), проявляющийся в природе в форме закодированных программ, далек от познавательных навыков социальных агентов. Именно для концептуализации человеческой познавательной способности и включения ее в действие я собираюсь использовать достижения интерпретативной социологии. Герменевтическая точка зрения принимается в теории структуризации в той степени, в которой признается, что для описания человеческой деятельности необходима осведомленность о тех формах жизни, в которых реализуется данная деятельность.

Структура, структуризация

Позвольте мне теперь перейти к самой теории структуризации, к концепциям структуры, системы и дуальности структуры. Понятие структуры (или социальной структуры) часто употребляется в сочинениях большинства функционалистов и положило начало названию традиции «структурализма». Однако нигде это понятие не было концептуализировано наиболее подходящим к запросам социальной теории способом. Авторы-функционалисты и их критики придавали гораздо больше значения идее «функции», чем идее «структуры», и, следовательно, последнее понятие использовалось как общепринятое. Однако же нет сомнений в том, что «структура» обычно понималась функционалистами и, пожалуй, всеми социальными аналитиками как разновидность «моделирования» социальных отношений или социальных явлений. Такое «моделирование» наивно воспроизводилось посредством визуальных образов, как, например, скелета или морфологии организма или же оснований здания, а такие концепции тесно увязаны с признанием дуализма субъекта и объекта: «структура» здесь оказывается «внешней» по отношению к человеческому действию, является источником принуждения свободной инициативы независимого субъекта. Более интересным представляется понятие структуры, концептуализированное в рамках структуралистской и постструктуралистской мысли. Здесь оно характерным способом определяется не как моделирование сущего или существующего, но как пересечение

присутствующего и отсутствующего, когда необходимо различать коды, лежащие в основании поверхностных значений.

Эти две идеи структуры, как может показаться на первый взгляд, не имеют между собой ничего общего, однако на самом деле каждая включает в себя важные аспекты структурирования социальных отношений, аспекты, которые в теории структуриации понимаются как различия между концепциями «структуры» и статистическую размерность моделирования социальных отношений в пространстве и времени, включая как воспроизводство ситуативных практик, так и парадигматическую размерность, включающую виртуальный порядок «способов структурирования», повторяющихся в таком воспроизводстве. В структуралистских традициях нет однозначного ответа на вопрос, относятся ли структуры к матрице допустимых трансформаций в системе или же к *правилам трансформаций*, управляющих матрицей. Я рассматриваю структуру, по крайней мере в ее наиболее элементарном значении, как относящуюся к таким правилам (и ресурсам). Неверно, однако, говорить о «правилах трансформации», потому что все правила имманентно трансформационны. Структура в социальном анализе, таким образом, относится к структурирующим качествам, позволяющим «связывать» время и пространство в социальных системах, качествам, которые обуславливают существование более или менее одинаковых социальных практик во времени и пространстве и которые придают им «систематическую» форму. Сказать, что структура есть «виртуальный порядок» отношений трансформации, значит утверждать, что социальные системы, будучи воспроизводящимися социальными практиками, не имеют «структур», а скорее демонстрируют «структурные качества», и что структура как пространственно-временная сущность существует только в своих проявлениях в таких практиках, а также в виде отпечатков в памяти, ориентирующих поведение агентов. Это не мешает нам рассматривать структурные качества как иерархически организованные, в терминах пространственно-временной протяженности практик, которые они периодически организуют. Наиболее глубокие структурные качества, присутствующие в воспроизводстве социетальных

тотальностей, я называю структурными принципами. Практики, имеющие наибольшую пространственно-временную протяженность в рамках таких тотальностей, можно назвать институтами.

До сих пор наши рассуждения определяли лишь предварительный подход к проблеме. Как именно формула относится к практикам, в которых участвует социальный актор, и какие типы формул наиболее интересны для общих цепей социального анализа? Применительно к первой части вопроса мы можем сказать, что осознание социальных правил, выраженных прежде всего в практическом сознании, является стержнем той «сознательности», которая специфически характеризует агентов. Как социальные акторы все люди хорошо «обучены» тому знанию, которым они располагают и которое они применяют в производстве и воспроизводстве ежедневных социальных ситуаций: в основном такое знание является не теоретическим, а практическим по своему характеру. Как показал Шютц, акторы используют типичные схемы (формулы) в процессе ежедневной деятельности для ведения переговоров в самых рутинных ситуациях социальной жизни. Знание процедуры или владение техниками «делания» социальной деятельности является по определению методологическим. То есть, такое знание не специфицирует всех ситуаций, с которыми сталкивается актор, и не могло бы быть таковым, оно скорее обеспечивает общую способность реагировать и влиять на неопределенно большой спектр социальных обстоятельств.

Под правилами, которые являются интенсивными по своей природе, я подразумеваю формулы, которые постоянно возникают в ходе повседневной деятельности и обуславливают структурирование большей части происходящего в повседневной жизни. Правила языка – это правила как раз такого характера. Но таким же характером, например, обладают и все процедуры, применяемые акторами в организации обмена ролями в разговоре или во взаимодействии. Их можно противопоставить тем правилам, которые, несмотря на очень широкую распространенность, имеют лишь поверхностное влияние на происходящее в социальной жизни. Такое противопоставление очень важно,

хотя бы потому, что среди социальных аналитиков широко распространено мнение, что наиболее абстрактные правила – т. е. кодифицированный закон – являются наиболее влиятельными в структурировании социальной деятельности. Я бы сказал, однако, что многие кажущиеся тривиальными процедуры, происходящие в повседневной жизни, имеют более глубокое влияние на общность социального поведения. Остальные категории в схеме, должно быть, более или менее самоочевидны. Большинство правил производства и воспроизводства социальных практик схватываются акторами только внутренне: они знают, как «продолжать». Дискурсивная формулировка правила уже является его интерпретацией и, как я уже отмечал, может изменять форму его применения. Типичным примером правил, которые не просто дискурсивно формулируются, но формально кодифицированы, являются законы. Законы, разумеется, являются наиболее сильно санкционированными типами социальных правил и в современных обществах имеют формально предписанные градации наказаний. Однако было бы серьезной ошибкой недооценивать силу неформально применяемых санкций в отношении всего многообразия ежедневных практик. Как бы ни были задуманы «эксперименты с доверием» Гарфинкеля, они показывают непреодолимую силу, с которой действуют кажущиеся незначительными черты организации разговора.

Структурирующие качества правил можно изучать прежде всего в отношении формирования, поддержания, прекращения и реформирования ситуаций. Хотя для конституирования и реконструирования ситуации агентами используется все многообразие процедур и тактик, вероятно, наиболее важными являются те, которые обеспечивают поддержание онтологической безопасности. «Эксперименты» Гарфинкеля очень важны в этом отношении. Они показывают, что предписания, структурирующие повседневное взаимодействие, гораздо жестче закреплены и обладают большей принуждающей силой, чем может показаться из-за простоты, с которой они обычно выполняются. Разумеется, это происходит потому, что отклоняющиеся ответы или акты, которые «экспериментаторы» исполняли по инструк-

ции Гарфинкеля, подрывая понимаемость дискурса, нарушали чувства онтологической безопасности «субъектов». Нарушение или игнорирование правил не является, конечно, единственным способом, которым можно изучать конструктивные и санкционирующие свойства интенсивных правил. Но нет сомнений в том, что Гарфинкель чрезвычайно расширил горизонт изучения – ввел «социологическую алхимию», «преобразовал» всякую обычную социальную деятельность в некое проясняющее проявление.

Я отличаю общий термин «структура» от «структур» во множественном числе, а также от «структурных качеств социальных систем». «Структура» относится не только к правилам производства и воспроизводства социальных систем, но также и к ресурсам (на которых я пока не останавливаюсь подробно). В социальных науках термин «структура» обычно используется для наиболее устойчивых аспектов социальных систем, и мне бы не хотелось терять эту коннотацию. Самые важные аспекты структуры – это правила и ресурсы, относящиеся к институтам. Институты определяются как наиболее стабильные черты социальной жизни. Говоря о структурных качествах социальных систем, я имею в виду их институциональные черты, придающие «жесткость» во времени и пространстве. Я использую концепцию «структур», чтобы обозначить отношения трансформации и опосредования, которые являются «контурными переключателями», лежащими в основании наблюдаемых условий системного воспроизводства.

Позвольте теперь ответить на вопрос, который я поставил в самом начале: каким образом можно говорить о том, что индивидуальное поведение актеров воспроизводит структурные качества более крупных коллективов? Вопрос и легче, и сложнее, чем он кажется на первый взгляд. На логическом уровне ответ на него – не более чем трюизм. Он заключается в следующем: притом что существование больших коллективов или обществ, очевидно, не зависит от деятельности каждого индивида в отдельности, такие коллективы или общества сразу прекратили бы свое существование, если бы все составляющие их агенты приостановили свою деятельность. На сущностном уровне ответ

на этот вопрос зависит от проблем, имеющих отношение к механизмам интеграции различных типов социетальной тотальности. Всегда происходит так, что повседневная деятельность социальных акторов воспроизводит и полагается на структурные черты более широких социальных систем. Но «общество» – как я попытаюсь показать – это не обязательно унифицированные коллективы. «Социальное воспроизводство» не нужно приравнивать к консолидации или социальной солидарности. Размещение акторов и коллективов в различных секторах или регионах более широких социальных систем сильно обуславливает влияние их привычного поведения на интеграцию социетальных тотальностей. Здесь мы подходим к границе использования лингвистических примеров для иллюстрации концепции дуальности структуры. Значительное прояснение проблем социального анализа может быть достигнуто благодаря изучению повторяющихся качеств речи и языка. Произнося грамматическое высказывание, я полагаюсь на те же синтаксические правила, которые воспроизвожу данным высказыванием. Но я говорю «на том же» языке, что и другие носители языка в моей языковой общности: мы все пользуемся одними и теми же правилами и лингвистическими практиками, выдавая или принимая относительно малые их вариации. Вышесказанное не обязательно верно для структурных качеств социальных систем вообще. Но это не относится к концепции дуальности структуры как таковой. Проблема здесь заключается в том, как должны быть концептуализированы социальные системы, и особенно «общества».

Дуальность структуры

Структура (ы)	Система (ы)	Структуризация
Правила и ресурсы или набор отношений трансформации, организованных как свойство социальных систем	Воспроизводимые отношения между акторами или коллективами, организованные как регулярные социальные практики	Условия, управляющие преемственностью или преобразованием структур и, следовательно, воспроизводством социальных систем

Позвольте мне обобщить аргументы на данный момент. Структура, как регулярно организованные наборы правил и ресурсов,

выходит за пределы времени и пространства. Она поддерживается, проявляется и координируется через «отпечатки» в памяти и характеризуется «отсутствием субъекта». Социальные системы, в которых структура постоянно присутствует и реализуется, наоборот, охватывают действия людей, расположенные и воспроизводимые во времени и пространстве. Анализ структуризации социальных систем означает изучение способов, которыми производятся и воспроизводятся такие системы, основанные на сознательной (knowledgeable) деятельности акторов, которые полагаются на правила и ресурсы во всем многообразии контекстов действия. Центральной в теории структуризации является теорема о дуальности структуры, которая логически вытекает из аргументов, приведенных выше. Строение агентов и структур нельзя представлять как два независимо заданных ряда явлений, т. е. как дуализм. Это дуальность. В соответствии с понятием дуальности структуры структурные качества социальных систем являются как средством, так и результатом практик, которые они регулярно организуют. Структура не является «внешней» по отношению к индивидам: как «отпечатки» памяти и то, что проявляется в социальных практиках; она в определенном смысле скорее «внутренняя», чем внешняя по отношению к деятельности индивидов (в терминах Дюркгейма). Структуру не нужно приравнивать к принуждению, она не только принуждает, но и дает возможности. Это, конечно, не ограничивает протяженности структурных качеств социальных систем во времени и пространстве, выходящих за пределы контроля индивидуального актора. Не ослабляет она и возможность того, что теории самих акторов о социальных системах, которые они помогают конституировать и реконституировать в своей деятельности, могут материализовать такие системы. Материализация социальных отношений, или дискурсивная «натурализация» исторически случайных обстоятельств и продуктов человеческого действия, — это одно из главных направлений идеологии в социальной жизни.

Дуальность структуры всегда является главным основанием преемственности социального воспроизводства во времени

и в пространстве. Это, в свою очередь, предполагает рефлексивный мониторинг агентов в ходе повседневной социальной деятельности. Однако сознательность всегда ограничена. Поток действий непрерывно производит последствия, которые являются ненамеренными, и эти непредвиденные последствия могут также формировать новые условия действия посредством обратной связи. История творится интенциональной деятельностью, но не является интенциональным проектом. Она постоянно ускользает от попыток повести ее по какому-то задуманному направлению. Однако такие попытки постоянно предпринимаются людьми, живущими под влиянием угрозы и, одновременно, надежды, обусловленных тем обстоятельством, что они – единственные существа, которые осуществляют свою «историю» самостоятельно.

Теоретизирование относительно собственных действий означает, что как социальная теория не была изобретением профессиональных социальных ученых, так и идеи ученых неизбежно возвращаются и влияют на социальную жизнь. Одним из аспектов этого является попытка отслеживать и, таким образом, контролировать обобщенные условия системного воспроизводства – явление огромной важности в современном мире. Для концептуализации таких отслеживаемых процессов воспроизводства необходимо ввести определенные нюансы понимания, что «представляют собой» социальные системы как воспроизводимые практики в ситуации взаимодействия. Отношения, предполагаемые или актуализируемые в социальных системах, разумеется, сильно различаются по степени «открытости». Но, приняв это положение, мы можем выделить два уровня в отношении средств, которыми достигается некий элемент «системности» во взаимодействии. Один из уровней, широко разрабатываемый в функционализме, как уже отмечалось выше, – это когда взаимозависимость понимается как гомеостатический процесс, сродни действующим в организме механизмам саморегуляции. Против этого нет возражений, если признается, что «открытость» большинства систем делает организмическую аналогию весьма условной, и что такой относительно «механизированный» способ системного воспроизводства – не единственный, который

мы можем найти в обществах. Гомеостатическое системное воспроизводство в обществе может быть рассмотрено на основе действия причинных петель, в которых непредвиденные последствия действия через механизм обратной связи перестраивают первоначальные условия. Но во многих контекстах социальной жизни встречаются процессы селективного «информационного отфильтровывания», посредством которого акторы на стратегически важных местах пытаются рефлексивно регулировать общие условия системного воспроизводства для того, чтобы либо поддерживать существующее положение вещей, либо изменить его.

Социальная интеграция	Системная интеграция
Взаимообусловленность акторов в контекстах соприсутствия	Взаимообусловленность акторов и коллективов в раздвинутых пространственно-временных промежутках

Различия между гомеостатическими причинными петлями и рефлексивной саморегуляцией в системном воспроизводстве необходимо дополнить еще одним, последним различием: между социальной и системной интеграцией. Интеграцию можно понимать как взаимообусловленность (reciprocity) практик (автономии и зависимости) акторов или коллективов. Тогда социальная интеграция означает системность на уровне личного взаимодействия. Системная же интеграция относится к связям с теми, кто физически отсутствует во времени и в пространстве. Механизмы системной интеграции определенно предполагают механизмы социальной интеграции, но такие механизмы в то же время отличаются по некоторым ключевым аспектам от механизмов, включенных в отношения соприсутствия.

ЛУМАН Никлас
(LUHMANN Niklas)
(1927–1998)

Никлас Луман (08.12.1927, Люнебург – 06.11.1998, Билефельд) – выдающийся социолог-теоретик XX века, ведущий немецкий представитель системного и функционального подхода в социологии.

Родился в семье владельца пивоварни. В 1946–1949 гг. изучал юриспруденцию во Фрайбургском университете, получил степень доктора права. С 1954 г. был государственным чиновником и работал в Министерстве по делам культуры земли Нижняя Саксония. В 1960–1961 гг. изучал управление в Гарвардском университете, где познакомился с Т. Парсонсом. Испытал влияние и ассимилировал существенные аспекты концепций Парсонса, Гелена, феноменологии и кибернетики. В 1965–1968 гг. Луман – руководитель отдела в службе социальных исследований университета г. Мюнстера, где одновременно изучал социологию. В 1966 г. защитил сразу две диссертации (по социологии – у Клессенса и Шельского, и по политической науке). В 1968 г. Луман получил профессиру в только что открывшемся Билефельдском университете, где и преподавал вплоть до выхода на пенсию в 1993 г. Своей основной задачей в социологии считал создание полного описания общества, чем, собственно говоря, и занимался около 30 лет профессионального творчества. В 1977–1980 гг. был одним из соиздателей «Журнала социологии» (Штутгарт).

Луман написал огромное число книг и статей по теории социального познания и системной теории общества, которые переведены на многие языки мира. В центре исследований Лумана находилось отношение «система – окружающий мир», которые отграничены друг от друга как области меньшей и большей «комплексности». «Комплексность» – это их соотносительная характеристика, которая зависит от количества элементов, их связей, состояний, структуры, и др. Решение проблемы комплексности называется редукцией. Предмет социологии – социальные системы. Простейшие социальные системы – «интеракции», образующиеся через взаимное согласование действий и переживаний участников общения. Сложный тип социальной системы – общество, охватывающее все действия, достижимые для соотнесения друг с другом в коммуникации. Действие есть подлинный элемент социальной системы, оно производится и воспроизводится в ней в соотнесении (коммуникации) с другими действиями. Внутрисистем-

ное общение гарантировано «символически обобщенными средствами коммуникации» («власть» в политике, «истина» в науке, «вера» в религии, «любовь» в семье), а межсистемное затруднено. Человек как целостная личность не входит ни в одну систему, а является составляющей окружающего мира, комплексность которого представляет проблему для системы. Это становится очевидным при эволюции и дифференциации социальных систем, удалении от непосредственного межличностного общения и автономизации крупных систем при нарастающей абстрактности общества. В целом, системно-социологический словарь Лумана широко используется в современной немецкой социологии.

Основные работы: «Социология права» (1972), «Социологическое просвещение» (1975–1995), «Правовая система и правовая догматика» (1974), «Функция религии» (1977), «Любовь как страсть» (1982), «Общественная структура и семантика» (1980–1995), «Социальные системы» (1984). Чувствуя наступление болезни, в последние годы интенсивно работал над обобщающими произведениями, среди которых главное – «Общество общества» (1997, 2 т.), поддерживал активные научные контакты.

Публикуемый текст представляет краткое изложение взглядов Лумана на общество, фундированное глубоким знанием предшествующих социально-философских традиций.

ЛУМАН НИКЛАС

КОНЦЕПТ ОБЩЕСТВА¹

I

Социология испытывает трудности с определением единства своего объекта. <...> Первоначально этому могли найтись исторические причины. Когда социология начала учреждаться как академическая дисциплина в конце XIX в., концепт общества уже был доступен, но он носил печать своей собственной истории и поэтому был проблематичным. Либо концепт функционировал как компонент различения: государства и общества или

¹ *Luhmann N. The Concept of Society / N. Luhmann // The Blackwell Reader in Contemporary Social Theory, A. Elliot (ed.). – Oxford: Blackwell, 1999. – P. 143–155 (в сокр.). Пер. с англ. А. А. Широкаковой.*

общества и общности. Либо же его использовали не по назначению ради политических идей и, как следствие, идеологически оспаривали. Если не следовать «формальной социологии», полностью обходясь без термина, то в таком случае концепту необходимо было придать точность по отношению к его же собственной теории. Этого, однако, так никогда и не удалось сделать. <...> Я бы хотел обозначить три наиболее важных современных препятствия на пути определения концепта общества:

Первое касается предположения о том, что общество состоит из людей или из отношений между людьми. Я называю это гуманистическим предубеждением. Но как его следует понимать? Состоит ли общество из рук и ног, мыслей и энзимов? Стрижет ли парикмахер волосы общества? Нужен ли обществу иногда инсулин? Какой вид операций характеризует общество, если химия клетки настолько же является частью общества, что и алхимия подавления бессознательного? Очевидно, гуманист намеренно придерживается концептуальной неясности. Тогда необходимо задать вопрос: почему? Сам теоретик становится пациентом.

Второе предубеждение, блокирующее развитие концепта, состоит в презумпции территориальной многочисленности обществ. Китай – это одно, Бразилия – другое, Парагвай – одно, а Уругвай, следовательно, – опять другое. Все попытки точного размежевания оказались несостоятельными, опирались ли они на государственную организацию или на язык, культуру, традицию. Конечно, между жизненными условиями на этих территориях существуют очевидные различия, но эти различия необходимо объяснять как различия внутри общества, а не предполагать как различия между обществами. Или социология хочет позволить географии разрешить свою центральную проблему?

Третье предубеждение имеет эпистемологическую природу. Это результат различения между субъектом и объектом. Только субъекты обладают привилегией самореференции – отсылки к самому себе. А объекты таковы, каковыми они являются. Общество, однако, – и это достаточно очевидно – является описывающим самого себя объектом. Теории общества суть теории в обществе и об обществе. Если это эпистемологически некорректно, то не может быть адекватного концепта общества. <...>

Попытки решить данную проблему средствами микроэмпирического исследования, определенно, недостаточны. Недостаточны и другие попытки, например во Франкфуртской школе, культивировать страх контакта, упорствовать в решительной покорности или нападать на каждого, кто не верит в утопию нормативно требуемой рациональности. Эта проблема является, скорее, проблемой замысла теории. Достижения в меж- и трансдисциплинарных полях, таких как науки о познании или кибернетика, теория систем, теория эволюции, теория информации, предлагают достаточные стимулы для того, чтобы сделать подобную попытку стоящей.

II

В своей попытке определить концепт общества я предлагаю исходить из понятия системы. Это еще мало о чем говорит, поскольку данное понятие используется в очень разных смыслах. Первое уточнение, которое сразу же ведет на незнакомую территорию, состоит в понимании системы не как особого типа *объекта*, а как особого различия, конкретно – того, что находится между системой и окружающей средой. Это должно быть точно сформулировано. Для этой цели я принимаю концептуальную схему, которой Джордж Спенсер-Браун вводит свои *Законы формы* [Spencer-Brown, 1979]. Система – это форма различия, а поэтому обладает двумя сторонами: системой (как внутренней стороной формы) и средой (как внешней стороной формы). Только *две* стороны вместе составляют различие, составляют форму, составляют концепт. Таким образом, среда для этой формы настолько же важна, настолько же незаменима, насколько и сама система. Граница между системой и средой разделяет две стороны формы, отмечает единство формы, и поэтому ее нельзя найти ни на одной из сторон формы. Граница существует только как указание пересечь ее – или изнутри наружу, или снаружи внутрь.

Отложим на время эти сложные вопросы в сторону. С ними нельзя иметь дело на уровне развития теории столь низкой сложности. Вместо этого поднимем вопрос о том, как возникает

форма, в чем состоит различие между системой и средой. Концептуальная схема исчисления формы Спенсер-Брауна предполагает время, работает с временем, объясняет себя через время – как логика Гегеля.

Здесь я выбрал концепт производства (или поийесиса в отличие от праксиса) намеренно, поскольку он предполагает различие как форму и утверждает, что работа может быть произведена, даже если производитель не может произвести все необходимые причины сам. Как можно заметить, это соответствует различению между системой и средой. Система располагает внутренними и внешними причинами для производства своего продукта, и она может использовать внутренние причины таким образом, что в результате в ней образуются достаточные возможности совмещения внешних и внутренних причин.

Однако производимая работа - это сама система, или, более точно, форма системы, различие между системой и средой. Именно на определение этого и направлен изначально концепт аутопийесиса. Он эксплицитно противопоставлен возможному концепту аутопраксиса, т. е. концепт аутопийесиса необходимо выводит на сложный и часто неправильно понимаемый концепт *оперативно закрытой системы*. Примененное к производству, оно, конечно, не означает причинную изоляцию, автаркию, когнитивный солипсизм, как часто полагали оппоненты. Скорее, это необходимое следствие тривиального (концептуально тавтологического) факта, что никакая система не может оперировать вне своих границ. Это ведет к заключению – что образует первую стадию разъяснения концепта общества, – что мы имеем дело (если мы хотим использовать форму-концепт системы) с *оперативно замкнутой аутопойетической системой*.

III

Самую главную часть работы над концептом общества еще предстоит совершить. Она формулируется вопросом: «Какова операция, что производит систему общества и – необходимо добавить – производит ее из ее же продуктов, то есть воспроизводит ее?». Это должен быть точно определенный способ опери-

рования. Мы вынуждены принимать на себя риск, определяя способ операции, с помощью которой общество производит и воспроизводит себя. Иначе концепт теряет все свои очертания.

Мое предложение состоит в том, чтобы мы сделали концепт коммуникации основой и, таким образом, переключили бы социологическую теорию от концепта действия на концепцию системы. Это позволяет нам представить социальную систему как операционально замкнутую систему, состоящую только из своих собственных операций, воспроизводимых коммуникациями из коммуникаций. С концептом действия едва ли можно избежать внешних отсылок. Действие требует, поскольку его нужно приписывать, отсылку к социально конституированным комплексам: субъекту, индивидууму, для всех практических целей — даже живому телу, то есть к месту в пространстве. *Только с помощью концепта коммуникации мы можем вообразить социальную систему как аутопойетическую систему, которая состоит только из элементов, а именно — коммуникаций, которые производят и воспроизводят ее через сеть этих же самых элементов, т. е. через коммуникацию.*

Таким образом, теоретические решения для понимания общества как аутопойетической системы и для характеристики процесса, воспроизводящего систему как коммуникацию, гармонизируют друг с другом. Они взаимно обусловлены. Это, в свою очередь, означает, что понятие коммуникации является решающим фактором в определении концепта общества. В соответствии со способом, которым определяется коммуникация, определяется и общество — определение понимается здесь в прямом смысле детерминации границ.

Концепт коммуникации уже изменен этим положением дел. Нельзя редуцировать его к коммуникативному действию и фиксировать участие других либо как простой эффект этого действия, либо как нормативный вывод, в том смысле, какой имеет в виду Хабермас. Равным образом не может коммуникация восприниматься и как передача информации из одного места в другое. Подобные концепты предполагают в той или иной форме носителей действия, которые сами не создаются коммуникацией.

Теория комбинаторных систем/теория коммуникаций, наоборот, требует концепта коммуникации, который позволяет сказать, что вся коммуникация производится лишь коммуникацией – конечно, в среде, которая делает возможным и допускает это.

Важно иметь в виду, что отдельное коммуникативное событие завершается пониманием. Это еще не решает вопроса, формирует ли понятое основу для дальнейшей коммуникации или нет. Это может случиться – а может и нет. Коммуникации могут быть приняты или отвергнуты. Любой другой концепт имел бы абсурдное следствие, что отвергнутые коммуникации на самом деле не были коммуникациями. В этом причина того, почему неправильно приписывать коммуникациям имманентную, квазитеологическую тенденцию к консенсусу. Если бы это имело место, все бы уже давным-давно закончилось и мир был бы таким же безмолвным, каким был когда-то. Однако коммуникация не истощает себя, а скорее, производит на каждом шагу бифуркацию принятия или отвержения посредством, так сказать, самораздражения. Каждое коммуникативное событие закрывает или открывает систему. И только благодаря бифуркации там может происходить история, чей курс зависит от того, какой путь выбран: да-путь или нет-путь.

IV

Если принят этот концепт коммуникации, тогда все обычные эпистемологические препятствия обычной социальной теории растворяются в одно мгновение и их место занимают проблемы, более подходящие к теоретически информированному научному исследованию. На этом основании ясно, что конкретные люди не являются частью общества, но являются частью его среды. В равной степени не имело бы особого смысла высказывание о том, что общество состоит из «отношений» между людьми. Концепт коммуникации содержит намного более точное предложение. Для того чтобы говорить или писать о ком-то, недостаточно установить отношение к нему как «социальное отношение». Только сама коммуникация представляется социальной операцией.

Концепт территориальных границ в равной степени несущественен, а вместе с ним – и предположение о многочисленности региональных обществ. Значение, которое пространство и границы имеют в пространстве, возникает из их коммуникативного использования, но сама коммуникация не имеет места в пространстве. Она может через свой материальный субстрат зависеть от пространственных условий. Но значение пространственных условий для эволюции социокультурного общества снизилось в результате языковых, письменных и телекоммуникаций в такой степени, что мы должны допустить, что в настоящих условиях коммуникация детерминирует остающееся значение пространства, а не наоборот; что общество дает возможность коммуникации и ограничивает ее возможность.

Наконец, концепт коммуникации четко показывает, что общество – это самоописывающая и самонаблюдающая система. Даже простая коммуникация возможна только в рекурсивной сети предшествующих и последующих коммуникаций. Такая сеть может стать своей собственной темой, может информировать себя о своей коммуникации, может подвергать сомнению информацию, отказывать в принятии, давать нормы достоверной и недостоверной информации и т. д. – поскольку все это возникает в оперативной форме коммуникации. Становится очевидным двойное положение дел: что общество – это самонаблюдающая и самоописывающая система и что оно может использовать свой собственный способ операции и должно это делать, чтобы производить подобные самореферентные операции. И это также применимо к науке и к социологии. Все коммуникации об обществе обусловлены обществом. Не существует внешнего наблюдателя с какой-нибудь даже частично адекватной компетенцией.

Мы можем теперь определить концепт общества как промежуточный результат. Общество – это всеобъемлющая система всех коммуникаций, которые воспроизводят себя аутопойетически через рекурсивную сеть коммуникаций, которые производят новые (и всегда другие) коммуникации. Возникновение подобной системы включает коммуникации, поскольку они только

внутренне способны к продолжению. И оно исключает все остальное. Воспроизводство подобной системы, таким образом, требует способности проводить различие между системой и средой. Коммуникации могут признавать коммуникации и отличать их от других обстоятельств, что принадлежат к среде в том смысле, что можно, определенно, совершать коммуникацию о них, но не с ними.

Это ведет к вопросу: что изменяется, когда мы используем этот концепт? <...> Для начала мы теряем возможность делать утверждения о «человеке». Что мы приобретаем тогда? Я хочу обсудить этот вопрос в отношении трех примеров: языка, отношений между индивидом и обществом и рациональности.

V

Что касается *языка*, то системно-теоретический концепт общества предлагает нам отбросить понятие о том, что язык является системой. Сколько бы лингвистов, идущих по следам Соссюра, ни придерживались этого понятия из-за того, что оно, как им кажется, обеспечивает академическую самодостаточность их дисциплины, вряд ли можно воспринимать и язык, и общество как систему. Степень совпадения будет слишком велика и не приведет к согласованности концептов, поскольку существует и нелингвистическая коммуникация. Отношение между двумя системами осталось бы неясным. Лингвисты, конечно, могут находить удовольствие в мысли о том, что они не социологи. Дифференциация дисциплин, однако, не достаточный ответ на такие сущностные вопросы.

Если концепт системы больше нельзя применять к языку, это, конечно, не значит, что феномен языка теряет значение. Верно обратное. Пустое место в теории можно заполнить по-разному с помощью концепта структурного сопряжения. Проблема, которая решается этим концептом, состоит в том, что система может быть детерминирована единственно через свои собственные структуры, и только через структуры, которые она конструирует и может изменять посредством своих операций; в то же самое время не подлежит сомнению, что такого рода оператив-

ная автономия предполагает кооперацию, аккомодацию со стороны среды. Как выражается Умберто Матурана, структурные сопряжения стоят в ортогональном отношении к аутопойезису системы [Maturana, 1982]. Они не добавляют никаких операций, способных воспроизводить саму систему, т. е. в нашем случае – никаких коммуникаций. Однако они побуждают систему к раздражениям, они беспокоят систему таким образом, которому затем придается внутренняя форма, с которой система может работать.

Применительно к коммуникации мы можем с помощью этого концепта сказать, что в результате своей поразительной характеристики язык служит структурным сопряжением коммуникации и сознания. Язык держит коммуникацию и сознание, а следовательно – общество и индивида – отдельно друг от друга. Мысль никогда не может *быть* коммуникацией, как и коммуникация никогда не может быть мыслью. В рекурсивной сети своих собственных операций у коммуникации всегда разные предшествующие и последующие элементы в их последовательности в поле внимания индивидуального сознания. На оперативном уровне совпадения нет. Мы имеем дело с двумя различными оперативно закрытыми системами. Решающим является тот факт, что, *несмотря на это*, язык способен сопрягать системы, и именно в их *различной* манере оперирования. Язык достигает этого благодаря своей искусственной заметности в акустической среде звуков и затем в оптической среде письменных знаков. Он может зачаровывать и концентрировать внимание и в то же самое время воспроизводить коммуникацию. Соответственно, его функция состоит не в опосредовании отсылок к внешнему миру, но единственно в структурном сопряжении.

Однако это лишь одна сторона его достижений. Как и все структурные сопряжения, язык обладает включающим и исключаяющим эффектом. Он увеличивает возбудимость сознания через коммуникацию и возбудимость общества через сознание, что трансформирует внутренние состояния в язык и в понимание или непонимание. В то же самое время это означает, что *другие* источники раздражения для системы общества *исключены*, т. е.

язык изолирует общество от практически всех событий среды физической, химической или живой природы за единственным исключением раздражения через импульсы сознания. Так же как мозг почти полностью изолирован от всего, что происходит в среде, из-за чрезвычайно малой физической способности глаза и уха к резонансу, так и система общества почти полностью изолирована от всего, что происходит в мире, небольшим набором стимулов, канализируемых через сознание. Что применимо к мозгу, применимо и к обществу: эта практически полная изоляция является условием оперативной замкнутости с возможностью конструирования явления высокой внутренней сложности.

VI

Эти рефлексии вводят нас в область вопроса *отношений между индивидом и обществом*. Социология не может действительно принимать индивида как часть общества, но она и не может отделить себя от этого понятия. Социология боролась с этой проблемой с тех самых пор, как стала академической дисциплиной. В противоположность этому концепт общества, представленный здесь, исходит из полного разделения индивида и общества. И на этой основе возможна теоретическая программа, серьезно воспринимающая индивида.

В самой грубой форме это звучит так: «участие» индивида в обществе исключено. Между индивидом и обществом нет коммуникации, поскольку коммуникация – это всегда внутренняя операция социальной системы. Общество никогда не может выйти за свои рамки посредством своих операций и контролировать индивида; с помощью своих операций оно может лишь воспроизводить собственные операции. Общество не может оперировать за пределами своих границ – это должно быть достаточно понятным. То же самое применимо и к жизни, и к индивидуальному сознанию. Здесь тоже в системе остаются системовоспроизводящие операции. Ни одна мысль не может покинуть сознание, которое она воспроизводит. Принимать индивидуальность серьезно – значит воспринимать индивидов как продукт их собственной деятельности, как самореферентные исторические ме-

ханизмы, которые с каждой аутооперацией определяют начальное условие для дальнейших операций и которые могут делать это *только* посредством своих *собственных* операций.

Таким образом, не существует нормативной интеграции индивидов в общество. Другими словами, не существует норм, от которых можно при желании отклониться. И не существует консенсуса, если под этим понимается то, что эмпирические обстоятельства, в которых индивиды себя обнаруживают, каким-то образом согласуются. Они суть лишь соответствующие наблюдательные схемы, в которых наблюдатель самоопределяет наблюдение о том, что поведение согласуется с нормой или отклоняется от нее. И этот наблюдатель также может быть коммуницирующей системой – судом, СМИ и т. д.

Только если принять теорию во всей ее радикальности, можно увидеть, чего достигает дополнительный концепт структурного сопряжения. Он объясняет, почему, несмотря на это оперативное замыкание, вещи в мире не происходят беспорядочно. Структурные сопряжения обеспечивают накопление одних и исключение других возбуждений. Из этого возникают течения в самоопределении структур, зависящие от определенных возбуждений, с которыми им приходится иметь дело. Организмы адаптированы к гравитационному притяжению Земли, причем часто – достаточно специфическим образом. Кит раздавил бы свои внутренние органы своим чистым весом, если бы находился не в воде, а на берегу. Ребенок, постоянно подверженный странным звукам, которые функционируют как речь, учится говорить. Каждое общество социализирует индивидов по ту сторону своих структурных сопряжений, и, как общество, оно приспособлено именно для этого. Язык бинарно закодирован и предусматривает возможность отклоняющегося поведения. Общество помещает, таким образом, (совершенно неконтролируемых) индивидов в опциональную схему. Оно допускает как свободу то, что, в любом случае, не может изменить – и коммуникация о «да» и «нет», о подчиняющемся и неподчиняющемся поведении может быть продолжена именно в такой остро схематизированной форме, несмотря на решение индивида. Здесь мы опознаем крайне

неправдоподобные, с точки зрения эволюции, высоко избирательные договоренности: разделение и соединение систем свободы и порядка.

VII

Свобода и порядок – они были терминами проблемы (или «переменными») последнего убедительного концепта *рациональности*, порожденного Европой. Либеральное кредо можно сформулировать в форме, близкой к Лейбницу: максимально возможное количество свободы с минимально необходимым порядком. С тех пор наблюдаются лишь продукты дезинтеграции: в форме различения нескольких концептов рациональности, без определения рациональности как таковой (Вебер, Хабермас) или же в форме различия между рациональностью и иррациональностью, – что утверждает обе стороны различия, но, опять же, без определения того, какова природа утверждения этого различия; иными словами – что определяется его формой. Этому соответствует исчезновение концепта разума: качество живого человеческого существа стало лишь приблизительно достижимым – в буквальном смысле – утопическим идеалом.

Не сразу становится очевидным, может ли системно-теоретический концепт общества помочь нам избежать дилеммы свободы и порядка. В любом случае, нет пути назад к старому европейскому континууму бытия и мысли или природы и действия, посредством чего рациональность находилась точно на конвергенции двух сторон, т. е. мысль по-своему соответствовала бытию, а действие, по-своему, – природе. Все равно мы замечаем в различениях типа бытие /мысль и действие /природа примечательную асимметрию, которая, кажется, скрывает, с точки зрения перспективы настоящего, структуру рациональности. Если мы принимаем, что мысль должна приводить *свое собственное бытие* в соответствие с бытием и действием *в своей собственной природе* – с природой, тогда ясно, что различение появляется опять на одной из двух сторон – в мысли или действии. Джордж Спенсер-Браун называет операцию, которая реализует подобную структуру, возвращением (re-entry) формы в форму –

или возвращением различия в то, что оно различило [Matu-
rana, 1982:143]. Контекст исчислений формы, в которой оно воз-
никает, предполагает, что мы должны думать о разрешении па-
радокса, а конкретно – о парадоксе использования различия,
которое не может различить себя. Как бы ни было, с помощью
этой интерпретации старой европейской концептуальности ра-
циональности, мы можем поставить вопрос, должна ли она оста-
ваться привязанной к таким антропологическим (или гумани-
стическим) концептам, как мысль и действие, и не можем ли мы,
по крайней мере, выделить фигуру возвращения.

Подобное возвращение неизбежно не только для систем со-
знания, но также и для системы общества. Оперативно завер-
шенная дифференциация между системой и средой возвращает-
ся в систему как различие между отсылкой к себе (саморефе-
ренцией) и внешней отсылкой (инореференцией). Коммуникация
может возникнуть только если система избегает путаницы меж-
ду своей собственной операцией и тем, о чем коммуницируется.
Сообщение и информация должны различаться и оставаться
различными, иначе не возникнет коммуникации. Система опе-
рирует посредством непрерывного воспроизводства различия
между отсылкой к самой себе и внешней отсылкой. Это и *явля-
ется* ее аутопойезисом. Только это обеспечивает ее оперативное
замыкание. Соответственно, сознание непрерывно экстернали-
зирует то, что предполагает в каждой операции его мозг – орган
самонаблюдения состояний его организма. Сознание *должно*
в равной степени непрерывно различать самореференцию и ино-
референцию, чтобы с помощью этого различия заниматься са-
монаблюдением, разграничивая себя и среду. Именно потому,
что оперативные вмешательства в среду невозможны, самона-
блюдение посредством этого различия является необходимым
условием аутопойезиса системы; и это применимо к обществу
в той же степени, что и к сознанию.

Если мы ищем концептуальность, которая заменила бы кос-
мологическую рациональность старого мира, то именно с этого
нам и следует начать. Однако результат будет оперативно вы-
веден «как он есть» – рациональность, совершенно неидеальная

и без возможности нерациональных операций. Это будет рациональность наблюдателя первого порядка. Мы приходим к более требовательной концептуальности только на уровне наблюдения второго порядка. Это предполагает, что система наблюдает себя во время выполнения возвращения. Соответственно, она должна принимать различие – самореференция/инореференция – в качестве своей основы и перенести это различие в свою самореференцию. Она должна всецело осознавать не только то, что дифференциация системы от всего остального мира (который, таким образом, становится средой) завершается путем своих собственных операций и не могла бы возникнуть без этой мюнхгаунзеновской само-деятельности. Она также должна осознавать, что различие между самореференцией и инореференцией, которое, таким образом, стало возможным, – это особое различие, и оно требует своих собственных операций. Самореференция/инореференция повторно вводит различие в то, что она уже различила. Это та разница, посредством которой система обеспечивает свое единство.

С этой способностью проникновения мир становится конструкцией, какое бы различие его ни формировало. Бесспорно, теперь мир – реальность, поскольку различающие и конструирующие операции уже завершены; и, бесспорно, теперь мир – конструкция, так как без расщепления через различие, которое можно применять разнообразно (по-разному для каждой системы), было бы нечего наблюдать. Поэтому мы обнаруживаем себя в ситуации, которую такие философы, как Фихте и Деррида, использовали, чтобы довести философию до отчаяния. Если мы хотим рассматривать себя в качестве продолжателей старой европейской концептуальности, то рациональность можно воспринимать только из этой ситуации. Но как? Лучший известный выход – настаивать на инореференции. Или (что, в общем-то, одно и то же) переключиться на метауровни.

Мы уже сделали вывод: *проблема референции* должна быть заменена *различием* между самореференцией и инореференцией – различием, которое, в то же самое время, является продуктом и кодом соответствующих операций системы. Тем

не менее, если мы воспринимаем общество как систему, которая сталкивается с ожиданием рациональности, тогда выход через экстернализацию или через метауровни не подходит. Потому что, где тогда будет более высокий уровень или внешний мир, который мог бы иметь спасительный или обуславливающий эффект?

Ведет ли это к заключению о том, что общество – это, в конце концов, та система, перед которой вся рациональность должна доказать, что она рациональна? Я должен довольствоваться только постановкой этого вопроса и, как на аукционе, жду других предложений.

Литература

Maturana H. R. Erkennen: Die Organisation und Verkörperung von Wirklichkeit. – Braunschweig: Vieweg-Teubner Verlag, 1982.

Spencer-Brown G. Laws of Form. – New York: E. P. Dutton, 1979 [1969].

Перевод с английского А. А. Широкановой

ХАБЕРМАС Юрген (HABERMAS Jürgen)

(р. 1929)

Юрген Хабермас (р. 18.06.1929, Дюссельдорф) – крупнейший немецкий социальный философ современности. Один из виднейших представителей неомарксизма в ФРГ, до распада франкфуртской школы представлявший «второе» («среднее») поколение ее теоретиков. Испытал влияние Хоркхаймера и Адорно, от которых его отличает тенденция соединить марксизм с новейшими тенденциями современной философии и социологии (лингвистическая философия, герменевтика, феноменология и т. д.). В 60-е годы был одним из идеологов западно-германских «новых левых», от которых начал отмежевываться (вслед за основоположниками франкфуртской школы) по мере того, как в движении получали преобладание культурно-нигилистические и «акционистские» тенденции.

Учился в университетах Гёттингена, Цюриха и Бонна. В 1954 г. защитил диссертацию по философии Шеллинга. В 1956–1959 гг. – ассистент в Институте социальных исследований во Франкфурте-на-Майне, руководимом М. Хоркхаймером, а в 1980–1983 гг. – директор

этого института. В 1959–1961 гг. – стипендиат немецкого исследовательского общества (по окончании срока защитил хабилизационную работу). В 1961–1964 гг. преподает в Гейдельберге. В 1964–1971 гг. (и в 1983–1994) – профессор философии и социологии Франкфуртского университета (преемник Хоркхаймера и Адорно на кафедре философии). В 1971–1980 гг. – содиректор Института Макса Планка в Штарнберге (Бавария). Читал лекции во многих крупнейших университетах мира. С 1994 г. живет в Штарнберге.

Ведущей темой социальной философии Хабермаса стала проблема политически активной общественности, обострившаяся на Западе с середины XX в. Получая на протяжении 60-х годов все более отвлеченную абстрактно-философскую формулировку, эта проблема предстает у Хабермаса как стержневая, в зависимости от которой он ставит другие социокультурные проблемы современности. В поисках пути выхода западно-европейской «общественности» из глубокого кризиса, стараясь обосновать ее роль как носителя структурных изменений в современном «позднекапиталистическом» обществе, Хабермас обращается к проблематике межчеловеческого взаимодействия – «интеракции» (коммуникации). Особое внимание он уделяет вопросам об отличии «истинной» коммуникации от «ложной» и условиях, обеспечивающих истинную коммуникацию между людьми. В этой связи Хабермас предлагает широкую социально-философскую концепцию, базирующуюся на дуалистическом разделении двух сфер человеческого существования: сферы труда (взаимодействие людей с природой) и сферы «интеракции» (область межчеловеческого взаимодействия). В «Теории коммуникативного действия», в которой Хабермас пытается «встроить» свою концепцию в процесс эволюции западной теоретической социологии от Вебера и Дюркгейма до Парсонса, дихотомия труда и интеракции выводится на более общий уровень анализа: она растворяется в антиномии неотчужденного «жизненного мира» и отчуждающей «системы» современного («позднего») капитализма, «колонизирующего» эту жизненную основу межчеловеческой коммуникации, утверждая принцип «технической рациональности».

Основные работы: Познание и интерес (1968); К реконструкции исторического материализма (1976); Теория коммуникативного действия, в 2 т. (1981); Фактичность и значимость (1992).

Программная статья Ю. Хабермаса о взаимоотношениях системы и жизненного мира, написанная им в 1980-е годы, дает общее представление об интегративной концепции автора, пытающегося соединить структурный и феноменологический подходы. Воспроизводится с любезного согласия автора.

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СИСТЕМОЙ И ЖИЗНЕННЫМ МИРОМ В УСЛОВИЯХ ПОЗДНЕГО КАПИТАЛИЗМА¹

В данном разделе я хотел бы: (I) показать те теоретические изъяны, которые мешают марксизму интерпретировать поздний капитализм и особенно *государственное вмешательство, массовую демократию и государство всеобщего благоденствия*; (II) предложить модель, объясняющую компромиссы, присущие структурам позднего капитализма, и внутренние разломы этих структур; (III) еще раз вернуться к роли культуры, к которой так несправедлива марксистская теория идеологии.

I

Государственное вмешательство. Если принять за основу модель, в рамках которой существуют две взаимодополняющие подсистемы (экономика и государство), то теория кризисов, будучи сформулированной только в экономических терминах, окажется несостоятельной. Даже если возникающие в рамках системы проблемы вызваны в первую очередь процессом *экономического* развития, неизбежно сопровождаемого кризисами, экономическое неравновесие, возникающее в хозяйстве, может корректироваться благодаря вторжению государства в функциональное пространство рынка. Однако замещение рыночных функций государственными возможно лишь при безусловном сохранении суверенных прав частных предпринимателей в области инвестирования. Если бы власть использовалась для *регулирования* процесса производства, то экономическое развитие лишилось бы своей *собственно* капиталистической *динамики*, а хозяйство пришло бы в упадок. Нельзя допустить, чтобы государственное вмешательство нарушало принцип разделения труда между экономикой, зависящей от рынка, и непродуктивным в экономическом отношении государством. Во всех трех основных сферах

¹ *Хабермас Ю.* Отношения между системой и жизненным миром в условиях позднего капитализма // THESIS. Весна 1993. – Т. 1, вып. 2. – С. 123–136 (в сокр.). Пер. с нем. В. И. Иванова.

(военное и организационно-правовое обеспечение условий существования способа производства; влияние на деловой цикл и забота о развитии инфраструктуры, благоприятствующей воспроизводству капитала) государственное вмешательство выступает в форме *косвенного* воздействия на граничные условия принятия решений частными предпринимателями, и, в случае необходимости, *предотвращения* или *смягчения* возникающих в ходе его действий побочных эффектов. Движущий механизм хозяйства, управляемого деньгами, диктует именно такой ограниченный способ использования административной власти.

Следствием этой структурной дилеммы явилось то, что обусловленные экономикой кризисные тенденции не только подвергаются административному воздействию, смягчаются и приглушаются, но и сами непроизвольно переносятся в административную систему действия. Здесь они могут принимать различные формы: например, конфликта между целями политики в области конъюнктуры и инфраструктуры; перерасхода ресурсов (государственная задолженность); излишнее увлечение бюрократическим планированием и т. д. В то же время это может привести к выработке новых стратегий преодоления кризиса с целью переноса всей тяжести проблемы назад, в систему экономики. Клаус Оффе пытался объяснить в первую очередь именно этот сложный механизм кризисных процессов, имеющих форму колебаний, переходящих из одной подсистемы в другую или из одного состояния в другое, и маневров по их преодолению [Offe, 1972].

Массовая демократия. Если исходить из модели с двумя системами управления, т. е. с помощью денег и власти, то экономическая теория демократии, сформулированная в терминах марксистского функционализма, представляется весьма несовершенной. Сравнивая оба метода управления, мы видим, что власть требует более глубокой институционализации, чем деньги. Деньги укореняются в жизненном мире через институты буржуазного частного права, поэтому теория стоимости может отталкиваться от договорных отношений между наемными работниками и владельцами капитала. Напротив, для осуществления властных полномочий недостаточно создать общественно-правовой

аналог организации управления, существующий в экономической системе (я имею в виду законодательное регулирование публичной сферы), помимо этого существует необходимость легитимации господствующего порядка. А в условиях рационального общества, для которого характерна высокая степень индивидуализации субъектов, с нормами, которые стали абстрактными, безусловно позитивными и нуждающимися в подтверждении, и традициями, рефлексивно и коммуникативно размытыми в части требований, предъявляемых к власти, – легитимации можно достичь в основном демократическими методами политического волеизъявления [Habermas, 1979]. В этом смысле и организованное рабочее движение, и движения за права граждан преследуют одни и те же цели. В результате процесс легитимации упорядочивается – опираясь на принципы свободы слова и организаций и многопартийной системы – в форме свободных, тайных и всеобщих выборов. Конечно, структура накладывает определенные ограничения на участие граждан в политическом управлении.

Между капитализмом и демократией устанавливаются *тесные*, но напряженные отношения. В этом противостоянии задействованы два противоположных принципа социальной интеграции. Современные общества, исходя из самопонимания, выраженного в принципах демократических конституций, утверждают примат жизненного мира над подсистемами, которые вычленились из их организационных структур. Нормативный смысл демократии сводится к следующей теоретической формуле: интегрированные в *системы* сферы действия должны функционировать, не нарушая целостности жизненного мира, т. е. сферы действия должны занимать подчиненное положение по отношению к *социальной* целостности. В то же время динамика развития капиталистического хозяйства сохраняется только в той мере, в какой процесс накопления активнее процесса потребления. Ограничения, защищающие «жизненный мир», а также требования легитимации, связанные с действиями административной системы, не должны, по возможности, затрагивать движущего механизма хозяйственной системы. Внутренняя логика системы капитализма сводится к следующей теоретической формуле:

системно интегрированные сферы действия должны, если потребуется, функционировать даже ценой *технизации* жизненного мира. Системный функционализм Лумана незаметно преобразует этот практический постулат в теоретический, тем самым до неузнаваемости изменяя его нормативное содержание.

Напряженные отношения между капитализмом и демократией, обусловленные конкуренцией между двумя противоположными принципами социальной интеграции, с помощью парадокса описывает К. Оффе: «Капиталистические общества отличаются от всех других обществ не *способом* собственного воспроизводства, т. е. *согласованности* принципов целостности и системности общества, но тем, что эта основная для *всех* обществ проблема решается *одновременно* двумя логически взаимоисключающими способами: полным вычлениением, т. е. приватизацией производства, и его политизацией или обобществлением. Обе стратегии перекрещиваются и обоюдно нейтрализуются. В результате система неизменно сталкивается с дилеммой: она должна абстрагироваться от нормативных правил действия и смысловых отношений субъектов, и в то же время не в состоянии сделать это. Политическая нейтрализация сфер труда, производства и распределения утверждается и опровергается одновременно» [Offe, 1979]. Этот парадокс выражается еще и в том, что партии, если они приходят к власти или хотят ее сохранить, должны *одновременно* завоевывать доверие масс и частных инвесторов.

Оба императива сталкиваются прежде всего в общественно-политической сфере, где автономия жизненного мира должна быть защищена от действий административной системы. «Общественное мнение», охраняющее жизненный мир, имеет смысл, отличный от точки зрения государственного аппарата, выражающего интересы системы [Luhmann, 1971]. Социология политики концентрирует внимание либо на одном, либо на другом, разрабатывая соответственно теорию поведения и теорию систем. В зависимости от выбора используется концепция плюрализма, критики идеологии или авторитаризма.

Итак, с одной стороны, общественное мнение, выявленное в процессе опросов, или воля избирателей, партий и союзов счи-

таются плюралистическим выражением общих интересов. При этом общественное согласие рассматривается как *первое звено* в процессе формирования политического волеизъявления и как основа легитимации. С другой стороны, то же согласие считается *результатом* достижения легитимации, или *последним звеном* в процессе обеспечения лояльности масс. Лояльность позволяет политической системе обрести независимость от ограничений, налагаемых принципами автономии частной и общественной сфер жизни. Оба варианта интерпретации ошибочно противопоставляются друг другу как нормативный и эмпирический подходы к демократии. Фактически же каждая точка зрения затрагивает лишь один аспект массовой демократии. Процесс волеизъявления, происходящий под влиянием партийной борьбы, есть результат и того и другого: с одной стороны, интенсивного развития коммуникативных процессов формирования ценностей и норм, с другой – организационных усилий политической системы.

Политическая система обеспечивает лояльность масс как конструктивным, так и селективным способом. В первом случае, выдвигая проекты социальных программ на государственном уровне, во втором – исключая из публичных дискуссий определенные темы и сообщения. Последнее достигается с помощью либо социально-структурных *фильтров* доступа к формированию общественного мнения, либо *деформацией* структур общественной коммуникации с помощью бюрократических методов, либо манипулированием потоками информации. Взаимодействием этих переменных объясняются существенные расхождения между символическими презентациями позиций политических элит и реальными процессами принятия решений в рамках политической системы [Edelmann, 1964; Sears, 1980]. Этому соответствует и *вычленение роли избирателя*, к которой, в общем, и свелось участие в процессах политического управления. Принятое в результате выборов решение определяет в целом только персоналии руководящего состава, а его мотивы оказываются за пределами дискурсивного контекста, воздействующего на волеизъявление. Такой механизм *нейтрализует возможности*

политического участия, которые в правовом отношении открыты для гражданина государства [Narr und Offe, 1975].

Государство с развитой системой социальной защиты.

Если исходить из модели отношений обмена между формально организованными подсистемами экономики и политики, с одной стороны, и коммуникативно-структурированными сферами частной и общественной жизни – с другой, то следует учитывать, что проблемы, возникающие в области общественного труда, переносятся из сферы частной в сферу общественной жизни. И здесь в условиях конкурентно-демократического волеизъявления они превращаются в гарантии легитимации. Социальное бремя классового конфликта, ощутимое, прежде всего, в частной жизни, невозможно удержать за границами политической сферы. Таким образом, развитая система социальной защиты становится политическим содержанием массовой демократии. Отсюда следует, что политическая система не может полностью освободиться от ориентации граждан на потребление. Она также не в состоянии добиться беспредельной лояльности масс, и поэтому для придания *легитимности* своим действиям должна предлагать государственные и социальные программы, *выполнение которых подлежит контролю*.

Основой реформистской политики стала правовая институционализация коллективных переговоров. Механизм коллективных переговоров, использующий развитую систему государственной социальной защиты, оказался эффективным средством регулирования классового конфликта. Трудовое и социальное законодательство предусматривает надлежащие меры для страхования и обеспечения существования наемных рабочих и уравнивает рыночные позиции более слабых в структурном отношении слоев (наемных работников, арендаторов, потребителей и т. д.). Социальная политика ликвидирует крайние диспропорции и проявления незащищенности, не затрагивая, однако, обусловленного структурой неравенства собственности, дохода и власти. Но государство с развитой системой социальной защиты в своих установках и стремлениях ориентируется не только на достижение социального равновесия с помощью выплаты индивидуальных компенсаций, но и на преодоление и предотвраще-

ние неблагоприятных для всего общества ситуаций, например, в областях, связанных с экологией. К подобным действиям по социальной защите относятся меры охраны экологии городов, энергетическая политика и забота о гидроресурсах, защита окружающей среды, а также поддержка здравоохранения, культуры и образования.

Однако политика, направленная на развитие государственной системы социальной защиты, оказывается перед дилеммой. На финансовом уровне она сводится к игре с нулевой суммой между государственными расходами на меры социальной защиты, с одной стороны, и затратами на стимулирование предпринимательства и совершенствование инфраструктуры с целью обеспечения экономического роста – с другой. Дилемма состоит в том, что государство с развитой системой социальной защиты неизбежно переносит непосредственно на жизненный мир как негативные воздействия капиталистически организованной системы занятости, так и дисфункциональные побочные последствия экономического развития, регулируемого процессом накопления капитала. При этом оно не смеет изменить форму организации, структуру и механизм хозяйственного производства. Государство с развитой системой социальной защиты не может нарушать условия стабильности и требования мобильности капиталистического развития именно потому, что вмешательство в систему распределения социальных компенсаций с целью ее корректировки только тогда не вызывает ответных реакций со стороны привилегированных групп, когда оно компенсируется приростом общественного продукта, не затрагивающим распределения уже имеющегося богатства. В противном случае меры по социальной защите не могут выполнять функцию сдерживания и предотвращения классового конфликта.

Таким образом, не только налоговые ограничители влияют на *объем* государственных расходов на социальные нужды, но и *структура* государственных социальных расходов, и *организация* социальной помощи подчиняются императиву структуры взаимоотношений между формально организованными сферами действия и их социальной средой, реализуемых с помощью денег и власти.

II

В случае если политической системе в развитых капиталистических обществах удастся преодолеть структурные трудности, встречающиеся на пути государственного вмешательства в экономику, массовой демократии и государственной системы социальной защиты, складываются *структуры позднего капитализма*, которые, с точки зрения марксистской теории (с характерным для нее экономическим подходом), должны казаться парадоксальными. Умиротворение классового конфликта в государстве с развитой системой социальной защиты происходит в условиях продолжающегося процесса накопления. При этом государственное вмешательство отнюдь не изменяет капиталистический механизм этого процесса, а, наоборот, гарантирует его. Такова социально-экономическая программа реформ, опирающаяся на совокупность средств кейнсианской модели, провозглашенная и реализуемая в западных странах, независимо от того, находится ли у власти социал-демократическое или консервативное правительство. С 1945 г. (особенно в период восстановления и наращивания уничтоженных производственных мощностей) реформизм добился бесспорных успехов в экономической и общественно-политической сферах.

Сформировавшиеся при этом общественные структуры нельзя, однако, рассматривать (в духе теоретиков австромарксизма, таких, как Отто Бауэр или Карл Реннер) как результат классового компромисса. В ходе институционализации классового конфликта социальные противоречия, возникающие на почве частного права распоряжаться средствами производства общественного богатства, постепенно теряют способность структурировать жизненный мир социальных групп. При этом данное противоречие по-прежнему остается основополагающим для структуры самой хозяйственной системы. Поздний капитализм по-своему использует относительное расхождение между системой и жизненным миром. Классовая структура, перемещенная из жизненного мира в систему, теряет свою исторически конкретную форму. Неравное распределение социальных благ теперь отражает структуру привилегий, которые нельзя больше объяснять ис-

ключительно классовым положением. Прежние источники неравенства, конечно, сохраняются. Однако их в значительной мере нейтрализуют не только государственно-благотворительные компенсации, но и новые виды неравенства. Примером могут служить различия, порождающие конфликты между маргинальными группами. Чем лучше регулируется классовый конфликт, существование которого обусловлено частнохозяйственной формой накопления, чем дольше он сохраняет латентную форму, тем в большей мере выступают на передний план проблемы, которые не ущемляют *непосредственно* специфические классовые интересы.

Я не хочу здесь углубляться в сложнейшую проблему того, как изменяются правила построения модели социального неравенства в период позднего капитализма. Меня больше интересует, каким образом возникает *новый тип эффекта овеществления, который не является специфически-классовым*, и почему эти эффекты (прошедшие, конечно, дифференцированный отбор и профильтрованные через сито социального неравенства) сегодня проявляются прежде всего в коммуникативно структурированных сферах действия.

Компромиссный характер государства с развитой системой социальной защиты изменяет условия четырех видов взаимодействия, существующих между системой (экономикой и государством) и жизненным миром (частной и общественной сферами), вокруг которых кристаллизуются социальные роли наемного рабочего и потребителя, клиента бюрократической общественной системы и гражданина государства. В своей теории стоимости Маркс все внимание сконцентрировал исключительно на процессе обмена рабочей силы на заработную плату и обнаружил симптомы овеществления в сфере общественного труда. У него перед глазами был исторически определенный тип отчуждения, который описан, например, Энгельсом в работе «Положение рабочего класса в Англии». Маркс сформулировал концепцию отчуждения исходя из модели отчужденного фабричного труда на ранних стадиях процесса индустриализации. Свою модель он перенес на весь жизненный мир пролетариата. Эта

концепция не делает различия между распадом традиционного и разрушением посттрадиционного жизненных миров. Она также не проводит границу между обнищанием, которое распространяется на сферу материального воспроизводства жизненного мира, и кризисами в сфере символического воспроизводства жизненного мира, т. е., говоря словами Вебера, между проблемами, возникающими в сферах внешних и внутренних потребностей. Однако по мере становления государства с развитой системой социальной защиты этот тип отчуждения все дальше отходит на задний план.

В государстве с развитой системой социальной защиты роли, которые предлагает система занятости, являются, если можно так выразиться, общепризнанными. В рамках посттрадиционного жизненного мира структурная дифференциация между организациями становится привычной. Тяготы, связанные с самим характером наемного труда, облегчаются, по меньшей мере субъективно, если не «гуманизацией» рабочего места, то наличием денежных компенсаций или юридически оформленных гарантий. Это значительно снижает напряжение, ущерб и риск, которые связаны обычно со статусом рабочих и служащих. Роль работающего по найму теряет свои болезненно пролетарские черты благодаря непрерывному повышению жизненного уровня, хотя и дифференцированного по социальным слоям. Ограждение частной сферы от очевидных последствий действующих в мире труда императивов системы лишило взрывной силы конфликты, которые возникают в области распределения. Только в исключительных по своей драматичности случаях они становятся актуальной темой, выходящей за пределы коллективных переговоров.

Это новое *равновесие*, установившееся между *нормализовавшейся профессиональной ролью и возросшей по своей значимости ролью потребителя*, является, как было показано, результатом деятельности государства с развитой системой социальной защиты, осуществляемой в легитимных условиях массовой демократии. Напрасно теория стоимости уделяла так мало внимания отношениям обмена между политической системой и жизнен-

ным миром. Ведь умиротворение сферы общественного труда является лишь контрагентом *равновесия*, устанавливающегося на другой стороне модели, – между возросшей и вместе с тем ставшей одновременно *нейтральной ролью гражданина* и искусственно раздутой ролью *клиента*. Утверждение основных политических прав в рамках массовой демократии свидетельствует, с одной стороны, об универсализации гражданина, а с другой – об отделении этой роли от процесса принятия решений, в результате чего политическое участие лишается конкретного содержания. Лояльность масс и легитимность образуют сплав, содержимое которого не разлагается на составные компоненты и не может быть проанализировано самими участниками политического процесса.

За нейтрализацию роли гражданина государство с развитой системой социальной защиты тоже платит потребительными стоимостями, которые получают граждане как клиенты бюрократической системы государства всеобщего благоденствия. Клиенты – это потребители, которые пользуются преимуществами государства с развитой системой социальной защиты. При этом роль клиента делает приемлемым ставшее абстракцией, лишившееся смысла политическое участие. Роль клиента облегчает груз последствий институционализации отчужденного модуса участия, так же как роль потребителя облегчает тяжесть отчужденного труда. Именно эти роли в первую очередь аккумулируют в себе новый конфликтный потенциал позднекапиталистического общества, который приводит марксистов в раздражение. В этом отношении такие представители критической теории, как Маркузе и Адорно, составляют исключение. Однако рамки теории критики инструментального разума, в пределах которой остаются эти авторы, оказываются слишком узкими. Только с помощью теории критики функционалистского разума можно убедительно показать, почему вообще в условиях относительного компромисса, присущего государству с развитой системой социальной защиты, еще могут возникать конфликты, которые не принимают специфически-классовую форму, но все же коренятся в классовой структуре, вытесненной в системно интегрированные

сферы действия. Наша весьма стилизованная модель позднекапиталистических обществ, работающая лишь с очень ограниченным кругом стимулированных предположений, предлагает следующее объяснение.

Массовая демократия, присущая государству с развитой системой социальной защиты, является устройством, которое смягчает классовый антагонизм, по-прежнему содержащийся в недрах хозяйственной системы. Но это возможно лишь при условии, предполагающем, что капиталистическая динамика экономического развития, защищенная политикой государственного вмешательства, не ослабевает. Ибо только в этом случае появляются средства для выплаты социальных компенсаций, которые распределяются согласно неявным критериям через институционализированный механизм участия различных социальных групп в дележе этих средств. Только тогда появляется возможность так распределять эти средства, удовлетворяя одновременно ролевые функции потребителя и клиента, что структуры отчужденного труда и отчужденного политического участия не проявляют своей взрывной силы. Динамика развития хозяйственной системы, опирающаяся на политические меры, обеспечивает более или менее стабильный процесс усложнения системы, что означает как расширение, так и внутреннее уплотнение формально организованных сфер действия. Это относится прежде всего к отношениям, складывающимся внутри подсистем экономики и общественного управления, а также к связям подсистем между собой. Такое внутреннее развитие объясняет не только процессы концентрации на рынках товаров, капитала и труда, тенденцию к централизации управления предприятиями и учреждениями, но также расширение функций и сфер государственной деятельности (что выражается, например, в соответствующем увеличении государственного бюджета).

В то же время рост всего этого комплекса затрагивает отношения обмена, складывающиеся между указанными подсистемами и теми сферами жизненного мира, которые по отношению к системе выступают в качестве внешней среды. В первую очередь это относится к домохозяйствам, сориентированным на си-

стему массового потребления, а также к клиентальным отношениям, связанным с бюрократическим регулированием жизненного мира.

Согласно предпосылкам нашей модели, именно по этим двум каналам поступают компенсации, которые государство с развитой системой социальной защиты использует для обеспечения мира в сфере общественного труда и блокирования участия в процессах принятия политических решений. Если не принимать во внимание вызываемые кризисами нарушения равновесия, которые транслируются в жизненный мир в административных формах, то можно сказать, что капиталистический рост вызывает конфликты в жизненном мире, прежде всего вследствие расширения и внутреннего уплотнения монетарно-бюрократического комплекса. Конфликты возникают прежде всего там, где роли потребителя и клиента изменяют социальный контекст жизни, ассимилируя его с системно интегрированными сферами действия. Эти процессы всегда были составной частью процесса капиталистической модернизации; исторически они успешно преодолевали защитные барьеры затрагиваемых ими сфер в тех случаях, когда речь шла о перемещении материального воспроизводства жизненного мира в формально организованные сферы действия. Но когда под угрозой оказываются функции символического воспроизводства жизненного мира, он оказывает упорное сопротивление, и успешно удерживает линию фронта между собой и системой.

III

Прежде чем углубиться в эмпирические проблемы, придется восстановить прерванную ранее цепь рассуждений. Я истолковал тезис Макса Вебера о потере свободы в том смысле, что речь идет о систематически индуцированном овеществлении коммуникативно структурированных сфер действия; затем, используя метод критического анализа теоретико-ценностного подхода, я предложил гипотезы, которые могут объяснить, почему вообще в развитых капиталистических обществах все еще существуют тенденции к овеществлению, хотя бы и в видоизмененной

форме. Но как увязать второй культурно-критический постулат Макса Вебера, касающийся распада религиозно-метафизического мировоззрения и феномена потери смысла, с принятием тезиса Маркса? У Маркса и Лукача теория овеществления дополняется и подкрепляется теорией классового сознания. Ее критический пафос отличается идеологическим характером и направлен против господствующих форм сознания. Одновременно она обосновывает право другой стороны выработать собственное мировоззрение. Однако в условиях, когда социальное государство сгладило остроту классовых противоречий, перед лицом растущей анонимности классовых структур, теория классового сознания не находит эмпирического подтверждения. К обществу, в котором все труднее выделить специфически классовые миры, она уже неприменима. Поэтому Хоркхаймер и его единомышленники выдвинули вместо нее теорию массовой культуры.

Маркс разработал свое диалектическое понимание идеологии на примере буржуазной культуры XVIII в. Идеалы самосозидания, нашедшие свое классическое выражение в науке и философии, естественном праве и политической экономии, искусстве и литературе, не только вошли как в самосознание, так и в частную жизнь буржуазии и обуржуазившегося дворянства, но и воплотились в принципах государственного устройства. Маркс постиг амбивалентное содержание буржуазной культуры. С одной стороны, в своих претензиях на независимость и научность, индивидуальную свободу и универсализм, на романтическое радикальное самовыражение она представляет собой результат рационализации культуры. Лишенная прикрытия, которое обеспечивают авторитет и традиция, она стала открытой для критики и самокритики. С другой стороны, нормативное содержание ее абстрактных и внеисторичных, выходящих за пределы социальной реальности идей может служить руководством не только для критически преобразующей практики, но и для утверждения идеалистических построений в реальной действительности. Этот двойственный характер буржуазной культуры – утопический и идеологический одновременно – от Маркса до Маркузе снова и снова становился объектом изучения [Markuse, 1979].

Такое описание как раз соответствует тем структурам сознания, появление которых обуславливают современные формы понимания.

«Современную форму понимания» мы определили как структуру коммуникации, которая в сферах мирской деятельности характеризуется неоднозначно. С одной стороны, коммуникативные действия сильнее отрываются от нормативного контекста и в основном концентрируются в сфере непредсказуемых ситуаций. С другой стороны, формы аргументации различаются в зависимости от институтов, а именно: теоретический дискурс – в научном учреждении, морально-практический – в общественно-политической сфере и правовой системе, наконец, эстетический критицизм – в литературе и искусстве. В начальной стадии современного периода область сакрального еще полностью не исчезла; в секуляризированной форме она сохранялась в еще не лишившихся ауры созерцания произведениях искусства, в переходных формах еще не вполне светской буржуазной культуры, в религиозных и философских традициях. Но по мере того как этот островок сакрального сужается, выявляется также синдром «претензий на значимость», становится заметной «потеря смысла», так занимавшая Вебера. Исчезает различие в степени рациональности, которое всегда существовало между областями сакрального и мирского. Потенциал рациональности, высвобождаемый в области обыденной жизни, до того времени ограничивался и нейтрализовался мировоззрением. С точки зрения структурного подхода, мировоззрения отличались более низким уровнем рациональности по сравнению с повседневно-бытовым сознанием, но в то же время они были лучше проработаны и артикулированы интеллектуально. Более того, мифические или религиозные взгляды на мир столь глубоко укоренились в практике совершения ритуалов и отправления культов, что мотивы и ценностные ориентации, ненасильственно сформированные в коллективных убеждениях, были защищены от влияния противоречащего им опыта и рационализма повседневной жизни. В результате секуляризации буржуазной культуры положение меняется. Исчезает иррациональная, свято сохранявшаяся связующая сила, ограничивавшая

рационализм сферой повседневной жизни. Испаряется субстанция фундаментальных убеждений, освященных культурой и не требовавших обоснования.

На основании логики процесса рационализации культуры можно определить тот пункт, в направлении которого происходит развитие модерна в культуре: с ликвидацией разницы в уровне рационализма между сферой мирского поведения и решительно утратившей свое очарование культурой, последняя лишается тех свойств, благодаря которым она была в состоянии выполнять идеологические функции.

Правда, этого состояния, которое Дэниел Белл охарактеризовал как «Конец идеологии», приходится долго ждать. Французская революция, которая совершалась под знаменем буржуазных идеалов, ознаменовала начало эпохи массовых движений, вдохновленных идеологией. *Классические буржуазные освободительные движения*, с одной стороны, *вызывали традиционалистскую реакцию*, в которой проявлялось стремление вернуться к прочным устоям добуржуазного времени. С другой стороны, возник и комплекс разнородных *идеологических доктрин, характерных для нового времени*. Спектр этих научных, а по большей части псевдонаучных, воззрений весьма широк – от анархизма, коммунизма и социализма через синдикалистские, радикально-демократические и консервативно-революционные ориентации до фашизма и национал-социализма. Таково *второе поколение идеологий*, возникших на почве *буржуазного общества*. При всех различиях в уровне формализации и способности к синтезированию у них есть нечто общее: в отличие от классических буржуазных идеологий эти мировоззрения, уходящие своими корнями в XIX век, разработали специфически современные представления об экспроприации и отчуждении, то есть о тяготах, которые были привнесены в жизненный мир в результате социальной модернизации. Эта тенденция проявилась, например, в прожектах морального или эстетического обновления общественно-политической сферы, возрождения политики, свободной от монополии бюрократического аппарата. Тенденция морализирования находит свое выражение в идеалах автономии и уча-

ствия, преобладающих в основном в радикально-демократических и социалистических движениях. Тенденция эстетизации проявляется в потребности экспрессивного самовыражения и аутентичности; она может преобладать как в авторитарных движениях (фашизм), так и в антиавторитарных (анархизм). Обе тенденции созвучны с современностью в той мере, в какой они не превращаются в метафизические или религиозные мировоззрения, ориентированные на «спасение» моральных или экспрессивных проявлений жизни, которые подавляются или которыми пренебрегают в условиях капиталистической модернизации. В процессе модернизации они пытаются реализоваться на практике в новых формах жизни какого-либо революционного общества.

Несмотря на различия *в содержании*, эти мировоззрения разделяют с идеологиями первого поколения – «отпрысками» рационального естественного права, утилитаризма, буржуазной социальной философии и философии истории – еще и *форму* целостных представлений о мировом порядке, которые характерны для политического сознания соратников по борьбе. Тем не менее, именно эта форма способного к интеграции и *глобального общего толкования, спроецированного под углом зрения жизненного мира, должна распасться в коммуникационной структуре развитого современного общества.*

Когда угасает отсвет ауры сакрального, исчезает синтезирующая образ мира власть воображения, – то форма понимания, основанная на силе аргументов, становится столь прозрачной, что повседневная практика коммуникации не оставляет больше никакой ниши для господства идеологических структур. Императивы ставших самостоятельными подсистем должны тогда оказывать *заметное* влияние извне на социально интегрированные сферы действия. Они не могут более скрываться за различием в уровне рациональности между сакральной и мирской сферами и незаметно воздействовать на ориентации поведения, вовлекая жизненный мир в интуитивные, недоступные пониманию функциональные взаимосвязи.

Если, однако, структуры рационализированного жизненного мира все больше утрачивают возможности для формирования

идеологии, если становится невозможным пренебрегать фактами, свидетельствующими в пользу инструментализации жизненного мира, то следует ожидать, что возникнет открытая конкуренция между формами системной и социальной интеграции. Однако опыт позднекапиталистических обществ «социально-государственного умиротворения» не подтверждает этого предположения. Очевидно, что они нашли какой-то функциональный заменитель идеологических построений. На место позитивной задачи удовлетворения определенной потребности в идеологическом обосновании выдвинулось негативное требование подавить в зародыше любые попытки создать целостную идеологическую интерпретацию.

Жизненный мир всегда конституируется в форме глобального знания, intersubъективно разделенного между членами общества. Таким образом, приемлемой заменой отсутствующих ныне идеологий может быть попросту то обстоятельство, что повседневные знания, появляющиеся в целостной форме, остаются рассеянными или, по крайней мере, никогда не достигают такого уровня артикуляции, когда только одно знание может быть принято как имеющее силу в соответствии со стандартами современной культуры. Происходит ограбление *повседневного сознания*, оно лишается своей способности к синтезированию, становится *фрагментированным*.

Что-то подобное и происходит в действительности. Характерная для западного рационализма дифференциация науки, морали и искусства не только приводит к их обособленному существованию как отдельных сфер, разрабатываемых специалистами, но и к их отделению от самобытно развивающегося в процессе повседневной практики потока традиций. Этот раскол снова и снова заявляет о себе как проблема. Попытки упразднить «философию» и искусство были бунтом против структур, которые подчинили повседневное сознание стандартам эксклюзивных экспертных культур, творимых специалистами, развивающихся в соответствии со своей собственной логикой и недоступных широким массам.

Повседневное сознание, отосланное к традициям, претензии которых на значимость уже отвергнуты, оказывается вне сферы влияния традиционализма и пребывает в состоянии безнадежного распада. Место «ложного» занимает «фрагментированное» сознание, которое препятствует просвещению с помощью механизма овеществления. Только таким образом выполняются условия *колонизации жизненного мира*: императивы автономных подсистем, сбросив идеологические покровы, завоевывают, подобно колонизаторам, пришедшим в первобытное общество, жизненный мир извне и навязывают ему процесс ассимиляции. При этом рассеянные осколки культуры периферии не складываются в целостную картину, позволяющую ясно представить сущность игры, в которой участвуют метрополии и мировой рынок.

Таким образом, теория позднекапиталистического овеществления, переформулированная в терминах системы и жизненного мира, должна быть дополнена анализом культурного модерна, который идет на смену устаревшей теории классового сознания. Вместо того чтобы заниматься критикой идеологии, этот анализ должен объяснить культурное обнищание и фрагментацию повседневного сознания. Вместо того чтобы гнаться по теряющемуся следу революционного сознания, он должен исследовать условия воссоединения рационализированной культуры и повседневной коммуникации, зависящей от жизненно важных традиций.

Литература

Edelmann M. The Symbolic Uses of Politics. Urbana: University of Illinois Press, 1964.

Habermas J. Legitimationsprobleme im modern Staat. In: J. Habermas. Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus. Frankfurt a.M. Suhrkamp, 1976. S. 271.

Habermas J. Über Kunst und Revolution. In: J. Habermas. Philosophischpolitische Profile. Erw.Ausgabe, 1981.

Luhmann N. Öffentliche Meinung. In: N. Luhmann. Politische Planung. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1971. S. 9.

Markuse H. Versuch über Befreiung. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1969; *Markuse H.* Konterrevolution und Revolte. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1973; *Markuse H.*

Über den affirmative Charakter der Kultur. Ges. Schriften, Bd. 3. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1979.

Narr W. D. und *Offe C.* Wohlfahrtsstaat und Massenloyalität. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 1975. S. 28.

Offe C. Strukturprobleme des kapitalistischen Staates. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1972

Offe C. Unregierbarkeit. In: J.Habermas. Stichworte zur geistigen Situation der Zeit. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1979. S. 315.

Sears D. O. et al. Self-Interest vs. Symbolic Politics // American Political Science Review, 1980, v. 74. P. 670.

Перевод с немецкого В. И. Иванова

КОЗЕР Льюис Альфред
(COSER Lewis Alfred)
(1913–2003)

Льюис Альфред Козер (27.11.1913, Берлин – 08.07.2003, Кембридж, США) – американский социолог, профессор, один из основателей теории социального конфликта, президент Американской социологической ассоциации (1975). Свою первую большую работу, посвященную конфликту (1956), Козер начал с полемического выпада против функционализма: конфликту уделяется слишком мало внимания, причем связанные с ним явления рассматриваются как патологические изменения. Требуется другая разновидность социологического анализа, концентрирующая свое внимание на явлениях конфликта. Критика классического структурного функционализма позволила Козеру сформулировать теоретическую схему, которая дополнялась как функциональным теоретизированием, так и диалектической теорией конфликта. Козер сделал упор на обоснование именно позитивных функций общественных коллизий, на раскрытие адаптивной роли в жизни общества, заявив, что даже открытый конфликт при определенных условиях способствует сохранению жизненности и устойчивости социальной организации. Конфликт трактуется Козером не столько как деструктивный фактор, сколько как импульс для социального развития и сплочения социальных групп и индивидов внутри группы.

Козер определяет социальный конфликт как поведение, которое влечет за собой борьбу между противными сторонами из-за дефицитных ресурсов и включает в себя попытки нейтрализовать, причинить вред или устранить противника. В анализе конфликта Козер предпочитает сосредоточить внимание на его позитивных функциях, относя к ним: разрядку напряженности между антагонистами, коммуникативно-информационную и связующую функции, функции созидания и конструирования общественного объединения. Он считает, что противоборство как с внешним, так и с внутренним врагом помогает

поддерживать сплоченность группы (если такового нет, то его надо провоцировать).

В теории Козера придается значение и такой функции социального конфликта, как стимулирование и возбуждение социальных изменений. По его мнению, конфликт внутри группы часто содействует появлению новых социальных норм и обновлению существующих. С этой точки зрения, социальный конфликт есть способ адекватного приспособления социальных норм к изменившимся обстоятельствам, а следовательно, способ сохранения и адаптации всей социальной системы и ее подгрупп. Конфликт является также эффективным стимулятором в экономической и технологической сферах, своего рода «страхующим клапаном» системы, позволяющим через последующие реформы и интеграцию на новом уровне приводить социальный организм в соответствие с изменившимися условиями. В жестких системах подобный регулирующий механизм вряд ли возможен, поскольку при подавлении конфликтов эти системы блокируют специфический предупредительный сигнал и тем самым усугубляют опасность социальной катастрофы. Несмотря на то, что положениям предлагаемой Козером теории зачастую не хватает логической строгости, она представляет собой одно из самых перспективных направлений в современной западной социологии.

Основные работы: «Функции социального конфликта» (1956), «Социальный конфликт и теория социального изменения» (1957), «Продолжение изучения социального конфликта» (1967) и др.

В предлагаемом фрагменте из книги «Функции социального конфликта» Козером обосновано, каким образом внутренние и внешние социальные конфликты влияют на жизнедеятельность социальных групп. Выбор данного текста обусловлен его базовой значимостью в рамках разработанной Козером теории конфликта.

КОЗЕР ЛЬЮИС АЛЬФРЕД

ФУНКЦИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНФЛИКТА¹

Конфликт внутри группы может способствовать ее сплочению или восстановлению внутреннего единства в том случае, если последнему угрожает вражда или антагонизм членов группы.

¹ Козер Л. А. Функции социального конфликта // Американская социологическая мысль: Тексты / под ред. В. И. Добренькова. – М.: Издание Международного университета Бизнеса и Управления, 1996. – С. 542–546 (в сокр.).

Вместе с тем далеко не все разновидности конфликта благоприятны для внутригрупповой структуры, равно как не во всякой группе могут найти применение объединяющие функции конфликта. Та или иная роль конфликта во внутригрупповой адаптации зависит от характера вопросов, составляющих предмет спора, а также от типа социальной структуры, в рамках которой протекает конфликт. Однако виды конфликтов и типы социальных структур сами по себе не являются независимыми переменными.

Внутренние социальные конфликты, затрагивающие только цели, ценности и интересы, которые не противоречат принятым основам внутригрупповых отношений, как правило, носят функционально позитивный характер. В тенденции такие конфликты содействуют изменению внутригрупповых норм и отношений в соответствии с насущными потребностями отдельных индивидов или подгрупп. Если же противоборствующие стороны не разделяют более ценностей, на которых базировалась законность данной системы, то внутренний конфликт несет в себе опасность распада социальной структуры.

Тем не менее сама социальная структура содержит гарантию единства внутригрупповых отношений перед лицом конфликта: возможность институционализации конфликта определяется степенью его недопустимости. Станет ли социальный конфликт средством стабилизации внутригрупповых отношений и согласования противоположных требований сторон или он окажется чреватым социальным взрывом – ответ на этот вопрос зависит от характера социальной структуры, в условиях которой развивается конфликт.

В социальной структуре любого типа всегда имеется повод для конфликтной ситуации, поскольку время от времени в ней вспыхивает конкуренция отдельных индивидов или подгрупп по поводу дефицитных ресурсов, престижа и власти. Вместе с тем социальные структуры отличаются друг от друга дозволенными способами выражения притязаний и уровнем терпимости в отношении конфликтных ситуаций.

Группы, отличающиеся тесными внутренними связями, значительной частотой взаимодействий и высоким уровнем личностной вовлеченности, имеют тенденцию к подавлению конфликтов.

Частые контакты между членами таких групп придают большую насыщенность эмоциям любви и ненависти, что в свою очередь провоцирует рост враждебных настроений. Однако реализация чувства враждебности осознается как угроза сложившимся близким отношениям; это обстоятельство влечет за собой подавление негативных эмоций и запрет на их открытое проявление. В группах, где индивиды находятся в тесных отношениях друг с другом, происходит постепенная аккумуляция, а следовательно, и усиление внутренних антагонизмов. Если в группе, которая ориентирована на предотвращение откровенных демонстраций ненависти, все же вспыхивает социальный конфликт, он будет особенно острым по двум причинам. Во-первых, потому, что этот конфликт явится не только средством разрешения проблемы, послужившей для него непосредственным поводом, но и своеобразной попыткой компенсации за все накопившиеся обиды, которые до сих пор не получали выхода. Во-вторых, потому, что всеохватывающая личностная вовлеченность индивидов в дела группы приведет к мобилизации всех эмоциональных ресурсов, которыми они располагают. Следовательно, чем сплоченнее группы, тем интенсивнее ее внутренние конфликты. Полнота личностной вовлеченности в условиях подавления настроений враждебности угрожает в случае конфликта самим основам внутригрупповых отношений.

В группах с частичным индивидуальным участием вероятность разрушительного действия конфликта уменьшается. Для групп такого рода типичной будет множественность конфликтных ситуаций. Эта особенность сама по себе служит препятствием для нарушения внутригруппового единства. Энергия индивидов оказывается распыленной в самых разных направлениях, что мешает ее концентрации на уровне какой-либо конфликтной ситуации, чреватой расколом всей системы. Далее, если невозможна аккумуляция враждебных эмоций и, напротив, имеются все шансы для открытого их проявления в целях вероятного снижения напряженности, конфликтная ситуация обычно ограничивается ее ближайшим источником, т. е. не ведет к актуализации заблокированного антагонизма. Конфликт исчерпывается «фактами по данному делу». Можно поэтому утверждать, что интен-

сивность конфликта обратно пропорциональна его полинаправленности.

До сих пор мы обсуждали только внутренние социальные конфликты. Теперь нам придется коснуться конфликта внешнего, поскольку конфликтные отношения с другими группами или намерение вступить в такие отношения существенно влияют на внутригрупповую структуру. Группы, которые поглощены непрерывной внешней борьбой, обычно претендуют на абсолютную личностную вовлеченность своих членов, с тем чтобы внутренний конфликт привел в действие весь их энергетический и эмоциональный потенциал. Поэтому такие группы отличаются нетерпимостью к более чем однократному нарушению внутреннего единства. Здесь существует ярко выраженная тенденция к подавлению внутренних конфликтов. Если же такой конфликт все-таки возникает, он ведет к ослаблению группы путем раскола или насильственного удаления инакомыслящих.

Группы, не втянутые в постоянный внешний конфликт, реже требуют от своих членов всей полноты их личностного участия. Как правило, такие группы отличаются гибкостью структуры и внутренним равновесием – в значительной мере благодаря множественности конфликтных ситуаций. В условиях структурной гибкости неоднородные внутренние конфликты постоянно накладываются друг на друга, предотвращая тем самым глобальный раскол группы в каком-либо одном направлении. Индивиды вынуждены одновременно участвовать в нескольких самых разных конфликтах, ни один из которых не поглощает полностью их личностных ресурсов. Частичное участие в массе конфликтных ситуаций является механизмом, поддерживающим равновесие внутригрупповой структуры.

Таким образом, в свободно структурированных группах и открытых обществах конфликт, который нацелен на снижение антагонистического напряжения, выполняет функции стабилизации и интеграции внутригрупповых отношений. Предоставляя обеим сторонам безотлагательную возможность для прямого выражения противоречащих друг другу требований, такие социальные системы могут изменить свою структуру и элиминировать источник недовольства. Свойственный им плюрализм

конфликтных ситуаций позволяет искоренить причины внутреннего разобщения и восстановить социальное единство. Благодаря терпимости в отношении социальных конфликтов и попытке их институционализации такие системы получают в свое распоряжение важный механизм социальной стабилизации. Кроме того, конфликт внутри группы часто содействует появлению новых социальных норм или обновлению существующих. С этой точки зрения социальный конфликт есть способ адекватного приспособления социальных норм к изменившимся обстоятельствам. Общества с гибкой структурой извлекают из конфликтных ситуаций определенную пользу, поскольку конфликты, способствуя возникновению и изменению социальных норм, обеспечивают существование этих обществ в новых условиях. Подобный корректирующий механизм вряд ли возможен в жестких системах: подавляя конфликт, они блокируют специфический предупредительный сигнал и тем самым усугубляют опасность социальной катастрофы.

Внутренний конфликт может также служить средством для определения взаимного соотношения сил защитников антагонистических интересов, превращаясь в механизм поддержания или изменения внутреннего баланса сил. Конфликтная ситуация равноценна нарушению прежнего соглашения сторон. В ходе конфликта выявляется реальный потенциал каждого противника, после чего становится возможным новое равновесие между ними и возобновление отношений на этой основе. Социальная структура, в которой есть место для конфликта, может легко избежать состояний внутренней неустойчивости или модифицировать эти состояния, изменив существующее состояние позиций власти.

Конфликты с одними членами группы ведут к коалиции или союзам с другими. Посредством этих коалиций конфликт способствует снижению уровня социальной изоляции или объединению таких индивидов и групп, которые в противном случае не связывали бы никакие иные отношения, кроме обоюдной ненависти. Социальная структура, которая допускает плюрализм конфликтных ситуаций, обладает механизмом соединения сторон, до тех пор изолированных, апатичных либо страдающих

взаимной антипатией, для вовлечения их в сферу социальной активности. Подобная структура содействует также возникновению множества союзов и коалиций, преследующих множество перекрещивающихся целей, что, как мы помним, предотвращает объединение сил по какой-либо одной линии раскола.

Поскольку союзы и коалиции оформились в ходе конфликта с другими группами, этот конфликт в дальнейшем может служить в качестве разграничительной линии между коалициями и их социальным окружением. Тем самым социальный конфликт вносит вклад в структурирование более широкого социального окружения, определяя положение разных подгрупп внутри системы и распределяя позиции власти между ними.

Не все социальные системы с частичным индивидуальным участием допускают свободное выражение противоборствующих притязаний. Социальные системы отличаются друг от друга уровнем толерантности и институционализации конфликтов; не существует таких обществ, где любое антагонистическое требование могло бы проявиться беспрепятственно и незамедлительно. Общества располагают способами канализации социального недовольства и негативных эмоций, сохраняя при этом целостность тех отношений, в рамках которых развился антагонизм. Для этого нередко используются социальные институты, выполняющие функции «предохранительных клапанов». Они представляют замещающие объекты для «переадресовки» настроений ненависти и средства для «освобождения» агрессивных тенденций. Подобные «отдушины» могут служить как для сохранения социальной структуры, так и для поддержания индивидуальной системы безопасности. Однако в том и в другом случае им будет свойственна функциональная незавершенность. Препятствуя изменению отношений в изменившихся обстоятельствах, эти институты могут дать лишь частичный или мгновенный регулирующий эффект. Согласно некоторым гипотезам потребность в институционализированных социальных «клапанах» увеличивается вместе с ростом жестокости социальных систем вслед за распространением запретов на непосредственное выражение антагонистических требований. Институционализированные предохранительные системы меняют направление конфликта

на исходную цель его субъектов. Последние не стремятся более к достижению специфического результата, т. е. к разрешению конфликтной ситуации, которая их не удовлетворяла, предпочитая снизить социальное напряжение, порожденное этой ситуацией.

ДАРЕНДОРФ Ральф Густав
(DAHRENDORF Ralph Gustav)
(1929–2009)

Ральф Густав Дарендорф (01.04.1929, Гамбург – 17.06.2009, Кёльн) – немецкий социолог, политолог, политический деятель. В 1958–1967 гг. – профессор университетов Гамбурга, Тюбингена, Констанца. В 1968–1974 гг. – член федерального правления СвДПГ, а также комиссар ЕС в Брюсселе. В 1974–1984 гг. – директор Лондонской школы экономики и политических наук, позднее – ректор колледжа св. Антония в Оксфорде.

Дарендорф – автор так называемой «конфликтной модели общества», возникшей как реакция на универсалистские претензии структурно-функционалистской теории и альтернатива марксизму. Под конфликтом Дарендорф понимает «все структурно произведенные отношения противоположности норм и ожиданий, институтов и групп». При помощи понятия конфликта Дарендорф уточняет понятие класса: «в каждой императивно координированной ассоциации различаются две квазигруппы, объединенные общими латентными интересами. Ориентация их интересов детерминируется владением или исключением из владения властью. Из этих квазигрупп составляются группы интересов, программы которых провозглашают защиту или нападение на законность существующих властных структур. В любой ассоциации такие две группировки находятся в состоянии конфликта». Отсюда окончательное определение классов: классы – это «конфликтующие социальные группировки или группы социального конфликта, основанные на участии или неучастии в отправлении власти в императивно координированных ассоциациях». Господствующий в данной ассоциации класс противостоит притязаниям на его власть со стороны подчиненного ему в этой ассоциации класса. Отношения управления и организации являются коренной причиной социального неравенства людей. Согласно Дарендорфу, существуют четыре причины неравенства: 1) естественное (биологическое) разнообразие склонностей, ин-

тересов, характеров людей и социальных групп; 2) естественное (интеллектуальное) разнообразие талантов, способностей, дарований; 3) социальная дифференциация (по горизонтали) примерно равноценных позиций; 4) социальное расслоение (по вертикали в соответствии с престижем, богатством и социокультурным фоном), проявившееся в иерархии социальных статусов. Классовый конфликт, порождаемый социальным неравенством, является, по Дарендорфу, механизмом распределения и передела «жизненных шансов» в социально-классовой структуре общества. Задача каждого общества – правильное регулирование конкретных социальных явлений. Среди форм регулирования Дарендорфом выделяются три: примирение посредством определенных институтов или органов, где участники групп интересов обсуждают спорные вопросы; посредничество; арбитраж. Намерение социологической теории конфликта, по Дарендорфу, состоит в том, чтобы преодолеть господствующую произвольную природу необъясненных исторических событий, выводя эти события из структурных элементов, т. е. объясняя тот или иной процесс его предвидимыми связями.

Основные работы: «Социальные классы и классовый конфликт в индустриальном обществе» (1957), «Общество и свобода» (1961), «Образование есть гражданское право» (1965), «Тропы из утопии: к теории и методологии социологии» (1967), «Очерки по теории общества» (1968), «Конфликт и свобода» (1972), «Человек социологический» (1973), «Современный социальный конфликт» (1982) и др.

Выбор текста обусловлен его значимостью в рамках теории конфликта, разработанной Дарендорфом. Особое внимание обращается на то, что конфликты не исчезают путем их регулирования. Однако способы регулирования воздействуют на насильственность конфликтов, смягчая их и вводя в формы, совместимые с непрерывно изменяющейся социальной структурой.

ДАРЕНДОРФ РАЛЬФ ГУСТАВ

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНФЛИКТА¹

Путь от устойчивого состояния социальной структуры к социальным конфликтам, что означает, как правило, образование конфликтных групп, проходит в три этапа.

¹ Кравченко А. И. Социология. Хрестоматия для вузов. – М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга (в сокр.), 2002. – С. 618–623.

Исходное состояние структуры образует первый этап проявления конфликта. На основе существенных структурных признаков можно выделить два агрегата социальных позиций. Это агрегаты представителей социальных позиций не являются пока социальной группой: они являются квазигруппой. Это «предполагаемые» общности.

Принадлежность к агрегату в форме квазигруппы предполагает ожидание защиты определенных интересов. Латентные интересы принадлежат к социальным позициям; они не обязательно являются осознаваемыми и признаваемыми: предприниматель может отклоняться от своих латентных интересов и быть заодно с рабочими; немцы в 1914 г. могли вопреки своим ролевым ожиданиям осознавать симпатию к Франции.

Второй этап развития конфликта состоит в кристаллизации, т. е. осознании латентных интересов, организации квазигрупп в фактические группировки. Каждый социальный конфликт стремится к явному выражению вовне. Путь к манифестированию интересов не очень долог; квазигруппы являются достижением порога организации групп интересов.

Третий этап заключается в самих конфликтах. В тенденции конфликты являются столкновением между элементами, характеризующимися очевидной идентичностью. В целом каждый конфликт достигает своей окончательной формы лишь тогда, когда участвующие элементы с точки зрения организации являются идентичными.

Что касается переменных или границ, в которых они могут изменяться, то две кажутся особенно важными: интенсивность и насильственность.

Конфликты могут быть более или менее интенсивными или насильственными. Допускается, что обе переменные независимы: не каждый насильственный конфликт обязательно является интенсивным, и наоборот. Переменная насильственности относится к формам проявления конфликтов. Под ней подразумеваются средства, которые выбирают борющиеся стороны, чтобы осуществить свои интересы. Отметим только некоторые пункты на шкале насильственности: война, гражданская война, вообще

вооруженная борьба с угрозой для жизни участников обозначают один полюс; беседа, дискуссия и переговоры в соответствии с правилами вежливости и с открытой аргументацией – другой. Между ними находится большое количество форм столкновений между группами – забастовка, конкуренция, ожесточенно проходящие дебаты, драка, попытка взаимного обмана, угроза, ультиматум.

Переменная интенсивности относится к степени участия пострадавших в данных конфликтах. Интенсивность конфликта больше, если для участников многое связано с ним, если, таким образом, цена поражения выше. Чем большее значение придают участники столкновению, тем оно интенсивнее. Это можно пояснить примером: борьба за председательство в футбольном клубе может проходить бурно и действительно насильственно; но, как правило, она означает для участников не так много, как в случае конфликта между предпринимателями и профсоюзами (с результатом которого связан уровень зарплаты) или, конечно, между «Востоком» и «Западом» (с результатом которого связаны шансы на выживание). Таким образом, интенсивность означает вкладываемую участниками энергию и вместе с тем – социальную важность определенных конфликтов.

Форма столкновения, которая на обыденном языке называется «конфликтом», оказывается только одной «формой более широкого феномена конфликта, а именно формой значительной насильственности (и, возможно, интенсивности). Теперь постановка вопроса изменяется на более продуктивную: при каких условиях социальные конфликты приобретают насильственную или интенсивную форму?

Первый круг факторов вытекает из манифестирования конфликтов. Полное манифестирование уже является шагом к их ослаблению. Многие столкновения приобретают свою высшую степень интенсивности и насильственности тогда, когда одна из участвующих сторон способна к организации, но организация запрещена. Историческими примерами этого являются партизанские войны, индустриальные конфликты до легального признания профсоюзов. Наиболее опасен только частично ставший

явным конфликт, который выражается в революционных или квазиреволюционных взрывах. Если конфликты признаются как таковые, то становится возможным смягчение их форм. Еще более важны факторы социальной мобильности. В той степени, в какой возможна мобильность – и прежде всего между борющимися сторонами, – интенсивность конфликтов уменьшается, и наоборот. Чем сильнее единичное привязано к своей общественной позиции, тем интенсивнее вырастающие из этой позиции конфликты, тем неизбежнее участники привязаны к конфликтам. Конфликты на основе возрастных и половых различий всегда интенсивнее, чем на основе профессиональных различий. Вертикальная и горизонтальная мобильность, переход в другой слой и миграция всегда способствуют снижению интенсивности конфликта.

Одна из важнейших групп факторов – напластование или разделение социальных структурных областей. В каждом обществе существует большое количество социальных конфликтов, например, между конфессиями, между частями страны, между руководящими и управляемыми. Они могут быть отделены друг от друга так, что стороны каждого отдельного конфликта как таковые представлены только в нем, но они могут быть напластованы так, что эти фронты повторяются в различных конфликтах, когда конфессия А, часть страны Б и правящая группа перемешиваются в одну большую «сторону». В каждом обществе существует большое количество институциональных порядков – государство и экономика, право и армия, воспитание и церковь. Эти порядки могут быть независимы, а политические, экономические, юридические, военные, педагогические и религиозные руководящие группы – не идентичны; но возможно, что одна и та же задает тон во всех областях. В степени, в которой возникают подобные напластования, возрастает интенсивность конфликтов; и напротив, она снижается в той степени, в какой структура общества становится плюралистичной, т. е. обнаруживает разнообразные автономные области. При напластовании различных социальных областей каждый конфликт означает борьбу за все; осуществление экономических требований должно одновременно изменить политические отношения.

Если области разделены, то с каждым отдельным конфликтом не так много связано, тогда снижается цена поражения (и при этом интенсивность).

То, что противоречие может быть подавлено, несомненно, является очень старым предположением руководящих инстанций. Однако подавление является не только аморальным, но и неэффективным способом обращения с социальными конфликтами. В той мере, в какой социальные конфликты пытаются подавить, возрастает их потенциальная злокачественность, вместе с этим данные инстанции стремятся к еще более насильственному подавлению, пока, наконец, ни одна сила на свете не будет более в состоянии подавить энергию конфликта: во всей истории человечества революции представляют горькие доказательства этого тезиса. Конечно, не каждая тоталитарная система фактически является системой подавления, и окончательное подавление редко встречается в истории. Большинство непарламентских форм государства очень осторожно сочетают подавление и регулирование конфликтов. Метод подавления не может предпочитаться в течение продолжительного срока, т. е. периода, превышающего несколько лет. Но это же относится и ко всем формам так называемой «отмены» конфликтов. В истории предпринимались попытки раз и навсегда устранить противоречия путем вмешательства в существующие структуры. Под «отменой» конфликтов должна пониматься любая попытка в корне ликвидировать противоречия. Эта попытка всегда обманчива. Фактические предметы определенных конфликтов – требования зарплаты в столкновении между партнерами по тарифным переговорам – можно «устранить», т. е. урегулировать так, чтобы они не возникли снова как предметы конфликта.

Но такое регулирование не ликвидирует кроющийся за ним конфликт. Социальные конфликты, т. е. систематически вырастающие из социальной структуры противоречия, принципиально нельзя «разрешить» в смысле окончательного устранения. Тот, кто пытается навсегда разрешить конфликты, скорее поддается опасному соблазну путем применения силы произвести впечатление, что ему удалось такое «разрешение», которое

по природе вещей не может быть успешным. «Единство народа» и «бесклассовое общество» – это только два из многих проявлений подавления конфликтов под видом их разрешения.

Прекращение конфликтов, которое, в противоположность подавлению и «отмене», обещает успех, поскольку оно соответствует социальной реальности, я буду называть регулированием конфликтов.

Регулирование является средством уменьшения насильственности. Конфликты не исчезают посредством их регулирования; они не обязательно становятся сразу менее интенсивными, но в такой мере, в которой их удастся регулировать, они становятся контролируемыми.

Успешное регулирование конфликтов предполагает ряд условий. Для этого нужно, чтобы конфликты, а также противоречия признавались всеми участниками как неизбежные, и более того – как оправданные и целесообразные. Тому, кто не допускает конфликтов, рассматривает их как патологические отклонения, не удастся совладать с ними. Покорного признания неизбежности конфликтов также недостаточно. Скорее необходимо осознать плодотворный, творческий принцип конфликтов. Это означает, что любое вмешательство в конфликты должно ограничиваться регулированием их проявлений и что нужно отказаться от бесполезных попыток устранения их причин. Причины конфликтов – в отличие от их предмета – устранить нельзя; поэтому при регулировании речь может идти только о том, чтобы выделять видимые формы их проявления. Это происходит вследствие того, что данные конфликты обязательно канализируются. Манифестирование конфликтов, например, организация конфликтных групп, является условием регулирования. Следующий шаг заключается в том, что участники соглашаются на известные «правила игры», в соответствии с которыми они могут быть эффективны только в случае, если они с самого начала не отдают предпочтений одному из участников в ущерб другому, ограничиваются формальными аспектами конфликта и предполагают обязательное канализирование всех противоположностей.

Форма «правил игры» является такой же многообразной, как сама действительность. Различаются требования к хорошей конституции государства, рациональному соглашению в результате тарифных переговоров, уместному уставу объединения или действительному международному соглашению. Все «правила игры» касаются способов, которыми контрагенты намереваются разрешать свои противоречия. К ним принадлежит ряд форм, которые могут применяться последовательно.

1. Переговоры, т. е. создание органа, в котором конфликтующие стороны регулярно встречаются с целью ведения переговоров по всем острым темам, связанным с конфликтом, и принятия решения установленными способами, соответствующими обстоятельствам (большинством, квалифицированным большинством, большинством с правом вето, единогласно). Однако редко бывает достаточно только этой возможности: переговоры могут остаться безрезультатными. В такой ситуации рекомендуется привлечение «третьей стороны», т. е. не участвующих в конфликте, лиц или инстанций.

2. Наиболее мягкой формой участия третьей стороны является **посредничество**, т. е. соглашение сторон от случая к случаю выслушивать посредника и рассматривать его предложения. Несмотря на кажущуюся необязательность этого образа действий, посредничество (например, Генерального секретаря ООН, федерального канцлера) часто оказывается в высшей степени эффективным инструментом.

3. Тем не менее часто необходимо сделать следующий шаг к **арбитражу**, т. е. к тому, что является третьей стороной, и в случае такого обращения исполнение ее решения является обязательным.

4. В случае если для участников обязательно как обращение к третьей стороне, так и принятие ее решения, **обязательный арбитраж** находится на границе между регулированием и подавлением конфликта. Этот метод может иногда быть необходим (для сохранения формы государственного правления, возможно, также для обеспечения мира в международной области), но при его использовании регулирование конфликтов как контроль их форм остается сомнительным.

КРИСБЕРГ Луис
(KRIESBERG Louis)
(р. 1926)

Луис Крисберг (р. 30.07.1926, Чикаго) – современный представитель теории конфликта в США и один из основоположников направления по практическому использованию данной теории в сфере урегулирования политических и социальных конфликтов.

Родился в бедной семье эмигрантов из царской России, поэтому с детства был хорошо знаком с проблемами социального неравенства и конфликтов – тематикой, которой затем Крисберг активно занимался всю профессиональную жизнь. Окончил знаменитый Чикагский университет, в котором защитил диссертацию по социологии в 1953 г. Преподавал сначала в Колумбийском университете Нью Йорка (1953–1956), затем в 1957–1958 гг. в Чикагском университете. В 1958–1962 гг. работал в национальном Центре по изучению общественного мнения. С 1962 г. профессиональная жизнь Крисберга была связана с университетом в г. Сиракузы, где он прошел путь от доцента до профессора, заведующего кафедрой социологии (1974–1977), основателя и директора (1986–1994) Программы по анализу и разрешению конфликтов Сиракузского университета, направленной на исследование конфликтов и обучение методам их конструктивного разрешения.

Крисберг награжден многими почетными наградами. Редактор и член редколлегий многих американских и зарубежных журналов.

Наряду с академической деятельностью Крисберг всегда активно занимался практикой по разрешению конфликтов: выступал с лекциями во многих странах мира и консультировал многие правительственные учреждения и неправительственные организации по проблемам разрешения конфликтов. Лично принимал участие в движениях за равноправие негров, женщин, поддерживал движение против войны во Вьетнаме. Активно сотрудничал со многими американскими и международными социологическими и политологическими ассоциациями: был президентом Общества по изучению социальных проблем, членом множества профессиональных ассоциаций. Постоянно публикует полемические статьи по проблемам конфликтов и неравенства в американской прессе.

Основные работы: «Социальные процессы в международных отношениях» (1968); «Матери в бедности: исследование семей без отцов» (1970); «Социальные конфликты» (1973, 1982); «Социальное

неравенство» (1979); «Исследования в области социальных движений, конфликтов и изменений» (редактор, 14 т., 1978–1992); «Интерактивные конфликты и их трансформация» (1989); «Регулирование деэскалацией международных конфликтов» (1991); «Разрешение международных конфликтов: случаи США–СССР и Ближнего Востока» (1992); «Конструктивный конфликт: от эскалации к разрешению» (1998, 2003).

Представленная ниже работа является статьей Л. Крисберга из книги «Руководство по обучению социологии мира, войны и социальных конфликтов» (3-е изд., Нью Йорк, 2003, с. 12–17), в которой в систематизированной форме изложены основные достижения в области исследования конфликтов и практики их разрешения. Данный текст был отобран для настоящего издания и любезно предоставлен одному из авторов-составителей Л. Крисбергом при личной встрече в сентябре 2004 г. в США. Именно этот текст наиболее полно отражает его концепцию и сущность практического подхода к разрешению конфликтов, разработанного под его руководством в рамках университетской Программы Сиракузского университета, США.

КРИСБЕРГ ЛУИС

КОНСТРУКТИВНЫЙ КОНФЛИКТ: РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ¹

Тридцать лет назад в США появился подход, способствующий конструктивному разрешению конфликтов и борьбе против них, который доныне успешно используется как в США, так и во всем мире. В различных вариантах этот подход известен как проблемно-решающее разрешение конфликтов, интегративные переговоры, или просто разрешение конфликтов. Сегодня этот подход составляет установившееся поле исследований и теоретических построений, практического обучения, а также прикладной работы. Основываясь на социологической теории, исследованиях и практике, и развивая каждую из упомянутых трех сфер, работа по разрешению конфликтов вносит огромный

¹ Kriesberg L. Constructive Conflict: Conflict Resolution in Theory and Practice // Handbook on Teaching the Sociology of Peace, War, and Social Conflicts. – New York, 2003. – P. 12–17 (в сокр.). Пер. с англ. Л. Г. Титаренко.

вклад в тематику войны и мира и социальных конфликтов вообще. В самом деле, элементы исследований по разрешению конфликтов можно плодотворно включить в курсы по этническим отношениям, социальным движениям, международным отношениям и многим другим темам. Для наилучшего понимания данного вклада статья разделена на три части: 1) основные идеи по разрешению конфликтов; 2) их практическое применение; 3) их применение в учебной сфере.

Основные идеи

Фундаментальная предпосылка этого исследовательского поля состоит в том, что социальные конфликты в целом свойственны общественной жизни; более того, они часто необходимы для осуществления желаемых изменений. Однако слишком часто конфликты заканчиваются огромными разрушениями для противоборствующих сторон. Исследователи в этой области анализируют, как можно направить широкомасштабные конфликты в творческое и конструктивное русло, чтобы привести стороны к соглашению и взаимно удовлетворительному исходу.

Анализ социальных конфликтов лежит в основе развития стратегий и техники конструктивного разрешения конфликтов. Внутригрупповые конфликты возникают, когда члены двух или более групп демонстрируют убеждение в том, что их цели несовместимы. Конфликт становится очевидным, когда в нем присутствует как минимум четыре компонента. Во-первых, каждая из сторон имеет чувство коллективной идентичности, отличное от другой стороны. Во-вторых, члены как минимум одной группы чувствуют себя ущемленными. В-третьих, члены ущемленной группы приписывают ответственность за свою обиду другой группе и формулируют цели, направленные на изменение другой группы и, таким образом, смягчение своей обиды. В-четвертых, члены ущемленной стороны считают, что они могут осуществить желаемые изменения в противнике, и предпринимают к этому попытки. В данном контексте важно указать, что характеристики каждого компонента различаются таким образом, что это выливается в конфликты, которые различаются по деструктивности-конструктивности.

Коротко отметим, как каждый компонент может поспособствовать деструктивному развитию конфликта. Члены одной группы могут считать себя обладающими свойствами, которые уникально даны Богом, в то время как они рассматривают врага в качестве демонического. Чувство обиды, испытываемое многими членами группы, может вовлекать такие вопросы, которые они считают жизненно важными; в особых случаях они могут почувствовать, что самому их существованию грозит опасность. Цели одной группы могут включать требования, которые формулируются в терминах игры с нулевым результатом, так как они желают получения выгод, которые можно приобрести только за счет другой стороны. Наконец, методы, используемые для того, чтобы получить желаемое, могут породить ненависть и жажду возмездия (это бывает в случае насилия в отношении лиц, не участвовавших в сражении).

Однако каждый из этих компонентов может обладать качествами, которые позволяют относительно конструктивно бороться с конфликтами, и методы разрешения конфликтов могут благоприятствовать подобным качествам. Так, идентичности и концепции противника могут воплощать в себе толерантность и почтительность. Обиды можно приписать обстоятельствам, созданным не единственно противником. Цели можно сформулировать только таким образом, чтобы их можно было достичь только путем сотрудничества. Наконец, методы, используемые противниками, могут рассматриваться как законные всеми сторонами и иметь значительные ненасильственные и даже непринудительные элементы. В самом деле, против конфликтов борются не только насилием; ненасильственное принуждение, убеждение и обещанные выгоды также в какой-то степени используются, особенно в способах управления конфликтами посредством разрешения проблемы. Имеет значение тот факт, что стороны конфликта всегда вовлечены во множество взаимосвязанных конфликтов; конфликты встраиваются друг на друга во времени и социальном пространстве. Как следствие, изменения в интенсивности других конфликтов влияют на первенство каждого, например, возвышение нового врага уменьшает

антагонизм по отношению к старому противнику. Изменения в направленности конфликта могут воспрепятствовать, но также и помочь нахождению удовлетворительного урегулирования в любой данной борьбе.

Конфликты имеют тенденцию проходить через последовательность стадий, но часто они регрессируют к более ранней стадии. Эти стадии включают в себя возникновение, эскалацию, ослабление и трансформацию, прекращение, а затем результат, который в свою очередь может быть прелюдией к новому конфликту. Исследователи в области разрешения конфликтов подчеркивают, что различные методы разрешения конфликтов в различной степени эффективны на разных стадиях конфликта.

Некоторые методы разрешения конфликтов направлены на предотвращение возникновения или эскалации деструктивных конфликтов. Эти методы включают смягчение лежащих в основе условий, порождающих такие конфликты, например путем уменьшения отрицания базовых потребностей одной стороны другой, поощрением толерантности и уважения к людям с другими ценностями и беспристрастным разделением всеми желаемых ресурсов. Эти методы также включают способы конструктивной борьбы с конфликтами, например, придерживаясь институционализированных методов, которые не ужесточают борьбу. Даже неинституционализированные методы можно использовать такими способами, которые сообщают готовность прийти к соглашению и не уничтожать другую группу. Множество людей, использующих или отстаивающих использование ненасильственного действия как средства борьбы, отчетливо говорят о том, как подобные действия могут передать стремление к цели и признание гуманности оппонентов, а также издержек, противникам, не отвечающим на предъявленные требования.

Другие методы разрешения конфликтов направлены на их ослабление и трансформацию. Они включают способы исследования возможностей ослабления и сообщения об интересе в трансформировании конфликта. Они также включают действия для осуществления внутренних изменений одной или обеих сторон, так чтобы существовала меньшая вероятность рассмотрения их

целей в качестве несовместимых. Наконец, некоторые методы разрешения конфликтов могут помочь уменьшить деструктивное продолжение конфликта; они включают диалоговые встречи и интерактивные проблемно-разрешающие семинары, а также официальные меры по укреплению доверия.

Большинство методов разрешения конфликтов сфокусировано на соглашении, по которому ведутся переговоры, или на разрешении определенных социальных конфликтов. Некоторые действия приводят противников к столу переговоров, например, с помощью неофициальных исследований возможной готовности вести переговоры придумыванием соответствующей повестки дня для определенных переговаривающихся партнеров и обеспечением подходящего места встречи. Посредники часто исполняют подобные услуги и таким образом вносят свой вклад в построение дороги к переговорам.

Особенное внимание в области разрешения конфликтов уделяется процессу переговоров, направленному на максимизацию взаимной выгоды. Главный подход – это основанные на интересе или проводимые под руководством переговоры. Используя этот подход, ведущие переговоры стремятся обратить конфликты с нулевым результатом в проблемы, которые они пытаются решить к взаимной выгоде. Для этого они избегают вновь и вновь отстаивать свою позицию и стремятся изучить основные интересы друг друга, придумать варианты, которые могли бы соответствовать интересам обеих сторон, и выбрать лучшие варианты в соответствии с взаимно одобренными стандартами. Можно ожидать, что соглашения, достигнутые в ходе подобных процессов, не только уменьшают обиду, но и способствуют улучшению представлений противников друг о друге. Более того, опыт использования этих методов способствует тому, что противники больше полагаются на неантагонистические пути урегулирования своих разногласий.

Посредники могут внести огромный вклад в проблемно-разрешающие переговоры. Они могут обеспечить безопасное, нейтральное социальное и/или физическое пространство для встречи сторон, ведущих переговоры; они могут передавать информацию

между противниками, которые плохо контактируют друг с другом, и они могут помочь прорваться сквозь эмоциональные барьеры, позволяя представителям каждой стороны слышать, что говорят другие. Посредники также могут предлагать варианты, давать обоснование для необходимости уступок, добавлять ресурсы, представлять интересы групп, не участвующих в переговорах, и помогать гарантировать осуществление соглашения.

Внешние акторы способствуют конструктивному управлению конфликтами еще многими другими способами, дополнительно к тому, что они могут делать в качестве посредников. Они могут ограничивать вооружение и другие элементы насилия для некоторых или всех сторон, вовлеченных в конфликт. Они могут наложить различные виды эмбарго и санкций на одну или более сторон противоборства. Вдобавок, внешние действия помогают поддерживать нормы поведения, которые регламентируют способ, которым улаживается конфликт или которым ведется борьба против конфликта; последнее становится все более актуальным в масштабах всего мира в отношении прав человека и гражданских прав.

Наконец, многие практики разрешения конфликтов становятся все более уместными при построении мира после того, как интенсивное насилие закончилось. Это особенно важно для гражданских войн и других насильственных местных конфликтов, после которых бывшие враги должны жить вместе и в относительно высокой степени взаимодействовать. В данном контексте представляется полезным конструирование общих идентичностей и развитие общих институтов для того, чтобы справляться с конфликтами. Аналогичным образом, политика, которая возмещает бывшую несправедливость и способствует текущей и будущей справедливости, также важна, но ее необходимо проводить крайне осторожно, чтобы избежать неблагоприятной реакции и подрыва других важных сфер, таких как общая безопасность. Комиссии истины, судебные разбирательства, литература, музыка и другие виды искусства и круги по внутригрупповым диалогам – это лишь некоторые из многочисленных способов, которые могут способствовать взаимному пониманию

и признанию. Многие из этих вопросов рассматриваются в текущих широко распространенных дискуссиях об усилиях по примирению.

Практическое применение

Методы конструктивного разрешения конфликтов используются широким кругом людей и групп. Они включают официальных лидеров или представителей противоборствующих сторон, поскольку в отношениях между большими, в высокой степени различающимися противниками специализированные агенты от каждой стороны обычно проводят переговоры и используют другие методы разрешения конфликтов. Вдобавок, неофициальные лица, представляющие множество различных уровней влияния и власти, также активно способствуют конструктивному ведению конфликтов, хотя играют другую роль на каждой ступени, ведущей к конструктивному разрешению конфликта. Они включают борющиеся стороны, а также посредников, которые стремятся помочь смягчить, контролировать или разрешить конфликты.

Я вкратце обозначу показательное использование проблемно-решающих стратегий и тактик разрешения конфликтов на различных стадиях конфликта. Во-первых, чтобы предотвратить возникновение и деструктивное обострение конфликта, иногда используются стратегии для уменьшения оснований обиды. Например, до того как конфликт по поводу будущего контроля над Панамским каналом обострился, президент Джимми Картер предпринял переговоры, которые привели к новому договору, подписанному в 1977 году, который передавал контроль над каналом Панаме и право США вмешиваться, чтобы обеспечить ее (Панамы) нейтральность.

Были изучены две важные стратегии для трансформации тяжелых конфликтов. Одна – это прогрессивный взаимный обмен в стратегии уменьшения (GRIT) напряжения, а другая – это стратегия «зуб за зуб» (TFT). В стратегии GRIT одна сторона односторонним образом инициирует совместные действия, оглашая их и приглашая вторую сторону к взаимности; примирительные

действия продолжают на протяжении долгого периода, даже без немедленной взаимности. В стратегии TFT одна сторона инициирует совместное действие и затем просто отвечает на действия другой стороны, независимо от того, совместное это действие или нет.

Аналитики оценили эти стратегии, рассматривая действительные ослабляющие конфликт взаимодействия. Например, А. Этциони интерпретирует ослабление американо-советского антагонизма в 1963 году как иллюстрацию стратегии GRIT. Был сделан количественный анализ, сравнивающий объяснение GRIT и TFT применительно к отношениям между США и СССР, США и КНР, и между СССР и КНР за период 1948–1989 гг. Хотя GRIT была предложена в качестве стратегии для выхода из холодной войны правительством США, советский лидер Михаил Горбачев принял эффективные законы и трансформировал отношения с США.

Посредники играли важные роли в завершении многих широкомасштабных конфликтов. Например, президент Джимми Картер сыграл решающую роль в переговорах 1978 года между Египтом и Израилем в Кемп-Дэвиде, что привело к их мирному договору 1979 года. Решающий компонент договора состоял в обмене высокоприоритетных объектов между двумя странами: возвращение Синай под египетский суверенитет и безопасность Израиля со стороны Египта путем ограничения военных сил в районах Синай, граничащих с Израилем.

Внешние акторы также вмешиваются способами, которые ускоряют трансформацию конфликтов и справедливые и продолжительные результаты. Например, вмешательство в форме экономических и других санкций значительно поспособствовало трансформации конфликта в Южной Африке. Более того, широко разделяемые нормы касательно человеческих прав благоприятствуют гуманитарному и даже военному вмешательству национальными правительствами и международными правительствами и негосударственными организациями.

Разнообразные группы использовали широкое разнообразие методов, чтобы способствовать справедливым и продолжительным мирным отношениям между противниками после того, как

их интенсивные и деструктивные конфликты завершились. Эти методы часто усиливают у бывших противников и у остальных политику, институты и паттерны поведения, которые обеспечивают возмещение за прошлую несправедливость и защиту против будущей несправедливости, что способствует личной и общественной безопасности, и которые благоприятствуют взаимному уважению и интеграции. Комиссия по истине и примирению (TRC) в Южной Африке – это важный пример одного ряда действий, который способствует достижению подобных результатов.

Применение методов разрешения конфликта в учебном процессе

Одна из наибольших ценностей включения материала из этой сферы в учебные курсы по проблемам мира и войны и множество других курсов состоит в том, что студенты могут отрабатывать искусство применения проблемно-решающего разрешения конфликтов на занятиях. Приобретение подобного мастерства помогает студентам лучше понимать, как конфликты варьируются по конструктивности и деструктивности. Более того, приобретение некоторой способности использовать это мастерство дает больше возможности студентам в их собственных межличностных отношениях, в отношениях между социальными общностями в городах и странах, и в воздействии на международные дела.

Некоторые умения по разрешению конфликтов можно изучить и апробировать в любом курсе. Эти умения включают активное слушание, мозговой штурм, переговоры, встречи по содействию и посредничество. Они изучаются в практике, в ролевой игре и других видах симуляций. Большую помощь в преподавании по данным проблемам и по симуляции разрешения конфликтов можно найти на первых двух сайтах из списка, прилагаемого ниже.

Можно также проводить тренинг для конструктивного разрешения различных широкомасштабных конфликтов. Это влечет за собой анализ конфликта, развитие возможных альтернативных сценариев и учет того, кого и что нужно заставить делать для того, чтобы осуществить предпочитаемый сценарий.

Конечно, даже умелое применение методов разрешения конфликта не гарантирует успеха в предотвращении, ограничении, трансформировании и окончательном прекращении каждого деструктивного конфликта. Тем не менее они часто могут помочь и действительно помогают избежать еще худших траекторий конфликта. Более того, противники, полагающиеся единственно на силу и запугивание в ведении конфликта, часто катастрофически проигрывают и сами бывают уничтожены.

Перевод с английского Л. Г. Титаренко

**КОЛЛИНЗ Рэндалл
(COLLINS Randall)**

(р. 1941)

Рэндалл Коллинз (р. 29.07.1941, Нексвил, Теннесси) – американский социолог, один из ведущих американских представителей современной теории конфликта. Имеет блестящее образование: получил степень бакалавра по окончании колледжа в Гарварде (1963), степень магистра психологии в Стэнфордском университете (1964), защитил докторскую диссертацию по социологии в г. Беркли, университет Калифорнии (1969). В настоящее время является почетным профессором в университете Пенсильвании в г. Филадельфия.

В теоретико-методологическом плане Коллинз испытал влияние многих известных социологов разных направлений, прежде всего Маркса, Вебера и Гоффмана, что, несомненно, сказалось на широте его профессиональных интересов.

Основные исследовательские сферы деятельности Коллинза включают, кроме теории социального конфликта, социологическую теорию и историю интеллектуальной мысли, что получило отражение в его публикациях. Коллинз – автор масштабного исследования по социологии философий и интеллектуальных изменений, переведенного на многие языки (включая русский). В области микросоциологии Коллинз глубоко и своеобразно исследовал проблемы межличностной интеракции, соединив некоторые конфликтные положения с идеями интеракционизма. Применив макросоциологический метод в исторической социологии, он дал панорамные исследования экономических и политических изменений в разных типах обществ.

Основные работы: «Социология конфликта: по направлению к объяснительной науке» (1975), «Социология философий: глобальная теория

интеллектуального изменения» (1998), «Макроистория: эссе по социологии длительных исторических процессов» (2000), «Новая экономическая социология: обстоятельства в условиях становления» (2002), «Узы ритуалов взаимодействия» (2004).

В книге «Социология конфликта» Коллинз предпринял попытку освободить теорию конфликтов от положений, почерпнутых в структурном функционализме, что было типичным для американской теории конфликта 1950–60-х годов. Он предложил первую теоретическую презентацию на создание новой, интегративной парадигмы, установив теоретические связи между микроуровнем и макроуровнем. Коллинз сформулировал эту новую парадигму в сугубо академическом стиле, избегая открытой политической полемики. В частности, он сформулировал законы, по которым развивается конфликт на микро- и макроуровне, обратив особое внимание на использование насилия в геополитических конфликтах и указав на то, что социология может причинно объяснять только классы явлений, но не отдельные случаи их проявления.

В предлагаемом фрагменте из книги «Социология конфликта» (New York: Academic Press, 1975, p. 56–66) Коллинз обрисовывает стратификационную теорию конфликта, не только обращая внимание на класс (как и Дарендорф), но и проявляя озабоченность профессиональной стратификацией в духе Дюркгейма. Выбор данного фрагмента был согласован с Р. Коллинзом в сентябре 2007 г. в США, а затем подтвержден автором во время личной встречи с ним переводчика текста в 2010 г. на XVII конгрессе Международной социологической ассоциации в Гетеборге.

КОЛЛИНЗ РЭНДАЛЛ

ОСНОВЫ ТЕОРИИ КОНФЛИКТА¹

Уровень межличностного взаимодействия учитывает всё; он высоко абстрактен. Чтобы привести его бесчисленные сложности к каузальному порядку, необходима теория на другом уровне анализа. Наиболее плодотворная традиция объяснительной теории принадлежит традиции конфликта, идущей от Макиавелли и Гоббса к Марксу и Веберу. Если абстрагировать ее главные

¹ Collins R. The Basics of Conflict Theory // Social Theory: Roots and Branches / Readings (в сокр.). P. Kivisto (ed.). – Los Angeles: Roxbury, 2000. – P. 218–225 (в сокр.). Пер. с англ. А. А. Широкаковой.

каузальные утверждения от внешних политических и философских доктрин, то они выглядят следующим образом. Макиавелли и Гоббс положили начало основному положению циничного реализма в отношении человеческого общества. Поведение индивидуумов объясняется в терминах их эгоистических интересов в материальном мире угрозы и насилия. Социальный порядок рассматривается как основанный на организованном принуждении. Существует идеологическая область доверия (религия, закон) и основополагающий мир борьбы за власть. Идеи и моральное состояние не первичны по отношению к взаимодействию, а созданы социально и служат интересам участников конфликта.

Маркс добавил более определенные детерминанты линий разделения между конфликтующими интересами и указал материальные условия, которые мобилизуют индивидуальные интересы к действию и позволяют отчетливо выразить их в идеях. Он также добавил теорию экономической эволюции, которая направляет колеса этой системы к желаемому политическому результату; но эта часть работы Маркса лежит далеко за пределами его вклада в социологию конфликта, и поэтому ей здесь не будет уделено внимания. Схематично социология Маркса утверждает следующее:

1. Исторически особые формы собственности (рабство, феодальное землевладение, капитал) поддерживаются принудительной силой государства; отсюда классы, сформированные разделением собственности (рабы и рабовладельцы, крепостные и феодалы, капиталисты и рабочие), суть противостоящие силы в борьбе за политическую власть – поддержку их средств к существованию.

2. Материальный вклад определяет степень, в которой социальные классы могут эффективно организовываться для борьбы за свои интересы; подобные условия мобилизации – это набор имеющих место между классом и политической властью переменных.

3. Другие материальные условия – средства умственного производства – определяют, какие интересы смогут четко выразить их идеи, а значит, доминировать в области идеологии.

Во всех этих сферах Маркс более всего был заинтересован в детерминантах политической власти и только косвенно – в том, что можно назвать «теорией стратификации». Те же принципы, однако, подразумевают, что:

1. Материальные обстоятельства зарабатывания на жизнь – это главная детерминанта чьего-либо стиля жизни; поскольку отношения собственности являются решающими для различия способов поддержания существования, классовые культура и поведение разделяются по противостоящим линиям контроля над собственностью или ее отсутствия.

2. Материальные условия для мобилизации в согласованную, сплоченную группу также различаются у разных социальных классов; следовательно, еще одно главное различие между классовыми стилями жизни связано с различающейся организацией их сообществ и опыта со средствами социальной коммуникации.

3. Классы дифференцируются по контролю над средствами умственного производства; это порождает еще одно различие в классовых культурах – одни из них символически выражены более отчетливо, чем другие; некоторые имеют символическую структуру другого класса, навязанную им извне.

Эти марксистские принципы, с определенными видоизменениями, обеспечивают основу стратификационной теории конфликтов. Можно сказать, что Вебер развивал эту линию анализа: добавив сложности взгляду Маркса на конфликт; показав, что условия, участвующие в мобилизации и «ментальном производстве», аналитически отделены от собственности; пересмотрев основы конфликта и добавив другой значимый набор ресурсов. Снова делая принципы более эксплицитными, чем они есть в оригинальной презентации, мы можем заключить, что Вебер показал несколько различных форм конфликта собственности, сосуществующих в одном и том же обществе, а следовательно – существование множественных классовых делений; разработал принципы организационной связи и контроля как таковые, тем самым добавив теорию организации и еще одну сферу конфликта интересов, в данном случае – внутриорганизационных

группировок; подчеркнул, что насильственное принуждение государства аналитически первично по отношению к экономике, перенося центр внимания на контроль над материальными средствами насилия.

Вебер открывает и другую область ресурсов в этой борьбе за контроль, которую можно назвать «средствами эмоционального производства». Именно они лежат в основе власти религии и делают ее важным союзником государства; они трансформируют классы в статусные группы и делают то же самое с территориальными общностями в определенных обстоятельствах (этничность); и именно они превращают «легитимность» в решающий центр усилий в борьбе за доминирование. Здесь Вебер интуитивно приходит к параллели с тем, о чем говорили Дюркгейм, Фрейд и Ницше: человек – это не только животное с сильными эмоциональными желаниями и восприимчивостью, но что особенные формы социального взаимодействия, предназначенные для того, чтобы возбуждать эмоции, работают на создание твердых убеждений и чувства солидарности внутри сообщества, конституируемое участием в этих ритуалах. Я выразил эту формулировку в намного более дюркгеймовском стиле, чем сам Вебер, так как анализ Дюркгеймом ритуалов можно привести здесь для того, чтобы показать механизмы, с помощью которых создаются эмоциональные связи. В этот процесс особенно вовлекается эмоциональное заражение, которое происходит из физического соприсутствия, фокусирования внимания на общем объекте и координации общих действий и жестов. Обращение к Дюркгейму позволяет мне ввести работы Гоффмана [Гоффман, 1959; Гоффман, 1967], которые продолжают микроуровневый анализ социальных ритуалов, уделяя особое внимание материалам и техникам постановки на сцене, что определяет эффективность обращений к эмоциональной солидарности.

Дюркгейм и Гоффман расширили наши знания о механизмах эмоционального производства, но в рамках веберовской теории конфликтов, так как Вебер сохраняет решающий акцент: создание эмоциональной солидарности не вытесняет конфликт, но яв-

ляется одним из главных средств, используемых в конфликте. Эмоциональные ритуалы можно использовать для доминирования внутри группы или организации, они являются средством формирования союзов в борьбе против других групп; их можно использовать для насаждения иерархии престижа статусов, где одни группы доминируют над другими, путем предоставления идеала для соперничества в худших условиях. Веберовская теория религии соединяет все эти аспекты доминирования через манипуляцию эмоциональной солидарностью и, таким образом, обеспечивает архетип для различных форм социальной стратификации. Разделения по кастам, этническим группам, феодальным сословиям (*Stand*), образовательно-культурным группам или классовой «респектабельности» суть формы стратифицированных солидарностей, зависящих от варьирующего распределения ресурсов эмоционального производства. Базовая динамика отражается в иерархии между ритуальными лидерами, ритуальными последователями и теми, кто не принадлежит к данному сообществу, имплицитно присутствующей в любой религии.

От аналитической версии Вебера, включающей релевантные принципы Маркса, Дюркгейма и Гоффмана, мы можем перейти к эксплицитной теории стратификации. Очевидно, что существуют бесчисленные возможные типы стратифицированных обществ; наша цель не в том, чтобы их классифицировать, но в том, чтобы установить набор каузальных принципов, которые вступают в различные эмпирические комбинации. Мы делаем акцент на основополагающих инструментах теории, какова бы ни была сложность их применения в историческом мире.

Для теории конфликтов основное понимание состоит в том, что люди – общественные, но склонные к конфликтам животные. Почему существует конфликт? Прежде всего, конфликт существует потому, что насильственное принуждение – это всегда потенциальный ресурс, причем с нулевой суммой. Оно ничего не говорит о внутренней природе побуждений к доминированию; известно лишь то, что быть принужденным – неприятный опыт, а это значит, что любое использование насилия, даже меньшинством,

вызывает конфликт в форме антагонизма по отношению к тому, кто претендует на доминирование. Добавив к этому тот факт, что принудительную силу, особенно представленную государством, можно использовать для того, чтобы приносить одним экономические блага и эмоциональное удовлетворение и отказывать в них другим, мы увидим, что возможность принуждения как ресурса распространяет конфликты на все общество. Одновременное существование эмоциональных основ солидарности, – которые вполне могут быть основой для сотрудничества, как подчеркивал Дюркгейм, – только увеличивает групповые разделения и тактические ресурсы, которые могут использоваться в этих конфликтах.

Та же самая аргументация может быть перенесена в область социальной феноменологии. Каждый индивидум максимизирует свой субъективный статус в соответствии с доступными ему и его соперникам ресурсами. Это общий принцип, который внесет смысл в разнообразие доказательств. Здесь я имею в виду, что чей-либо субъективный опыт реальности – это звено социальной мотивации; что каждый конструирует свой собственный мир; но это конструирование реальности совершается, в основном, посредством реальной или воображаемой коммуникации с другими людьми; а значит, люди контролируют идентичности друг друга. Эти утверждения не будут сюрпризом для читающих Дж. Г. Мида или Э. Гоффмана. Добавьте к этому основную идею теорий конфликта: что каждый индивид, в основном, преследует свои собственные интересы и что существует множество ситуаций, особенно тех, в которых задействована сила, где эти интересы внутренне антагонистичны. В таком случае основная аргументация имеет три аспекта: люди живут в субъективных мирах, сконструированных ими самими; другие «дергают» за большинство ниточек, контролирующих чей-то субъективный опыт; часто развязываются конфликты за этот контроль. Жизнь – это, в принципе, борьба за статус, в которой никто не может себе позволить забыть о власти тех, кто его окружает. Если мы допустим, что каждый использует все доступные ему ресурсы, чтобы заставить других помочь ему получить лучшее из возможного при данных об-

стоятельствах, мы получим руководящий принцип, с помощью которого можно извлечь смысл из мириада вариаций стратификации².

Общие принципы анализа конфликтов можно применить к любой эмпирической области. (1) Продумайте абстрактные формулировки к образцу типичных жизненных взаимодействий. Представьте себе людей как животных, ищущих преимущества, чувствительных к эмоциональным призывам, но держащих свой собственный курс по направлению к удовлетворению и подальше от неудовлетворения. (2) Поищите материальные обстоятельства, которые влияют на взаимодействие: физические положения, способы коммуникации, запасы вооружений, приспособления для достижения собственного публичного впечатления (*impression*), инструменты и товары. Оцените относительные ресурсы, доступные каждому индивидууму: их потенциал физического принуждения, их доступ к другим людям для переговоров, их сексуальную привлекательность, их запас культурных приспособлений для пробуждения эмоциональной солидарности, а также только что перечисленные физические обстоятельства. (3) Примените общую гипотезу о том, что из неравенства в ресурсах имеет результатом то, что доминирующая сторона стремится использовать ситуацию в свою пользу; здесь обязателен не сознательный расчет, а основное предрасположение к тому, чтобы почувствовать свой путь к областям наибольшего вознаграждения,

² Утверждение, что индивидуумы *максимизируют* свой субъективный статус, противоречит организационному принципу Марча и Саймона, который заключается в том, что люди управляются *удовлетворением* – устанавливая минимальные уровни отплаты в каждой из рассматриваемых областей и затем улаживая конфликт там, где возникают кризисы. Противоречие лишь видимое. Удовлетворение отсылает к стратегии обращения с когнитивной проблемой, производимой внутренними границами человеческой способности обработки информации. Принцип максимизации субъективного статуса – это *мотивационный* принцип, говорящий нам, каковы цели поведения. Любой анализ когнитивных стратегий неполон без нескольких мотивационных принципов, чтобы сказать нам, каковы цели действия и каким из рассматриваемых областей придается наибольшее значение. Другими словами, одно дело – предсказывать, какие цели кто-то будет преследовать, и другое – предсказывать, какие стратегии он будет использовать в их преследовании, с учетом невозможности взглянуть очень далеко в будущее или иметь дело с огромным количеством вещей одновременно.

как у цветов, тянущихся к свету. Социальные структуры должно объяснять на основе поведения, следующего из различного размещения ресурсов, социальных изменений, следующих от перестановок в ресурсах в результате предыдущих конфликтов. (4) Подобным же образом идеалы и убеждения должно объяснять на основе интересов, обладающих достаточными ресурсами, чтобы сделать свою точку зрения преобладающей. (5) Сравните эмпирические случаи; проверьте гипотезы, определив условия, при которых происходят или не происходят определенные факты. Думайте каузально, ищите обобщений. Будьте готовы умножать причины – ресурсы конфликта сложны.

Эти принципы нигде не могут служить лучшим примером, чем в анализе стратификации. Необходимо разделять многочисленные сферы социального взаимодействия и многочисленные причины в каждой из них, особенно в современных обществах. Эти влияния можно редуцировать, чтобы упорядочить их по принципам теории конфликтов. Можно сделать неплохое предсказание о том, какого рода статусное укрытие каждый индивид конструирует вокруг себя, если известно, каким образом он зарабатывает на жизнь; как он обходится со своими домочадцами; как он относится к членам более крупного сообщества, особенно в разрезе его политических структур; и способы, которыми он общается с друзьями и компаньонами по отдыху. Все традиционные переменные исследования отражены в этом списке: род занятий, профессия родителей, образование, этничность, возраст и пол – это латентные критерии, по которым структурируются связи на работе, дома, в обществе и группах отдыха. В каждой сфере мы ищем фактически существующие модели личного взаимодействия, ресурсы, доступные людям различного положения, и то, каким образом они влияют на линию нападения, которую они принимают для продвижения своего собственного статуса. Таким образом, идеалы и убеждения у людей различного положения возникают как персональные идеологии, расширяя их доминирование или зависимое положение в качестве психологической защиты.

Я начну с профессиональной ситуации занятости как наиболее влиятельной из всех стратификационных переменных. Она

анализируется далее в нескольких каузальных измерениях, разработанных как модифицированные версии Маркса, Вебера и Дюркгейма. Иные стратификационные среды расцениваются с точки зрения других ресурсов для организации социальных общностей; здесь мы находим параллельное применение принципов конфликта, а также взаимодействия с профессиональной сферой. Сумма этих стратифицированных сфер создает конкретное социальное положение любого индивида.

Влияние профессии на классовую культуру

Профессиональная занятость – это способ, которым люди поддерживают свое существование. Этим определяется фундаментальная важность профессий. Но профессиональная занятость создает различия между людьми не только по причине того, что работа необходима для выживания, но и потому, что люди относятся друг к другу по-разному в этой неизбежной области жизни. Профессия – это главная основа классовых культур; в свою очередь, эти культуры, вместе с материальными ресурсами связи, образуют механизмы, которые организуют классы как сообщества, т. е. как своего рода статус-группы. Первый процесс рассматривается здесь, а второй – далее в этой главе. Сложность системы классовых культур зависит от того, как много измерений различия мы можем зафиксировать среди профессий. В порядке значимости это отношения доминирования, место в сети коммуникации, а также некоторые дополнительные переменные, включая физическую природу работы и количество богатства, которое она производит.

Отношения доминирования

Несомненно, самое существенное различие между ситуациями в области работы – это существующие отношения власти (способы, которыми люди отдают или принимают приказы). Профессиональные классы – это, по существу, классы власти в сфере работы. Утверждая это, я принимаю модификацию Маркса, сделанную Р. Дарендорфом [Dahrendorf, 1955]. Маркс рассматривал собственность, по преимуществу, как отношения власти. Разграничительная линия между теми, кто обладает собственностью,

или не обладает ею, отмечала коренные разломы в классовой структуре; смена различных видов собственности – рабов, земли, промышленного капитала – создавала различие между историческими эпохами. Но, хотя классовое разделение по собственности может быть самым острым социальным разграничением в определенные периоды, двадцатый век показал, что другие типы власти могут быть в равной степени важными. В капиталистических обществах получающий зарплату управленец остался социально отделенным от работника ручного труда, хотя строгая марксистская интерпретация поместила их обоих в рабочий класс. В социалистических странах, где условные классы, выделяемые на основе собственности, не существуют, возникают те же самые виды социального разделения и конфликты интересов между различными уровнями профессиональной иерархии. Как отмечает Дарендорф, Маркс принял исторически ограниченную форму власти за отношения власти вообще; его теория классовых разделений и классового конфликта может быть полезной для более широкого круга ситуаций, если мы отыщем для нее более абстрактную форму³.

³ Я не хочу сказать этим, что позиция Дарендорфа полностью удовлетворительна. Власть, организованная как собственность, и власть, организованная в правительстве или корпоративной структуре, не вполне эквивалентны. Люди, чья сила зависит от одной из этих форм, склонны с преданностью ее поддерживать. Политические различия между капиталистами и социалистами остаются, хотя элиты обеих систем могут иметь схожее мироощущение, подобное тому, как владельцы земельной и промышленной собственности вступали в отчаянные схватки по поводу того, чья организационная форма должна доминировать. Формулировка Дарендорфа – продукт либерализма времен «холодной войны»; он призывал к уменьшению международной вражды, фокусируя внимание на тех вещах, которые можно принять в качестве структурной конвергенции между всеми современными обществами.

Отбросив все идеологические соображения, полезно сохранить оба уровня анализа. Различия в положении власти, в любом виде организаций, суть наиболее фундаментальные детерминанты человеческого мировоззрения, а значит, и того, где сформируются группы солидарности. В рамках общего уровня власти различия в организационной основе власти – будь это различные формы экономической собственности или правительственной организации – имеют результатом различные политические и идеологические обязательства. Все власть имущие напоминают друг друга в принципе, но особенный источник власти способствует некоторым особым различиям в политической культуре и создает определенные политические фракции.

М. Вебер определил власть как возможность гарантировать подчинение вопреки чьей-то воле сделать по-другому. Это не единственное возможное использование слова «власть» (power), но оно самое полезное, если мы ищем способы объяснить человеческие мироощущения. Существует власть наподобие той, которой обладает инженер над неодушевленными объектами; существует власть наподобие той, которую имеет ученый над идеями и словами; существует власть проектирующего влиять на последующие события. Но поскольку люди, взаимодействующие с людьми – это целостный наблюдаемый референт «социальной каузальности», социальная власть, которая непосредственно будет влиять на чье-то поведение, – это власть человека, отдающего другому человеку приказы. Она влияет на поведение того, кто отдает приказы, поскольку он должен принимать на себя определенную манеру держаться, обдумывать определенные мысли и произносить определенные формулы. Она влияет на человека, который должен выслушивать приказы, хотя он может и не принимать их все или не исполнять их, однако он принимает, по меньшей мере, одну вещь: смириться с тем, что он стоит перед кем-то, кто отдает ему приказы, и с тем, что нужно почтительно к нему относиться хотя бы в данный момент. Одно животное путем запугивания заставляет другое пасть к своим ногам – это архетипическая ситуация организационной жизни и схема формирования классов и культур.

Ситуации, в которых проявляется авторитет, – это ключевые моменты опыта профессиональной жизни. Поскольку нельзя не иметь какого-то занятия, или избежать того, что тот, кто о тебе заботится, чем-то занимается, постольку эта ситуация влияет на всех. На этой основе можно различить три класса: тех, кто получает приказы от немногих или ни от кого, но отдает приказы многим; тех, кто должен подчиняться другим людям, но и сам может командовать другими; и тех, кто только получает приказы. Этому измерению соответствует несложный континуум от высшего класса к среднему и рабочему. Это особенно ясно, если мы обратим внимание, как обычно обозначается разрыв между средним и рабочим классами: не столько на основе чистоты

работы или получаемого дохода; определенно, не на основе разделения по собственности; но на основе положения каждого в ситуации, когда отдаются приказы.

Верхние и нижние слои среднего класса соответствуют отнесенному местоположению в пределах средней группы, основанному на отношении отдающих приказы к их получающим. Низший класс можно отличить от рабочего класса как маргинальную группу, которая работает только от случая к случаю и на самой черной работе. Фермеры и фермерские работники могут вписаться в эту категоризацию на множестве уровней среднего и рабочего классов. Процветающие фермеры подобны другим бизнесменам; фермеры-арендаторы и работники сходны с городским рабочим классом, с различиями, которые можно приписать скорее различающейся структуре сообщества, чем условиям занятости как таковым. Ситуация власти также сходна, если понимать, что люди, которые отдают приказы, не обязательно принадлежат к одной организации и что необязательно быть наемным служащим, чтобы подчиняться; хозяин небольшой фермы или бизнесмен встречает банкира с лицом, очень похожим на лицо мастера цеха, когда тот встречает своего начальника. Конечно, есть и несколько различий. Во-первых, я хочу показать, что наиболее влиятельный эффект на поведение человека имеет чисто профессиональное уважение, которое кто-то оказывает и получает. Затем я покажу, каким образом различные типы ситуаций на одном и том же классовом уровне могут вносить вариации в данную модель.

Пересмотр Маркса Дарендорфом пересекается здесь с веберовским акцентом на властных отношениях. Отметим, что эта формулировка переносит нас также во вселенную дюркгеймовской социологии, по крайней мере в ее гоффмановском варианте. Если успешное применение власти – это вопрос личного умения вести себя (где санкции подразумеваются, но не являются вынужденными), гоффмановский анализ ритуальной драматизации статуса предоставляет нам детальные данные об этом механизме. В известном смысле апокрифический веберовский принцип «средств эмоционального производства» не только применим

в области формирования сообществ, но также лежит в основе профессиональных отношений. А значит, происходит то, что веберовское историческое обобщение религиозных склонностей различных классов воплощает более поздние данные о классовых культурах.

Сети профессиональной коммуникации

Другое измерение профессиональных культур происходит из объема и разнообразия личных контактов. Политик должен видеть разнообразные аудитории, а король – получать почитание толп, в то время как фермер-арендатор и слуга редко видят кого-либо со стороны, а рабочий постоянно имеет дело лишь с несколькими людьми, за исключением своего босса и мало изменяющегося круга друзей и семьи. Большой космополитизм высших профессиональных слоев – один из ключей к их мироощущению. Космополитизм вообще коррелирует с властью, потому что власть – это, главным образом, способность поддерживать отношения с достаточно большим количеством людей таким образом, чтобы заставить других прийти к себе на помощь, с кем бы ты ни был в данный момент. Но коммуникации – это отдельная переменная, как мы можем видеть в случае профессий, которые имеют больше контактов, чем власти (например, продавца, конференсье, интеллигенции и вообще профессионалов). Эта переменная объясняет горизонтальные вариации внутри классов и их сложную внутреннюю иерархию (например, в рамках профессии или в интеллектуальном мире), которая стратифицирует целые секторы за пределами реальной власти этих классов отдавать приказы.

Это измерение имеет свое классическое теоретическое прошлое. Марксов [Маркс, 1852] принцип классовой мобилизации путем дифференцированного контроля над транспортом и коммуникациями применяется не только к политике, но и к дифференциации самих классовых культур. Веберовское расширение этого принципа до внутренней структуры организаций усиливает это положение, так как организационные данные не только документируют коренные различия в мироощущении и власти,

происходящие из контроля над информацией и коммуникациями, но и обеспечивают взгляд под другим углом на *эмпирически* тот же самый феномен профессиональной стратификации. Дюркгеймовская модель ритуальных взаимодействий и их влияния на «коллективные представления» предоставляет более точную характеристику задействованных механизмов. В книге «О разделении общественного труда» Дюркгейм показывает, что сущность общественных убеждений, и особенно давления с целью подчинения группе и уважения к символам, варьирует с интенсивностью и разнообразием социальных контактов. В «Элементарных формах религиозной жизни» Дюркгейм рассматривает механизмы, действующие на конце этого континуума с высокой интенсивностью, и показывает, что высоко овеществленная концепция коллективных символов и ревностная преданность непосредственной группе производятся церемониальными взаимодействиями в группе с неизменными свойствами, в ситуации тесной физической близости и высоко концентрированного внимания. Абстрагируясь, мы можем увидеть, что не только целые исторические эпохи, но и отдельные профессиональные среды варьируют по отношению к этим измерениям, а значит, производят различные виды культурных объектов и личной преданности. Веберовское различие между бюрократическими и патримониальными культурами схватывает это измерение с его разными центрами преданности и этическими стандартами; бюрократический и предпринимательский секторы современного профессионального мира представляют эти вариации через измерение классовой власти⁴.

⁴ Патримониальная организация, наиболее характерная для традиционных обществ, сосредоточивается вокруг семьи, патронов и их клиентов и других личных сетей. Особое внимание уделяется традиционным ритуалам, что демонстрирует эмоциональные связи между людьми; мир разделен на тех, кому можно верить из-за строго узаконенных личных связей, и на всех остальных, от которых нечего ждать того, чего нельзя добиться хладнокровной торговлей или силой. В современной бюрократической организации личные связи, наоборот, слабее, менее рутинизированы и эмоционально демонстративны; на их месте – преданность набору абстрактных правил и положений. Различные классовые культуры в патримониальных и бюрократических организациях соответствующие

Богатство и физические потребности

Кроме основных переменных власти и сетей коммуникации существуют дополнительные профессиональные различия, которые вносят свой вклад в объяснение классовых культур, а значит, и в их потенциальное разнообразие. Одно из них – произведенное богатство, а другое – это физические потребности. Настаивать на значении денег как основного различия между социальными классами – это, конечно, вульгарный марксизм. Именно организационные формы власти производят доход, имеющий решающее значение в определении основных различий мировоззрения. Но деньги важны как одна из имеющих место связей между профессиональным положением и многими аспектами стиля жизни, которые разделяют классы; как таковые, деньги могут иметь и независимые эффекты. Доход не всегда пропорционален власти. Некоторые люди получают меньше или больше, чем другие на том же уровне власти. Власть положения и власть

подвержены влиянию. Патримониальные элиты более церемониальны и персоналистичны. Бюрократические элиты подчеркивают холодный набор идеалов.

Противоположность не только историческая. В современных обществах есть много элементов бюрократии, особенно в Китае; в Европе бюрократия постепенно устанавливается внутри аристократии, особенно во Франции и Германии, около семнадцатого века. Патримониальные формы организации существуют также и в современных обществах, бок о бок и внутри бюрократии. Они хорошо заметны в антрепренерском секторе современного бизнеса, особенно в таких непостоянных сферах, как развлечение, строительство, недвижимость, спекулятивные финансы и организованная преступность, а также в политике сложной федеративной правительственной системы, как в Соединенных Штатах. Вебер в «Протестантской этике» [Вебер, 1904–1905] уловил контраст между двумя способами ведения дел, когда отметил два вида бизнес-этноса на протяжении истории. Один существует во всех крупных обществах: он подчеркивает обман, ловкость и спекуляцию, которые имеют целью получить наибольшую возможную мгновенную прибыль. Другая форма – это рационалистический, аскетический капитализм, который подходит к бизнесу методично и рутинизированно. Работа и производство – это цели в себе, скорее, образ жизни, чем средство быстро разбогатеть. Согласно знаменитой веберовской теории, капитализм развился в Европе именно потому, что бизнес управлялся не только антрепренерской этикой, как в древних и восточных обществах, но и порядочного размера группой, удерживающей аскетическую деловую этику. Конечно, антрепренерский тип не исчезает, как только устанавливается современная экономика. Он выживает, чтобы снимать сливки с системы, которой он не смог создать.

денег могут быть отдельными путями обеспечения контроля над другими, а значит, они имеют альтернативное или дополнительное влияние на чье-либо мировоззрение. Более того, доход можно сохранить, накопить или передать по наследству, так что этот аспект власти можно передать – и, таким образом, сохранить сопутствующую ей культуру, – когда ее организационной основы больше нет.

С физической стороны, одна работа требует больших усилий, чем другая; некоторые работы являются более грязными или более опасными. Эти аспекты, в основном, коррелируют с властью, поскольку ее можно использовать, чтобы заставлять других делать более тяжелую и неприятную работу. Но физические потребности оказывают влияние на стиль жизни, делая низшие классы в большей степени прикованными к лишениям и грязи и позволяя более высоким классам быть изнеженными и избалованными. Физические потребности также варьируют независимо от классовой власти и помогают объяснить различия между более военизированными и более пацифистскими эпохами и родами занятий, а также между сельской и городской средами...

Литература

Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. М.: Ист-Вью, 2002 [1904–1905].

Гоффман Э. Представление себя другим в повседневной жизни. М.: КАНОН-ПРЕСС, 2000 [1959].

Гоффман Э. Ритуал взаимодействия: очерки поведения лицом к лицу. М.: Смысл, 2009 [1967].

Маркс К., Энгельс Ф. Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. Соч. 2-е изд. Т. 16, 1852

Dahrendorf R. Soziale Klassen und Klassenkonflikt in der industriellen Gesellschaft. Stuttgart: Enke, 1959 [1955].

Перевод с английского А. А. Широкановой

ВАЛЛЕРСТАЙН Иммануил Морис
(WALLERSTEIN Immanuel Maurice)

(р. 1930)

Иммануил Морис Валлерстайн (р. 28.09.1930, Нью-Йорк) – американский историк экономики, один из основателей миро-системного подхода; президент Международной социологической ассоциации (1994–1998); директор Центра изучения экономики, исторических систем и цивилизации им. Ф. Броделя. Учился в Колумбийском университете, где получил степени бакалавра гуманитарных наук (1951), магистра (1954), доктора (1959). С 1958 по 1971 год преподавал на факультете социологии Колумбийского университета; с 1971 по 1976 год занимал пост профессора социологии в университете МакГилл (Монреаль); с 1976 по 1999 год – почетный профессор социологии в университете Бингэмптона, штат Нью-Йорк, США. С 2000 г. по настоящее время – ведущий исследователь в Йельском университете. Автор более 30 книг и 200 статей.

Проблематика трудов Валлерстайна охватывает теорию и методологию миро-системного анализа, глобальные экономические, политические, культурные и идеологические явления современного мира, анализ региональных процессов и отдельных стран. Согласно варианту миро-системного подхода, предложенному Валлерстайном, единственной социальной реальностью являются «социальные системы», подразделяемые на мини-системы (относительно небольшие автономные единицы с четким внутренним разделением труда и единой культурой, расцвет которых пришелся на эпоху охоты и собирательства) и миры-системы (социальные системы, имеющие границы, структуру, правила легитимации и согласованность, самодостаточные). Основное внимание уделяется Валлерстайном мирам-системам, которые подразделяются им на миры-империи и миры-экономики; основой подобного

деления выступают различные способы производства. Наиболее устойчивыми, по Валлерстайну, являются миры-империи, в которых экономика находится под диктатом политической власти. Наряду с ними возникают миры-экономики, где нет социальных ограничений для развития производства, что становится возможным при освобождении экономики из-под диктата политики вследствие победы капиталистического способа производства. Основным научным интерес Валлерстайна обращен к капиталистическому миру-экономике (КМЭ), единственному из миров, который не только выжил, но и победил остальные социальные системы, «втянув» их в себя. Составными частями КМЭ являются ядро, полупериферия и периферия. Слабое развитие периферии (или стран «третьего» мира) является результатом их эксплуатации странами растущего капитализма (зона центра) через разделение труда, извлечение прибавочного продукта и создание рынка для распространения товаров технологически развитых стран. Полупериферия (например, Россия) занимает промежуточное положение. Предложенная Валлерстайном методология оказалась весьма плодотворной при исследовании проблем КМЭ. Работы Валлерстайна последнего времени посвящены осмыслению траекторий развития общества, ведущих в будущее. Одна из центральных мыслей по поводу характера подобного развития – убеждение Валлерстайна в том, что оно не будет бесконфликтным, напротив, следует ожидать революционных потрясений.

Основные работы: «Капиталистическая миро-экономика» (1979), «Миро-системный анализ: Теория и методология» (1982), «Динамика глобального кризиса» (1982), «Исторический капитализм» (1983), «Политика миро-экономики: Государства, движения и цивилизации» (1984), «Трансформация революции: Социальные движения и мир-система» (1990), «Ограничения парадигм XIX столетия» (1991), «Конец знакомого мира: Социология XXI века» (1999) и др.

Предлагаемый текст содержит размышления И. Валлерстайна о том, что эпоха модернити может ослабить рациональность, лежащую в основе социального прогресса.

**ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО:
ИСЧЕЗАЮЩИЕ ОСНОВАНИЯ РАЦИОНАЛЬНОСТИ¹**

Исчезающие основания рациональности

Дело не только в том, что интеллектуалы превратили политику в рациональность, но и в том, что, утверждая таким образом достоинства рациональности, они выражали свой оптимизм и подпитывали оптимизм в других. Согласно их кредо, по мере приближения к правильному пониманию реального мира формируются условия для лучшего управления реальным обществом, а следовательно, для более полного раскрытия человеческого потенциала. Общественные науки как способ упорядочения знаний не только основывались на этой вере, но и полагали себя наилучшим методом осуществления рациональных исканий.

Так было не всегда. Некогда социальная мысль находилась под влиянием всепроникающего пессимизма. Общество считалось несправедливым и несовершенным, и ему, как предполагалось, суждено было навеки таким оставаться. Мрачное представление св. Августина, что на всех нас лежит несмываемое клеймо первородного греха, господствовало на протяжении большей части истории христианской Европы. По сравнению с другими подходами это была, несомненно, исключительно суровая хронософия. Но и другие воззрения, более близкие к идеям стоиков, и даже к традиции, идущей от Дионисия, не гарантировали безоблачного будущего. Буддистское искание нирваны представлялось долгим и трудным путем, пройти которым могли столь же немногие, как и обрести святость в христианстве.

То, что современный мир торжествовал, упиваясь «модернистским» мировоззрением (*Weltanschauung*) так долго, обусловлено тем, что он провозгласил хронософию, обращенную к реальности, универсальную и оптимистичную. Общество, каким бы несовершенным оно ни было, можно сделать лучше, причем лучше

¹ *Валлерстайн И.* Конец знакомого мира: Социология XXI века / Пер. с англ. под ред. В. Л. Иноземцева. – М.: Логос, 2004. – С. 187–201, 209–211 (в сокр).

для каждого. Вера в возможность улучшения общества служила краеугольным камнем эпохи модернити. При этом, что следует подчеркнуть, не утверждалось, будто люди непременно станут более нравственными. Индивидуальное преодоление греховности, на что издавна были направлены религиозные искания, оставалось во власти Божьего суда (и Божьей милости). Его признание и вознаграждение за него относились к потустороннему миру. Мир модернити, напротив, был предельно реальным. Любые обещания должны выполняться здесь и сейчас или, по меньшей мере, в ближайшем будущем. Ориентиры этого мира были однозначно материалистичны, поскольку обещался экономический прогресс – в конечном счете опять-таки для каждого. Его перспективы в нематериальной сфере, воплощенные в понятии свободы, в итоге также могли быть сведены к материальным выгодам, а те из предполагаемых свобод, которые к ним не сводились, обычно отвергались как ложные.

Наконец, следует отметить, сколь коллективистскими были идеалы модернити. Философы и обществоведы этой эпохи столь убежденно рассуждают о центральной роли индивида в современном мире, что мы теряем из виду, в какой степени этот мир сформировал первую в истории поистине коллективистскую геокультуру, первое в истории эгалитаристское мировосприятие. Обещалось, что наша историческая система достигнет однажды такого социального порядка, когда каждый обретет должную, а следовательно, относительно равную долю материальных благ, когда никто не будет иметь привилегий. Разумеется, я говорю лишь об устремлениях, а не о реалиях. Но ни один философ в средневековой Европе, в Китае времен династии Тан даже не предполагал, что однажды все люди могут стать материально обеспеченными, а привилегии навсегда исчезнут. Все прежние философские учения считали иерархию неизбежной и в силу этого отвергали возможность «земного» коллективизма.

Поэтому, если мы хотим постичь сегодняшние дилеммы нашей исторической системы – капиталистического миро-хозяйства – и разобраться, почему концепция рациональности уже не наполняет нас прежним энтузиазмом, нам следует начать, как

я полагаю, с осознания той степени, в какой эпоха модернити основывалась на материалистических и коллективистских посылках. В силу ее глубокой внутренней противоречивости сделать это непросто. Главной движущей силой капиталистической экономики было бесконечное накопление капитала. Основанное на изъятии прибавочной стоимости у одних людей и перераспределении ее в пользу других, оно несовместимо с материалистическими и коллективистскими идеалами. Капитализм материальный вознаграждает лишь некоторых и потому никогда не обещает успеха всем.

Как обществоведам, нам известно, что один из самых плодотворных подходов к анализу социальной реальности заключается в том, чтобы сосредоточить внимание на центральном противоречии и попытаться объяснить как его причины, так и следствия. Именно это я и предлагаю сделать. Я остановлюсь на том, почему идеологи эпохи модернити давали своим согражданам невыполнимые обещания, почему этим обещаниям долгое время верили, почему им не верят сегодня и каковы последствия этого разочарования. И наконец, я попытаюсь оценить значение всего этого для нас как обществоведов, прокламирующих (пусть даже и не всегда практикующих) принципы рационализма.

Модернити и рациональность

В обществоведении связь между подъемом капиталистической миро-системы и развитием науки и технологий выглядит очевидной. Но почему эти процессы связаны исторически? На этот вопрос Маркс и Вебер (как и многие другие) отвечали, что капиталистам приходилось действовать «рационально», если они стремились достичь своей основной цели – максимизации прибыли. Коль скоро капиталисты направляют всю энергию на достижение именно этой цели, они будут делать все от них зависящее для снижения издержек производства и выпуска пользующейся спросом продукции, а это предполагает применение рациональных методов не только к самому процессу производства, но и к управлению им. Поэтому они считают любые технологические достижения исключительно полезными и делают все возможное,

чтобы способствовать развитию науки, стоящей за этими достижениями.

Все это так, но, на мой взгляд, не вполне объясняет сути дела. Можно предположить, что люди, стремившиеся к получению прибыли, как и люди, способные двигать вперед науку, имелись, приблизительно в одинаковых пропорциях, во всех основных цивилизационных центрах, причем на протяжении тысячелетий. Джозеф Нидхэм в своей фундаментальной работе «Наука и цивилизация в Китае» показывает масштаб научных проектов, предпринимавшихся китайской цивилизацией; и мы хорошо знаем, насколько интенсивной и коммерциализированной была экономическая жизнь Китая.

Мы снова приходим к классическому вопросу: «Почему же Запад?». Я не предлагаю обсуждать его в очередной раз. Многие обращались к нему ранее, и я в том числе. Хотел бы просто отметить очевидное для меня фундаментальное отличие, которое заключается в том, что в современной миро-системе технологический прогресс приносил очевидные выгоды, определившие отношение к нему не только предпринимателей, имевших вполне понятные причины поощрять изобретателей и новаторов, но и политических лидеров, мотивы которых всегда были более сложными и периодически проявлявшаяся враждебность которых к технологическому прогрессу становилась в разных странах и в разные эпохи основным препятствием на пути научных революций, подобных начавшейся в Западной Европе в XVII столетии.

Из этого я делаю четкий вывод: именно капитализм стал основой технологического развития, а не наоборот. Это очень важно, поскольку именно здесь лежит ключ к пониманию властных отношений. Современная наука представляет собой порождение капитализма и зависима от него. Ученые получали одобрение и поддержку со стороны общества, ибо предлагали проекты конкретных улучшений реального мира – замечательные механизмы, которые позволяли увеличить производительность, преодолеть ограничения времени и пространства, обеспечить каждому человеку лучшие условия жизни. Наука работала.

Вокруг этой научной деятельности сложилось целое мировоззрение. Утверждалось, что ученые лишены и должны быть лишены собственного интереса. Утверждалось, что ученые привержены и должны быть привержены «эмпирическому» подходу. Утверждалось, что ученые посвящают и должны посвящать себя поискам «абсолютной» истины. Утверждалось, что ученые стремятся и должны стремиться к поискам «простоты». Их задачу видели в анализе сложных явлений и нахождении простых и даже простейших законов, управляющих этими явлениями. И наконец, – что, может быть, наиболее важно – утверждалось, что ученые выявляют и должны выявлять непосредственные причины явлений, а не их первопричины. Более того, эти представления и требования казались неотделимыми друг от друга, и их следовало воспринимать как нечто единое.

Идеалы науки, в той мере, в какой они претендовали на то, чтобы всеобъемлющим и достоверным образом представлять деятельность ученых, были, конечно, окутаны мифами. В своей блестящей работе «Социальная история истины» Стивен Шейпин показал центральную роль, которую играли общественный престиж и авторитет, не связанные с научной деятельностью, в определении научной состоятельности и статуса членов Лондонского Королевского общества в XVII веке. То была, как он отмечает, состоятельность джентльменов, основывавшаяся на цельности личности, на доверии, чести и чувстве гражданского долга. И все же наука, эмпирическая наука, особенно ньютоновская механика, казавшаяся ее воплощением, стала той моделью, к которой неизбежно стали обращаться обществоведы, моделью, которую они впоследствии стремились копировать. А тот джентльменский дух науки, на котором неизменно настаивал мир модернити, был единственным возможным выражением рациональности, и это надолго стало лейтмотивом всего интеллектуального класса.

Но что означает рациональность? Обширная дискуссия на эту тему хорошо знакома любому социологу. Она отражена в работе Макса Вебера «Хозяйство и общество». Вебер приводит две пары определений рациональности. Первая обнаруживается

в его типологии четырех видов социального действия. Два из этих видов признаются автором рациональными – «целерациональный» (zweckrational) и «ценностно-рациональный» (wertrational). Вторая пара встречается в его оценках экономической активности, где он отмечает «формальную» и «сущностную» рациональность. Эти две антиномии почти идентичны, хотя и не вполне; по крайней мере, как мне кажется, не во всех своих значениях.

Позвольте мне для прояснения вопроса привести довольно большой отрывок из Вебера. В его концепции целерациональное социальное действие – это действие, в основе которого лежит ожидание определенного поведения предметов внешнего мира и других людей; эти ожидания используются в качестве «условий» или «средств» для достижения активным субъектом своих рационально поставленных и продуманных целей. Ценностно-рациональное социальное действие определяется им как действие, основанное на вере в самодовлеющую ценность неких этических, эстетических, религиозных или других форм поведения, независимо от той степени, в какой они способны обеспечивать успех.

Далее Вебер поясняет эти определения на конкретных примерах.

Примером чисто ценностно-рациональной ориентации могут послужить действия людей, которые, невзирая на возможный для себя ущерб, претворяют в жизнь свои убеждения о долге, достоинстве, красоте, религиозных предначертаниях, благочестии или важности некоего «предмета» любого рода. В рамках нашей терминологии ценностно-рациональное действие всегда подчинено «заповедям» или «требованиям», в повиновении которым видит свой долг данный индивид. Лишь в той мере, в какой человеческое действие ориентировано на выполнение таких безусловных требований, можно говорить о ценностно-рациональном действии. Такое встречается в различной, большей частью весьма незначительной степени. Тем не менее из дальнейшего изложения станет ясно, что значение такого типа социального действия настолько серьезно, что позволяет его выделить в особый тип действия, хотя здесь и не делается попытка дать исчер-

пывающую в каком-либо смысле классификацию типов человеческого действия.

Действие является целерациональным (zweckrational) в том случае, если цель, средства и побочные результаты рационально взвешиваются и просчитываются. Это включает в себя рассмотрение альтернативных средств достижения цели, связей между целью и побочными последствиями и, наконец, отношения различных возможных целей друг к другу. Таким образом, в данном случае действие не аффективно и не традиционно. Выбор между конкурирующими и сталкивающимися целями и следствиями может быть ориентирован ценностно-рационально. В таком случае поведение целерационально только по своим средствам. С другой стороны, индивид, вместо того чтобы руководствоваться рациональной ориентацией на систему ценностей, может включить конкурирующие и сталкивающиеся цели просто как данные субъективные потребности в шкалу по степени их сознательно взвешенной необходимости. Впоследствии он может ориентировать свое поведение таким образом, чтобы эти потребности по возможности удовлетворялись в установленном порядке, по принципу «предельной полезности». Ценностно-рациональная ориентация может, следовательно, находиться в различных отношениях с целерациональной ориентацией. С целерациональной точки зрения ценностная рациональность всегда иррациональна. Действительно, чем больше абсолютизируется ценность, на которую ориентируется поведение, тем более «иррационально» в этом смысле само поведение. Ибо чем безусловнее для индивида самодовлеющая ценность поведения (чистота убеждения, красота, абсолютное добро или выполнение своего долга), тем в меньшей степени он принимает во внимание последствия совершаемых действий. Впрочем, абсолютная целерациональность действия, игнорирующая фундаментальные ценности, рассматривается лишь как предельный случай.

Обратимся теперь к другой веберовской трактовке, которую я также хотел бы воспроизвести.

«Формальная экономическая рациональность» определяется мерой технически возможного для хозяйства и действительно

применяемого расчета. Напротив, «сущностная рациональность» характеризуется степенью, в какой обеспечение определенной группы людей жизненными благами достигается посредством экономически ориентированного социального действия, учитывающего (в прошлом, настоящем или потенциально) определенные ценностные постулаты независимо от природы этих ценностей. А они могут быть весьма разнообразны.

1. Данная терминология должна служить лишь выработке более ясного понимания слова «рациональное». Она представляет собой всего лишь более последовательное определение понятий, постоянно используемых в дискуссии о «рациональности» и экономических расчетах, в которых фигурируют деньги и товары.

2. Система хозяйственной деятельности может быть названа «формально» рациональной в той степени, в какой удовлетворение потребностей – основная цель рациональной экономики – может быть выражено и выражается количественно. Техника расчетов и, в частности, то, ведутся ли они в денежной или натуральной форме, выглядит непринципиальной. Данное понятие формальной рациональности является, таким образом, точным, по крайней мере в том смысле, что денежные оценки обеспечивают максимальную степень формальной исчислимости. Разумеется, и это верно лишь отчасти, при прочих равных условиях.

3. В свою очередь, понятие «сущностной рациональности» далеко не однозначно. Лишь один элемент является общим для любого «сущностного» анализа: такой анализ не ограничивается простой констатацией чисто формального и относительно однозначного факта, что целенаправленное действие основано на рациональном расчете, использующем наиболее совершенные технические методы, но определенным образом принимает во внимание высшие ценности, будь то этические, политические, утилитарные, гедонистические, феодальные (сословные), эгалитаристские или какие-либо еще, а результаты хозяйственной деятельности, как бы «рационально» исчислены они ни были, оцениваются также и по шкале «ценностной рациональности» или «сущностной целерациональности». Для этого типа рациональности существует бесконечное множество возможных шкал

ценности, причем коммунистические и социалистические идеалы представляют лишь один из возможных вариантов. Последние, не будучи никоим образом однозначными сами по себе, всегда содержат элементы социальной справедливости и равенства. Среди прочих вариантов – критерии статусных различий, способности к власти, особенно к ведению войны, способности к политическому объединению; все эти элементы, как и многие другие, потенциально обладают «сущностным» значением. Однако ценность всех этих подходов заключается прежде всего в том, что они представляют собой базу для оценки *результатов* хозяйственной деятельности. Можно также независимо от них с этической, аскетической, эстетической и других точек зрения оценивать как *дух* этой деятельности, так и ее *инструменты*. В рамках этих подходов «чисто формальная» рациональность денежных расчетов может рассматриваться как второстепенная или даже противоречащая предусматриваемым ими конечным целям, независимо даже от результатов, вытекающих из современного отношения к вычислениям. Целью этих размышлений не является вынесение ценностных суждений в данной сфере, но лишь определение и разграничение понятия «формального». В данном контексте «сущность» сама в определенном смысле «формальна», т. е. является абстрактным родовым понятием.

Когда я говорю, что смыслы этих двух пар определений не вполне идентичны, я допускаю, что моя интерпретация весьма субъективна. Мне кажется, что, разграничивая целерациональное и ценностно-рациональное социальные действия, Вебер более высоко оценивает роль последнего. Он говорит о «безусловных требованиях». Он напоминает о том, что с точки зрения целерационального социального действия «ценностная рациональность всегда иррациональна». Однако, обращаясь к формальной и сущностной рациональности, он меняет ход своих рассуждений. Вполне рациональные подходы «не ограничиваются простой констатацией того чисто формального и относительно однозначного факта, что действие основано на целенаправленном рациональном расчете», но и дают возможность оценивать его, используя соответствующую ценностную шкалу. <...>

Рациональность и «опасные» классы

Говорить о рациональности – значит оставлять в тени политические, ценностно-рациональные альтернативы и не допускать оценки процесса, как того требует сущностная рациональность. В XVI–XVIII веках интеллектуалы еще могли быть уверены в том, что главным врагом рациональности является средневековый клерикальный обскурантизм. Их девиз был громко и четко сформулирован Вольтером: «Раздавите гадину». Все изменила Французская революция, трансформировавшая и прояснившая смысл всемирного культурно-цивилизационного спора. Как я неоднократно утверждал, она в гораздо большей степени изменила миро-систему, чем собственно Францию. Именно благодаря революции в рамках миро-системы была создана жизнеспособная и долговечная геокультура, и одним из важнейших следствий этого стала институционализация общественных наук. Здесь мы подходим к основной части наших рассуждений.

Французская революция и последовавшая за ней наполеоновская эпоха распространили в масштабах миро-системы два убеждения, которые захватили умы людей и которых не смогло поколебать жестокое сопротивление со стороны очень влиятельных сил. Эти убеждения заключаются в том, что, во-первых, политические перемены постоянны и являются нормой и, во-вторых, суверенитет принадлежит «народу». Они не были широко распространены до 1789 года, но затем обрели огромный вес и сохраняют свое влияние по сей день, несмотря на множество содержащихся в них противоречий. Проблема, связанная с этими идеями, заключается в том, что в качестве аргументов они доступны всем – не только тем, кто обладает властью, авторитетом и/или высоким социальным положением. Этими аргументами могут воспользоваться и «опасные классы» (данное понятие появилось в начале XIX века и обозначило людей и социальные группы, которые не обладали ни властью, ни авторитетом, ни достойным социальным статусом, но тем не менее заявляли о своем желании участвовать в политической жизни). К ним относились: численно растущий городской пролетариат Западной Европы; обезземеленные крестьяне; ремесленники, которых раз-

витие машинного производства могло лишить средств к существованию, и нищие иммигранты из иных культурных зон.

Проблемы социальной адаптации таких групп и возникающие при этом конфликты в обществе хорошо знакомы социологам и представителям других общественно-исторических наук; они издавна исследовались в нашей литературе. Но какое отношение это имеет к понятию рациональности? В действительности самое прямое. Как известно, политическая проблема, поставленная опасными классами, была не из простых. В тот самый момент, когда развитие капиталистического миро-хозяйства начало набирать обороты в смысле роста производительности и максимального устранения препятствий, создаваемых временем и пространством на пути быстрого накопления капитала (что мы ошибочно назвали индустриальной революцией, будто она началась только в то время), когда капиталистическое миро-хозяйство распространялось по всему земному шару (что мы ошибочно назвали переходом к «империализму», как будто раньше ничего подобного не происходило), опасные классы стали серьезнейшей угрозой стабильности миро-системы (что мы больше не хотим называть классовой борьбой, хотя это была именно она). Можно предположить, что образованные и стоящие на страже своих интересов привилегированные классы должны были находить на новые вызовы всё более изощренные ответы. В то время этому служили общественные идеологии, общественные науки и общественные движения. Все они заслуживают внимания, но я буду говорить преимущественно об общественных науках.

Если политические перемены считаются нормой и если повсеместно признано, что суверенитет принадлежит народу, то вопрос состоит в том, как усмирить тигра или, говоря более строго, как умерить социальную стихию, преодолеть смуту и раскол в обществе, но при этом остаться на пути перемен. Для этого и нужны идеологии – политические программы для управлений переменами. Три основные идеологии XIX–XX веков представляют собой три возможных способа контроля над переменами: замедлить их насколько возможно, выбрать единственно правильный темп или подстегнуть их. Они получили разные ярлыки:

правая, центристская и левая. Или (что более выразительно): консерватизм, либерализм и радикализм (социализм). Их мы хорошо знаем.

Консерваторы обращались к ценности старых, проверенных временем институтов – к семье, общине, церкви, монархии – как к источникам человеческой мудрости, способным регулировать политические решения и нормы поведения. Утверждалось, что любые перемены, одобренные этими «традиционными» структурами, получают высшую санкцию и должны осуществляться с большим благоразумием. Радикалы, напротив, считали, что политические решения должны выноситься на основе «всеобщей воли», которая, согласно Руссо, воплощает в себе идею народного суверенитета. Они утверждали, что политические решения должны отражать эту «всеобщую волю», и чем оперативнее, тем лучше. Приверженцы среднего пути, известные как либералы, ставили под сомнение вечную ценность традиционных институтов, слишком зависимых от императивов сохранения существующих привилегий, равно как и адекватность выражения «всеобщей воли», излишне зависимой от прихотей большинства, способного преследовать лишь краткосрочные цели. Они предлагали передать сферу вынесения решений в ведение специалистов, которые, тщательно оценивая степень рациональности существующих и проектируемых институтов, выработали бы вариант постепенных и сбалансированных реформ, т. е. выбрали бы нужный тип политических перемен.

Я не буду рассматривать здесь европейскую политическую историю XXI века или всемирную историю XX-го, а ограничусь подведением итогов. Либеральная идея «среднего пути» одержала победу. Либеральные убеждения легли в основу геокультуры нашей миро-системы. Они определяют политические структуры ведущих государств, создавших модель, к воплощению которой следовало и следует стремиться другим государствам. В наибольшей мере очевидно воздействие либерализма на консерватизм и радикализм. Эти два движения, бывшие некогда идеологическими альтернативами либеральному пути, оказались сведены до уровня вариантов либерализма, вполне уподо-

бились ему (по крайней мере, в период с 1848 по 1968 год). При помощи триединой политической программы (всеобщее избирательное право, государство благосостояния, формирование национальной идентичности в сочетании с ориентированным во вне расизмом) либералам XIX столетия удалось устранить угрозу, которую представляли опасные классы. В XX веке либералы пытались воспользоваться подобной программой для умирения опасных классов «третьего мира», и, как долгое время казалось, безуспешно.

Стратегия либерализма как политической идеологии заключалась в *управлении* переменами, чем должны были компетентно заниматься компетентные люди. Таким образом, во-первых, либералы считали своим долгом позаботиться о том, чтобы к управлению допускались лишь компетентные люди. И поскольку они полагали, что компетентность не передается по наследству (как ошибочно считали консерваторы) и не приходит вместе с предпочтениями большинства (как неверно полагали радикалы), то оставался один выход: управлять должны наиболее достойные. Это означало обращение к классу интеллектуалов или, по крайней мере, к тем его представителям, которые были готовы заняться «практическими» делами. Второе требование заключалось в том, чтобы эти компетентные люди действовали не на основе предрассудков, а на основе заранее получаемой информации о возможных последствиях предлагаемых реформ. Для этого им требовалось знать принципы функционирования общественных механизмов; значит, им нужны были исследования и исследователи. Обществоведение оказалось жизненно необходимо либерализму.

Связь между либеральной идеологией и обществоведением была и остается весьма тесной, причем не только на экзистенциальном уровне. Я говорю не о том, что все социологи были адептами либерального реформизма (это действительно так, но не имеет особого значения). Главное, что я хочу подчеркнуть, — это то, что либерализм и обществоведение базируются на одном и том же убеждении — на уверенности в способности человека к совершенствованию, проистекающей из умения регулировать

общественные отношения на научной (т. е. рациональной) основе. Дело не только в том, что либералы и обществоведы разделяли это убеждение – без него они не могли бы существовать; они встроили его в свои институциональные структуры. Фундаментальное сходство вылилось в неразрывный союз. Я вовсе не отрицаю того, что среди обществоведов было немало консерваторов или радикалов. Следует отметить, однако, что почти никто из них не отклонялся слишком далеко от центральной посылки, согласно которой все наши действия должны диктоваться самодостаточной рациональностью.

Единственное, чего не предприняли обществоведы, так это просчитывания последствий разделения рациональности на формальную и сущностную, что позволило бы четко осознать социальную роль каждого из типов рациональности. Но до тех пор, пока социальный мир достаточно хорошо функционировал с точки зрения либеральной идеологии, т. е. до тех пор, пока господствовало оптимистическое мнение о необратимости прогресса, пусть даже и нестабильного, эти вопросы могли быть отодвинуты на задний план. Думаю, что так было даже в то страшное время, когда фашисты обрели гигантскую власть. Их мощь поколебала незатейливую веру в прогресс, но так и не сломила ее. <...>

Социология и сущностная рациональность

В наши дни создается впечатление, что все гарантии, некогда предлагавшиеся рациональностью, свои для власть имущих и свои – для угнетаемых, исчезли. Все громче звучат голоса, требующие свободы. Они требуют освобождения от безжалостного диктата формальной рациональности, за которой стоит сущностная иррациональность. Эти голоса настолько сильны, что, как указывает Фрейд, действительно стоит задуматься над тем, направлены ли они против конкретных культурных императивов или против культуры как таковой. Мы входим в темную полосу истории, когда ужасы Боснии и Лос-Анджелеса будут повторяться повсюду и даже в больших масштабах. Интеллектуалам настало время ощутить свою ответственность. При этом

менее всего нам может помочь отрицание политического в пользу конкретной политики в качестве рационального и отказ, таким образом, от непосредственного обсуждения ее достоинств.

Обществоведение возникло как интеллектуальное дополнение либеральной идеологии и умрет вместе с либерализмом, если не изменит своего статуса. В основании обществоведения лежал социальный оптимизм. Что оно сможет сказать в эпоху социального пессимизма? Я считаю, что нам, обществоведам, необходимо полностью обновиться, чтобы остаться востребованными в обществе и не оказаться на задворках научного мира, тратя время на бессмысленные ритуалы. Как это делают последние служители всеми забытого божества. Я уверен, что наше выживание зависит от того, сможем ли мы вернуть понятие сущностной рациональности в центр наших научных дискуссий.

Когда в конце XVIII – начале XIX в. ясно обозначился разрыв между философией и наукой, обществоведение объявило себя наукой, а не философией. Оправданием этого постыдного разделения знания на два враждующих лагеря было положение, согласно которому наука занимается поиском истины эмпирически, т. е. на основе опыта, а философия – метафизически, т. е. умозрительно. Это положение абсурдно, так как всякое эмпирическое знание неизбежно имеет метафизические основы, а любые метафизические построения имеют смысл лишь в том случае, если соотносятся с реальностью, т. е. содержат в себе эмпирический элемент. Пытаясь отмежеваться от навязываемых простых истин, интеллектуалы окунулись в мистицизм формальной рациональности. Это случилось со всеми нами, даже с марксистами, как заметил Грамши.

Сегодня велико искушение сменить направление, но мы снова обжигаемся. На волне разочарования появилась многоголосая толпа критиков. Они всю критикуют дело науки, утверждая, что оно иррационально. Много из того, что они говорят, весьма здраво, но, похоже, все это кончится в духе нигилистического солипсизма, который ведет в никуда и скоро наскучит самым рьяным своим сторонникам. Тем не менее мы не уйдем от критики,

если будем ограничиваться выявлением слабостей наших оппонентов. Этот путь приведет нас к совместному краху. Вместо этого обществоведение должно воссоздаваться заново.

Обществоведение должно признать, что наука не беспристрастна и не может быть таковой, поскольку ученые – это члены общества, и они не свободны от него ни физически, ни интеллектуально. Обществоведение должно признать, что эмпиризм не может быть чистым, ибо он всегда предполагает некоторую априорность. Обществоведение должно признать, что наши истины не являются всеобщими и универсальными; что они, если вообще существуют, сложны, противоречивы и множественны. Обществоведение должно признать, что оно ищет не простую, а наиболее адекватную интерпретацию сложного. Обществоведение должно признать, что причина нашей заинтересованности в рациональном поведении заключается в том, что оно ведет к конечной (ценностно обусловленной) цели. Наконец, обществоведение должно признать, что рациональность основана на совместимости политики и морали, а роль интеллектуалов заключается в том, чтобы выявлять стоящие перед нами исторические альтернативы.

Двести лет мы блуждали по ложным путям. Мы сбивали с верного пути многих других, но прежде всего – себя самих. Еще немного – и мы покинем поле борьбы за человеческую свободу и коллективное благо. Если мы хотим помочь людям изменить мир, нужно для начала оглянуться вокруг себя. И в первую очередь надо умирить нашу самонадеянность. Все это нам необходимо сделать, потому что у общества действительно есть что предложить миру. То, что оно может предложить – это применение человеческого разума для решения человеческих проблем, и раскрытие тем самым человеческого потенциала, пусть и несовершенного, но несомненно более значительного, чем тот, который мы видели прежде.

ОФФЕ Клаус (OFFE Claus)

(р. 1940)

Клаус Оффе (р. 16.03.1940, Берлин) – видный немецкий политолог и социолог, принадлежащий ко «второму поколению» представителей Франкфуртской школы, внесший значительный вклад в развитие критической теории. Главные сферы интересов включают социологию политики, социальную политику, теорию демократии и исследования трансформации.

Клаус Оффе изучал социологию, экономику и философию в университете Кельна и Свободном университете Берлина, где в 1965 г. получил диплом социолога. С 1965 по 1969 год работал ассистентом в Институте социальных исследований (Франкфурт-на-Майне) вместе с Ю. Хабермасом. В 1968 г. в том же университете Клаус Оффе защитил диссертацию, посвященную проблемам труда в индустриальном обществе. В 1969–1971 гг. был стипендиатом в США (Гарвардский университет и Калифорнийский университет в г. Беркли). С тех пор Оффе активно участвует в международных проектах, издает много книг, принесших ему мировую известность. По возвращении в Германию работает в Гумбольдском университете, а также читает лекции во многих европейских и американских университетах. С 1973 г. – профессор политических наук в университете г. Констанц, где получил хабилитацию. В 1975–1989 гг. – профессор, заведующий кафедрой политических наук и социологии на факультете социологии университета Билефельда. В 1989–1995 гг. – профессор политических наук и социологии в университете Бремена, где одновременно ведет исследования в Центре социальной политики того же университета. В 1995–2005 гг. – профессор политической социологии и социальной политики в Гумбольдском университете в Берлине. С 2005 г., после выхода на пенсию, работает в одном из самых престижных негосударственных университетов в Берлине – Школе управления Херти.

В своем творчестве Оффе поднял вопросы о противоречиях, неотъемлемых для современных государств всеобщего благосостояния в странах развитого капитализма. Его критика исходит из взглядов левого толка, типичных для представителей Франкфуртской школы. Интерес Оффе к бюрократическому управлению приводит его к пересмотру веберовского анализа современной бюрократии. Несмотря на то, что Вебер рассматривал бюрократию как угрозу свободе, он в то же

время считал, что бюрократия неизбежна в силу своей рациональности. Центральная же идея Оффе в отношении бюрократии – поставить под вопрос рациональность административного аппарата государства всеобщего благосостояния.

Основные работы: «Структурные проблемы капиталистических государств» (1975); «Индустрия и неравенство. Принцип достижения в работе и социальный статус» (1976); «Противоречия государства всеобщего благосостояния» (1976, 1984); «Дезорганизованный капитализм: современные трансформации труда и политики» (1985); «Модернити и государство: Восток, Запад» (1996); «Множественность трансформаций: Восточно-европейский и Восточно-немецкий опыт (исследование современной немецкой социальной мысли)» (1996), «Размышления об Америке: Токвиль, Вебер и Адорно в Соединенных Штатах» (2005).

Данное эссе, впервые опубликованное на немецком языке в 1974 г., демонстрирует интерес Оффе к управлению и показывает, в каких вопросах он приходит к пересмотру теории бюрократии, разработанной Максом Вебером. Публикуется с любезного согласия автора, полученного переводчиком текста в июле 2011 г.

ОФФЕ КЛАУС

РАСХОДЯЩИЕСЯ РАЦИОНАЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ¹

Когда Макс Вебер описывал «чисто бюрократическое управление» как «способное к достижению высшей степени эффективности с чисто технической точки зрения» и поэтому «формально самое рациональное из известных средств осуществления господства» [Weber, 1964:164], он представлял себе ситуацию, в которой формальная рациональность эквивалентна постоянно-му и неумолимому применению правовых норм. Преимущества такого управления («точность, стабильность, строгость дисциплины и надежность», как и «высокая степень калькулируемости результатов для руководителей организации и для клиентов») основываются на структуре, которую с помощью современной

¹ *Offe C. The Divergent Rationalities of Administrative Action // Social Theory: Roots and Branches (Readings) / P. Kivisto (ed.). – Los Angeles: Roxbury, 2000. – P. 376–381 (в сокр.). Пер. с англ. А. А. Широкаковой.*

теории политических систем можно описать следующим образом: во все времена существуют предпосылки действия, которые не находятся в распоряжении самих акторов; действие привязано к «внешней», «входящей» информации, которую нельзя расширить, видоизменить или отменить. Принцип «ориентации на бумаги» (одна из отличительных черт бюрократического правления) – пример подобного управления. Для действия чиновников имеет значение не то, что они знают по слухам, из надежных устных докладов, предположений или независимого расследования, но только то, что присутствует в письменной форме и, таким образом, доступно всем (по крайней мере начальству). Иерархия и разделение труда – дополнительные аспекты той же основной структуры: в каждом отдельном случае ясно, кто кому отдает приказ и по поводу чего, так что возможность обсуждения, объяснения или совещания исключена. Другой аспект бюрократического управления – в том, что оно возникает только при наличии государства, основанного на налогообложении, и только когда гарантированы права для госслужащих (включая всеобъемлющие права на пенсию) и пожизненная занятость (вкуче с запретом на забастовки и другие формы борьбы рабочих). Экономическое существование чиновников, таким образом, перестает быть предметом их заинтересованных действий, и поэтому они становятся неподкупными.

То же самое касается и сертификата об обучении как единственного персонифицированного предварительного условия для принятия на работу. Чиновники не должны постоянно доказывать свою профессиональную компетентность или даже опровергать какие-либо сомнения на этот счет; скорее они действуют в соответствии с предположением об общей компетентности вне времени. Однако наиболее важной является неотменяемость внутренних предпосылок действия, касающихся повиновения общим правилам позитивного закона. «Законность – это функциональный модус бюрократии» (Карл Шмитт).

Во всех этих (и прочих) отношениях мы можем сказать, что бюрократическое управление – это та неправдоподобная и условная форма организации социального действия, которая препят-

ствуется тематизации своих собственных предпосылок. Строгое разделение между управлением и политикой в идеально-типической форме бюрократии основывается, прежде всего, на данном факте.

Сегодня мы привыкли ассоциировать феномены, которые Вебер понимал как (формально) рациональную систему, с такими негативными свойствами, как негибкость, консерватизм и непреклонность². Давайте резюмируем, в каком смысле Вебер мог говорить о (формальной) «рациональности» такого рода бюрократической систематизации. Для него наибольшие шансы проявления государственной власти (и, следовательно, «эффективности») существуют, только если ее осуществление организовано таким образом, чтобы исключить риск осквернения девиантными или дополнительными мотивами. Этот тип рациональности – чистейшая реализация норм – возникает посредством полного разделения между предпосылками действия, с одной стороны, и аппаратом, который их реализует, – с другой. Совершенно обособленно от этого критерия рациональности стоит вопрос о том, является ли веберовский идеальный тип бюрократической власти и соответствующий тип организации государственной власти также рациональным в *другом* смысле – в смысле удовлетворения *функциональных требований* и потребностей высокоразвитого, индустриального, капиталистического общества в той степени, в которой последнее должно воплощаться в государственном управлении. Этот вопрос касается рациональности (или функционального соответствия, адекватности) типа действия, который, с (более узкой) точки зрения выполнения абстрактных правил, не может быть опровергнут. Поэтому различие этих двух (в равной степени формальных) критериев рациональности позволяет нам задаться вопросом, насколько рациональна (в смысле «функционально адекватна») веберовская модель бюрократии на самом деле.

Неспособность Вебера провести различие между этими уровнями проблемы, а на деле – введение им концептуального кон-

² Я не могу здесь входить в тонкости веберовского понятия «рациональность» или в недоразумения, которые лежат в основе «эмпирического» исследования рациональности бюрократического управления.

тинуума между рациональностью бюрократического действия и всемирно-историческим процессом рационализации, дала начало ряду психологических и теоретических дебатов [Luhmann, 1964; Marcuse, 1964]. Опираясь на эти дебаты, можно утверждать, что две концепции рациональности: одна, организационная, отсылающая к подведению бюрократического действия под общие правила, и другая, системная, отсылающая к бюрократическому воплощению функциональных требований социальной среды, – не могут без дальнейшей дискуссии быть предположительно конгруэнтными друг другу. В условиях развитого капитализма, в государстве всеобщего благосостояния рациональность бюрократического действия не гарантирует рациональности политической системы, а скорее приходит в конфликт с ней. Бюрократическое господство не является, как полагал Вебер, неотъемлемой структурной чертой будущих обществ. Скорее оказывается, что оно привязано к определенной исторической фазе и зависит от точки зрения функциональной рациональности. Два критерия рациональности конгруэнтны только при таких социальных условиях, в которых высшая степень неограниченного применения абстрактных правил в то же время достаточна для выполнения функций подсистемы государственного управления в большем по масштабу обществе.

Мой аргумент здесь и далее не является «эмпирическим» в том смысле, что я не стремлюсь установить подлинные детерминанты действия, которые правят определенными бюрократиями, прошлыми и настоящими. Взамен этого, данные размышления касаются форм стратегической рациональности, на которые административные организации ссылаются как на модели или нормативные схемы (Sollschemas) собственных структур и процессов. Подобные стратегические модели критериев рациональности важны в каждой социальной ситуации, независимо от того, действительно ли и в какой степени они *реализованы*. В то же время выбор подобных моделей административной организации не определяется случайно или по свободной воле ее членов. Скорее, они должны подчиняться императивам своей социально-экономической среды. Если такого подчинения

не происходит, то можно сделать вывод о том, что государственными институтами были приняты «иррациональные» критерии рациональности. В тех случаях, когда организация приближает принятую стратегическую модель к уровню нормативной схемы, и тем самым создает опасности по отношению к своей среде, можно говорить о бюрократических патологиях. Подобные случаи указывают на неконгруэнтность между внутренней структурой и функционированием среды, или, проще говоря, на расхождение между структурой и функцией.

Такие ситуации изучаются социологией организаций как с теоретической, так и с эмпирической точки зрения на то, каким образом можно вновь достигнуть равновесия либо через процессы обучения внутри организации, либо через принудительные процессы обучения, такие, как реформа организации. В таких исследованиях именно *организация* всегда представляется устаревшей, требующей изменения и ущербной. На данную позицию можно опираться только для понимания того, что адекватные критерии рациональности административного действия не только «в принципе» возможны, но и осуществимы. Всё зависит от обнаружения и введения этих «адекватных» критериев. В последующих рассуждениях я гипотетически склоняюсь именно к предпосылке «возможности совершенствования», так как весьма вероятно, что неконгруэнтность между внутренними формами деятельности и внешними функциональными требованиями к государственному управлению имеют своим основанием скорее качество *социально-экономической среды*, нежели «несовершенство» бюрократии. Эта среда привязывает государственное управление к специфическим способам действия, хотя одновременно с этим она предъявляет претензии к их исполнению, которые невозможно удовлетворить теми же самыми способами. Очевидно, что несоответствие между нормативной схемой управления и внешними функциональными требованиями нельзя устранить путем реформирования управления, но только путем «реформирования» структуры среды, которая вызвала противоречие между структурой и исполнительной способностью государственного управления.

Дилемма политики государства всеобщего благосостояния

Я не могу перечислять здесь все исторические, теоретические и эмпирические доказательства и аргументы, которые касаются исторически нарастающего расхождения между двумя критериями рациональности. Это было проделано прежде всего в литературе по конституциональной теории и социологии управления и политики, которая на достаточно ранней стадии обратила внимание на неразрешенное противоречие между бюрократической и системной рациональностью государственной деятельности. Тот факт, что сегодня авторы с самыми разными политическими и научно-теоретическими взглядами испытывают затруднения с традиционным разделением между политикой и управлением, дает нам право без дальнейших доказательств продолжить (анализ) на основе признания реальности и релевантности смешанного типа управленческой политики государства всеобщего благосостояния, который частично заменяет легально-бюрократический тип власти. Эту функциональную модель следует отличать от легально-бюрократического управления не на уровне эмпирического описания, но на уровне институционализированной нормативной схемы, которая усиливает *полную смену направления процесса изменения*, т. е. процесса, который связывает исходные данные и результаты действия политической системы.

Значение категории «полная смена направления процесса изменений» (реверсия) должно быть понимаемо следующим образом. При легально-бюрократическом управлении, как мы видели, эффективность означает надежную категоризацию действия в соответствии с предпосылками: исходные данные управленческого действия определяют и направляют его результат, и чем яснее именно эти предпосылки реализованы в окончательных решениях, тем более рационально управление. Его результаты, в идеальном случае, — это калькулируемые рефлексии норм закона, организационных программ, кодифицированных процедурных правил и установившихся практик.

Полной противоположностью этому является структурная модель управленческой политики государства всеобщего благосостояния. Здесь административное действие рационализировано

по отношению к специфическим предпосылкам действия и *конкретным результатам*. Часто эти предпосылки понимаются в рамках понятий общей «адекватности», но, тем не менее, им необходимо придать совершенно конкретное значение в соответствии со специфическими, зависящими от ситуации обстоятельствами. Например, значение и требование обеспечения в конкретной ситуации определенной категории людей «соответствующим жильем» необходимо «операционализировать». В подобной ситуации задача управления часто переходит от выполнения конкретных правил в соответствии с установленным порядком к активному поиску *получения* исходных данных, адекватных для выполнения этих конкретных задач и квазиавтономно понимаемых целей. Поэтому в то время как для первой (легально-бюрократической) модели исходные данные функционируют как единственный надежный «двигатель» возможных результатов, в управленческой политике государства всеобщего благосостояния – наоборот, именно проектируемые результаты управленческого действия (выполнение конкретных задач) служат первичным критерием оценки управленческих действий и решений; исходные данные, к которым стремятся и которые используют, зависят от проектируемых управленческих результатов. Эффективность определяется уже не как «следование правилам», но как «получение результатов». С точки зрения конкретных задач и требуемых целенаправленных действий, управление в данном случае должно рассматривать свои собственные исходные данные и предпосылки как условно зависимые от критериев инструментальной пригодности. Управление эффективно в той степени, в которой оно успешно справляется именно с этой задачей. Предпосылки административного действия больше не являются правилами, которым нужно императивно подчиняться, – не являются императивами сами по себе, – но вместо этого расцениваются как *ресурсы*, которые нужно взвешивать с точки зрения их адекватности специфическим задачам.

Это справедливо и для законодательных норм. Власти ФРГ, например Федеральное криминальное ведомство (*Bundeskriminalamt*), Коммунальное управление больших городов и Федераль-

ное ведомство труда (*Bundesanstalt für Arbeit*) явно навязывают органам Федерального парламента истолкование своих проблем, в соответствии с которым выполнение их задач требует расширения и реформирования их юрисдикции и действий властей. Косвенным образом, нормы закона трансформируются из «приказаний» в «ресурсы». Аналогичную реверсию направления действия можно увидеть в процессе определения государственного бюджета, где требуемые расходы, а не ожидаемые доходы становятся критерием определения задач. Аналогичные обстоятельства очевидны и на уровне структуры персонала и административной политики найма. Пригодность людей с определенным образованием, адекватность специфических направлений служб и технологических правил, даже соответствие специфических способов обучения подготовке к службе в государственном управлении становятся переменными, манипулируемыми изнутри администрации. Другими словами, основные договоренности сотрудников администрации также находятся в распоряжении функциональных критериев.

То же самое касается и организационной структуры администрации, как показали текущие попытки организационной и региональной административной реформы в Германии. Наконец, администрация не может основываться на предположении, что прежняя информация и профессиональные знания в головах ее членов адекватны для решения существующих задач. Поэтому она вынуждена вводить или создавать *ad hoc*³ группы внешних экспертов, исследователей и информационных систем. Короче говоря, то, чем на самом деле занимается государственная администрация, на которую возложена ответственность исполнять регулятивные и компенсаторные функции, в рамках индустриального капиталистического общества, никоим образом не может ограничиваться понятием «следования политически предопределенным правилам»; скорее, она извлекает и овладевает ресурсами, требуемыми для целенаправленного выполнения своих конкретных задач.

³ специальные (лат.)

В самом деле, переход от «условной» к «целеориентированной» программе выливается в дилемму, которую мы можем парадоксально описать следующим образом⁴: среда не полностью позволяет системе управления следовать той рациональной схеме целеориентированного действия, которой она в то же самое время от нее требует. С одной стороны, управление административным действием, посредством фиксированных и не зависимых от ситуации правил, не достигает цели, как только появляются нестандартные проблемы, которые нельзя отнести к штатным ситуациям. Управленческие задачи государства всеобщего благосостояния отличаются прежде всего тем, что их нужно решать (во временном, субстанциальном и социальном измерениях) в зависимости от ситуации и, таким образом, избегать обобщенных правил юрисдикции, схематичных знаний и инструкций. Вместо этого их необходимо раскрывать с учетом обстоятельств и на основе экспертного знания. Однако, с другой стороны, управленческая свобода концентрироваться на «задачах» и находить адекватные правила для их выполнения ограничена институциональным и финансовым давлением.

Эти предпосылки реализуются таким образом, что, несмотря на повышение требований целевых программ к администрации, последняя не полностью свободна от «условной» связи с легально-бюрократическими предпосылками. Результатом этого является вмешательство или взаимодействие и взаимное проникновение двух критериев правильности управленческого действия. В определенном смысле административная система должна быть адекватной как в рамках соответствия нормам, так и в рамках достижения целей. Как следствие, она становится зависимой в своей самолегитимизации от двойной стратегии, что зачастую

⁴ Прим. ред.: Это различие между «условным» и «целевым», или «финальным», способами осуществления государственной политики обрисовывает типологию, развитую современными немецкими социологами (напр., Н. Луманом) и далее обсуждается в работе К. Оффе «Противоречия государства всеобщего благосостояния» (London: Hutchinson & Co, 1984, с. 110). «Условная» программа состоит из решений, которые выполняются автоматически, если присутствует определенное *прошлое* (*antecedents*) (как было уточнено бюрократическими правилами). «Финальная», или «целевая», программа, напротив, всецело зависит от постигаемой эффективности вмешательства при достижении определенных результатов.

ведет к чрезвычайным решениям, которые не подходят ни под один из этих критериев. На уровне найма персонала эта дилемма ведет к колебанию между «монополией специалистов» и их замещением «генералистами», от которых ожидают «эффективного административного управления» [Scharpf, 1973:88]. В планировании бюджета та же проблема усугубляется разделением между ориентациями на доходы и на расходы [Naschold, 1970–1971].

Еще один пример того же структурного конфликта – это дебаты «центристов» с «децентралистами» в административной организации [Levine, 1972]. У этой пары альтернатив есть общее основание в противоречивых отношениях, которые в настоящее время стали часто обсуждаться в дискуссиях по проблемам управления. В капиталистической общественной формации государство, с одной стороны, ведет четкое и ограниченное существование в отношении своих способностей к маневрированию и функционированию (и за этой тождественностью зорко следят сплоченные в центре юристы, в соответствии с конкретными критериями бюджетных доходов); этот аспект государства нормативно описывается принципом «власть закона». С другой стороны, само государство должно все больше организовывать социально-экономическое функциональное состыкование всего общественного порядка (что требует экспертов, подходящих средств инвестирования и децентрализации, приспособленной к определенным контекстам); этот аспект предполагает гибкость и инструментальное отношение к правилам. В отношении этой структурной проблемы кажется, что поиск новых, адекватных стратегий для ее решения внутри управления может иметь успех только в границах колебаний между двумя сторонами дилеммы, но не в решении ее самой⁵.

⁵ См. основанную на теории капитализма интерпретацию двойной формы государственного управления Ульриха Пройса [Preuss, 1973]. Он предоставляет доказательства, чтобы показать, что «...государственной бюрократии структурно присущ тот факт (что было эксплицитно сформулировано в Веймарской республике в конституционных нормах), что она функционирует двойным способом: руководствуясь применением государственной силы в соответствии с правилами, а также принятием конкретных, определяемых целью мер. <...> Государственная власть была и остается применяемой в соответствии как с общими правилами, так и со стандартом конкретной, определяемой ситуацией необходимости» (С. 71, 81).

В этом контексте мне кажется необходимым обратиться к частичному развороту направления управленческого действия (от определяемых исходными данными решений к функционально-определяемой заботе о ресурсах) к принципу «власть закона» и, таким образом, к *правовой* легитимизации управленческого действия. Если законы условно соответствуют, с точки зрения их адекватности, специфическим задачам, и более того, если их абстрактная универсальность виртуализирована и ослаблена через отсылку к критериям возможности и интерпретации, то они естественным образом перестают быть пригодными для легитимизации управленческого действия, которое приобрело ту или иную степень рефлексивности по отношению к нормам закона. Другими словами, как только нормы закона становятся устранимыми с точки зрения их пригодности к конкретным задачам, они теряют свою способность легитимизировать выбор и выполнение своих задач на основе какой-либо *юридической силы*. Например, в хорошо известной ситуации, когда законы, касающиеся образования, налогообложения или пенсии, постоянно пересматриваются, теряется не только веберовская предсказуемость и калькулируемость бюрократического действия для всех акторов. Администрация также лишает себя правовой законности ради содержания тех поправок к закону, который она сама иницирует. Правовая конституциональная проблема, которая возникает в отношении конституционного государства, в данном контексте нас интересует в меньшей мере. Что нас действительно интересует, так это особого рода давление на администрацию, которое происходит из-за вынесения за скобки правовой безопасности и сращивания норм закона. По меньшей мере, администрация вынуждена дополнять свой законно установленный мандат и свою обоснованную легитимность критерием успешного и приемлемого политического управления, которое обходит норму закона как таковую. В той степени, в которой исполнительная власть приостанавливает ориентацию норм закона на исходные данные и делает возможным избавление от них с точки зрения их соответствия новому функциональному критерию, управленческая политика государства всеобщего благосостояния

становится зависимой от внезаконных легитимизаций, т. е. от сущностной реализации некоторых ценностей (а не от следования правилам) и от последующих процессов создания эмпирического консенсуса в обществе. <...>

Литература

Levine R. A. Public Planning, Failure and Redistribution. New York: Basic Books, 1972.

Luhmann N. Zweck, Herrschaft, System; Grundbegriffe und Prämissen Max Weber // Der Staat. 1964. No. 3. S. 129–158.

Marcuse H. Industrialisierung und Kapitalismus im Werke Max Webers / Kultur und Gesellschaft. Frankfurt-am-Main: Suhrkamp Verlag, 1964.

Naschold F. Untersuchung zur mehrjährigen Finanzplanung des Bundes / F. Naschold et al. // Zwischenbericht. Konstanz, 1970–1971.

Preuss U. Legalität und Pluralismus. Frankfurt-am-Main: Suhrkamp, 1973.

Scharpf F. W. Politische Durchsetzbarkeit innerer Reformen im pluralistisch demokratischen Gemeinwesen der BRD. Berlin: International Institute of Management, 1973.

Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 1964.

Перевод с английского А. А. Широкановой

БУРАВОЙ Майкл (BURAWOY Michael)

(р. 1947)

Майкл Буравой (р.15.06.1947, Манчестер, Англия) – англо-американский социолог-марксист, президент Международной социологической ассоциации (2010–2014 гг.). Окончил в 1968 г. Кембриджский университет по специальности «математика». Обучался в магистратуре в университете Замбии, где одновременно работал научным сотрудником представительства англо-американской компании. После получения степени магистра в Замбии в 1972 г. учился в докторантуре Чикагского университета. Его диссертация посвящена анализу жизни промышленных рабочих Чикаго, проведенному этнометодологическими методами. Эта работа стала основой его книги «Производство согласия: Изменения в процессе труда в условиях монополистического капитализма», которая принесла автору известность и была переведена

на многие языки. В настоящее время Буравой является профессором Калифорнийского университета в Беркли, активно участвует в профессиональной деятельности не только как автор книг, но и как организатор науки, а также сторонник и активный пропагандист той формы социологических исследований, которая известна в России как «публичная социология».

Помимо социологических исследований социальных отношений на рабочих местах в промышленности Замбии и Чикаго Буравой изучал социально-трудовые отношения в промышленном производстве в Венгрии и постсоветской России. Основным методом исследования — включенное наблюдение. На основе исследований социальных отношений в промышленности Буравой вскрывает природу постколониализма, организации государственного социализма, а также проблемы переходного периода в посткоммунистических странах. Позже Буравой отказался от этнометодологических экспедиций на заводы, чтобы сосредоточить исследовательский интерес на университете и проанализировать, каким образом студентам преподают социологию, и как теоретические и прикладные социологические разработки становятся достоянием общества. Результаты исследований Буравого в области публичной социологии в сжатом виде изложены в его президентском обращении к Американской социологической ассоциации в 2004 г.: он делит социологию на четыре отдельных (хотя и пересекающихся) категории: публичная социология, социология политики (предназначенная для академической аудитории), профессиональная социология (обращенная к академической аудитории), и критическая социология, которая, как и публичная социология, производит рефлексивные знания, доступные, однако, как и в случае профессиональной социологии, только для академической аудитории.

Основные работы: «Производство согласия: изменения в трудовом процессе в условиях монополистического капитализма» (1979), «Политика производства: режимы предприятия в условиях капитализма и социализма» (1985), «Лучезарное прошлое: идеология и реальность венгерского пути к капитализму» (1992), «Метод расширенного сравнения: четыре страны, четыре десятилетия, четыре великих трансформации и одна теоретическая традиция» (2009).

В предлагаемой статье М. Буравого, написанной в соавторстве с другим неомарксистским социологом Э. О. Райтом, показано, что социологический марксизм как теория противоречивого воспроизводства капиталистических отношений присутствовал в зачаточной

форме внутри классического марксизма, но позднее он превратился в самостоятельную, развитую теоретическую основу, необходимую для понимания того разнообразия новых социальных институтов, которые были созданы для противодействия склонности капитализма к саморазрушению.

РАЙТ Эрик Олин
(WRITE Erik Olin)

(р. 1947)

Эрик Олин Райт (р. 1947, Беркли, Калифорния) – американский социолог, представитель аналитического марксизма, исследователь социальной стратификации. С 1976 по 1980 год работал профессором-ассистентом на факультете социологии данного университета, с 1980 по 1983 год – ассоциированным (associate) профессором этого университета, с 1987 по 1988 год – приглашенным профессором факультета социологии Университета Калифорнии в Беркли, с 1983 г. по настоящее время – профессор факультета социологии Университета Висконсин в Мэдисоне (Мэдисон, США).

До последнего времени Райт занимался инновативным анализом классовой структуры современных капиталистических обществ. Сейчас профессор Райт работает над созданием эмансипирующей социальной науки. С 1983 г. он является директором Центра по изучению социальной структуры и социальных изменений им. А. Е. Хейвенса в своем университете (A. E. Havens Center for Study of Social Structure and Social Change at UW), а также входит в состав редакционной коллегии журнала «Politics & Society» (1978–1981 гг. и с 1988 г. – по настоящее время). В 1990 г. был награжден званием почетного профессора им. Чарльза Миллса (Charles W. Mills Distinguished Professor); в 1998 г. университет отметил его преподавательскую деятельность специальной премией (UW Distinguished Teaching Award). Эрик Райт – автор 13 книг.

Основные работы: «Политика наказания: Критический анализ тюрем в Америке» (1973), «Класс, кризис и государство» (1979), «Классовая структура и определение дохода» (1979), «Классы» (1994), «Дебаты о классах» (1990), «Классы: Сравнительные исследования в анализе классов» (2000), «Представляя реальные утопии» (2010), «Американское общество: как оно работает на самом деле?» (В соавт., 2010).

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ МАРКСИЗМ¹

Обсуждения марксизма как социальной теории, как правило, развиваются по одному из четырех основных направлений:

1. *Распространение марксизма.* Марксизм в рамках этого подхода представляется как всеобъемлющее мировоззрение, необходимое для понимания социального мира. Он обеспечивает теоретическое оружие для атаки на капиталистические мистификации и дает научное видение, необходимое для мобилизации масс на борьбу. Центральной задачей для интеллектуалов-марксистов является изложение основных революционных концепций марксизма таким образом, чтобы его влияние возрастало среди угнетенных классов. Часто это осуществляется в форме догматического провозглашения марксизма всесильным учением; однако для превращения марксизма в эффективную идеологию вовсе не требуется жесткая, догматическая вера в его постулаты. Центральным вопросом здесь является то, что марксизм следует сделать общедоступным, чтобы он усваивался как субъективно яркая система убеждений.

2. *Забвение марксизма.* Марксизм в рамках этого направления – доктрина, практически лишенная идей, имеющих отношение к серьезным социальным исследованиям. Историческая долговечность марксизма объясняется исключительно его ролью в качестве мобилизующей идеологии, связанной с политическими партиями, общественными движениями и государствами, а вовсе не с научной достоверностью его аргументов. Гибель вдохновлявшихся марксизмом политических режимов может наконец-то засвидетельствовать наступление давно ожидавшейся смерти этой устаревшей и часто пагубной доктрины.

3. *Использование марксизма.* Согласно этому подходу, марксизм является источником интересных и наводящих на дальнейшие размышления идей, многие из которых остаются полезными

¹ Burawoy M., Wright E. O. Sociological Marxism // Handbook of Sociological Theory / Ed. by J. H. Turner. – New York: Kluwer Academic Plenum Publishers, 2002. – P. 459–486 (в сокр.). Пер. с англ. Г. Н. Соколовой.

для научного анализа современных социальных отношений. Некоторые марксистские идеи, возможно, были глубоко ошибочны с самого начала, а другие потеряли значение для понимания современного общества. Но все же марксистская традиция содержит много полезных идей и аргументов, и они должны быть сохранены в качестве непреходящего наследия. Многие из того, что сегодня излагается под рубрикой «марксистская социология», имеют характер, позволяющий избирательно использовать частные понятия и темы из марксистской традиции, чтобы понять конкретные эмпирические проблемы. Однако вовсе не нужно быть «марксистом» для того, чтобы таким образом пользоваться марксизмом.

4. *Развитие марксизма.* Марксизм – это аналитически мощная традиция социальной теории, которая имеет жизненно важное значение для научного понимания дилемм и возможностей социальных изменений и социального воспроизводства в современном обществе. Марксизм необходим особенно тем, кто хочет изменить мир в духе эгалитарных и освободительных проектов. Это не означает, однако, что каждый элемент в марксизме, как он сейчас существует, имеет устойчивый характер. Если марксизм стремится быть научной теорией общественного развития, то он должен постоянно подвергаться вызовам и преобразованиям. Строительство марксизма, таким образом, означает и его перестройку. Марксизм не является догмой, окончательно установившей истину в последней инстанции. Вместе с тем марксизм не есть просто разрозненный набор интересных идей. И если наша цель состоит в развитии своих способностей понимать мир для того, чтобы изменить его, то развитие марксизма должно стать для нас ключевой задачей.

В рамках первых двух подходов марксизм рассматривается, в первую очередь, как идеология, т. е. как система убеждений, которой придерживаются люди, и которая обеспечивает интерпретацию мира и мотивацию к действию. Оба направления настороженно относятся к стремлению марксизма стать социальной наукой: представители первой позиции – поскольку это скорее касается силы марксизма как инструмента убеждения,

а не его жизнеспособности как такового, а представители второй позиции – поскольку они рассматривают марксизм либо как однозначно ложное, либо как морально и политически вредное учение.

Социология, по крайней мере в том виде, как она практикуется в настоящее время в Соединенных Штатах, в основном занимается марксизмом в третьем из этих модусов. Есть, конечно, со стороны социологов и случаи призывов похоронить марксизм, и, разумеется, были периоды в истории американской социологии, когда марксистские идеи практически полностью игнорировались. Вместе с тем в определенное время и в некоторых центрах развитие марксизма становилось важным интеллектуальным течением в социологической науке. Но в основном американская социология просто воспринимает марксизм как один из источников «социологического воображения». Университетские курсы по социологической теории, как правило, включают уважительное обсуждение трудов Маркса, Вебера, Дюркгейма как наследия «отцов-основателей» центральных направлений в истории социологии. При этом Дюркгейм отождествляется с нормами и проблемами социальной интеграции, Вебер – с концепцией рационализации и социологией культуры и социально ориентированных действий, а Маркс – с теорией классов и конфликтов. Курсы по политологии и теории государства регулярно заимствуют из марксистской традиции ее фокусировку на политическом влиянии бизнеса, а также концепции экономических ограничений действий государства, классовой базы политических партий и политической мобилизации. При обсуждении проблем мировой экономики обычно говорится о глобализации капитала, власти крупных многонациональных корпораций и о тех способах, которыми международные рынки влияют на местные условия, начало обсуждения которых восходит еще к Марксу. В дискуссиях по социально-трудовой проблематике часто говорится о процессе труда, о проблемах интенсификации труда работников, а также о влиянии технологий на их навыки. При обсуждении динамики социальных изменений речь идет об их противоречивом характере. Однако быть может, более всего на

современные дискуссии по проблемам социальных конфликтов оказала влияние одна из основных марксистских идей – о том, что конфликты в обществе порождаются на основе социально структурированного расслоения, а не просто зависят от субъективных особенностей людей. При этом часто марксистское происхождение этих тем и идей полностью теряется. Вместо использования марксизма в рамках единой марксистской теории эти идеи оказались просто поглощенными диффузным мейнстримом современной социологии. Но использование марксизма может также осуществляться в виде осознанной практики развертывания этих идей таким образом, чтобы подтвердить сохраняющуюся актуальность марксистской традиции социологического анализа.

Развитие марксизма является самым амбициозным видением марксистской традиции, явно или неявно выходящим за рамки простого использования марксистских категорий для решения социологических проблем. Здесь цель заключается в содействии развитию марксизма в качестве единой теоретической структуры на основе понимания его недостатков и восстановления силы его аргументов. На практике это взаимодействие с марксизмом предполагает принятие на себя серьезных нормативных обязательств, а не просто веру в научные достоинства марксистских идей. Без серьезной нормативной приверженности радикальной критике капиталистических институтов и политическому видению эгалитарной, освободительной альтернативы капитализму было бы мало стимулов для решения задач по развитию и реформированию марксизма как единой теоретической структуры. Развитие марксизма, таким образом, как интеллектуальный проект тесно связано с политическим проектом борьбы против капитализма как общественного устройства. <...>

Классическая марксистская теория исторической эволюции и судьбы капитализма

Традиционная марксистская теория исторической эволюции и судьбы капитализма была основана на трех основных тезисах:

1. *Тезис о неустойчивости капиталистического развития в долгосрочной перспективе.* В долгосрочной перспективе капитализм

является неустойчивой социальной организацией. У капитализма нет неопределенного будущего, его внутренняя динамика («законы движения») в конечном итоге приведет его к уничтожению условий для собственного воспроизводства. Это означает, что для капитализма характерно не только эпизодическое возникновение кризисов и периодов распада, но и то, что этим эпизодам присуща тенденция к такой интенсификации в долгосрочной исторической перспективе, которая сделает выживание капитализма крайне проблематичным.

2. *Тезис об обострении антикапиталистической классовой борьбы.* По мере того как устойчивость капиталистического развития снижается (тезис 1), увеличивается численность классовых сил, выступающих против капитализма, и возрастает их способность бросить капитализму вызов. В конечном счете социальные силы, выступающие против капитализма, наберут достаточный уровень мощи, а сам капитализм настолько ослабеет, что его господство можно будет свергнуть. Часто к этому тезису прилагаются два дополнительных требования: 1) разрушение капитализма должно носить скорее взрывной, а не последовательный характер (т. е. разрушение должно происходить в сжатый исторический промежуток времени); и 2) разрушение капитализма требует насильственного свержения буржуазного государства, а не демократического прихода к власти в нем. Ни одно из этих требований, однако, не присуще тезису об усилении антикапиталистической классовой борьбы как таковому, и потому они должны рассматриваться скорее как тактические предложения, вытекавшие из исторического контекста, а не как фундаментальные положения марксизма.

3. *Тезис о естественном переходе к социализму.* С учетом конечной неустойчивости развития капитализма (тезис 1), а также интересов и возможностей социальных субъектов, выступающих против капитализма, в период после разрушения капиталистического строя посредством активизации классовой борьбы (тезис 2), его наиболее вероятным преемником (или в более сильном варианте этого тезиса: его неизбежным преемником) является социализм. Частично это происходит потому, что капита-

лизм в ходе своего развития сам создает некоторые институциональные основы социализма — концентрацию собственности через создание трестов; значительный рост производительности труда, который освобождает людей от необходимости многочасовой работы; растущую взаимозависимость между работниками; отстранение капиталистов от участия в производстве, как активных предпринимателей, вследствие создания акционерных обществ и т. д. Но в основном социализм возникает в период после гибели капитализма, потому что рабочий класс получит от социализма огромную пользу и потому что он обладает властью для его создания. Есть некоторые места в работах классических марксистов, в которых содержатся указания на отличные от социализма варианты исторической судьбы для капитализма, как, например, в известной формулировке Р. Люксембург «социализм или варварство», но нигде несоциалистические варианты будущего после капитализма не обсуждаются, хотя бы с какой-либо степенью теоретической точности.

Эти тезисы были предназначены для воплощения в жизнь реальных прогнозов, которые основывались на понимании причинно-следственного механизма функционирования социального мироздания, а не просто на стремлении выдать желаемое за действительное или на абстрактных философских рассуждениях. Такие прогнозы явились следствием учета двух причинно-следственных процессов, которые рассматриваются как факторы, придающие фундаментальную логику динамике развития экономических систем капитализма: эксплуатации рабочих капиталистами и конкуренции между капиталистами на различных рынках. Эти два процесса создают те причинные потоки, которые обеспечивают фундаментальные объяснения марксистских тезисов о судьбе капитализма.

Эксплуатация трудящихся и конкуренция между капиталистами являются основными причинами наиболее важных свойств капиталистического развития — устойчивого роста его производственного потенциала; расширения его глобальной экспансии; повышения концентрации и централизации капиталистического производства. Это динамика развития, однако, содержит

внутренние противоречия, которые свидетельствуют, что капитализму присуща тенденция порождать периодические, усиливающиеся экономические кризисы. Традиционная марксистская теория кризисов является сложной аналитической разработкой, в которой учитываются многие виды причинно-следственных процессов, объясняющие периодические нарушения в процессе капиталистического накопления. Двумя наиболее важными из них для последующей судьбы капитализма в классическом марксизме считаются долгосрочная тенденция к снижению совокупной нормы прибыли, а также, как это, в частности, утверждает Энгельс, тенденция накопления капитала, которая ведет к еще более серьезным кризисам перепроизводства.

Аргумент относительно того, что присущие капитализму кризисные тенденции в долгосрочной перспективе будут активизироваться, означает, что по мере того как капитализм становится все более и более развитым, приобретая более и более глобальный характер, ему, в конечном счете, становится все труднее и труднее удерживать приемлемую совокупную норму прибыли либо находить новые рынки сбыта, что является необходимым условием для продолжения накопления капитала и осуществления инноваций. Это, в свою очередь, означает, что капитализм становится все менее и менее устойчивым, в конечном итоге достигает предела своего собственного материального воспроизводства. Иными словами, используя другую классическую марксистскую формулировку, производственные отношения становятся оковами для развития производительных сил. Первый причинный поток, порожденный двумя взаимосвязанными генеративными процессами капитализма, приводит к мощному прогнозу, содержащемуся в первом тезисе: в долгосрочной перспективе капитализм станет невоспроизводимой экономической системой. Он не может существовать вечно.

Вместе с тем непрочность и проблемы с воспроизводством в долгосрочной перспективе, присущие капитализму, сами по себе немного говорят о том, какой общественный строй появится на его месте. Здесь важным вопросом является воздействие капитализма на классовую структуру общества и формирование

классов: капитализм не только развивает производительные силы и расширяется до масштабов глобальной системы капиталистического рынка и конкуренции, он также создает социальную силу – рабочий класс – с особым набором интересов, противоположных интересам капитала, а также с целым рядом возможностей, которые позволяют ему бросить вызов капитализму. Интересы рабочих противоположны интересам капиталистов по целому ряду причин. Наиболее существенная из них та, что при капитализме они подвергаются эксплуатации. Кроме того, капитализм также лишает жизнь рабочих устойчивости и безопасности, подвергая их влиянию безработицы, деградации труда, и другим опасностям. Материальные интересы рабочих, таким образом, смогут выйти на первый план только если общественные отношения производства будут преобразованы из отношений, основанных на частной собственности на средства производства, – капитализма – в отношения, основанные на демократическом, эгалитаристском контроле над организацией производства, или иными словами, в то, что называется «социализм». < ...>

Согласно классической марксистской теории, сама динамика капиталистического развития содействует росту способности рабочего класса к выступлению с такого рода общими притязаниями по целому ряду причин. Среди них и то, что рабочий класс становится все более многочисленным, и то, что он концентрируется на все более крупных производственных объектах; и то, что связи и взаимозависимость между рабочими возрастают, в то время как внутреннее расслоение в рабочей среде снижается под влиянием процесса деквалификации и других сил, способствующих социальной однородности пролетариата, и то, что растет организационная компетентность рабочего класса. Многие из этих изменений, происходящих при капитализме, не только увеличивают способность рабочих к борьбе, но и создают некоторые из экономических предпосылок для самого социализма; среди них концентрация капиталистической собственности и появление акционерных корпораций, которые делают само существование личности капиталиста все более и более излишним, а также рост взаимозависимости среди рабочих,

который придает производству невиданный ранее общественный характер. Как сами марксисты любили говорить, характеризуя эти процессы, условия для социализма создаются «в недрах капитализма». В конечном итоге рабочий класс становится классом революционным, как в смысле наличия революционных социалистических целей, так и в плане наличия потенциала для осуществления революции против капитализма (тезис 2) и создания институтов социализма (тезис 3).

Сложение этих аргументов вместе порождает фундаментальное предсказание классического марксизма о судьбах капитализма: капитализму внутренне присуща тенденция к созданию условий как для своего собственного разрушения, так и для победы социализма в качестве его альтернативы. По мере того как экономическое воспроизводство капитализма становится все более проблематичным и нестабильным, у социальных сил, заинтересованных в трансформации капитализма, все в большей мере увеличивается способность эффективно бороться против капитализма. В таких условиях практически не возникает необходимости размышлять по поводу институционального устройства общества, являющегося альтернативой капитализму. С учетом интересов и возможностей соответствующих социальных субъектов (акторов) социализм будет изобретен в процессе прагматического, творческого, коллективного экспериментаторства тогда, когда он станет «исторической необходимостью». < ... >

К сожалению, существует мало свидетельств в пользу научной обоснованности теории о судьбе капитализма в том виде, как она была изложена выше. И хотя теория Маркса о динамике капиталистического развития содержит множество прозорливых идей относительно внутреннего строения капиталистической формации в период раннего нерегулируемого промышленного капитализма с его резкой социальной поляризацией и хаотическими кризисными тенденциями, фактическая эволюция капитализма в двадцатом веке не представила подтверждений истинности ключевых положений марксистской теории.

Во-первых, относительно тезиса о неустойчивости капиталистического развития: хотя капитализму действительно внутрен-

не присущи кризисные тенденции, нет никаких эмпирических доказательств того, что эти кризисы обладают какой-либо долгосрочной тенденцией к интенсификации. Кроме того, имеются серьезные ошибки в принципиальном теоретическом аргументе, выдвинутом Марксом относительно того, что капитализму присущ предел собственной устойчивости. В частности, не находит подтверждения наиболее систематизированный аргумент в пользу этого его предсказания – теория относительно тенденции к падению совокупной нормы прибыли.

Маркс полагал, основываясь на трудовой теории стоимости, что общие доходы формируются исключительно за счет труда работников, которые приводят в действие средства производства (то, что он называл «живой труд»). Поскольку капиталоемкость (или то, что Маркс называл «органическое строение капитала») имеет тенденцию к увеличению с развитием капитализма, и, следовательно, стоимость капитала относительно стоимости труда с течением времени возрастает, то способность капитализма генерировать прибыль снижается согласно пропорции общего числа издержек и, таким образом, норма прибыли имеет тенденцию к снижению. Несостоятельность данного теоретического вывода, как неоднократно было показано, является в равной степени следствием ошибок в трудовой теории стоимости, на которой этот вывод базируется, а также отдельных недостатков в его собственной аргументации относительно воздействия капиталоемкости на норму прибыли. Другая основная идея классического марксизма о тенденции к интенсификации кризисов при капитализме (вследствие проблемы перепроизводства) также не подтвердилась никаким внутренне присущим ему усилением кризисов, особенно когда было признано, что государство и другие инновационные институты способны генерировать повышенный спрос, чтобы поглотить избыточную продукцию. Поэтому первый фундаментальный тезис классической марксистской теории об исторической эволюции капитализма – тезис о том, что капитализму присуща неотъемлемая тенденция, в конечном итоге, потерять способность к воспроизводству – не может быть под-
держан.

Во-вторых, относительно тезиса об усилении антикапиталистической классовой борьбы и тезиса о естественном переходе к социализму: теория формирования классов и классовой борьбы, которая подкрепляет аргументы в пользу того, что социализм является будущим капитализма, также достаточно проблематична. Существует мало доказательств в поддержку классического марксистского взгляда на то, что главной тенденцией для структурно определенных классов станет стремление организоваться как коллективные социальные субъекты на базе своих классовых интересов, как и на то, что выражаемые классовые интересы рабочих, организованных таким образом, становятся все более антикапиталистическими. Вместо того чтобы стать упрощенными и более поляризованными, классовые структуры в капиталистическом обществе становятся все более сложными и дифференцированными. Даже внутри рабочего класса, материальные условия жизни которого по Марксу должны все более ухудшаться, а социальное строение становится более однородным, наблюдается увеличение социальной неоднородности по многим аспектам во многих частях мира. Кроме того, даже независимо от неудач в своих прогнозах относительно того, как эволюция капиталистического развития повлияет на классовую структуру, классический марксизм не предвидел того, что различные институты социального воспроизводства, которые развиваются в рамках капитализма, окажутся настолько надежными, гибкими и эффективными. В результате, как оказалось, существует гораздо больше непредвиденных обстоятельств и неопределенности в отношениях между классовой структурой, формированием классов и классовой борьбой даже в долгосрочной перспективе, чем было признано допустимым согласно классической теории марксизма.

Но если капитализму не присуща тенденция к постепенному ослаблению и в конечном итоге к потере устойчивости и если классовым силам, выступающим против капитализма, не присуща тенденция стать коллективно более сильными, и, как следствие, более способными к тому, чтобы бросить вызов капитализму, то, значит, отсутствуют и веские основания для прогно-

зирования того, что социализм, даже в долгосрочной перспективе, сможет прийти на смену капитализму. Из этого, конечно же, не следует обратное – что социализм не является возможным будущим для капитализма или что он не представляет из себя даже невероятного проекта такого будущего – это просто свидетельствует о том, что традиционная марксистская теория не дает прочной основы для любых прогнозов относительно вероятности такого исхода.

Если отвергнуть тезис традиционной теории об исторической судьбе капитализма, то остается лишь задаться вопросом: Что же тогда осталось от марксизма? Может быть, все, что от него осталось, – это несколько разрозненных, едва сохраняющих свою значимость теоретических представлений из арсенала марксистского наследия, как это предлагают сторонники направления, ориентированного на «использование марксизма». Вопреки этому подходу мы будем выступать за то, что от классического марксизма нам осталось концептуальное ядро, способное обеспечить основу, на которой марксизм может быть перестроен или построен заново. Существуют два основных направления этой перестройки. Во-первых, можно попытаться восстановить теорию динамики капиталистического развития, освободив ее от традиционной приверженности раскрытию имманентного пути исторической эволюции в направлении пункта конечного назначения. Последняя по времени работа Джованни Арриги [Arrighi, 1994] может служить примером такой перестройки. Кроме того, можно обратиться ко второй группе традиционных марксистских тезисов, относящихся к теории противоречивого воспроизводства капиталистических классовых отношений, и попытаться построить социологический марксизм на этой основе. Именно этой стратегии мы следуем в данной работе. Она включает в себя выявление тех причинно-следственных процессов, характерных для капиталистического общества, которые имеют широкие последствия как для природы институтов в такого рода обществах, так и для перспектив социальных изменений освободительного характера. Однако это не будет попыткой определить внутренне присущую динамику процесса, который продвигает

эти общества к конкретным пунктам назначения на освободительном пути. Проблема противостояния капитализму останется центральной точкой отсчета для предлагаемой здесь концепции социологического марксизма, при этом социализм больше не будет рассматриваться как историческая необходимость, а лишь как потенциальный результат стратегии, ограничений и чрезвычайной ситуации. Обратимся теперь к рассмотрению основных концепций, которые составляют основу этого перестроенного социологического марксизма. <...>

Социологический марксизм: теория противоречивого воспроизводства классовых отношений

<...>

Марксистская теория противоречивого воспроизводства капиталистических классовых отношений основывается на трех основных тезисах:

1. *Тезис об общественном воспроизводстве классовых отношений.* В силу своего эксплуататорского характера классовые структуры являются крайне нестабильными формами общественных отношений и требуют активных институциональных механизмов для своего воспроизводства. Отсюда следует вывод, что там, где существуют классовые отношения, будут развиваться различные формы политических и идеологических институтов, предназначенные для их защиты и воспроизводства. В классическом марксизме их, как правило, называют политической и идеологической надстройкой, при помощи которой воспроизводится экономический базис.

2. *Тезис о противоречиях капитализма.* Институциональным решениям проблемы общественного воспроизводства капиталистических классовых отношений в любой момент времени присуща систематическая тенденция к ослаблению и постепенной утрате своей функциональности. Это происходит по двум основным причинам: во-первых, динамика развития капитализма порождает изменения в технологии, процессе труда, классовой структуре, рынках и других аспектах капиталистических отношений, и эти изменения постоянно порождают новые проб-

лемы для общественного воспроизводства. Говоря в общем, ранее принятые институциональные решения перестают быть оптимальными в условиях таких изменений. Во-вторых, субъекты классовых отношений адаптируют свои стратегии с тем, чтобы воспользоваться недостатками существующих институциональных механизмов. С течением времени эти адаптивные стратегии, как правило, подрывают способность институтов общественного воспроизводства эффективно регулировать и сдерживать классовую борьбу.

3. *Тезис об институциональном кризисе и обновлении.* Из-за постоянной необходимости в деятельности институтов общественного воспроизводства (тезис 1) и тенденции к постепенному ослаблению репродуктивного потенциала данных институциональных механизмов (тезис 2) институты общественного воспроизводства в капиталистическом обществе, как правило, будут периодически обновляться. Типичными обстоятельствами для такого обновления будет институциональный кризис, т. е. ситуация, в которой организованные социальные субъекты, в особенности классовые акторы, начинают ощущать, что система институциональной поддержки не справляется со своими задачами, поскольку она утрачивает свою способность сдерживать классовые конфликты в допустимых пределах. Такое институциональное обновление может быть либо частичным, либо может быть связано с драматическими изменениями институциональной конфигурации. Это, однако, не подразумевает ни того, что вводимые новые институциональные решения будут носить оптимальный характер, ни того, что капитализм рухнет из-за неоптимального институционального устройства. Мы утверждаем только, что капиталистическое развитие будет отмечено последовательным рядом эпизодов институциональной реконструкции в ответ на возникающие противоречиями в воспроизводстве капиталистических отношений.

Эти три тезиса обеспечивают системообразующие рамки, которые связывают воедино основную проблематику социологического марксизма. Как и в случае с теорией об исторической судьбе капитализма, они предназначены не для того, чтобы быть

просто предметом дискуссий по поводу их интерпретации, а для того, чтобы выявить реальные механизмы, которые присущи реальным институтам. <...>

Тезис об общественном воспроизводстве классовых отношений

В фундаментальном смысле вопрос общественного воспроизводства распространяется на все виды социальных отношений. Ни один тип социальных отношений, будь то дружеские отношения, отношения власти внутри организации, гендерные или классовые отношения, не может просто продолжать свое существование по инерции в изначально заданной форме. Их функционирование всегда сопровождается деятельностью, связанной с поддержанием регулируемых ими общественных отношений. Однако это не просто набор добровольных поступков волонтаристски действующих лиц; такая деятельность по поддержке социального порядка сама подвержена структурированию со стороны общественных отношений. Фундаментальной метатеоретической идеей, которую социологический марксизм разделяет со многими другими течениями социологической теории, здесь является следующее положение: социальные отношения воспроизводятся (и преобразуются) через социальную деятельность, которая структурируется общественными отношениями. Хотя общественное воспроизводство является общим моментом для всех разновидностей социальных отношений, разные виды общественных отношений создают различные виды проблем для общественного воспроизводства. Классовые отношения, в силу своего эксплуататорского характера, являются примером такого рода социальных отношений, для которых общественное воспроизводство представляется особенно сложным и проблематичным делом, требующим развертывания значительных ресурсов, социальной энергии и институциональных разработок. Это происходит по двум причинам.

Во-первых, эксплуататорские классовые отношения – это отношения, в которых для блага одних людей причиняется реальный вред некоторым другим людям. Социальным отношениям,

в рамках которых возникают антагонистические интересы, всегда присуща тенденция генерировать конфликты, в которых те, кому наносят вред, будут пытаться изменить эти отношения. Осознание факта активизации усилий по изменению такого характера отношений накладывает большую нагрузку на практику воспроизводства этих отношений; поскольку общественному воспроизводству не просто нужно противодействовать долгосрочной тенденции к распаду или появлению отклонений в этих отношениях, но и бороться с активными формами противостояния и сопротивления им.

Во-вторых, система эксплуатации дает эксплуатируемым важную форму власти. Поскольку эксплуатация основана на изъятии трудовых усилий и так как люди всегда сохраняют определенную степень контроля над своими собственными усилиями, у них всегда есть способ противостоять своим эксплуататорам, используя, по крайней мере, некоторые возможности для сопротивления эксплуатации. Таким образом, налицо общественные отношения, которые порождают не только антагонизм интересов, но и такое положение, при котором люди, находящиеся в рамках этих отношений в неблагоприятном положении, обладают присущими им источниками силы, чтобы противостоять своей эксплуатации.

С учетом этих особенностей эксплуататорских классовых отношений, первый социологический тезис марксизма содержит предсказание о том, что там, где капиталистические классовые отношения являются стабильными, обязательно будет существовать целый комплекс сложных институциональных устройств по воспроизводству этих отношений. Важной представляется суть этого прогноза, от которой зависит возможность его реализации при определенных условиях. Она заключается не в том, что классовые капиталистические отношения всегда будут сохранять стабильность, а в том, что сохранение подобной стабильности там, где это происходит, требует активной институциональной поддержки. Таким образом, здесь применяется своего рода квазифункционалистская логика рассуждений, поскольку классовые системы рассматриваются как структуры, порождающие

серьезные проблемы для своего собственного воспроизводства, проблемы, которые, как правило, вызывают конструирование различных решений. Однако здесь отсутствует гомеостатическое предположение о том, что эффективные функциональные решения всегда так или иначе будут найдены. В действительности же, одной из центральных задач марксистского социологического изучения проблемы социального воспроизводства является именно анализ способов, под воздействием которых подвергается сомнению и подрывается, погружаясь в противоречия, общественное воспроизводство как таковое.

Эти институциональные механизмы общественного воспроизводства классовых отношений существуют как на микроуровне классовых отношений, так и на уровне макроинституциональной поддержки капитализма. На микроуровне ключевой проблемой является понимание того, каким образом согласие и принуждение проявляются в повседневной практике, особенно в процессе труда. На макроуровне центральной проблемой будет выявление способов, при помощи которых различные аппараты – государство, СМИ, система образования – способствуют стабилизации классовых структур.

Большая часть теоретических и эмпирических работ в рамках неомарксизма в период с 1960-х по 1980-е годы была посвящена исследованию проблемы общественного воспроизводства. В качестве примера можно привести исследование системы образования Боулза и Гинтиса [Bowles and Gintis, 1976] в котором они проанализировали функциональное соответствие между практикой школьного обучения и классовой принадлежностью детей. Ученые пришли к выводу, что в школах, в которых учатся преимущественно дети рабочих, основной упор в педагогической практике делается на вопросы развития дисциплины и послушания, способствуя тем самым формированию будущей роли этих детей, предназначенных для того, чтобы влиться в ряды трудящихся, эксплуатируемых на производстве. В школах же, рассчитанных в основном на детей представителей среднего класса или элиты, система обучения нацелена на развитие у учащихся автономии и творческого подхода, которые позволят им

более эффективно выполнять свою будущую роль господ и руководителей производства. Таким образом, система школьного образования помогает решать проблемы воспроизводства классовых отношений: она готовит детей с различным классовым происхождением к тому, чтобы эффективно функционировать в предназначенном для них общественном классе. В работе Пола Уиллиса [Willis, 1977] также исследуется, каким образом школы формируют контекст воспроизводства классовых отношений, но в его анализе основное внимание сосредоточено на тех способах, которыми различные формы сопротивления влияют на воспроизводство положения субъекта в классовой структуре. Майкл Буравой [Burawoy, 1979] в работе, посвященной проблеме «производственного согласия» среди фабричных рабочих, утверждает, что организация труда совместно с политическим режимом производства генерирует согласие рабочих с господством менеджмента и одновременно затушевывает существо капиталистической эксплуатации. Пржеворски и Спраг [Przeworski and Sprague, 1986] изучили способы, которыми избирательное законодательство в странах капиталистической демократии направляет политические устремления рабочего класса, которые могут потенциально угрожать капиталистическим интересам, на деятельность, согласующуюся с воспроизводством капитализма, создавая тем самым условия для сохранения гегемонной формы правления. В каждом из этих случаев налицо проблема воспроизводства классовых отношений, которая порождается потенциалом сопротивления капиталистической эксплуатации и господству. Предпринимаемые институциональные решения не устраняют этот потенциал в целом, но в случае успеха им удастся сдерживать такое сопротивление в допустимых пределах.

Тезис о противоречиях капитализма

Если бы социологический марксизм был просто теорией общественного воспроизводства классовых отношений, то он мог бы легко превратиться в одну из разновидностей функционализма. И, разумеется, марксистский анализ часто обвиняют (иногда

справедливо) в этом за свойственный ему подход ко всем социальным институтам как к функциональным структурам, предназначенным для обеспечения стабильности капитализма и защиты интересов класса капиталистов. К примеру, большая часть дебатов по поводу влиятельных работ Луи Альтюссера [Althusser, 1971] об идеологии и Никоса Пулантаса [Poulantzas, 1973] о капиталистическом государстве была сконцентрирована на том, в какой степени на их аргументацию наложил свой отпечаток функционализм.

Тезис о противоречиях капитализма позволяет избежать такого рода функционализма. В нем утверждается, что общественное воспроизводство классовых отношений является нестабильным и проблематичным, как вследствие влияния тех методов, из-за которых сами институты воспроизводства становятся объектами атак, так и из-за способа, которым капиталистическое развитие постоянно разрушает возможности для потенциально функционального решения его проблем.

Тенденция институтов общественного воспроизводства к постепенному ослаблению также была предметом серьезного исследования и теоретических дискуссий. Так, в работе Дж. О'Коннора [O'Connor, 1973] о финансовом кризисе государства утверждается, что структуре государственных расходов, которые возникают с целью нейтрализовать определенные кризисные тенденции капитализма и содержат классовый конфликт, присущи внутренние противоречия, которые в конечном итоге вызывают финансовый кризис, требующий определенных институциональных преобразований. В исследовании Абрахэма [Abraham, 1981], посвященном периоду Веймарской республики в Германии, утверждается, что адаптивные стратегии различных классовых субъектов, которые использовали институциональные возможности того периода, в конечном итоге сделали невозможным формирование стабильного руководящего политического блока, способного к воспроизводству немецкого капитализма в существующих конституционных рамках. В работе Шварцмана [Schwartzman, 1989] по истории первой Португальской республики показано расчленяющее влияние глобальной экономики,

которое делает невозможным консолидацию господствующего класса, что в итоге приводит к установлению диктаторских режимов. В аналитической работе Клауса Оффе [Offe, 1984], посвященной «кризису кризисного управления», рассматривается, как формы рациональности, разработанные в рамках государственных институтов в целях снижения социальной напряженности, связанной с перераспределением, теряют свою функциональность при необходимости более глубокого вмешательства государства в производство с целью стабилизации условий капиталистического воспроизводства. В трудах представителей французской нормативной школы и американской школы социальных структур накопления утверждается, что сразу после Второй мировой войны начался период консолидации институциональной структуры под названием «фордизм», в рамках которого объединился особый вид государственной деятельности с моделью капиталистического производства и классового компромисса. Этот институциональный механизм способствовал стабильному, устойчивому воспроизводству условий, благоприятных для капиталистического накопления. Однако процесс капиталистического развития, подстегнутый созданием такой конфигурации, в конечном счете настолько увеличил силы и возможности рабочих, что стал подрывать институциональный потенциал поддержания воспроизводства самих этих условий, что, в свою очередь, привело к «кризису фординизма».

Тезис об институциональном кризисе и обновлении

Заключительный ключевой тезис социологического марксизма состоит в том, что снижение эффективности институтов общественного воспроизводства будет сопровождаться попытками институционального обновления, предпринимаемыми, как правило, в ответ на явления кризисного характера. Прогноз марксизма в данном случае заключается в том, что такое институциональное обновление будет нацелено на обеспечение коренных интересов капиталистического класса, однако в марксизме отсутствует предсказание относительно того, что принимаемые решения всегда будут оптимальными для капиталистов, и того,

что капиталисты никогда больше не будут вынуждены идти на значительные компромиссы в целях консолидации новых институтов.

Некоторые из наиболее интересных исследований социологического марксизма концентрируют внимание на процессах генерирования новых институциональных решений для решения проблемы общественного воспроизводства классовых отношений. К примеру, Дэвид Джеймс [James, 1988] исследует, как в период после Гражданской войны и уничтожения рабства в США класс плантаторов Юга столкнулся с серьезной проблемой воспроизводства своего классового влияния. Автор показывает, как создание радикального государственного устройства на американском Юге после окончания Реконструкции сделало возможным воспроизведение такой особенно репрессивной формы извлечения трудовых усилий, как издольщина. Затем он показывает, как окончательная ликвидация издольщины к середине XX в. заложила основу для успешной борьбы против расистской политики государства. В работе Р. Эдвардса [Edwards, 1979] показано, как новые институциональные механизмы для управления трудом создаются в ответ на давление, порождаемое новыми технологиями и сопутствующими изменениями в трудовом процессе. Большая часть исследований социальной демократии и неокорпоратизма может рассматриваться как анализ процесса институционализации новых форм «классового компромисса», призванных решать проблемы классовой борьбы и общественного воспроизводства в условиях экономического кризиса.

Тезис об институциональном кризисе и обновлении, в совокупности с тезисом о противоречиях капитализма, недвусмысленно утверждает, что капиталистические общества характеризуются внутренне присущей им динамикой изменений. В этом смысле он похож на теорию исторического пути развития и судьбы капитализма. Но в отличие от амбициозной теории исторического развития, содержащейся в классическом марксизме, в нем отсутствует заявление о том, что процесс «прерывающегося равновесия» в институциональных изменениях нацелен на достижение некоей предсказуемой точки назначения. Все, что содер-

жится в этом предсказании, — это модель эпизодических реорганизаций капитализма и институтов, его поддерживающих, вследствие эрозии процессов социального воспроизводства, а отнюдь не то, что, накапливаясь, эти реорганизационные эпизоды якобы порождают тенденцию к увеличению вероятности наступления социализма. <...>

Заключение

Итак, основные теоретические идеи марксизма можно сгруппировать в три основных кластера: теория эволюции и исторической судьбы капитализма, или исторический материализм; теория противоречивого воспроизводства капиталистических отношений, или социологический марксизм; наконец, теория освободительной альтернативы капитализму.

Классическая теория марксизма была разработана на ранних стадиях промышленного капитализма. В ней нашла свое блестящее отражение историческая динамика того периода: необычайная сила капитализма, направленная на то, чтобы изменить мир, разрушить уже существующие классовые отношения и формы общественной организации, а также внутренне присущая ему тенденция к кризису и саморазрушению. Эта динамика саморазрушительной логики капитализма получила свое цельное теоретическое осмысление в теории исторического материализма.

Социологический марксизм присутствовал в зачаточной форме в классическом марксизме, но лишь позднее он превратился в самостоятельную, развитую теоретическую основу, необходимую для понимания того разнообразия новых социальных институтов, которые были построены вокруг капитализма для противодействия его склонности к саморазрушению. Исторический материализм и социологический марксизм дополняли друг друга: один объяснял траекторию исторической эволюции и конечную судьбу капитализма, другой изучал препятствия для движения общества по этой траектории. Вместе они обеспечили теоретическую основу для деятельности марксистски ориентированных политических партий, которые видели свою миссию в преодолении этих препятствий, воплощенных, в частности,

в государстве, и, благодаря этому, в скорейшем достижении предначертанной судьбы.

До тех пор, пока идеи исторического материализма были приемлемы, для социологического марксизма не было особой необходимости развивать освободительную теорию, которая выходила далеко за пределы критики капитализма. Но стоит лишь отказаться от ключевых тезисов исторического материализма – о неустойчивости капиталистического развития и обострении классовой борьбы, как развитие освободительной теории приобретает очень важное значение для развития марксизма. Социологический марксизм требует, чтобы сейчас мы уделяли пристальное внимание разработке альтернатив капитализму, так как конец капитализма больше не является внутренне присущей ему тенденцией, а предпринимавшиеся попытки строительства социализма не были успешными. Освободительная теория реконструированного марксизма должна изучать опыт государственного социализма для извлечения из него уроков относительно того, чего следует избегать, и того, что может быть вполне приемлемо. Но еще более важным является развитие концепций реальных утопий, основанных на использовании действующих социальных институтов капитализма, и анализ тезиса о том, что эти прикрывающие капитализм с флангов институты уже сами по себе потенциально содержат семена альтернативного общества.

Социологический марксизм без марксизма освободительно-го вырождается в циничную, пессимистическую критику капитализма, которая, в конечном счете, поощряет пассивность перед лицом огромного потенциала капитализма для своего воспроизводства. Освободительный марксизм без социологического марксизма склонен впадать в безосновательный утопизм, что лишает его серьезных оснований в условиях реальных противоречий капитализма и возможности овладеть умами людей. Только путем развития марксизма в сочетании этих двух компонентов можно нейтрализовать воздействие нынешнего образа очевидной естественности и неизбежности капитализма, способного обратить все альтернативы капиталистическим отношениям в надуманные проекты, которые невозможно реализовать.

Литература

- Arrighi G.* The Long Twentieth Century. London: Verso, 1994.
- Bowles S., Gintis H.* Schooling in Capitalist America. New York: Basic Books, 1976.
- Willis P.* Learning to Labor. Farnborough, England: Saxon House, 1977.
- Burawoy M.* Manufacturing Consent. Chicago: Chicago University Press, 1979.
- Przeworski A., Sprague J.* Paper Stones. Chicago: University of Chicago Press, 1986.
- Althusser L.* Ideology and Ideological State Apparatuses. In Lenin and philosophy and other essays. London: New Left Books, 1971. P. 127–186.
- Poulantzas N.* Political power and social classes. London: New Left Books, 1973.
- O'Connor J.* The Fiscal Crisis of the State. New York: St. Martin's Press, 1973.
- Abraham D.* The Collapse of the Weimer Republic. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1981.
- Schwartzman K.* The Social Origins of Democratic Collapse. Lawrence: University of Kansas Press, 1989.
- Offe C.* The contradictions of the welfare state. Cambridge, MA: MIT Press, 1984.
- James D.* The Transformation of the Southern racial State: Class and Race Determinants of Local-State Structures. American Sociological Review, 1988. P. 191–208.
- Edwards R.* Contested Terrain. New York: Basic Books, 1979.

Перевод с английского Г. Н. Соколовой

**ГРАНОВЕТТЕР Марк
(GRANOVETTER Mark)**

(р. 1943)

Марк Грановеттер (р. 20.10.1943, Джерси-Сити, Нью-Джерси, США) – американский социолог, профессор фонда Джоан Батлер Форд в Школе гуманитарных и естественных наук Стенфордского университета. Преподает экономическую социологию, социальную стратификацию и социологическую теорию на отделении социологии данного университета.

Грановеттер получил степень бакалавра гуманитарных наук (BA) в Принстонском университете (1965) и докторскую степень (PhD) в Гарвардском университете (1970). Тема диссертации: «Переход с работы на работу: информационные каналы мобильности среди населения пригородов». Работал в Северо-западном университете, Университете штата Нью-Йорк и Университете Дж. Хопкинса. С 1986 г. Грановеттер – редактор «Cambridge University Press series» по теме «Структурный анализ в социальных науках»; выпустил более 30 томов по социологии, антропологии, политическим наукам, истории и статистическим методам.

В сфере экономической социологии Грановеттер стал лидером после опубликования статьи «Экономическое действие и социальная структура: проблема укорененности», послужившей началом «новой экономической социологии». Главная идея статьи состоит в том, что экономические отношения между индивидами и фирмами укоренены в актуальных социальных сетях и не существуют в абстрактном идеализированном рынке. Изначально концепция укорененности (embeddedness) была описана К. Поланьи в книге «Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего времени». Большое влияние на развитие сетевого подхода в социологии оказала работа Грановеттера «Социологический и экономический подходы к анализу рынка труда: социально-структурный взгляд». Концепция и исследовательские находки этой работы стимулировали многие работы других авторов.

В настоящее время научная деятельность Грановеттера сосредоточена на трех основных проектах. Первый – общий обзор тенденций экономической социологии под названием «Общество и экономика: социальная конструкция экономических институтов». Второй проект представляет собой изучение истоков и раннего развития электроэнергетики в США. В ходе интенсивных исследований обосновывается, что одни хозяйствующие субъекты, мобилизуя финансовые, технические и политические ресурсы через свои социальные и профессиональные сети, продвигают электроэнергетику успешнее, чем другие. Третий проект под названием «Социальные сети Силиконовой долины» является попыткой «картографировать» социальные сети и их эволюцию во времени. Конечным результатом исследования должно стать социологически обоснованное описание «промышленного региона».

Основные работы: «Сила слабых связей» (1973). «Экономическое действие и социальная структура: Проблема укорененности» (1985), «Социологический и экономический подходы к анализу рынка труда: социально-структурный взгляд» (1992), «Устройство на работу: исследование контактов и карьер» (1995), «The Sociology of Economic Life» (Под ред. М. Грановеттера и Р. Сведберга) (1992).

В предлагаемой работе обосновано, что улучшение методологии создания моделей рынка труда станет результатом объединения экономических исследований инструментального поведения с измерением «укорененности» экономических действий в сетях социальных и экономических связей и экономических отношений.

ГРАНОВЕТТЕР МАРК

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ РЫНКА ТРУДА: СОЦИАЛЬНО-СТРУКТУРНЫЙ ВЗГЛЯД¹

Введение. Социологический и экономический подходы к анализу рынка труда

Освещаются современные экономические и социологические работы, имеющие отношение к рынку труда, сравнение которых обнаруживает различия между этими дисциплинами в стратегии

¹ Granovetter M. The Sociological and Economic Approaches to Labor Market Analysis: A Social Structural View // The Sociology of Economic Life / Ed. by M. Granovetter and R. Swedberg. – San Francisco, 1992. – P. 233–237, 243–257 (в сокр.). Пер. с англ. Г. Н. Соколовой.

и обосновании гипотез. Особое внимание уделяется тем исследованиям, которые фиксируют внимание на включенности (Granovetter, 1985) поведения на рынке труда в сети социального взаимодействия и демографических ограничений. Большинство из этих исследований разделяют с микроэкономикой позицию «методологического индивидуализма», но различаются в том, какое внимание уделяется ограничению в социальной структуре и каким образом удается избегать аргументов, характерных для функционального подхода в рамках неоклассической теории.

С социологической точки зрения, версия методологического индивидуализма, часто встречаемая в работах экономистов, означает, что индивидуальные акторы (действующие лица) анализируются так, как если бы они были изъяты из системы их отношений с другими, решений и поведения этих других, а также из прошлой истории этих отношений. Подобный атомизированный взгляд на экономическое действие имеет длительную историю в классической и неоклассической экономике. Это затрудняет адекватное понимание, даже в строгих рамках методологии индивидуализма, того, как индивидуальные действия могут агрегироваться на уровне институтов, тем более что агрегация осуществляется через сети взаимосвязей. Вследствие неплототворности этого атомизированного взгляда и неубедительности объяснения причин возникновения институтов возникает соблазн выдвинуть предложения функционалистского плана, что эти институты возникают потому, что наилучшим образом соответствуют ситуативным обстоятельствам. Подобные предположения не имеют достаточных аргументов тестирования рынка и выживание тех или иных групп и слоев представляют как результат «естественной селекции». Хотя механизм этой селекции обычно неясен, наиболее общее мнение таково, что сфера его действия – предоставление возможности для выгодной торговли или получения прибыли тем, кто развивается наиболее эффективно. Более детальное исследование показывает, что данные предположения сильно зависят от других предположений относительно информации, производительности и мотивации, которые нельзя проверить без рассмотрения социальной структуры, включающей в себя атомизированных акторов.

Другим главным различием между экономическим и социологическим подходами в сфере рынков труда является отсутствие в экономической литературе рассмотрения феномена переплетения экономических и неэкономических мотивов. Когда мы преследуем экономические цели в нашем общении с другими людьми, то они обычно переплетаются со стремлением к общительности, получению одобрения от окружающих, достижению определенного статуса и властных полномочий. Хотя подобные цели в большинстве случаев отсутствуют в экономическом мышлении (как его понимают экономисты), из этого не вытекает, что их преследование нерационально. Возможно, социологи в гораздо большей мере, чем экономисты, *изучают* нерациональное поведение, однако исследование рационального действия часто становится центральным в их работах [Blau, 1964, Heath, 1976, Homans, 1974]. Что касается нынешнего положения, то наиболее интересным интеллектуальным упражнением является построение моделей, в которых рассматриваются *только* экономические мотивы.

Сдвиг в экономических оценках мобильности на рынке труда

Классическая экономическая оценка рыночной мобильности долгое время являлась предпочтительной. Мобильность способствует перемещению труда из регионов с низким в регионы с высоким спросом на рабочую силу. Однако с течением времени позиции экономистов изменялись. Так, в начале XX в. институциональные экономисты начали спорить между собой относительно издержек, связанных с размерами перемещений; оценка изменилась и слово «*перемещение*» вошло в моду. Пока что *мобильность* и *перемещение* имеют несколько различные значения: первое относится к индивиду, а второе – к фирме как единице анализа; дополнительные значения расходятся еще больше. Термин «*перемещение*» впервые был применен С. Сlichter в его статье «*Масштаб и природа проблемы рыночных перемещений*» [Slichter, 1920].

Маятник мнений качнулся назад при появлении работы Бэкки «*Трудовая мобильность и экономические возможности*» [Bakke, 1954]. Бэкки отмечал, что свободное перемещение труда является частью проблемы, ответственной за флексибильность (гибкую политику фирм), посредством которой миллионы людей и огромное количество работ находят друг друга для реализации предприимчивости, инициативы, стимулов, изобретений, а также для саморазвития и приобретения навыков, которые способствуют общему экономическому развитию.

В 1970-х годах наблюдался другой сдвиг – возврат к негативному взгляду на трудовую мобильность. Дело в том, что установка на мобильность столкнулась с другой установкой исследователей – на долговременность занятия той или иной работой и на хорошо развитые внутренние трудовые рынки. В начале XX в. мобильность осуждалась, потому что она ощущалась как исключительно высокая, и одобрялась в 1950-х годах, когда она казалась слишком низкой, чтобы обеспечить гибкую реакцию на изменение в экономических нуждах. Обе реакции были критическими по отношению к условиям существующего рынка труда. Современный сдвиг к одобрению иммобильности на внутренних рынках не является, однако, результатом уверенности в том, что мобильность стала чрезмерной. Наоборот, она исходит из новой тенденции в экономике, раскрываемой термином «*новая институциональная экономика*», которая возвращает трудовых экономистов и других исследователей труда от «старых» институционалистских представлений, продемонстрировавших свою неспособность к решению сложных проблем трудовых перемещений, к новым эффективным решениям экономических проблем, более сложных, чем первоначально признаваемые. В этом новом, еще не оформленном терминологически течении неоклассической теории внутренние трудовые рынки, права собственности, определенная безработица, корпоративная иерархия и различные мероприятия правового плана реабилитировались как экономически эффективные.

Высокая мобильность стала рассматриваться как положительное явление только применительно к стадии работы в мастер-

ской. Минкер и Джовановик считают, что рабочие, высокоомобильные в своей прежней работе, не получают достаточно инвестиций в специфически стойкий человеческий капитал и одной из причин этого является «неэффективность сочетания их способностей с выполняемой работой». Ситуация, когда мобильность сохраняется высокой вне стадии работы в мастерской, считается патологической и, возможно, «устойчивое перемещение рабочей силы объясняется малыми инвестициями в человеческий капитал» [Mincen and Jovanovic, 1981].

Я оцениваю старые и новые истории относительно трудовой мобильности путем сопоставления социологических и экономических подходов, обращая особое внимание на включенность мобильности в социально-структурные ограничения. Я рассматриваю различные факторы, которые детерминируют мобильность, начиная с ее теснейшей связи с индивидуальным рабочим и продолжая в широком контексте рыночной организации. *Я пренебрегаю текущей макроэкономической ситуацией*, т. е. уровнем безработицы, хотя и общепризнано, что она влияет на уровень мобильности. <...>

Неформальные контракты, эффективность заработной платы и поведение занятых

Многие из запутанных головоломок современного труда экономисты объясняют явлением «лояльности» служащих фирмам. Особый интерес представляет воздействие такой лояльности на трудовое усилие служащих и на их решение остаться или покинуть фирму. В экономической литературе существуют два направления по этим вопросам – «неформальные контракты» и «эффективность заработной платы».

Имеется в виду, что «неформальные контракты» не связаны с обязательствами работодателей предлагать такие преимущества, как непрерывность заработной платы, занятость и условия труда, а работников – отказываться от таких искушений, как уклонение от своих обязанностей и увольнение по собственному желанию ради лучших возможностей [Akerlof and Miyazaki, 1980]. Говорят, что подобные контракты создают основу для

недоверия: долгосрочные отношения требуют от работников и работодателей уверенности в том, что ни один из них не поступится интересами другого при возможности сделать это. А. Окуп [Okun, 1980], который рассматривает неформальные контракты как «невидимое рукопожатие», комментирует, что «как и явные, неявные контракты могли бы развиваться, обуздывая роль недоверия, если бы фирмы были обязаны проводить стратегию найма случайных рабочих».

Аргументы относительно эффективности заработной платы имеют менее острый характер. Они адресуются наиболее неразработанному аспекту предложения труда, который связывается с индивидуальным трудовым усилием. Построение моделей исходит из того, что производительность труда работников зависит отчасти от их заработка, и это предположение вытекает из общепринятой гипотезы о том, что производительность труда задается технико-технологическими условиями, определяемыми функцией производства. Тем не менее некоторые модели концепции «эффективность – заработная плата» становятся устойчивым основанием неоклассической теории, выявляя, что отношение между заработной платой и производительностью является вопросом того, как организуются стимулы к труду. Более высокая, чем среднерыночная, заработная плата для одних означает вынужденную безработицу для других, и эти условия повышают издержки возможных увольнений. Некоторые обоснования концепции «эффективность – заработная плата» исходят из чисто экономических мотиваций, показывая, что более высокая заработная плата может поощрять лояльность работников по отношению к фирме и тем самым влиять на производство через их воздействие на групповые нормы выхода продукции [Akerlof, 1984].

Далее, я сосредоточиваю внимание на социальном контексте, в котором работодатели и работники реально *развивают* ожидания относительно поведения друг друга. Аргументы по поводу неформальных контрактов и эффективности заработной платы описывают поведение работников в слишком атомизированной манере, чтобы охватить наиболее важные силы в рыноч-

ной ситуации, которые влияют на лояльность и трудовое усилие. Моя критика подобного подхода имеет два главных аспекта. Во-первых, отношения между работодателями и работниками трактуются как отношения между индивидами, информация которых друг о друге ограничивается сигналами формального образования или обобщенной репутацией работодателя. Во-вторых, как отношения между работодателем и работником, так и отношения между членами трудовой группы рассматриваются вне их контекста в более крупной трудовой организации, а это исключает отношения *между* группами и каскады действий от группы к группе, влияющие на индивидуальное поведение и социальные отношения (и наоборот).

Существует надежная эмпирическая очевидность, что работодатели и работники встречаются не как незнакомцы, имея потребность полагаться на институциональные соглашения для определения взаимных стимулов. Чаще всего они многое знают друг о друге до вступления в отношения сотрудничества. В моем обследовании вновь принятых работников примерно один из пяти ответил, что получил нынешнюю работу непосредственно от работодателя, которого он уже знал. Один из трех услышал о нынешней работе от кого-то, кто работал на подобной фирме, или от делового партнера работодателя [Granovetter, 1974]. Таким образом, выявилось, что в 80–90 % случаев поиска работы в оборот вовлекались либо контакты будущего работодателя, либо он сам. Если получение сведений о будущей работе через контакты означает, что информация пришла от друзей или от друзей друзей работодателя, – через длинные диффузионные цепочки, – то эта информация не должна быть качественно отличной от той, которую можно получить через средства массовой информации или службу занятости. На самом же деле диффузионные цепочки оказались в подавляющем большинстве короткими, индицируя фокусированную и надежную информацию, связывающую работодателей и работников до того, как произошел найм на работу.

Из других исследований выясняется, что в зависимости от точности задаваемых вопросов от 1/6 до 1/2 тех, кто заключает

новые трудовые контракты, имеют предварительную информацию о работодателе и/или отношения с ним; другая же половина респондентов оказывается ограниченной в своих ожиданиях и доверии. Весьма вероятно, что в малых фирмах источником информации является сам работодатель, и более вероятно, что работники устраиваются через личностные контакты гораздо чаще в малые фирмы (менее 100 чел.), нежели в большие [Granovetter, 1974]; можно предположить, что многие «новые отношения» между работодателем и работником являются реальным продолжением прежнего сотрудничества. Такие малые фирмы более важны в экономической жизни, чем предполагается, исходя из образа типичных служащих крупных мануфактурных фирм. По разным оценкам, доля частного сектора в США с персоналом фирм 100 и более человек колеблется от 49 до 60 %, в том числе с персоналом 20 и менее человек – от 26 до 38 % [Granovetter, 1984]. Характерно, что малые фирмы (100 чел. и менее) производят от 1/2 до 2/3 всех новых работ.

Было бы ошибочным предполагать, что ожидания материальных и духовных благ, заработная плата и разделение решений, уровень трудовой лояльности и трудовое усилие развертываются всецело как результат обширных отношений между работником и работодателем или даже исходя из норм трудовой группы, взятой в изоляции от других групп. Особенно это характерно для организаций, имеющих персонал с большим стажем работы. Когда значительное число работников имеет большой стаж, формируются условия для стабильной сети отношений, разделяемых ценностей и норм, политических коалиций. Линкольн отмечает, что в концепции бюрократии М. Вебера формальные организации «имеют тенденцию функционировать независимо от коллективных действий, которые могут быть мобилизованы через межперсональные сети. Бюрократия описывает фиксированные отношения между позициями, которые непосредственно влияют на организационные операции». Он продолжает обобщать социологические исследования, показывая, однако, что «когда перемещение рабочей силы является низким, отношения приобретают экспрессивный и личностный харак-

тер, который может существенно трансформировать сеть и изменить направление развития организации» [Lincoln, 1982].

Такие внутренние организационные «атмосферы», «культуры» могут сами по себе осуществлять важный дальнейший вклад в индивидуальные привязанности и иметь непосредственное отношение к затратам на трудовое усилие. Хотя концепция, подобная этой, стала популярной в экономической литературе, попыток показать, как возникают те или иные культурные явления, существует не так уж много; скорее, они отслеживаются как социальные факты, с определенным воздействием на ситуацию, где чисто экономических переменных недостаточно для объяснения всего поведения. Мое объяснение состоит в том, что эти «атмосферы» аккумулируют результат социальных отношений, структура и история которых нуждается в серьезном анализе.

Одним из главных вопросов является вопрос о том, каким образом работники проводят сравнение заработной платы, чтобы узнать, справедливо ли оплачивается их труд. Экономист в сфере труда Дж. Данлоп отмечал, что определенные работы являются «ключевыми работами» в том смысле, что если их оплата изменяется, то это влечет за собою цепную реакцию других изменений в оплате ассоциированных работ, которые все вместе составляют «кластер работ». То же самое относится и к фирмам, которые являются ключевыми в этом смысле, и существуют соответственно наборы фирм, образующих «контур заработной платы» [Danlop, 1957]. Доэрингер и Пайори позже отмечали, что работы, «которые включают широкие контакты с другими рабочими, приобретают стратегическую позицию во внутренней структуре заработной платы, которая делает невозможным изменение заработка без регуляции всей системы» [Doeringer and Piore, 1971]. Существует и неявная социально-структурная аргументация относительно того, что работники с большей вероятностью сравнивают свою заработную плату с заработной платой своих коллег, с которыми они часто взаимодействуют. Подобные образцы взаимодействия можно определить как «технологию», включающую способ, которым фирмы

организуют процесс работы в рамках и между групп, и более тщательно изучать ее в будущих исследованиях. Эмпирическое исследование Гартрелла показывает, что чаще всего сравнение заработной платы делается рабочими в *разных* внутренних рынках труда и что эти сравнения связываются не с содержанием работы, а скорее следуют контурам существующих социальных сетей. Он предполагает, что «игнорируя социальные сети вне внутренних рынков труда и информацию о заработной плате, которая распространяется через эти сети, исследователи недооценивают степень взаимосвязи между фирмами, определяющими заработную плату» [Gartrell, 1982].

Внутренние рынки труда и служебное продвижение

Важнейшим фактором, воздействующим на трудовую деятельность и вероятность мобильности между фирмами, являются шансы служебного продвижения в рамках внутренних рынков труда. Экономисты по труду трактовали служебное продвижение как важный аспект неформальных контрактов, в котором заработная плата соответствует производительности труда. Джовановик утверждает, что индивидуальное «контрактирование создает структуру вознаграждений, которая формирует надлежащие сигналы для достижения оптимальных соответствий. Широко распространенным примером является система продвижения, основанная на качестве работ, исполняемых работниками» [Jovanovic, 1979]. Предполагается, что явные различия между работами и увеличение числа уровней в ее иерархии способствуют созданию искусственных барьеров между работниками через конкуренцию в продвижении и позволяют, таким образом, избегать сплочения рабочего класса [Gordon and Reich, 1982]. Все эти мнения не учитывают включенности продвижения и действий индивидов в социальную структуру. Я обосновываю, во-первых, что даже если бы производительность труда легко измерялась, то она не могла бы быть основой или даже основным объяснением шансов служебного продвижения. Во-вторых, я рассматриваю некоторые из трудностей измерения производительности труда. Основаниями для продвижения, не имеющими от-

ношения к производительности труда, являются наличие стажа и этнические признаки.

Принципы продвижения по наличию стажа имеют много общего между собой. Более старшие служащие располагают более длительным временем для развития стержневых ролей в сетях политического влияния и коалиций и более широкими возможностями зарекомендовать себя во мнении тех, кто осуществляет это продвижение. Руководители, которые продвигают работников, не просто «просеивают» таланты, но и реализуют определенную политику назначения на стратегические должности тех, кто лоялен к их личным целям и методам работы. Это может помочь объяснению того, почему даже в профсоюзных учреждениях, согласно Абрахаму и Медоффу, предпочтение в служебном продвижении отдается более старшим служащим. Они рассматривают данное предпочтение скорее как результат действия руководителей учреждений, обладающих стратегическими мотивами и преследующих свои цели (как экономические, так и неэкономические) в установленных сетях социальных отношений, нежели как итог деятельности профсоюзов от имени старших рабочих или как часть некоей разработанной структуры стимулов в наблюдаемых неформальных контрактах [Abraham and Medoff, 1983].

Розенбаум широко исследовал возможности служебного продвижения в крупных компаниях, имеющих «офисы во многих крупных и средних городах одного из регионов США». Допуская, что продвижение необходимо для рекрутирования служащих на более высокие уровни служебной лестницы согласно критериям производительности их труда, он также отмечает важность социального сравнения работников по их достижениям. «Продвижения являются одним из наиболее важных вознаграждений в организации, ... их следует применять таким образом, который дает надежду и мотивацию максимальному количеству служащих». Шансы продвижения, таким образом, «подобны эффективному способу контролирования служащих, предоставляя возможность материальных наград и символов престижности гораздо большему числу людей, чем количество вакансий реального продвижения» [Rosenbaum, 1984].

Критерий чистой производительности труда мог бы ограничивать продвижение более молодых служащих, которым еще предстоит сделать трудовой вклад в организацию и заслужить признание. Но отсечение по возрасту могло бы снизить мотивацию более старших служащих. Медофф и Абрахам [Medoff and Abraham, 1980] отмечают, что в пределах оценочной шкалы те, кто имеет богатый опыт и остается позади своей когорты в относительном продвижении, начинают сомневаться, что они на «быстрой тропе», с последующим снижением трудового усилия. Розенбаум предполагает, что связанных с критическим возрастом разрывов в распределении тех, кто продвинут по служебной лестнице, следует избегать, с тем чтобы «возрастные группы неожиданно не почувствовали себя несоразмерно лишенными материальных и духовных благ по сравнению с более молодой когортой». Его анализ служебных продвижений с 1962 по 1972 год базировался на личностных фактах, поддерживающих данную аргументацию. Он обнаружил далее, что периоды экономического процветания повышают шансы служебного продвижения только для более старших служащих и снижают эти шансы в периоды экономического спада. Это предполагает необходимость осторожности и учета мотивационного компонента подобных служебных продвижений. Таким образом, важность социальных сравнений делает политику служебного продвижения способом воздействия на производственное усилие даже тех, кто не получил продвижения, т. е. более комплексным процессом, нежели далеко не очевидная концепция «заработная плата – эффективность».

Другой детерминантой служебного продвижения, независимой от производительности, является демографическая детерминанта, непосредственно связанная с доступностью возможностей продвижения. Уайт [White, 1970] указывает, что такая возможность происходит в виде цепочек. Уход на пенсию представителей старшего возраста или введение новых видов работ создают вакансии для новых работников. Эти новые лица, занимающие должности, создают вакансии в сфере своих предыдущих работ, которые занимают другими работниками и т. д.

Цепочка вакансий заканчивается, когда в организацию входит индивид, не имеющий опыта прежней работы (например, студент) или когда работа, по которой появляется вакансия, остается незаполненной. Нормы выхода рабочей силы из сферы производства по возрасту или ее вхождения в эту сферу имеют отношение к генеральной демографической популяции, тогда как нормы введения или упразднения работы зависят от производственного цикла. Эти четыре нормы, определяющие протяженности «цепочек вакансий», тесно связаны с числом возможностей служебного продвижения. Стивман и Конда показали, что формальные модели в демографии можно адаптировать к объяснению норм служебного продвижения; эта попытка индицирует сложные взаимодействия между структурой организационных иерархий и размерами различных когорт, проходящих эти иерархии [Stewman and Konda, 1983].

А сейчас обсудим некоторые проблемы измерения производительности труда. Марч и Марч [March and March, 1978] разработали модель «выборочной оценки исполнения», где профессиональное мастерство служащих не вызывает сомнений, но те, кто является ответственным за служебное продвижение, не могут наблюдать его постоянно, а лишь путем случайных выборок. Это происходит как потому, что они не имеют постоянных контактов с теми, кого наблюдают, так и потому, что ситуация, которая индицирует компетентность, может возникать время от времени. В этом случае очевидно, что даже в профессионально однородной популяции карьерный успех может явиться результатом той или иной вариации выборочного образца. Это позволяет выявить одну из причин того, почему пребывание в должности соотносится обратно пропорционально с шансами разделения. Для тех, кто недавно начал работать, выборочные образцы оценки исполнения будут малыми, так что в определение успешности деятельности может вкратиться существенная ошибка в сторону ее повышения или понижения, ведущая к служебному продвижению или увольнению. Что касается служащих с большим стажем работы, то их выборочные образцы оценки исполнения будут более крупными и менее вариативными, а продвижение

или увольнение будут в меньшей степени зависеть от ошибки выборки. Некоторые «звезды» могут, таким образом, проходить систему служебного продвижения вне зависимости от их реальных способностей. Стевман и Конда [Stewman and Konda, 1983] получили сходные результаты при чисто демографическом рассмотрении размера когорты.

В своем эмпирическом исследовании Розенбаум обнаружил большое значение в раннем служебном продвижении прошлых успехов. Так как в высшей школе отслеживаются автобиографии студентов, то ранние победители рассматриваются как «высокопотенциальные» люди, которые не могут быть неправыми и которые имеют дополнительные возможности и шансы; в то время как те, кто не побеждал в ранней конкуренции, почти не имеют шансов проявить себя снова. Согласно Розенбауму, «шансы возможного служебного продвижения, как правило, появляются уже на третьем году трудовой деятельности». По его мнению, оказывается, что производительность труда менее существенна для индивидов, нежели результат социальных ожиданий и взаимодействий, внутренне присущих истории служебного продвижения. Вывод относительно того, что *ранняя мобильность имеет тенденцию быть самоподдерживающей*, имеет очень важное значение.

Внутренние рынки труда, мобильность между фирмами и оптимальность размещения трудовых ресурсов

Преобладание крупных внутренних рынков труда с обширными лестницами служебного продвижения и скрытыми или явными возможностями длительного пребывания в должности должно «расхолаживать» мобильность между фирмами. Имеется в виду, что внутренние рынки ориентированы на самосохранение вне зависимости от характеристик их эффективности. Динамика подобного самосохранения связывается отчасти с относительными пропорциями позиций внутри и вне таких внутренних рынков труда. Доэрингер и Пайори комментируют, что «относительная надежность открытого рынка является функцией от его размеров и разнообразия в его рамках отраслей про-

мышленности. Если какой-либо работодатель изымает работы из конкурентного рынка и размещает их внутри фирмы, то надежность работы для работников других учреждений тем самым снижается, а ценность внутреннего рынка соответственно возрастает» [Doeringer and Piore, 1971]. Структура контактных сетей, генерируемая в системах с крупными внутренними рынками, также осуществляет вклад в их сохранение. Это происходит потому, что мобильность между фирмами генерирует контакты, которые делают возможной дальнейшую мобильность. Например, в системах с малым движением рабочей силы некто знает, главным образом, работников собственной фирмы и лишен возможности перемещаться в другие фирмы, так как его умение не может быть засвидетельствовано с уверенностью, которая вытекает из персонализированной информации.

Сравнивая индивидуальную мобильность работников Йокогамы и Детройта, Коул обнаружил, что в каждой когорте доля постоянных работодателей в Йокогаме в два или три раза больше, чем в Детройте, и что те, кто меняет работодателей в Йокогаме, делают это значительно реже, чем в Детройте [Cole, 1979]. Оказывается, что самосохранение внутренних рынков более вероятно в крупных городских поселениях Йокогамы, где крупные фирмы, которые содержат такие рынки, гораздо более важны, нежели в других частях Японии.

Говоря о служебных перемещениях, я предполагал трудность измерения производительности труда, исходя из включенности ее носителей в структуру социальных отношений. Калькуляция сравнительных преимуществ требует от нас знания не только чьей-то производительности в текущей работе, но также и в других работах, в которые работник мог бы быть включенным. В теоретической литературе по экономике труда в подобные калькуляции включается приписывание работникам одного или более измерений «способности» и различные уровни требований к этим измерениям по отношению к работам. Но такой подход игнорирует эмпирическую реальность относительно того, что производительность не вытекает только из характеристик индивидов и работ. Индивиды в данных работах не атомизированы

от индивидов в других работах, но все вместе они создают систему, которая должна трактоваться как таковая. Очевидно, поэтому не считается целесообразным формировать наборы работ как некую данность, независимо от популяции работников.

Японская «перманентная занятость» скрывает большое число временных рабочих на субконтрактах, число которых не разглашается и которые имеют очень скудный заработок и низкую надежность работы. Такие рабочие классифицируются как временные относительно постоянного состава служащих и позволяют фирмам экономить на издержках прибыли и безопасности работы. В 1974–1975 гг. крупные фирмы увольняли временных рабочих, и, таким образом, шесть тысяч женщин оказались выброшенными из состава рабочей силы. Согласно Коулу, «надежность занятости много выше у беловоротничковых работников, нежели у синеворотничковых, у молодых – нежели у более старших работников, у служащих крупных фирм – чем у служащих малых фирм, у мужчин – чем у женщин. Такая всеобщая система с ее возрастными границами и половой дискриминацией и двойственной практикой рынка труда едва ли представляет модель для решения проблем, с которыми столкнулись Соединенные Штаты» [Cole, 1979].

На уровне фирмы эффективность внутренних рынков труда оставляет желать лучшего. В 1950-е годы эмфазис на флексибельности (гибкости) систем с низкой мобильностью отозвался эхом в японском исследовании Коула, который обосновывает, что внутренние рынки труда были неэффективными в периоды быстрых технологических изменений. «Затраты на образование и обучение, которые ассоциировались с повышением уровня квалификации служащих (кто не имел требуемых навыков), набранных на внешнем рынке, могли быть значительными» [Cole, 1979], но при этом они могли быть приемлемыми вследствие расширяющейся экономики и доминантной позиции этих фирм на их товарных рынках.

Вопрос, как влияет перемещение на эффективность фирм, волнует экономистов и социологов. Социологические исследования показывают, что уровень перемещения позитивно соотно-

сится с формализацией и бюрократизацией в фирмах, так как маловероятно, чтобы без долговременных отношений развивалась ткань неформального взаимодействия. Усилившееся перемещение ассоциируется также с ростом доли администрации в производственном персонале, отчасти вследствие увеличения функций контроля, набора кадров и профессионального обучения, а отчасти потому, что новые администраторы пытаются вводить дополнительный, лояльный к ним штат [Price, 1977]. Но воздействие формализации и возрастание доли администрации в производственном персонале не определяются только абстрактными основаниями; в большей мере это объясняется историей фирмы. Согласно классическому исследованию Гоулднера в сфере горной промышленности, управленческое перемещение вытекало из бюрократизации, которая заменила неэффективный набор неформальных соглашений [Gouldner, 1954]. Однако нельзя заключить, что неформальные коалиции менее эффективны, чем четкие формальные процедуры; во всяком случае, о первых гораздо чаще сообщается как о более приспособленных к тому, чтобы избегать жестких правил последних. В организациях, где перемещение между подразделениями непостоянно, подразделения с более низким уровнем перемещения становятся более сильными, так как постоянство их персонала дает им преимущество в понимании и манипулировании системой.

В общем и целом, воздействие трудовой мобильности на уровне фирм, отраслей промышленности и экономики в целом не так-то легко оценить и оно представляет гораздо больший комплекс вопросов, чем те, которые рассматривались в узко ориентированной экономической литературе. Можно согласиться с экономистом Р. Холлом, который комментирует, что экономисты «только сейчас начинают изучать проблемы эффективности движения работников между фирмами» [Hall, 1980]. Что касается социологов, то, несмотря на их потенциал, позволяющий исследовать названные проблемы, они внесли еще меньший вклад в изучение этого вопроса. Я уверен, что общая дискредитация структурно-функциональной теории в макросоциологии в значительной мере отбила у них охоту выяснять вопросы по поводу

эффективности. Данная ситуация создала интеллектуальный климат, в котором ученые даже и не думали о том, чтобы задаваться вопросом о том, хорошо ли функционируют системы. Однако это необходимо делать со ссылкой на четко установленные критерии эффективности функционирования и нужно отказаться от ориентации показывать, что все, что ни делается, — к лучшему.

Заключение

Я попытался показать, что подходы принципиально атомистического объяснения в неоклассической экономической теории рынка труда приводят к неадекватному пониманию как индивидуального экономического действия, так и того, каким образом это действие аккумулируется в более масштабные модели; некоторые из них называют «институтами». Неуспешность рассмотрения включенности индивидуального поведения в сети социальных и экономических отношений и смешивание экономических и неэкономических мотивов ведут к использованию «адаптации» и апелляции к «культурам» и «атмосферам», где развитие институтов не может быть установлено иным образом. К тому же использование подобных историй и апелляций широко соотносится с традиционными методологическими и личностными установками большинства экономистов; более пристальное внимание к социальной структуре способствовало бы более удовлетворительному пониманию того, как возникают экономические модели.

Позвольте мне в аналитических целях разделить две главные проблемы, которые я поднимаю: включенность экономического действия в сети социальных и экономических отношений и взаимовыигрышность связи экономических и неэкономических мотивов. Предположим, что акторы (действующие лица) имеют только экономические мотивы и цели, приписываемые им в большинстве случаев экономического анализа и, кроме того, могут быть представлены как вполне рациональные индивиды, обладающие достаточной информацией. Тогда, по крайней мере, некоторые из видов неоклассического анализа могли бы более

адекватно выявлять причины включенности действий этих акторов в сети отношений. Например, я обосновываю, что число контактов, которые некто имеет в других фирмах, где известны его характеристики, зависит от его прошлой мобильности и влияет на его шансы в будущем продвижении. Так что было бы естественным конструировать модели «инвестирования» в контакты и, возможно, оценивать оптимальные правила, диктующие количество выборов при смене места работы. С помощью подобных моделей можно было бы предсказывать перемещение рабочей силы, а также определять структуру сетей, органично присутствующих тому или иному экономическому процессу. Основанная на человеческом интересе модель инвестирования в контакты с целью получения информации о работе углублена Делани [Delany, 1980] в динамическом контексте.

В то время как формальные модели вполне могут быть полезными для рассмотрения подобных проблем, я сомневаюсь в том, что обычный аппарат неоклассической теории может быть пригоден для анализа этих моделей. В частности, проблематично, могут ли утилитарные функции – изначально развитые для представления ряда предпочтений изолированного индивида, выраженных через мир товаров, – легко «схватывать» эффекты сетей межличностных отношений. Пока что Беккер [Becker, 1976] и другие использовали взаимозависимые утилитарные функции там, где утилитарность чего-то другого становится аргументом вашей собственной функции. Подобное использование обычно ограничивается действиями пар индивидов, из которых не так-то легко сформировать более широкую сеть отношений, по крайней мере на нынешнем этапе развития методики и техники исследований подобного рода.

Пример инвестирования в контакты указывает также на степень, в которой неэкономические мотивы смешиваются с экономическими. Взаимодействие одного индивида с другими в общем и целом не ограничивается «экономическим инвестированием активности». Что касается других аспектов экономической жизни, то в нее входит также борьба за общественное признание, одобрение, социальный статус и властные полномочия.

В самом деле, восприятие другими того, что чей-то интерес к ним является вопросом «инвестирования», делает окупаемость этого инвестирования маловероятной; мы все недолюбливаем тех, кто хочет нас просто использовать. Могут ли неэкономические мотивы быть легко объединены в типические формальные модели неоклассической экономики – это тоже проблематично, хотя и существуют некоторые интересные попытки в этом направлении.

Все, что направлено на улучшение методологии более совершенных моделей рынка труда, станет результатом объединения экономических исследований инструментального поведения с измерением его эффективности, социологической экспертизой социальной структуры и отношений, а также со сложной мозаикой мотивов, представленных во всех реальных ситуациях. Я надеюсь, что сопоставление экономической и социологической моделей с целью детального анализа позволит прояснить преимущества их слияния и препятствия для этого и, таким образом, сделает это слияние плодотворным.

Литература

Abraham K., Medoff J. Length of Service and the Operation of Internal Labor Markets. Sloan School of Management Working Papers: Massachusetts Institute of Technology. 1983.

Akerlof G. Gift Exchange and Efficiency-Wage Theory: Four Views // *American Economic Review*. 1984. Vol. 74. P. 79–83.

Akerlof G., Miyazaki H. The Implicit Contract Theory of Unemployment Meets the Wage. Bill Argument // *Review of Economic Studies*. 1980. Vol. 47. P. 321–338.

Bakke E.W. Labor Mobility and Economic Opportunity. Cambridge, MA: MIT Press. 1954.

Blau P. Exchange and Power in Social life. N.Y.: Wiley. 1964.

Cole R. Work, Mobility and Participation: A Comparative Study of American and Japanese Industry. Berkeley: University of California Press. 1979.

Danlop M. Men Who Manage. N.Y.: Wiley. 1957.

Doeringer P., Piore M. Internal labor Markets and Manpower Analysis. Lexington, MA: D.C. Heath. 1971.

Gartrel C. D. On the Visibility of Wage Referents // *Canadian Journal of Sociology*. 1982. Vol. 7. P. 117–143.

Gordon D., Reich M. Segmented Work, Divided Workers. N.Y.: Cambridge University Press. 1982.

- Gouldner A.* Patterns of Industrial Bureaucracy. Glencoe, IL: Free Press. 1954.
- Granovetter M.* Small is Bountiful: Labor Markets and Establishment Size // American Sociological Review. 1984. Vol. 49. P. 323–334.
- Granovetter M.* Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness // American Journal of Sociology. 1985. Vol. 91. P. 481–510.
- Hall R.* Employment Fluctuations and Wage Rigidity // Brooking Papers on Economic Activity. 1980. Vol. 1. P. 91–123.
- Heath A.* Rational Choice and Social Exchange. N.Y. Cambridge University Press. 1976.
- Homans G.* Social Behavior. N.Y.: Harcourt Brace Jovanovich. 1974.
- Jovanovic B.* Job Matching and the Theory of Turnover // Journal of Political Economy. 1979. Vol. 87. P. 972–990.
- Lincoln J.* Intra- (and Inter-) Organizational Network // Research in the Sociology of Organization. 1982. Vol. 1. P. 1–38.
- March J., March J. G.* Performance Sampling in Social Matches // Administrative Science Quarterly. 1978. Vol. 23. P. 434–453.
- Medoff J. and Abraham K.* Experience, Performance and Earnings. Quarterly Journal of Economics. 1980. Vol. 95, P. 703–736.
- Mincer J., Jovanovic B.* Labor Mobility and Wages // Studies in Labor Markets. Ed. By S. Rosen. Chicago: University of Chicago Press. 1981. P. 21–63.
- Okun A.* Prices and Quantities. Washington, D.C. Brookings Institution. 1980.
- Price J.* The Study of Turnover. Ames: University of Iowa Press. 1977.
- Rosenbaum J.* Career Mobility in a Corporate Hierarchy. N. Y. Academic Press. 1984.
- Stewman S., Konda S.* Careers and Organizational Labor Markets: Demographic Models of Organizational Behavior // American Journal of Sociology. 1983. Vol. 88. P. 637–685.
- White H.* Chains of Opportunity: System Models of Mobility in Organizations. Cambridge, MA: Harvard University Press. 1970.

Перевод с английского Г. Н. Соколовой

ДИМАДЖИО Пол **(DIMAGGIO Paul)**

(р. 1951)

Пол ДиМаджио (р. 10.01.1951, Филадельфия, Пенсильвания) – известный американский социолог. Окончил колледж в Суортморе (1971), защитил докторскую диссертацию в Гарвардском университете (1979).

В 1979–1992 гг. работал в Йельском университете, где в 1982–1987 гг. руководил программой исследований некоммерческих организаций. С 1992 г. – профессор и один из директоров Центра изучения искусств и политики в отношении культуры Стэнфордского университета.

Основные работы посвящены исследованию организаций, формированию в США «высокой» культуры, цифровому неравенству.

В своих исследованиях ДиМаджио показал восхождение «высокой» культуры театров и музеев в США как результат сознательных усилий элиты, для того чтобы подчеркнуть собственную избранность и отгородить себя от остального населения. В своих исследованиях ДиМаджио изучал влияние культурного и социального капитала на уровень жизни и показал, что рынок не является безличным, а основан на личных знакомствах. В исследовании цифрового неравенства ДиМаджио также обращает внимание на цели использования Интернет различными группами населения, влияние стратификационных переменных на доступ в Интернет и межклассовые переходы, связанные с культурным капиталом в области высоких технологий.

Основные работы: «Менеджеры в сфере искусств» (1988), «Раса, национальность и участие в создании произведений искусства» (1992, в соавт.). Вместе с У. Пауэллом редактировал коллективную монографию «Новый институционализм в организационном анализе» (1991).

ПАУЭЛЛ Уолтер Вуди
(POWELL Walter Woody)

(р. 1951)

Уолтер Вуди Пауэлл (р. 1951, Ралейг, Южная Каролина) – известный американский исследователь в области организационной теории и экономической социологии. Получил степень бакалавра в университете Флориды (1971), степень магистра (1975) и доктора (1978) наук в университете Нью-Йорка в Стони Брук. Работал в университете Аризоны, Массачусетском технологическом институте, Йельском университете. С 1999 г. работает в Стэнфордском университете. Сфера научных интересов: книгоиздательство как институт, некоммерческие организации, межорганизационное сотрудничество, сетевая динамика, инновации.

В своих ранних работах Пауэлл исследовал развитие книгоиздательства от уровня семейного ремесла до становления международной индустрии, а также проводил этнографические исследования практик книгоиздательства. Исследовал некоммерческие организации, руководил проектом Стэнфордского университета по эволюции некоммерческого сектора, посвященным движению идей между заинтересованными сторонами. Работы Пауэлла по новому институционализму посвящены микроисследованиям возникновения практик и идей, а также динамике складывания институциональной логики. Также исследовал

сети как механизмы управления, динамику сотрудничества в коммерциализации естественных наук. В последние годы исследовал распределенные инновации, инновационные кластеры, создание знания в междисциплинарных научных сообществах.

Основные работы: «Появление в печати: процесс принятия решения в научном книгоиздательстве» (1985), «Частное действие и общественное благо» (1988), «Некоммерческий сектор» (1989, 2006), «Новый институционализм в организационном анализе» (1991, с П. ДиМаджио), «Сети (критические исследования экономических институтов)» (2005).

В представленной совместной статье ДиМаджио и Пауэлла «Новый взгляд на «железную клетку»: институциональный изоморфизм и коллективная рациональность в организационных полях», авторы формулируют теорию «институционального изоморфизма», которая подчеркивает нерациональные источники гомогенизации устройства и функционирования различных типов организаций в современном мире.

Одним из ключевых выводов данной теории является понимание того, что отбор организационных форм происходит не в результате «выживания наиболее эффективных», а в силу многих иррациональных факторов институционального характера. Значение данной теории особенно значимо во времена, когда государственные учреждения и некоммерческие организации начинают приобретать черты фирм и предприятий. Статья «Новый взгляд на «железную» клетку» является одной из самых цитируемых в исследованиях организаций. В публикуемом фрагменте показано, почему организации со временем становятся похожими друг на друга и что отличает подход нового институционализма от макросоциологических теорий.

ДИМАДЖИО ПОЛ, ПАУЭЛЛ УОЛТЕР ВУДИ

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА «ЖЕЛЕЗНУЮ КЛЕТКУ»: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ИЗОМОРФИЗМ И КОЛЛЕКТИВНАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ В ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ПОЛЯХ¹

Что делает организации такими похожими? Мы утверждаем, что двигатель рационализации и бюрократизации сместился из сферы конкурентного рынка к сферам государства и профессий.

¹ ДиМаджио П., Пауэлл У. В. Новый взгляд на «железную клетку»: институциональный изоморфизм и коллективная рациональность в организационных полях // Экономическая социология. Электронный журнал www.ecsoc.msses.ru – Т. 11, № 1. – Январь 2010. – С. 34–56 (в сокр.). Пер. с англ. Г. Б. Юдина.

Когда формируется поле, состоящее из совокупности организаций, возникает своеобразный парадокс: пытаясь изменить собственные организации, рациональные акторы делают их всё более и более похожими. Мы описываем три изоморфных процесса, приводящих к этому результату: принудительный, подражательный и нормативный.

В «Протестантской этике и духе капитализма» Макс Вебер предупреждал, что ... дух рационализма по-настоящему восторжествовал и в условиях капитализма рационалистический порядок превратился в «железную клетку», в которой человечество, ожидая возможности предрекаемого возрождения, оказалось заключено, «вероятно, до той поры, пока не прогорит последняя тонна угля». Позже Вебер вернулся к этой теме, утверждая в своём эссе о бюрократии, что как организационное проявление рационального духа бюрократия представляет собой столь эффективное и сильное средство контроля над людьми, что, единожды восторжествовав, бюрократизация становится необратимой.

Образ железной клетки настигал исследователей общества по мере того, как возрастали темпы бюрократизации. Но хотя в течение 80 лет, прошедших с момента написания работы Вебера, бюрократия постоянно распространялась, мы полагаем, что двигатель организационной рационализации сменился. Для Вебера бюрократизация являлась результатом действия трёх причин — конкуренции между капиталистическими фирмами на рынке; конкуренции между государствами, усиливающей потребность правителей в контроле над аппаратом и гражданами; а также предъявляемых буржуазией требований равной защиты перед лицом закона. Конкурентный рынок был наиболее важной причиной из этих трёх. Вебер писал: «Сегодня в первую очередь именно капиталистическое рыночное хозяйство требует, чтобы должностные лица выполняли свои обязанности чётко, однозначно, непрерывно и как можно быстрее. Как правило, именно крупные современные капиталистические предприятия сами являются непревзойдёнными образцами жёсткой бюрократической организации».

Мы полагаем, что причины бюрократизации и рационализации изменились. Бюрократизация корпораций и государства – свершившийся факт. Организации по-прежнему становятся всё более единообразными, и бюрократия остаётся всеобщей организационной формой. Сегодня, однако, кажется, что структурные изменения в организациях всё менее и менее движимы конкуренцией или потребностью в увеличении эффективности. Мы утверждаем, что вместо этого бюрократизация и другие формы организационных изменений возникают как результат процессов, которые делают организации более похожими, не обязательно повышая их эффективность. По нашему мнению, бюрократизация и другие формы гомогенизации возникают в результате структуризации организационных полей. А на этот процесс сильно воздействуют государство и профессии, ставшие великими рационализаторами второй половины XX в. По причинам, которые мы объясним ниже, высоко структурированные организационные поля создают контекст, в котором индивидуальные попытки рационально справиться с неопределённостью и ограничениями часто приводят на агрегированном уровне к единообразию структуры, культуры и результатов деятельности организаций.

Организационная теория и разнообразие организаций

Значительная часть современных теорий организаций постулирует разнообразие и дифференциацию в мире организаций и стремится объяснить вариативность в их структуре и поведении. Мы, напротив, задаемся вопросом, почему имеет место поразительная однородность (*homogeneity*) организационных форм и практик, и стремимся объяснить не вариативность, а именно эту однородность. На ранних стадиях жизненного цикла организационные поля обнаруживают существенное разнообразие подходов и форм. Однако когда поле сформировано, в нем обнаруживается непреодолимая тяга к гомонизации.

В каждом конкретном случае, во-первых, мы наблюдаем возникновение и структуриацию организационного поля в результате деятельности многообразной совокупности организаций. А во-вторых, когда поле сформировано, мы видим гомогенизацию

как уже существующих в нём организаций, так и тех, что ещё только входят в данное поле.

Под организационным полем (*organizational field*) мы понимаем те организации, которые в совокупности составляют идентифицируемую сферу институциональной жизни – это ключевые поставщики, потребители ресурсов и продуктов, регуляторы и другие организации, производящие сходные продукты или услуги. Достоинство такой единицы анализа заключается в том, что она привлекает наше внимание не просто к конкурирующим фирмам и не к сетям реально взаимодействующих организаций, но ко всей совокупности релевантных акторов. Тем самым идея поля отражает значимость как связанности (*connectedness*), так и структурной эквивалентности (*structural equivalence*).

Структура организационного поля не может быть определена *a priori*, но должна обнаруживаться на основе эмпирического исследования. Поля существуют лишь в той мере, в какой они институционально определены. Процесс институционального определения, или «структуризации», состоит из четырёх элементов: усиление взаимодействия между организациями в поле; появление чётко обозначенных межорганизационных структур господства и паттернов сотрудничества (*coalition*); увеличение информационной нагрузки на организации в поле; развитие взаимной осведомлённости организаций-участников о том, что они вовлечены в совместную активность.

Когда в одной отрасли непохожие организации структурируются и действительно начинают представлять собой поле (это происходит за счёт воздействия конкуренции, государства или профессий), появляются мощные силы, подталкивающие их к тому, чтобы стать более сходными друг с другом. Организации могут менять свои цели или задействовать новые практики, в поле также входят новые организации. Но в долгосрочной перспективе принимающие рациональные решения организационные акторы выстраивают вокруг себя среду, которая ограничивает их способность изменяться в дальнейшем. Те, кто внедряет организационные инновации на ранних этапах, обычно одержимы стремлением к повышению производительности. <...>

По мере распространения инновации достигается порог, за которым её внедрение скорее обеспечивает легитимность, нежели повышает производительность. Стратегии, которые рациональны для отдельных организаций, могут перестать быть таковыми, если осваиваются множеством организаций. Однако сам факт, что они нормативно санкционированы, увеличивает вероятность их освоения (*adoption*). Таким образом, организации могут стремиться к постоянным переменам, но по прохождении определённого этапа в структуризации организационного поля совокупное влияние индивидуальных изменений сокращает степень разнообразия в данном поле. <...>

Процесс гомогенизации может быть наилучшим образом отражён при помощи понятия *изоморфизм* (*isomorphism*), как ограничивающий процесс, который вынуждает единицу популяции походить на другие единицы, существующие в условиях той же среды. На уровне популяции такой подход предполагает, что организационные характеристики меняются в направлении повышения совместимости с характеристиками внешней среды; количество организаций в популяции является функцией от максимально допустимой нагрузки для данной среды; а разнообразие организационных форм изоморфно разнообразию внешней среды. По утверждению исследователей Хэннана (Hannan) и Фримена (Freeman), изоморфизм может быть следствием того, что лица, принимающие решения в организациях, усваивают адекватные реакции и соответствующим образом приспособляют свое поведение. Хэннан и Фримен практически полностью концентрируются на первом из этих процессов – отборе.

Вслед за Дж. Мейером (Meyer) и М. Феннелл (Fennell) мы утверждаем, что существует два типа изоморфизма: конкурентный и институциональный. Хэннаном и Фрименом рассматривается конкурентный изоморфизм и на уровне системы предполагается рациональность, выводящая на первый план рыночную конкуренцию, смену ниш и меры соответствия. Мы полагаем, что такой взгляд в наибольшей степени характеризует поля, в которых существует свободная и открытая конкуренция. Организации конкурируют не только за ресурсы и покупателей, но

и за политическую власть и институциональную легитимность, за социальное соответствие среде точно так же, как и за экономическое. И понятие институционального изоморфизма – это полезный инструмент для понимания принципов поведения (*politics*) и церемониала, пронизывающих значительную часть современной организационной жизни.

Три механизма институциональных изоморфных изменений

Мы выделяем три механизма, посредством которых происходят институциональные изменения, все эти механизмы обусловлены различными причинами. Итак: (1) *принудительный изоморфизм* (*coercive isomorphism*), который проистекает из политического влияния и проблемы легитимности; (2) *подражательный изоморфизм* (*mimetic isomorphism*), являющийся результатом стандартных реакций на неопределённость; и (3) *нормативный изоморфизм* (*normative isomorphism*), связанный с профессионализацией. Это аналитическая типология, и данные типы не всегда могут быть эмпирически различимы. К примеру, внешние акторы могут побудить организацию соответствовать конкурентам, требуя от нее выполнения определенной задачи и определяя профессию, ответственную за выполнение этой задачи. Или подражательные изменения могут отражать неопределенности, выстроенные внешней средой. Однако, несмотря на то, что все три типа на практике перемешиваются, они обычно проистекают из различных условий и могут приводить к различным результатам.

Принудительный изоморфизм является результатом как формального, так и неформального давления, оказываемого одними организациями на другие, которые от них зависят, а также культурными ожиданиями в обществе, где эти организации функционируют. Такое давление может восприниматься как грубая сила, убеждение или приглашения вступить в сговор. В некоторых обстоятельствах организационные изменения – это прямая реакция на предписания правительства: производители внедряют новые технологии контроля за выбросами вредных веществ, для того чтобы соответствовать законодательству об окружающей

среде; некоммерческие организации ведут счета и нанимают бухгалтеров, для того чтобы соответствовать требованиям налогового законодательства; организации нанимают служащих по принципу позитивной дискриминации, для того чтобы отвести обвинения в дискриминации как таковой. Такого рода изменения в значительной степени носят церемониальный характер, но этот факт не означает, что они не имеют никаких последствий. <...>

Существование общей правовой среды оказывает влияние на многие аспекты поведения и структуры организации. Вебер отметил глубинное воздействие, которое оказывает сложная рационализированная система договорного права, требующая от органов управления организацией соблюдения правовых обязательств. Другие юридические и технические требования государства – чередование стадий бюджетного цикла, привязка к финансовому году, годовые отчёты, а также требования к финансовой отчётности, которые обеспечивают возможность претендовать на получение федеральных контрактов или средств, – также формируют организации сходным образом. Дж. Пфеффер (Pfeffer) и Дж. Саланчик (Salancik) показали, как организации, которые сталкиваются с неконтролируемой взаимозависимостью, пытаются использовать большую власть более крупной социальной системы и ее администрации, для того чтобы устранить трудности или обеспечить текущие нужды. Они замечают, что политически формируемая среда обладает двумя характерными особенностями: лица, принимающие политические решения, зачастую не ощущают непосредственно последствий своих действий; а политические решения применяются к целым классам организаций поголовно, что делает такие решения менее адаптивными и гибкими.

Дж. Мейер (Meyer) и Б. Роуэн (Rowan) убедительно показывают, что по мере того как рациональные государства и другие крупные рациональные организации распространяют своё господство на всё большее число сфер социальной жизни, организационные структуры начинают более явно отражать правила, институционализированные и легитимированные самим государством или в его пределах.

В результате организации становятся всё однороднее в рамках определенных сфер и в большей степени организуются вокруг ритуалов подчинения более общим институтам. В то же время организации всё в меньшей степени структурно детерминированы ограничениями, которые накладывает техническая деятельность, и связь между ними всё меньше обусловлена контролем над выпуском продукции. В этих обстоятельствах организации задействуют ритуализованные средства управления с помощью сертификатов (credentials) и групповой солидарности. <...>

Подражательные процессы. Однако не всякий институциональный изоморфизм проистекает из принудительной власти. Другой мощной силой, которая побуждает к имитации, выступает неопределённость. Если нет чёткого понимания организационных технологий, цели неоднозначны или среда порождает символическую неопределённость, организации могут моделировать себя по образу и подобию других организаций. Преимущества подражательного поведения, с точки зрения экономии человеческого действия, весьма значительны: если организация сталкивается с проблемой, возникшей по неоднозначным причинам или не имеющей ясных решений, проблемно-ориентированный поиск может дать жизнеспособное решение без больших затрат.

Моделирование (в том смысле, в котором мы употребляем этот термин) является реакцией на неопределённость. Организация, модель которой используется, может не знать об этом или не желать, чтобы её копировали; она просто служит для заимствующей организации удобным источником практик, которые та может использовать. Модели распространяются как непредумышленно, косвенно, через перемещение или текучесть работников, так и открыто – консалтинговыми фирмами или отраслевыми деловыми ассоциациями. Даже инновации можно объяснить с помощью организационного моделирования. Как отметил А. Алчиан (Alchian), «несмотря на то, что безусловно есть те, кто осуществляет нововведения сознательно, существуют также и те, кто неосознанно производит нововведения, за счет частично удающихся попыток имитировать других, невольно приобретая те

или иные уникальные черты, которых они не предвидели или не искали, но которые в имеющихся обстоятельствах оказываются одной из причин успеха. Другие, в свою очередь, будут пытаться копировать эти уникальные элементы и процесс инноваций-имитации продолжится». <...>

Однородность организационных структур в значительной степени проистекает из того факта, что, несмотря на серьёзный запрос на разнообразие, альтернатив весьма немного. Повсюду в хозяйстве новые организации моделируются по образцу старых, и менеджеры активно ищут готовые модели для строительства. Сила таких моделей в том, что структурные изменения наблюдаемы, в то время как изменения в политике и стратегии обнаружить не так легко. Организации склонны моделировать себя по образцу сходных организаций в том же поле, воспринимаемых как более легитимные или успешные. Повсеместное проникновение некоторых структурных элементов можно связать скорее с универсальными подражательными процессами, чем с какими-либо конкретными доказательствами того, что освоенные модели повышают эффективность. Дж. Мейер утверждает, что легко предсказать, как будет организована администрация недавно возникшего государства, даже не зная ничего о самой стране, поскольку периферийные страны гораздо более изоморфны в отношении административной формы и экономических образцов, чем можно предположить, руководствуясь любой теорией мировой системы экономического разделения труда.

Нормативное давление. Третий источник изоморфных организационных изменений имеет нормативную природу и проистекает главным образом из профессионализации. Вслед за М. Ларсоном (Larson) и Р. Коллинзом (Collins) мы понимаем профессионализацию как коллективную борьбу тех, кто объединён одним занятием, за определение условий и методов их работы, за контроль над «производством производителей», а также за утверждение когнитивных оснований и легитимацию их профессиональной автономии. Как отмечает Ларсон, профессиональным проектам редко удаётся достичь полного успеха. Профессионалы вынуждены искать компромисс с непрофессиональными клиентами, начальниками и регулятивными органами. Недавнее

ускорение процесса профессионализации происходило в первую очередь в рамках организаций, особенно среди менеджеров и специализированного персонала крупных организаций. Возрастающая профессионализация работников, чьё будущее неразрывно связано с благосостоянием организаций-нанимателей, привела к тому, что традиционное противоречие между лояльностью организации и преданностью профессии теперь отмирает (если уже не отмерло). Профессии испытывают такое же давление принудительных и подражательных процессов, как и организации. Более того, хотя представители разных профессий в рамках организации могут отличаться друг от друга, они демонстрируют значительное сходство с представителями аналогичных профессий в других организациях. Вдобавок во многих случаях профессиональная власть не только является результатом деятельности самих профессионалов, но в не меньшей степени устанавливается и государством.

Два аспекта профессионализации представляют собой важные источники изоморфизма. Один из них состоит в том, что образование в учебных заведениях и легитимация покоятся на когнитивной основе, производимой университетскими специалистами. Второй проявляется в росте и развитии профессиональных сетей, сплетающих организации друг с другом и быстро распространяющих новые модели. Университеты и институты профессиональной подготовки являются важными центрами развития организационных норм среди профессиональных менеджеров и их подчинённых. Другим средством определения и распространения нормативных правил организационного и профессионального поведения являются профессиональные и деловые ассоциации. Такие механизмы создают пул практически полностью взаимозаменяемых индивидов. Эти индивиды занимают сходные позиции в целом ряде организаций и характеризуются сходством ориентации и диспозиции, способным возобладать над расхождениями в традициях и способах контроля, которые в противном случае могли бы формировать организационное поведение.

Один из важных механизмов, стимулирующих нормативный изоморфизм, — отбор персонала. Во многих организационных

полях он осуществляется через наем индивидов, работающих в других фирмах той же отрасли; рекрутирование персонала для ускоренного продвижения по службе из небольшого числа институтов профессиональной подготовки; через такие общие для всех практики продвижения, как постоянный наем менеджеров высшего звена из финансовых и юридических отделов; а также с помощью требований к уровню квалификации, предъявляемых к кандидатам на определенные должности. Карьерный путь настолько жестко регулируется как на этапе входа, так и в течение развития карьер, что индивиды, которым удается пройти его до самого верха, практически неотличимы друг от друга. <...>

Профессионализация управления обычно происходит в tandem со структуризацией организационных полей. Обмен информацией между профессионалами способствует поддержанию признаваемой всеми иерархии статусов, центра и периферии. Такая иерархия становится матрицей информационных потоков и перемещения персонала между организациями. Упорядочивание статусов достигается как формальными, так и неформальными способами. Обозначение нескольких крупных фирм в отрасли в качестве ключевых участников переговоров между профсоюзами и руководством компаний может придать этим центральным предприятиям наиболее важную роль и в других отношениях. Государство признает ключевые фирмы или организации, выдавая им гранты или заключая контракты, и может, таким образом, обеспечить этим организациям легитимность, сделать их более заметными и побудить конкурирующие фирмы копировать элементы их структуры или технологические процессы в надежде добиться вознаграждения. Профессиональные и деловые ассоциации также являются аренами, на которых происходит признание центральных организаций, а их члены получают позиции, дающие им реальное или церемониальное влияние. Менеджеры самых заметных организаций могут, в свою очередь, повышать свой статус, входя в советы других организаций, участвуя в общеотраслевых и межотраслевых советах и консультируя государственные учреждения. В некоммерческом секторе, где не существует законодательных запретов на сговоры, структуризация может происходить еще быстрее. Так, исполнительные

продюсеры и художественные руководители ведущих театров возглавляют комитеты деловых и профессиональных ассоциаций, являются членами экспертных советов по распределению государственных и частных грантов или выступают в качестве государственных либо частных консультантов по управлению для небольших театров, являются членами советов небольших организаций. При этом статус этих людей возрастает и укрепляется за счет грантов, которые их театры получают, и различных источников, – от государства, корпораций или фондов. <...>

Важно отметить, что каждый из институционально изоморфных процессов предположительно будет продолжаться даже при отсутствии подтверждений каких-либо свидетельств роста внутренней организационной эффективности. Если же эффективность увеличивается, причина часто заключается в том, что организации вознаграждаются за сходство с другими в их полях. Такое сходство способно помочь упростить взаимодействие с другими организациями, привлечь карьерно ориентированных работников, получить признание в качестве легитимных и авторитетных, а также добиться соответствия административным категориям, которые позволяют претендовать на государственные и частные гранты и контракты. И всё же нет никаких гарантий, что конформные организации действуют более эффективно, чем их более склонные к девиации конкуренты. <...>

Результаты исследований указывают на общую закономерность. В организационных полях, включающих большой объём профессионально подготовленной рабочей силы, решающую роль будет играть статусная конкуренция. Организационный престиж и ресурсы – ключевые факторы привлечения профессионалов. Этот процесс способствует гомогенизации, поскольку организации хотят быть уверены в том, что они обеспечивают тот же набор преимуществ и услуг, что и их конкуренты. <...>

Выводы. Значение для социальной теории

Сравнение макросоциальных теорий функционалистского или марксистского направлений с теоретическими и эмпирическими исследованиями организаций приводит к парадоксальному заключению. Общества (или элиты) кажутся умными, а организации –

тупыми. Общества включают в себя институты, которые удобно соединяются в интересах повышения эффективности (Clark), упрочения господствующей системы ценностей (Parsons) или, в марксистской версии, интересах капиталистов (Domhoff, Althusser). Организации, напротив, – либо анархические образования (Cohen), либо объединения слабо сцепленных частей (Weick), либо стремящиеся к автономии агенты (Gouldner), работающие под чудовищным давлением, которое создается ограниченной рациональностью (March, Simon), неопределенными или спорными целями и непрозрачными технологиями.

Несмотря на результаты, полученные в ходе исследований организаций, в большинстве современных социальных теорий сохраняется образ общества, состоящего из тесно и рационально сцепленных институтов. Рациональное управление вытесняет небюрократические формы, школы обретают структуру рабочего места, администрирование больниц и университетов всё больше напоминает руководство коммерческими фирмами, и модернизация мирового хозяйства не встречает сопротивления. Веберианцы указывают, что по мере того как формальная рациональность бюрократии расширяется до пределов сегодняшней организационной жизни, продолжается неуклонная гомогенизация организационных структур. Функционалисты описывают рациональную адаптацию структуры фирм, школ и государств к ценностям и потребностям современного общества (Chandler, Parsons). Марксисты приписывают изменения в таких организациях, как социальные службы (welfare agencies) и школы, логике процесса капиталистического накопления.

Нам кажется затруднительным подогнать все имеющиеся сегодня работы по организациям под эти макросоциальные подходы. Общепринятое разрешение этого парадокса состояло в том, что имеет место некая разновидность естественного отбора, механизмы которого выбраковывают менее пригодные организационные формы. Как мы уже указывали, подобные аргументы плохо сочетаются с организационными реалиями. Менее эффективные организационные формы продолжают существовать. В некоторых случаях эффективность или производительность

невозможно даже измерить. В государственных учреждениях и нерешительно ведущих себя корпорациях селекция может осуществляться скорее не на экономических, а на политических основаниях. В других случаях, например, если это касается «Метрополитен-опера» или «Богемской рожи», спонсоров гораздо больше интересуют такие неэкономические ценности, как эстетическое качество или социальный статус, чем эффективность как таковая. Исследования Р. Нельсона (Nelson) и С. Винтера (Winter) показывают, что даже в коммерческом секторе, где аргументы о конкуренции должны восприниматься как наиболее плодотворные, прикосновение «невидимой руки» едва заметно.

Второй подход к разрешению указанного нами парадокса предлагают марксисты и теоретики, утверждающие, что ключевые элиты направляют и контролируют социальную систему, располагаясь важнейшими позициями в крупных организациях (например, финансовых институтах, господствующих в условиях монополистического капитализма). С этой точки зрения, хотя организационные акторы беспрепятственно преодолевают лабиринты стандартных операционных процессов, в решающие и поворотные моменты капиталистические элиты добиваются своего, вмешиваясь в принятие решений, которые задают характер развития того или иного института на ближайшие годы (Katz). <...>

Мы не отбрасываем ни аргументацию с позиций естественного отбора, ни теорию контролирующей элиты. Элиты действительно оказывают значительное влияние на современную жизнь, а сбившиеся с пути и неэффективные организации в самом деле иногда умирают. Но мы утверждаем, что ни один из этих процессов не может в полной мере объяснить то, в какой степени увеличивается структурное сходство между организациями. На наш взгляд, теория институционального изоморфизма способна помочь объяснить наблюдения, согласно которым организации становятся более однородными, а элиты часто добиваются своего, в то же самое время она позволяет нам понять иррациональность, крушение власти, а также недостаток инноваций – повсеместные в организационной жизни. Вдобавок наш подход лучше согласуется с этнографическими и теоретическими

работами о том, как работают организации, нежели функционалистские или элитистские теории организационных изменений.

Пристальное внимание к институциональному изоморфизму может также дополнить популяционную экологию практически отсутствующим в ней подходом к политической борьбе за организационную власть и выживание. Концепция институционализации, связанная с именем Дж. Мейера и его учеников, постулирует значимость мифов и церемониала, но не задается вопросом о том, как появляются эти модели, чьи интересы они исходно обслуживают. На этот вопрос можно найти ответ, обратив особое внимание на происхождение легитимированных моделей, а также на ограничение и развитие организационных полей. Исследование распространения сходных организационных стратегий и структур должно стать продуктивным средством оценки влияния интересов элиты. Рассмотрение изоморфных процессов также приводит нас к двухфокусному взгляду на власть и её реализацию в современной политике. В той мере, в которой организационные изменения не запланированы и осуществляются главным образом за спинами тех групп, которые хотели бы на них влиять, наше внимание должно быть обращено на две формы власти. Первая – это власть устанавливать исходные условия, определять нормы и стандарты, которые формируют и направляют поведение. Вторая форма власти – это точка критической интервенции, когда элиты могут определять надлежащие модели организационной структуры и политики, которые в последующие годы уже не ставятся под сомнение. Такой взгляд согласуется с некоторыми из лучших работ среди последних исследований власти (Lukes). А изучение структуризации организационных полей и изоморфных процессов может помочь придать данному взгляду эмпирическое наполнение.

Наконец, развитие теории организационного изоморфизма может иметь важные следствия для социальной политики в тех полях, где государство действует через частные организации. В той мере, в какой выработка государственной политики руководствуется ценностями плюрализма, требуется обнаружение новых форм межотраслевой координации, которые будут способствовать

диверсификации, а не подталкивать гомогенизацию. Понимание того, каким образом поля становятся более однородными, позволит лицам, ответственным за разработку политики, а также аналитикам не путать исчезновение той или иной организационной формы с её действительным крахом. Сегодня усилия по стимулированию разнообразия обычно предпринимаются в организационном вакууме. И разработчикам политики, озабоченным ныне проблемами плюрализма, следует учесть влияние их программ на структуру организационных полей в целом, а не просто на программы отдельных организаций.

Мы считаем, что можно многого добиться, если обратить внимание не только на разнообразие, но и на сходство между организациями и, в особенности, на динамику уровней однородности и вариативности. Предложенный нами подход нацелен на исследование как постепенных изменений, так и процесса отбора. Мы всерьёз воспринимаем наблюдения теоретиков организаций относительно той роли, которую играют изменения, неоднозначность и принуждение, и указываем на следствия этих организационных характеристик для социальной структуры в целом. Мы утверждаем, что направления и движущие силы бюрократизации (и, шире, гомогенизации в целом) со времён Вебера изменились. Но ещё никогда не было так важно осмыслить те тенденции, на которые он обращал наше внимание.

Перевод с английского Г. Б. Юдина

**КОЛЛИНС Рэндалл
(COLLINS Randall)**

(р. 1941)

Рэндалл Коллинз (р. 29.07.1941, Нексвил, Теннесси) – американский социолог с очень широким кругом профессиональных интересов. Хорошо известен не только как теоретик социологии конфликта, но и как методолог, успешно совмещающий микро- и макроуровни социологического исследования, автор, развивающий концепцию интерактивного ритуала, а также как систематизатор интеллектуальной

истории (развития идей в области философии, социологии) сквозь призму сетевого подхода.

По свидетельству профессора Н. С. Розова, книга Р. Коллинза «Социология философий: глобальная теория интеллектуального изменения» является, без преувеличения, крупнейшим событием философской и научной жизни на рубеже XX–XXI вв. Главную ценность книги представляют, по его убеждению, целостность и глубина теоретического видения, социологическая проницательность, обилие новых нетривиальных концептуальных моделей, подкрепленных сравнительно-историческим анализом. Главный предмет анализа – не учения и не философы, но сети личных связей между ними как «вертикальные» (учитель–ученик), так и «горизонтальные» (кружки единомышленников, соперничающие между собой). На основе изучения множества биографических источников Коллинз выстроил несколько десятков «сетевых карт» – схем личных знакомств между философами и учеными для всех рассмотренных им традиций. Этими картами охвачено 2 670 мыслителей. Громадность эмпирического материала не подавляет, поскольку он осмыслен в единой стройной теоретической схеме.

Р. Коллинз считает, что ядро интеллектуального мира имеет структуру противоборствующих групп, сплетающихся в конфликтное сообщество, однако в структурировании этого ядра принимают участие многие второстепенные и третьестепенные авторы и группы, так что лишь совокупная интеллектуальная сеть научных связей дает правильное представление о той или иной научной дисциплине и ее развитии. Предлагаемый автором сетевой социологический подход заключается в том, чтобы видеть соотношение между человеческим авангардом любого конкретного научного поколения и всей безличной, структурированной последовательностью поколений, в которую «вписывается» каждое новое поколение, внося свою долю творчества в «царство креативности». Коллинз показывает, что, с одной стороны, везде с интеллектуалами происходит «одно и то же»; идет кристаллизация групп; мыслители спорят, что составляет основу интеллектуальных ритуалов с обменом культурным капиталом и эмоциональной энергией, соперничают между собой за пространство интеллектуального внимания. С другой стороны, везде и во все времена это происходит по-разному: уникальность не игнорируется, но показано, каким образом эти неповторимые конфигурации складываются из принципиально общего состава «ингредиентов» интеллектуального творчества.

Основные работы: «Четыре социологических традиции» (1994), «Социология философий: глобальная теория интеллектуального изменения» (1998), «Макросоциология: эссе по социологии длительных исторических процессов» (2000), «Новая экономическая социология: обстоятельства в условиях становления» (2002), «Узы ритуалов взаимодействия» (2004).

В предлагаемом тексте приводятся в сокращении Введение и главы 1 и 2 работы Р. Коллинза «Социология философий», где автор представляет динамику конфликта и альянса в интеллектуальных сетях в мировой истории и раскрывает «каркас» глобальной теории интеллектуального изменения, формируя логику своего подхода с позиций функционирования сетевого общества.

КОЛЛИНЗ РЭНДАЛЛ

СОЦИОЛОГИЯ ФИЛОСОФИЙ. ГЛОБАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ¹

ВВЕДЕНИЕ

Данная книга представляет динамику конфликта и альянса в интеллектуальных сетях, которые наиболее длительное время существовали в мировой истории. Замысел книги находится в сегодняшнем контексте борющихся позиций, как в социологии, так и в интеллектуальной жизни в целом.

Позвольте мне представить свой подход, критически осмысливая некоторые противостоящие ему взгляды.

1. Идеи порождают идеи. Традиция историков интеллектуального процесса состоит в том, чтобы войти в круг некоторых доводов и понятий, показывая, как один набор идей ведет к другому. Такая профессиональная привычка не позволяет решать, что возможно и что невозможно в качестве объяснения... Идеи вовсе не похожи на вещи, пока мы не представим их в символах, написанных на каком-то материале, например на бумаге; прежде

¹ Коллинз Р. Социология философий. Глобальная теория интеллектуального изменения. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 2002. – С. 45–62, 65–76, 109–142 (в сокр.). Пер. с англ. Н. С. Розова и Ю. Б. Вертгейм.

всего они являются общением (коммуникацией), что означает взаимодействие между людьми, обладающими телесностью. Войти в физический мозг (либо внутрь компьютера) – это ложный путь для восприятия идей, поскольку идеи обнаруживаются в процессе общения между одним мыслящим человеком и другим, и мы воспринимаем идеи другого мозга, только получая их сообщенными нам. То же имеет место и с отдельным человеком: кто-либо воспринимает свои собственные идеи, только пока он(а) находится в режиме общения. Мыслители не предшествуют общению, но сам коммуникативный процесс создает мыслителей в качестве своих узлов. <...>

Сила антиредукционистской позиции в том, что определенные виды идей, которые нам интересно объяснить, не могут быть объяснены ссылкой на социальное действие, где этот вид общения не имеет места. Есть области социологической редукции, где объяснение грубо и не приводит к успеху. Экономические и политические макроструктуры не объясняют многое в абстрактных идеях, поскольку такие идеи существуют только там, где имеется сеть интеллектуалов, сосредоточенных на своих собственных аргументах и накапливающих свой собственный понятийный багаж. Именно внутренняя структура этих интеллектуальных сетей формирует идеи с помощью паттернов «вертикальных» цепочек сквозь поколения и их «горизонтальных» альянсов и противостояний. Редукция является ошибочной не потому, что мы совершаем примитивную категориальную ошибку касательно идей и вещей, но потому, что мы ищем определяющую структуру коммуникативного действия, которая слишком удалена от фокуса внимания, где происходит сама интеллектуальная деятельность.

2. Индивиды порождают идеи. Здесь также имеется долгая традиция: культ гения, или интеллектуального героя. Будучи выраженным в подобных терминах, это представление кажется старомодным... Мы обнаруживаем индивидов, только абстрагируясь от окружающего контекста. Нам кажется естественным так делать, поскольку мир, как нам видится, начинается с нас самих. Но чтобы прийти к единственному индивидуальному сознанию,

социальный мир следует заключить в скобки; и действительно, только в рамках конкретной традиции интеллектуальных практик мы научились конструировать эту чисто индивидуальную исходную позицию... В случае идей, рассматриваемых здесь, идей, имевших историческое значение, можно показать, что индивиды, выдвигающие такие идеи, помещены в типичные социальные структуры: интеллектуальные группы, сети и структуры соперничества.

История философии есть в значительной степени история групп. Ничего абстрактного здесь не имеется в виду – ничего помимо групп друзей, партнеров по обсуждениям, тесных кружков, часто имеющих черты социальных движений... Движение от группы к группе, нахождение организационных ресурсов и последующее движение к установлению центров всегда типично для людей в такой структурной позиции. Организационный лидер не обязательно является интеллектуальным лидером. Теоретически успешна та группа, в которой присутствуют оба. <...>

Отщепенцы (dissidents) во многом являются частью той же сетевой структуры, что и фавориты... Такие паттерны тоже являются частью поля структурных возможностей, распределенных между теми, кто находится в ядре пространства внимания, и не зависящими от притяжения и отталкивания на периферии. Рассматривая развивающиеся идеи как удлиненные тени, отбрасываемые величественными фигурами, мы остаемся заключены в рамках принятых овеществлений. Нам нужно научиться видеть сквозь личности, вплести их в сеть процессов, которые ввели этих индивидов как исторические фигуры в круг нашего внимания.

Такие структуры (групп и сетей) задают линии развития философии во всех исторических регионах. Если мы обращаемся к Древней Греции, мы находим историю философии, которая может быть описана как последовательность взаимосвязанных групп: пифагорейское братство и его отпрыски; кружок Сократа, породивший так много других кружков; утонченные спорщики мегарской школы; Друзья Платона, основавшие Академию; отколовшаяся фракция, которая стала аристотелевской школой перипатетиков; перестройка сети и ее кристаллизация в виде

противостояния Эпикура и его друзей, удаляющихся в свое общество Сада, с его соперниками – афинскими стоиками и их ревизионистскими кружками на Родосе и в Риме; последующие движения в Александрии.

Другим паттерном творчества являются межпоколенные сети, цепочки выдающихся учителей и учеников. Примеры их легко привести из всех эпох, вот лишь немногие самые знаменитые: Фалес–Анаксимандр–Анаксимен; Парменид–Сократ–Платон–Аристотель–Теофраст–Аркусилай–Хрисипп; Панеций–Посидоний–Цицерон; Уайтхед–Рассел–Витгенштейн; или: Brentano – Husserl – Heidegger – Gadamer. Творчество не распределяется случайным образом среди индивидов, оно сосредоточивается в межпоколенных цепочках.

Третьей характеристикой интеллектуальных полей является структурное соперничество. Какая-либо интеллектуальная работа почти всегда ведется в то же время, что и другая работа, сходная по степени новаторства и охвата. Выдающиеся философы появляются парами или триадами, причем эти соперничающие позиции развиваются одновременно... Логические позитивисты, феноменологи и экзистенциалисты не только были современниками, но и развивали некоторые из самых памятных своих доктрин в противостоянии друг другу. Паттерн творчества современников-оппонентов сравнимого статуса почти универсален в истории.

Эти соперничества не обязательно носят личный характер. Современные друг другу защитники соперничающих позиций не всегда направляют свои атаки друг против друга и не всегда даже обращают на такие атаки внимание... В моменты основания школ открываются пространства, которые наполнены не просто индивидами, но малым числом интеллектуальных движений, которые перестраивают пространство внимания, оттесняя друг друга в противоположных направлениях. Таковы конфликты на линиях различия между позициями, имплицитно являющихся наиболее ценными приобретениями интеллектуалов. По этой причине история философии есть история не столько разрешенных проблем, сколько создания новых линий противостояния,

дающих возможность дальнейшей эксплуатации возникающих затруднений.

Не забыли ли мы индивида? В конце концов, не все интеллектуалы принадлежат к этим группам. Некоторые влиятельные интеллектуалы (хотя и немногие) изолированы в течение определенного времени, лишены современников, способных выступать как структурные соперники. Помимо этого, творческие интеллектуалы обычно интроверты, а не экстраверты. Интеллектуальное творчество осуществляется не в групповых ситуациях, но в индивидуальной работе, обычно занимающей по многу часов в день. Однако противоречие это только кажущееся. Интеллектуальные группы, цепочки «учитель—ученик» и линии соперничества между современниками вместе создают то структурное поле сил, в котором и происходит интеллектуальная деятельность. Причем существует путь от таких социальных структур к внутреннему опыту индивидуального разума. Группа присутствует в сознании индивида, даже когда он один: для индивидов, являющихся творцами исторически значимых идей, именно это *интеллектуальное* сообщество является первостепенным, когда он(а) находится в одиночестве. Человеческий разум как вереница мыслей в отдельном теле конституирован историей личного участия человека в цепочке социальных столкновений. Для интеллектуалов это особые виды социальных цепочек и тем самым особые виды разума.

Социология разума не является теорией того, как на интеллектуалов влияют неинтеллектуальные» мотивы. Поставить вопрос таким образом — значит предположить, что мышление обычно осуществляется независимо, в чистом самодостаточном царстве, и не движется ничем, кроме как самим собой. Однако мышление было бы вовсе невозможно, если бы мы не были социальны; у нас бы не было ни слов, ни абстрактных идей, ни энергии для чего-либо за пределами сиюминутного чувственного опыта. Мышление состоит в создании *«коалиций в разуме»*, интериоризированных из социальных сетей и мотивированных эмоциональными энергиями социальных взаимодействий. Моя задача заключается не в обращении к «неинтеллектуальным мо-

тивам», но в том, чтобы показать, чем являются сами интеллектуальные мотивы.

3. *Культура порождает себя.* Современная аргументация обычно утверждает автономию культуры. Эпитет «редукционистский» берется как самоочевидное опровержение того, к чему он может быть применен. При этом нет неоспоримых доказательств того, что культура автономна, что ее формы и изменения объяснимы только в ее собственных терминах.

Некоторые социологи приводят антиредукционистский довод, указывая на то, что многие культурные установки – этническое сознание, религиозная вера, политические идеологии – не коррелируют с социальным классом или иными привычными социологическими переменными. Культура автономна в том статистическом смысле, что нельзя предсказать культуру личностей лишь по их социальной позиции. Напротив, культура развивается своими собственными путями; например, французские округа, которые поддерживали революционных левых, делают это снова и снова в разные исторические периоды; среди американских профессионалов высшего слоя среднего класса всегда были как прогрессисты, так и их оппоненты. Скрытой предпосылкой здесь является рассмотрение социального только как относящегося к социальному классу и нескольким иным переменным, используемым в традиционном обзорном исследовании, которое оставляет за скобками этническую принадлежность, религию, идеологию и подобные вещи. Здесь проявляется неспособность продумать до конца, что за эмпирическая действительность лежит за такими терминами, как «этничность» или «политическое убеждение». Каждое из этих явлений является типом социального взаимодействия, особой формой дискурса, имеющего смысл для конкретной социальной сети, набором взаимодействий, отделяющим некоторых людей как имеющих конкретное этническое, или религиозное, или политическое самосознание от тех, у кого такого самосознания нет.

Культура не автономна от общества, поскольку мы никогда не узнаем ничего, стоящего за термином «культура», кроме как описывая вещи, которые происходят в социальном взаимодействии.

Сказать, что культура автономна, что культура объясняет саму себя, и неточно, и избыточно: неточно, если культура определена как нечто, исключающее социальное, поскольку такая культура никогда не существовала; избыточно, если она определена широко, поскольку в таком случае понятие культуры совпадает по объему с понятием социального, что делает культурные объяснения социологическими. В лучшем случае метафорическое представление об «автономно культурном» указывает на определенные регионы, сети и зоны направленного внимания внутри социального. <...>

4. Все течет; невозможно определить какие-либо контуры или выстроить четкие объяснительные концепции. Этот аргумент в пользу автономии или особого (particularistic) течения культуры объединяется с более общей позицией, называемой постструктуралистской, постпозитивистской или постмодернистской. Никакие общие объяснения невозможны; не может быть общей теории идей, ни социологической, ни какой-либо еще. В то же время парадоксальным образом постмодернизм сам является общей теорией идей. Элементы этой теории накапливались в интеллектуальных сетях в течение нескольких поколений. <...>

Постмодернисты радикализуют социологию идей, отвергая возможность общего объяснения, в том числе причинные или динамические принципы Маркса, Дюркгейма или Леви-Стросса. Разоблачение (срывание масок) оборачивается против самого себя. Идеи не могут быть объяснены через социальное, потому что ничто не может быть объяснено чем-либо еще, главным образом потому, что само закрепление жестких, вещных границ подрывается этим разоблачением. Обернуть таким образом рефлексивность против самой себя в некотором отношении означает вернуться к прежним позициям философского скептицизма... На самом общем теоретическом уровне мы должны признать, что постмодернизм здесь является Дюркгеймовым социальным детерминизмом категорий, радикализированным в такое последующее неустойчивое состояние, из которого уже выброшена дюркгеймовская эволюционная направленность; постмодернизм

является Марксовой социологией идеологий, порвавшей с его идеей последовательной смены способов производства ради состояния перманентной эпистемологической революции.

Не обязательно отвергать общее социологическое понимание динамики исторических путей для осознания того, что дюркгеймианский или марксистский однолинейный эволюционизм слишком ограничен. Признание того, что социальные существа не подобны вещам, не заставляет нас считать, что процессы, которыми они в сущности являются, не имеют ни структуры, ни причинно обусловленных контуров.

Предметом этой книги является социология философий, иначе говоря, абстрактных концепций, произведенных сетями специализированных интеллектуалов, которые обращены внутрь к их собственной аргументации. Данная сеть демонстрирует определенную социальную динамику по мере развертывания мировой истории. Предмет исследования – не тот же самый, что производство популярной культуры, такой как реклама, «раскручивание» поп-звезд, индустрия туризма, одежда, электронные сети, составляющие предмет постмодернистской социологии культуры. Даже сегодня остается различие между интеллектуальными сетями и этими коммерческими рынками, а в прошлом такое различие было еще острее. В общей риторике постмодернистской критики обычно объявляют неправомерным очерчивание любых аналитических границ; однако это всего лишь голословное утверждение.

Можно говорить, что личное – это политическое, утверждать отсутствие жесткой границы между тем, что делают интеллектуалы, и экономическими, политическими, этническими и гендерными отношениями в рамках соответствующей исторической эпохи. Но степень, в которой являются верными такого рода утверждения, не может быть определена прежде исследования того способа, каким действуют интеллектуальные сети. Действительно, личное есть политическое, но политика интеллектуальной практики в рамках обращенной внутрь себя сети специалистов не является тем же самым, что политика достижения власти в государстве или политика хозяйственных и сексуальных

отношений между мужчиной и женщиной. Завоевание центра внимания в соревновании между философами осуществляется с помощью специфических интеллектуальных ресурсов, которые для интеллектуальных сетей являются особыми социальными ресурсами. Имеется изобилие исторических свидетельств того, что при попытке игроков на этой арене проложить себе путь единственно с помощью оружия внешней политики они выигрывают битву лишь ценой утери своей интеллектуальной репутации в сообществе большой исторической длительности. Интеллектуальное и политическое – это не одна и та же игра; и в тех случаях в истории, когда одна игра сводится к другой, интеллектуальная игра не уступает настолько, чтобы совсем исчезнуть: она возрождается тогда, когда внутреннее пространство вновь это позволяет. Без внутренней структуры интеллектуальных сетей, порождающих свою собственную матрицу аргументации, нет идеологических влияний на философию; в таких случаях мы находим только внешние для интеллектуального сообщества идеологии, грубые и упрощенные. <...>

Продолжим рассуждение. Понимать, каким образом наши эмоции и мысли являются потоками в социальных сетях, не означает отрицать ситуацию нашего человеческого существования. Можно воспринимать все эти уровни одновременно. Вы и я, *именно будучи конкретными индивидуумами* со всей нашей уникальностью, в то же время являемся уникальным образом конституированными потоками чувства и мысли внутри нас и через нас. Напряжение между конкретным и локальным, с одной стороны, и окружающими связями, которые являются социальными и определяют саму нашу конкретность, с другой стороны, – вот в чем состоит ситуация человеческого существования.

Проследивать социальную причинность везде, без исключений для каких-либо привилегированных областей, не означает, что история считается лишь жесткой последовательностью явлений. Социальная структура интеллектуального мира... – это продолжающаяся борьба между цепочками личностей, заряженных эмоциональной энергией и обладающих культурным капиталом, за заполнение малого числа центров внимания. Такие

точки фокусировки, составляющие ядра интеллектуального мира, периодически перегруппируются; существует ограниченное количество внимания, которое может быть распределено через всю интеллектуальную сеть, но кто и что находится в этих узлах, меняется по мере того, как старые интеллектуальные движения сходят на нет, а новые начинаются. Узлы в пространстве внимания растут: возникая при первых малых успехах основателей, они усиленно развивают начинания прошлого, накапливая и монополизируя внимание, при том что одновременно это внимание уходит от альтернативных узлов. Нет жесткой закреплённости самосознательных целостностей (identities), которые мы называем интеллектуальными личностями: они являются великими мыслителями, если энергетически заряжены импульсом роста господствующих узлов внимания, менее значительными мыслителями или же вовсе недостойными упоминания, если заряжены не столь сильно. Именно из-за того, что социальная структура интеллектуального внимания является текучей, мы не можем овеществлять (reify) индивидов, героизируя деятеля, который будто бы является жестко определенным носителем силы воли и сознающего прозрения, причем столкновение его с другими людьми будто бы оставляет лишь пыль на его психической оболочке. Такая овеществленная индивидуальность может быть увидена только ретроспективно, если начинать анализ с личностей, известных по их конечным репутациям, и проецировать репутации в прошлое, как будто бы они и обусловили жизненный путь этих личностей. Моя социологическая задача состоит как раз в противоположном: увидеть сквозь интеллектуальную историю сеть связей и энергий, которые придавали форму самому появлению и развитию данной истории во времени.

КАРКАС ТЕОРИИ

Глава 1

Коалиции в разуме

Интеллектуалы – это люди, которые производят деконтекстуализированные идеи. Предполагается, что эти идеи верны или значительны вне каких-либо местных условий, какой-либо

локальности и вне зависимости от того, применит ли их кто-либо на практике... Продукты интеллектуальной деятельности, по крайней мере как это чувствуют их создатели и потребители, принадлежат царству, в особой степени возвышенному... Мы можем узнать в них священные, или сакральные, объекты (sacred objects) в самом сильном значении слова; они обитают в том же царстве, так же претендуют на предельную реальность, как и религия. «Истина» является царствующим сакральным объектом для ученого сообщества, как «искусство» – для литературно-художественных сообществ; эти объекты являются для них одновременно высшими познавательными и нравственными категориями, средоточием высшей ценности, исходя из которой судят обо всем остальном. Как показал Блур (Bloor) на примере математики, интеллектуальная истина имеет все характеристики, установленные Дюркгеймом для сакральных объектов религии: истина трансцендентна по отношению к индивидам, объективна, имеет принудительный характер и требует уважения.

Что придает определенным идеям и текстам сакральный статус? Можно предложить теорию очень широкого охвата, указывающую нам условия, при которых символы порождаются и воспринимаются как морально и познавательно обязывающие. Такова теория ритуалов взаимодействия, или интерактивных ритуалов (interactive rituals). Она связывает символы с социальной принадлежностью, а затем и то и другое – с чувствами общности (эмоциями солидарности) и структурой социальных групп. Такая теория объясняет колебания уровня солидарности и убежденности, обнаруживаемые в любых социальных структурах, а также объясняет динамику индивидуальных судеб. Особой формой данной эмоциональной энергии является то, что мы называем творчеством, или творческой способностью (creativity).

Наша первая теоретическая проблема состоит в том, чтобы показать, почему продукты интеллектуальной деятельности обладают сакральностью особого рода, отличаются от обыденных сакральных объектов, которыми также пронизана повседневная жизнь и которые скрепляют личные дружеские отношения, отношения собственности и структуры власти. Я также должен

показать, почему сакральные объекты интеллектуалов, находящиеся под сенью ведущей категории «истины», отличаются от сакральных объектов религии, характерных для морального сообщества верующих. После этого мы рассмотрим, как интеллектуалы производят и распространяют символы в своих собственных высокостратифицированных сообществах.

Начнем с того, что присуще любому действию, – с конкретной ситуации. Все события происходят здесь-и-сейчас как единичные и особенные. Общую перспективу микросоциологии, в которой анализируются структуры и динамика ситуаций, слишком легко истолковать как сфокусированность на действующем индивиде. Однако ситуация представляет собой взаимодействие обладающих сознанием человеческих тел в течение нескольких часов, минут или даже микросекунд; действующий индивид одновременно и меньше, чем вся ситуация, и больше нее, поскольку является единицей во времени, проходящей сквозь ситуации. Отстраненный действующий индивид, заставляющий события происходить, – это настолько же искусственная ситуация, как и отстраненный внесоциальный наблюдатель, который выражает собой идеализированную командную высоту классической эпистемологии. «Я», личность, является в большей степени макро-, чем ситуация; данный уровень аналитически произволен, поскольку «я», или действующий индивид, сконструирован динамикой социальных ситуаций.

Локальная ситуация является отправной, а не конечной точкой анализа. Микроситуация не есть нечто индивидуальное, но проникает сквозь индивидуальное, и ее последствия распространяются вовне через социальные сети к макро- сколько угодно большого масштаба. Вся человеческая история состоит из ситуаций. Никто никогда не был вне какой-либо локальной ситуации; и все наши взгляды на мир, вся наша деятельность по сбору данных берут начало здесь. Философские проблемы реальности мира, универсалии других сознаний неявным образом начинаются с ситуативности. Я не буду заниматься здесь этими эпистемологическими проблемами, разве что замечу: если кто-то отказывается признать существование чего-либо за пределами

локального, он приходит к некоторой версии скептицизма или релятивизма; если кто-то идеализирует происходящее в ситуациях как вытекающее из правил и использует эти предполагаемые правила как инструмент для конструирования всего остального мира, он приходит к какому-либо типу идеализма.

В социологии акцент на первичности локального был сделан символическим интеракционизмом и радикально усилен этно-методологией... Но никакая локальная ситуация не является одиночной; ситуации окружают друг друга во времени и пространстве. Макроуровень общества должен быть понят не как слой, расположенный вертикально над микро- (как если бы он находился в другом месте), но как развертывание спирали микроситуаций. Микроситуации встроены в макропаттерны, являющиеся именно теми способами, которые связывают ситуации друг с другом; причинность, – если угодно деятельность (agency) – проистекает извне вовнутрь так же, как и изнутри вовне. То, что случается здесь и теперь, зависит от того, что случилось там и тогда. Мы можем понимать макроструктуры, не реифицируя (не овеществляя) их, как если бы они были сами по себе существующими объектами, но рассматривая макро- как динамику сетей, объединение цепочек локальных столкновений, которые я называю *цепочками интерактивных ритуалов* (interaction ritual chains).

...Как же происходит установление этих связей? Воздействия ситуаций и внутрь и вовне – это стороны одного и того же процесса. Сильно сфокусированные ситуации пронизывают индивидуальное, формируя символы и эмоции, являющиеся соответственно средством и энергией индивидуального мышления, а также капиталом, позволяющим выстраивать дальнейшие ситуации в непрерывной цепи.

«Интерактивный ритуал» является термином Гоффмана, с его помощью Гоффман привлекает внимание к тому факту, что формальные религиозные ритуалы, проанализированные Дюркгеймом, принадлежат к тому же типу событий, который характерен для каждодневной жизни, причем повсеместно. Религиозные ритуалы являются архетипами взаимодействий, связывающих участ-

ников в моральное сообщество и создающих символы, действующие как линзы, сквозь которые члены сообщества видят свой мир, а также как коды, с помощью которых они общаются. <...>

Ритуальность социальных столкновений является переменной; все, что происходит, может быть расположено на континууме от полюса наиболее интенсивного производства социальной солидарности и сакрального символизма вниз, к обыденным и мимолетным ритуалам повседневной жизни, и даже еще ниже, к столкновениям, которые не производят вообще никакой солидарности и никакого смысла. Понимание источника этой изменчивости дает нам ключ к структурированию локальных столкновений; взаимодействия на различных уровнях данного континуума как раз и определяют, с какой силой порождаются социальные символы и эмоции, которые переносятся в последующие ситуации. Общая теория интерактивных ритуалов (которые я обозначаю ИР) является ключом одновременно к социологии индивидуального мышления и эмоций, а также к разнообразным соединениям одной локальной ситуации с другой.

Любой интерактивный ритуал имеет следующие необходимые составные части, или ингредиенты:

1) группа, как минимум, из двух человек, находящихся рядом;

2) участники сосредоточивают (фокусируют) внимание на одном и том же объекте или действии, и каждый осознает, что другой удерживает этот фокус внимания;

3) они разделяют общее настроение или эмоцию.

На первый взгляд кажется, что здесь упущено ядро обычного определения «ритуала» – стереотипные действия, такие как произнесение словесных формул, пение, совершенно предписанных жестов и облачения в традиционные одеяния. Все это внешние аспекты формального ритуала, которые вызывают социальный эффект только потому, что обеспечивают взаимный фокус внимания. Такой же фокус неявно возникает в феноменах, которые мы могли бы назвать *естественными ритуалами* (natural rituals). В той степени, в какой поддерживаются эти ингредиенты, они создают следующие социальные эффекты:

4) усиливаются и накапливаются взаимный фокус внимания и общее настроение. Телодвижения, речевые акты и голосовые микрочастоты согласуются в едином ритме, общем для всех участников. По мере того как микрокоординация усиливается, участники временно объединяются общей для них реальностью и ощущают границу, или мембрану, между этой ситуацией и кем-либо вне ее;

5) в результате участники ощущают себя членами группы, имеющими взаимные моральные обязательства. Их отношение символизируется всем тем, что служило фокусом внимания во время ритуального взаимодействия. Впоследствии, когда люди используют данные символы в разговоре или мышлении, это безмолвно напоминает им о групповой принадлежности. Символы заряжаются социальным смыслом благодаря опыту интерактивных ритуалов; символы разряжаются и теряют свою приносящую значимость, если такие столкновения не возобновляются в течение какого-то времени. Таким образом, происходит каждодневная флуктуация актуальности символов. Символы напоминают участникам о том, что нужно вновь собрать группу – принять участие в еще одной церковной службе, еще одной племенной церемонии, еще одном праздновании дня рождения, еще одном разговоре с другом, еще одной научной конференции. Выживание старых символов и создание новых зависит от степени периодичности, с которой собирается группа. Символы, достаточно заряженные чувством принадлежности к группе, задают индивиду определенный образ действия даже в отсутствие группы. Достаточно хорошо заряженные символы становятся эмблемами, которые защищаются от осквернителей и чужаков; они являются метками, обозначающими границы правильного, также боевыми знаменами олицетворяющими превосходство групп;

6) индивиды, которые участвуют в интерактивных ритуалах (далее – ИР), наполняются эмоциональной энергией пропорционально интенсивности взаимодействия. Дюркгейм называл эту энергию «моральной силой», приливом энтузиазма, позволяющим индивидам в муках ритуального участия совершать героические

акты страсти или самопожертвования. Я бы подчеркнул другой результат возникающей в группе эмоциональной энергии: она заряжает индивидов подобно электрическим батареям, давая им соответствующий уровень энтузиазма по отношению к ритуально созданным символическим целям, когда эти индивиды находятся вне группы. Многое из того, что мы полагаем личной индивидуальностью, определяется степенью обладания энергией интенсивных ИРов; в высшей точке данной школы такие личности являются харизматическими; при несколько меньшей интенсивности они предстают сильными лидерами или теми, кого называют «душа общества»; умеренные заряды эмоциональной энергии делают индивидов пассивными; а те, чье участие в ИРах скудно и безуспешно, становятся замкнутыми и подавленными. Эмоциональная энергия перетекает из ситуаций, когда индивиды участвуют в ИРах, в ситуации, когда они находятся в одиночестве, и сохраняется здесь. Столкновения влекут за собой эмоциональные последствия; именно таким путем люди могут продолжать вести свою внутреннюю жизнь и выстраивать индивидуальные траектории, формируясь при этом в узлах социального взаимодействия. Через какое-то время эмоциональная энергия угасает; для ее возобновления индивиды вновь возвращаются к ритуальному участию, чтобы «подзарядить» себя.

...Жизни индивидов суть цепочки интерактивных ритуалов; соединение этих цепочек конституирует все. Что является социальной структурой во всех ее мирадах форм. Рассмотрим особые виды цепочек интерактивных ритуалов, которые конституируют мир интеллектуалов.

Как же обстоит дело с социальными взаимодействиями интеллектуалов, создающих те абстрактно деконтекстуализированные символы, которые шествуют под главенствующим знаменем «истины»? Отличительные ИРы интеллектуалов – это ситуации, когда интеллектуалы собираются вместе ради серьезного разговора, причем не направленного на социализацию и не имеющего практического характера. Именно в этом акте обращения друг к другу интеллектуалы отделяют себя от других сетей социальной жизни. Дискуссия, лекция, аргументация,

иногда демонстрация или проверка данных – вот те конкретные виды деятельности, из которых возникает сакральный объект «истина».

<...> Хотя лекции, дискуссии, конференции и другие собрания в реальном времени могут показаться избыточными в мире текстов, тем не менее это как раз те структуры «лицом к лицу», которые являются наиболее устойчивыми на протяжении всей истории интеллектуальных сообществ... Интеллектуальная жизнь вращается вокруг ситуаций «лицом к лицу», поскольку только на этом уровне могут происходить интерактивные ритуалы. Интеллектуальные сакральные объекты могут быть созданы и сохранены, только если есть церемониальные собрания для поклонения им. Это то, что делают лекции, конференции, дискуссии и диспуты: они собирают интеллектуальное сообщество, фокусируют его внимание на общем, и исключительно им принадлежащем объекте и усиливают определенные эмоции вокруг этих объектов.

Ритуальное средоточие групповой солидарности находится не столько на уровне конкретных утверждений и убеждений, сколько в данной деятельности как таковой. Внимание фокусируется на особом виде речевого действия: ведении диалога, выходящего за пределы сиюминутной ситуации и соединяющего прошлые и будущие тексты. Глубоко укорененное осознание этой общей деятельности – вот что объединяет интеллектуалов как ритуальное сообщество. Таким образом, это и есть интеллектуальный ритуал. Интеллектуалы собираются, на некоторое время сосредоточивают внимание на ком-то одном из них, кто представляет развернутый дискурс. Этот дискурс сам по себе строится из элементов прошлого, утверждая и продолжая либо отрицая их. Ранее заряженные старые сакральные объекты «подзаряжаются» вниманием либо деградируют, теряя свою сакральность, и изгоняются из жизни сообщества; новые кандидаты в сакральные объекты предлагаются для освящения. Через отсылку к текстам прошлого и текстам будущего интеллектуальное сообщество удерживает осознание своих проектов, выходя за пределы всех частных ситуаций, в которых они принимались. Таким

образом, особый ведущий сакральный объект – истина, мудрость, иногда также поисковая или исследовательская деятельность – является одновременно и вечным, и воплощенным в потоке времени...

...Идей с высоким уровнем заряженности будет меньше, но они непропорционально влиятельны, они формируют менее значительные мысли в индивидуальном сознании, подобно выстраиваемому железные опилки магниту, а также создают напряжение среди многих людей, что и превращает последних в интеллектуальную группу...

То, что я обозначил как закон малых чисел, предполагает, что количество соперничающих позиций на переднем фронте интеллектуального творчества всегда невелико... Каждая дисциплина или специальность может иметь свои внутренние и внешние круги, вновь подверженные закону малых чисел, с ограниченной демократией на вершине, причем она (демократия) возрастает в некоторых условиях благодаря высокой скорости изменения и неясности для окружения относительно местонахождения настоящего центра. В целом же данная структура является полем сил, внутри которого действуют и мыслят индивиды. <...>

Глава 2

Сети сквозь поколения

Высокий уровень интеллектуального творчества – явление редкое. Происходит же это вследствие структурных условий, а не индивидуальных обстоятельств. По известному выражению, философские направления – это протянувшиеся во времени тени великих личностей. Но усилия психологов выявить условия, вызывающие появление великих личностей, не привели к сколько-нибудь определенным результатам. Сочетание конкретных обстоятельств, таких как порядок рождения в семье, удаленность от отца, стремление к любви, физическая неуклюжесть, конечно же, встречаются гораздо чаще, чем выдающиеся творческие мыслители. Также недостаточно родиться в мирное время, когда интеллектуальная деятельность пользуется поддержкой, или получить опыт других условий, значимых для

самоактуализации. Редкость творчества показывает также ограниченность любого внешнего объяснения на основе общих условий окружающего общества; «дух времени», политические и материальные обстоятельства влияют на каждого, подобные объяснения не позволяют понять, почему при всем этом творческих деятелей столь мало. <...>

Интеллектуалы совершают прорывы и изменяют ход течения идей благодаря своему использованию того культурного капитала и той эмоциональной энергии, которые притекают к ним из прошлого и реструктурируются полем напряжений среди их современников. Достоинство их вклада, его «самостоятельное значение» или «внутренняя ценность», равно как и «общественный вклад», определяется тем, как развивается эта структура после их смерти. На самом деле мы, интеллектуалы, являемся водоворотами в реке времени, причем, возможно, в большей степени, чем другие люди, поскольку это именно наше дело – заботиться о такой связи через поколения.

Творчество, таким образом, предназначено для долгого плавания. Мой социологический критерий креативности – дистанция между поколениями, на которую передаются идеи. Давайте проясним, что это означает. Минимальная единица интеллектуального изменения – это поколение, примерно 33 года. По крайней мере, столько времени необходимо для того, чтобы в философских предпосылках произошло какое-либо значительное изменение; и требуется, по крайней мере, еще одно или два поколения, чтобы увидеть, дает ли это изменение структурный вклад в нечто такое, чем могут заниматься последующие интеллектуалы. Как социологи, мы можем видеть это в нашей собственной дисциплине: нам ясно, кто является классическим социологом примерно в 1900–1930-е годы (Вебер, Дюркгейм, Мид, Зиммель), но поколение, следовавшее непосредственно за ними, находилось как раз в процессе отсеивания данных имен из большей совокупности; в течение собственной жизни и сразу после смерти указанных классиков социологии их репутации были подвержены колебаниям, будучи иногда весьма локальными и второстепенными. Творческая работа, которая удерживает внимание

в течение 5 или даже 10, 20 лет, может оказаться только второстепенной флуктуацией, слишком краткой, чтобы быть подхваченной в долговременной перспективе интеллектуальной истории. Чтобы понять огромный масштаб соответствующих процессов, можно было бы попытаться измерить, сколько места «постмодернистские» философы, наделавшие столько шума в 1980-е годы, займут в историях философии, которые будут написаны спустя два века или даже два поколения. Разумеется, то же самое справедливо для сегодняшних фигурантов будущих историй социологии или любой другой дисциплины. Социологический подход заключается в том, чтобы видеть отношение между человеческим авангардом любого конкретного поколения и гораздо более безличной, жестоко структурированной последовательностью поколений, являющейся царством креативности. Творческие эпохи бывают реже, чем эпохи рутинного мышления; и даже в лучшие времена внутренние круги интеллектуального мира окружены следующими одна за другой перифериями. <...>

Что же передается в таком случае через эти цепочки личных связей? Без сомнения, **интеллектуальный капитал**. Книги не так значимы, как личные контакты, по той причине, что общая подверженность идеям времени недостаточна для перво-классной интеллектуальной работы; что дает личный контакт с ведущим практиком-исследователем, так это фокус внимания на аспектах большой массы идей, составляющих аналитическое острие. Конечно же, творческие интеллектуалы каждого нового поколения, отталкиваясь от этой точки, движутся по новым направлениям. Личный контакт с лидерами предшествующего поколения может помочь и здесь, пусть не столько в существе, сколько в самом стиле работы – существе, сколько в самом стиле работы – ем передачи эмоциональной энергии и ролевой модели, показывающей, как добиваться высочайших уровней интеллектуального труда. Эмоциональная энергия интенсифицирована на высоких уровнях через интерактивные ритуалы повседневной жизни благодаря сильно сфокусированным групповым взаимодействиям. Опыт наблюдения за знаменитым учителем,

окруженным учениками, является весьма мотивирующим даже несмотря на то, что по причинам, которые мы здесь увидим, лишь немногие ученики достигают полного успеха. Тот же опыт присутствует и в горизонтальных групповых контактах. Группа, подобная «Семи мудрецам в бамбуковой роще», одновременно порождает творческое вдохновение среди своих членов; друг без друга, конечно же, они не были бы так окрылены в своих воображаемых битвах и идейных протестах.

Контакты с оппонентами имеют столь же сильный эффект эмоционального побуждения к творчеству, сколь и контакты с союзниками, может быть даже больший. Именно по этой причине кажется, что интеллектуалы как бы притягиваются к своим оппонентам; они выискивают друг друга подобно магнитам, сцепляющимся противоположными полюсами. Интеллектуальный мир в своем самом интенсивном ядре имеет структуру противоборствующих групп, соединяющихся в некое конфликтное сверхобщество. Горизонтальные связи, которые перекрещиваются в Афинах во время Сократа и его последователей, формировали тот же вид структуры, которая определила воодушевление Академии Чжу Си и ее соперников в период Воюющих царств, соперников среди буддийских фракций в ранний период династии Тан и, кроме того, среди множества школ в период династии Сун, представители которых превратились в неоконфуцианцев. Интеллектуалы воодушевляются самим течением идей, перспективами их развития, битвами со своими противниками; это происходит именно так, даже если интеллектуалы обращаются в прошлое, мечтая о восстановлении какого-либо древнего или даже вечного идеала. Ритуальная плотность взаимодействий интеллектуалов повышает их энергию, и это более всего случается тогда, когда сходятся знаменитости – соперничающие сакральные объекты, воплощенные в реальных персонах, в сталкивающихся аурах которых купается публика.

Эти энергии направляются в конкретные русла. Интеллектуальные области в каждый данный период позволяют в полной мере реализоваться лишь немногим возможностям. Для того чтобы знать об этих возможностях, чтобы чувствовать, какой именно

путь открывается, чрезвычайно важно находиться в гуще событий. А особенно в контакте со своими соперниками. Так, перво-степенные интеллектуалы, встречаясь друг с другом, не обязательно сообщают какой-либо интеллектуальный капитал; они, возможно, вообще ничего существенного не узнают друг от друга. То обстоятельство, что соперничавшие неоконфуцианцы Чжу Си и Лу Цзююань встречались и спорили, возможно ничего не добавляло в репертуар идей каждого. Но сама ситуация, столкнувшая их вместе, должна была предполагать устойчивое осознание расщепленности интеллектуальной области, а это само по себе вдохновляло Чжу и Лу развивать соответствующие позиции, разворачивать их в соперничающие сверхсистемы.

На уровне течения идей и эмоций существует несоответствие между причинами и следствиями. Хотя контакт с перво-степенными предшественниками или ровесниками значим для творчества, как жизнь в период структурного соперничества, тем не менее индивидов, испытывающих на себе действие этих условий. Гораздо больше, чем появляющихся интеллектуальных «звезд». Мы знаем имена некоторых из соотечественников Цицерона, которые учились у той же плеяды философов в Афинах и на Родосе, но только Цицерон воспринял интеллектуальные и эмоциональные ресурсы, чтобы стать философской знаменитостью. Мы можем быть уверены, что у каждого выдающегося философа, способного передавать значительный культурный капитал и эмоциональную энергию, было гораздо больше учеников, которые имели шанс «реинвестировать» данные ресурсы, чем тех, кто это действительно сделал. <...>

В дополнение к необходимости иметь преимущество перво-очередного получения наиболее релевантного культурного капитала, быть в ситуациях, повышающих эмоциональную энергию для творческого броска, быть осведомленным об открывающихся структурных возможностях – во всем этом также необходимо быть первым. Нужно быть впереди. Иначе структурные возможности, на которые может рассчитывать индивид, начинают закрываться. Счастливые возможности и порывы воодушевления, как объективные, так и субъективные, прибывают и накапливаются

у тех немногих персон, которые получают преимущество на старте борьбы за структурные каналы; такие возможности закрываются для остальных, тех, кто, быть может, в самом начале не так уж сильно отставал. Именно ощущение этих сил, действующих в интеллектуальном мире, выводит некоторых из борьбы, заставляет расстаться с мечтами о достижении интеллектуальной значительности. Такие интеллектуалы могут и остаться в области деятельности, но лишь на вспомогательной роли комментатора или пересказчика других авторов, передающего чужие идеи провинциальной публике; они могут также уйти в политику или какую-то иную область, где соревнование с другими интеллектуалами не столь жесткое, как на их собственной беговой дорожке – «ноздря в ноздю». <...>

Структура творчества, выражающегося одновременно в противоположных позициях, выводит нас на закон малых чисел, делая более понятной ту борьбу, что разделяет **пространство интеллектуального внимания**. Творчество является как бы «сцеплением» (friction) в пространстве внимания, причем в те моменты, когда структурные блоки трутся друг о друга с наибольшей силой. Наиболее влиятельные идейные новшества рождаются в моменты высочайшей вертикальной и горизонтальной плотности сетей, когда цепочки творческих конфликтов выстраиваются над непрерывной цепью поколений. Стратификация интеллектуального мира долговременной славы намного контрастней, чем политико-экономическая структура обществ. <...>

На протяжении всей мировой истории женщины наиболее часто попадали в пространство интеллектуального внимания как религиозные мистики. Но мистицизм не является исключительно женской формой мышления: большинство мистиков все же были мужчинами. Данная связь является организационной; дело здесь не в женской или мужской ментальности, что было бы редукционистским объяснением, но в социальной дискриминации на уровне материальной основы. Отнюдь не индивиды (будь то мужчины или женщины) производят идеи – их производит течение сетей через индивидов. Из истории известно: в те времена, когда женщины имели доступ к сетям, находившимся в центре

интеллектуального внимания, они заполняли какой-то спектр философских позиций. У греков наиболее доступной для женщин была линия эпикурейских материалистов, женщины-философы были также среди киников... В поздней греко-римской античности женщины встречаются среди математиков платоновской традиции... В более близкое нам время женщины появляются в таких сетях, как аналитическая школа, парижские экзистенциалисты и структуралисты. Лидеры феминистской теории – Дороти Смит в социологии, ученица этнометодолога Гарольда Гарфинкеля и, таким образом, ученица во втором поколении сети Альфреда Шюца и феноменологов; Юлия Кристева в кружке «Телль-Кель» с Жаком Деррида – сочетают культурный капитал и эмоциональную энергию, доставшиеся из интеллектуальных сетей предыдущих поколений.

Историки будущего, оглядываясь на наши времена, увидят феминистское движение как одну из сил, преобразующих интеллектуальную жизнь. Однако над интеллектуальным полем никогда не господствует лишь одна фракция, будь то феминистская или маскулинистская; поэтому можно предсказать, что, поскольку в данной интеллектуальной области число женщин, преодолевающих институциональную дискриминацию, растет, они разойдутся по различным позициям – это и составляет динамику интеллектуальной жизни. Нет глубинной философской борьбы между мужской и женской ментальностями, потому что таких изначальных ментальностей не существует. Эта оппозиция выдвинута сегодня на первый план данного интеллектуального пространства, поскольку творческое поле всегда действует через оппозиции; наши текущие споры являются лишь новой фазой этой стародавней динамики.

Ядро сетей, господствовавших над вниманием в течение поколений письменно зафиксированной истории, и общее число находящихся в нем от 100 до 500 или до 2 700 имен, было привилегированным по отношению ко всем остальным, не попавшим в центр внимания. Говорить об этой совокупности как о маленькой компании гениев было бы проявлением полного непонимания социологического момента. Именно сети пишут сюжет

интеллектуальной истории; структура же сетевой конкуренции относительно пространства внимания, определяющая креативность, сфокусирована таким образом, что выдающиеся идеи формулируются устно с помощью речевого аппарата и письменно с помощью пальцев лишь немногих индивидов. Сказать, что с общество творческих интеллектуалов немногочисленно, – все равно что сказать: интеллектуальные сети сфокусированы на вершинах немногих пирамид. Борьба человеческих существ за более высокое место в такой пирамиде, а также условия, делающие эти вершины редкими, но взаимосвязанными, образуют саму субстанцию социологии философий и социологии всей интеллектуальной жизни.

В данной борьбе почти все мы должны потерпеть поражение. Это ранит наш интеллектуальный эгоцентризм и развеивает мечту о славе, в том числе, если угодно, и посмертной, которая является символической наградой за интеллектуальный труд. Просто в пространстве внимания нет места более чем для весьма малого числа получающих наивысшее признание при жизни, а со сменой поколений помнят еще о меньшем числе творческих интеллектуалов как оказывающих долговременные влияния, причем это дает лишь второстепенные репутации, не говоря уже о гораздо меньшем числе первостепенных мыслителей. Такова судьба почти всех интеллектуалов – быть рано или поздно забытыми, это касается большинства из нас.

Вместо того чтобы, осознав этот факт, впасть в депрессию, можно посмотреть на него совершенно в ином свете. Все мы, от «звезд» до сторонних наблюдателей, – часть одного и того же силового поля. Соединяющая нас сеть формирует и распределяет наши идеи и энергию. Мы сделаны из того же теста, что и Кант, или Витгенштейн, или Платон. Если мы – социологи, то наши умы буквально пронизывают идеи Вебера и Мида, подобно тому, как идеи Дильтея и Риккерта, Вундта и Джемса пронизывали их умы. Если мы – математики, то мы не можем мыслить иначе как часть сети, пусть даже отдаленной, в которой размышляли Пифагор или Ньютон. Они, как и мы, сформировались в противостоянии и напряжении между различными частями

сети, порождающими интеллектуальные проблемы, а стало быть, и вопросы, над которыми мы размышляем сегодня. То же самое касается наших современников, как друзей так и соперников, а также тех, кто придет после нас. «Звезд» немного, поскольку фокус внимания в интеллектуальной сети – лишь малая часть целого. Личности в сетевых центрах, которые попадают в фокус всеобщего внимания, изначально ничем от нас не отличаются. У всех нас один и тот же состав, те же самые ингредиенты. Мы сами делаем друг из друга то, что мы есть.

Перевод с английского Н. С. Розова и Ю. Б. Вертгейм

ЧОДОРОВ Нэнси
(CHODOROW Nancy)

(р. 1944)

Нэнси Чодоров (р. 20.01.1944, Нью Йорк) – известная американская феминистка, представитель психоаналитической социологии и социальной психологии.

Выросла в семье профессора физики, эмигранта из Европы. Окончила Рэдклиф колледж в 1966 г., изучала психоанализ в психоаналитическом институте в Сан-Франциско. Получила докторскую степень по социологии в Брандайском университете в 1975 г. Начала академическую карьеру в 1973 г. чтением лекций в рамках программы «женских исследований» в Уэлсби колледже, затем с 1974 по 1986 год преподавала в университете г. Санта Круз. В последние годы работает в университете г. Беркли в Калифорнии и продолжает развивать свою версию психоаналитической феминистской теории. Является членом Американской социологической ассоциации, Национальной ассоциации по женским исследованиям. Получатель многих исследовательских грантов и наград в области социальных и психоаналитических исследований.

На протяжении всей жизни Чодоров выступает как социолог, психоаналитик и как педагог. Автор четырех книг, одна из которых – «Воспроизводство материнства» – была удостоена в 1979 г. престижной социологической награды имени Джесси Бернард (присваивается женщинам за вклад в науку) и названа журналом «Современная социология» в числе лучших десяти книг последней четверти XX века. Именно благодаря данной работе, посвященной центральной роли матерей в воспитании детей, Чодоров получила широкую известность. Она внесла значительный вклад в феминистскую теорию, пересмотрев пути, посредством которых психологическая динамика гендерной системы подвергается воздействию развития общества.

Наиболее влиятельной книгой, написанной Нэнси Чодоров, можно считать работу «Психоанализ в гендерной социологии», в которой она

резко критикует традиционный взгляд, согласно которому женщина биологически предрасположена к уходу за маленькими детьми. По мнению Чодоров, материнство удовлетворяет психологическую потребность женщины во взаимной близости. Она показывает различия в отношениях, складывающихся у матери с сыновьями и с дочерьми: хотя у матерей складываются тесные связи с сыновьями, последние все равно рассматриваются как «другие», в то время как с дочерьми матерей объединяет чувство «единства». Этим обусловлено, по ее мнению, то, почему взрослые мужчины, не привыкшие к тесным психологическим отношениям, склонны перекладывать бремя воспитания на женщин. Чодоров считает, что теория, объясняющая воспитание детей с учетом пола воспитателя, одновременно объясняет и формирование гендерной идентичности. Она критически относится к объяснениям Фрейда по поводу отношений между полами и считает многие из его положений, включая Эдипов комплекс, недоказанными и не универсальными.

Чодоров часто рассматривается как ведущий теоретик феминизма, особенно в области психоанализа и феминистской психологии. Ее эссе включены в учебные пособия по проблемам гендерных ролей и конструированию гендера. Ее анализ путей, посредством которых систематически воспроизводится психологическая динамика гендерной системы, а также их зависимость от исторических изменений, признана значительным вкладом в феминистскую теорию.

Основные работы: «Воспроизводство материнства» (1978); «Феминизм и психоаналитическая теория» (1990); «Власть чувств: персональное значение в психоанализе, гендере и культуре» (2000); «Психоанализ в гендерной социологии» (2002).

В приводимом фрагменте воспроизводятся взгляды Чодоров на проблему гендерного неравенства, его социальную природу.

ЧОДОРОВ НЭНСИ

ГЕНДЕРНАЯ ЛИЧНОСТЬ И ВОСПРОИЗВОДСТВО МАТЕРИНСТВА¹

Несмотря на очевидно близкую связь между способностью женщин к вынашиванию детей и лактации, с одной стороны, и их ответственностью за уход за детьми – с другой, и несмотря на возможную доисторическую пользу (и, возможно, необходимость

¹ Chodorow N. Gender Personality and the Reproduction of Mothering // The Blackwell Reader in Contemporary Social Theory; A. Elliot (ed.). Oxford: Blackwell, 1999. – P. 259–262. Пер. с англ. А. А. Широкаковой.

для выживания) полового разделения труда, в котором женщины становились матерями, биология и инстинкт не дают нам адекватного объяснения того, почему женщины становятся матерями. Женская забота о детях как черта социальной структуры требует объяснения в терминах социальной структуры. Общепринятые феминистские и социально-психологические объяснения происхождения гендерных ролей – девочек и мальчиков «учат» соответствующему поведению, и они «научаются» соответствующим чувствам – недостаточны как эмпирически, так и методологически, чтобы объяснить, почему женщины становятся матерями.

Методологически теории социализации ошибочно полагаются на индивидуальные установки. Ведь существующие социальные структуры содержат средства для собственного воспроизводства: в упорядоченном повторении социальных процессов, в увековечении условий, которые требуют участия членов общества, в происхождении легитимности идеологий и институтов, а также в психологическом и физическом воспроизводстве людей для исполнения необходимых ролей. Объяснение социализации помогает объяснить становление идеологий гендерных ролей. Однако понятие соответствующего поведения, например, такого как принуждение, не может само по себе создать родительство. Психологические способности и определенная установка на отношение к объекту являются центральными и определяющими факторами в объяснении родительства в значительно большей степени, чем в объяснении других ролей и занятий.

Женское материнство включает в себя способность к собственному воспроизводству. Это воспроизводство состоит в воспитании женщин с определенными психологическими способностями и установкой на основную роль в родительстве и заботе о детях, а мужчин – без таковых. Психоанализ дает нам теорию социального воспроизводства, которая объясняет основные черты развития личности и психической структуры и в частности – различия в развитии гендерной личности. Психоаналитики утверждают, что личность и происходит, и состоит из способов, которыми ребенок присваивает, интернализирует и организует свой

ранний опыт в своей семье из собственных фантазий, используемых им способов защиты, которыми он канализирует и перенаправляет энергию в конкретном контексте отношения к объекту. Как следствие, человек накладывает эту внутриспсихическую структуру (и фантазий, и защит, и сопутствующих отношений с навязчивыми идеями) на внешние социальные ситуации. Эта реэкстернализация (или взаимная реэкстернализация) является главной чертой социальных и межличностных ситуаций.

У психоанализа, однако, нет адекватной теории для воспроизводства материнства. Из-за телеологического предположения, что «анатомия – это судьба» и что судьба женщины включает в себя основную заботу о детях, онтогенез женской материнской заботы был в значительной степени проигнорирован психоанализом, даже несмотря на то, что происхождению разнообразных связанных с материнством тревог и проблем было уделено значительное клиническое внимание. Большинство психоаналитиков согласны с тем, что основа для родительства (как воспитания детей) для обоих полов лежит в ранних отношениях с тем человеком, который осуществляет о них заботу. Кроме того, чтобы объяснить, почему именно *женщины* проявляют материнскую заботу, психоаналитики обычно полагаются на туманные понятия о последующей идентификации девочки со своей матерью, которая делает девочку (а не ее брата) «основным» родителем, или на неопределенную и неисследованную, но заложенную в девочках женственность, или на логический переход от лактации или ранних вагинальных ощущений к способностям заботы и выполнения взятых обязательств.

Реинтерпретация психоаналитического объяснения мужского и женского развития дает нам эволюционную теорию воспроизводства женской материнской заботы. Женская материнская забота воспроизводит себя через различающийся опыт отношения к объекту и различающиеся психические последствия (этой заботы) в женщинах и мужчинах. Воспитанные женщиной, женщины в большей степени, чем мужчины, склонны стремиться к материнской заботе, т. е. сменить свое место в первичном отношении мать–ребенок, чтобы получить удовлетворение от отношений

материнской заботы о ребенке и чтобы иметь способности к материнству, основанные на психологии и отношении к объекту.

Раннее отношение к человеку, осуществляющему первичную заботу о детях, обуславливает в детях обоих полов базовую способность к участию в отношении с чертами ранних отношений между родителем и ребенком и желание создать эту близость. Но поскольку именно женщины исполняют функцию матерей, постольку ранний опыт и доэдиповы отношения у мальчиков и девочек различаются. Девочки сохраняют больше озабоченности вопросами раннего детства, отношением к матери и чувством собственной причастности к этим процессам. Поэтому их привязанность содержит больше доэдиповых аспектов. Большая продолжительность и отличная от мальчиков природа доэдипова опыта у девочек и их продолжающаяся озабоченность проблемами данного периода означают, что женское чувство самости продолжает другие чувства и что женщины сохраняют способность к первичной идентификации. Оба этих качества позволяют им испытывать эмпатию и недостаток чувства реальности, необходимые для воспитания ребенка, которому нужна забота. В мужчинах данные качества ослаблены, так как сначала их мать относится к ним как к своей противоположности, а затем их привязанность к матери должна быть репрессирована. Поэтому укорененная в отношениях основа для материнской заботы воспитывается в женщинах и подавляется в мужчинах, которые в большей степени ощущают себя отделенными и отличными от остальных.

Различная структура женского и мужского эдипова треугольника и эдипова опыта, которая порождается материнской заботой женщин, способствует дальнейшему разделению гендерных личностей и воспроизводству женской материнской заботы. В результате данного опыта внутренний объектный мир женщины, а также аффекты и проблемы, с ним связанные, становятся более сложными и поддерживаются более активно, чем у мужчин. Это означает, что женщины определяют и ощущают себя в отношении к кому-то. Их гетеросексуальная ориентация всегда находится во внутреннем диалоге и с эдиповыми, и с доэдиповыми вопросами отношений «мать–ребенок». Поэтому женская гете-

росексуальность триангулярна и требует третьего человека – ребенка – для своего структурного и эмоционального завершения. Для мужчин же, наоборот, сами гетеросексуальные отношения воскрешают раннюю связь с матерью; ребенок же эту связь прерывает. Более того, мужчины не определяют себя по отношению к кому-то: они пришли к подавлению способностей к отношению и репрессии собственных потребностей в отношениях. Это подготавливает их к участию в отрицающем чувства мире отчужденного труда, но не к удовлетворению женских потребностей в близости и первичных отношениях.

Поскольку эдипов комплекс возникает из асимметричной организации родительства, он защищает психологическое табу родителя и ребенка на инцест и толкает мальчиков и девочек в направлении внесемейных гетеросексуальных отношений. Это один шаг по направлению к воспроизводству родительства. Однако создание и поддержание табу на инцест у девочек и мальчиков, как и гетеросексуальность у них, различаются. У мальчиков формирование Супер-эго и идентификация со своим отцом, вознаграждаемые доминированием маскулинности, поддерживает табу на инцест со своей матерью, в то время как гетеросексуальная ориентация продолжается из самых ранних любовных отношений мальчика с матерью. Формирование же гетеросексуальности у девочек поддерживается, прежде всего, посредством табу. При этом женская гетеросексуальность не такая исключаящая, как мужская. Это облегчает для женщин принятие или поиск мужчины-заместителя их отцов. В то же время в обществе, где доминируют мужчины, исключаящая эмоциональная гетеросексуальность женщины не так востребована, как и ее репрессия любви к своему отцу. Мужчины более склонны инициировать отношения, и экономическая зависимость женщин от мужчин в любом случае толкает их на гетеросексуальный брак.

Мужское доминирование в гетеросексуальных парах и браке решает проблему недостатка у женщин преданности гетеросексуальным отношениям и недостатка удовлетворения, делая их более реактивными в процессе сексуальной связи. В то же время конфликты в гетеросексуальных отношениях помогают сохранить семьи и родительство, гарантируя, что женщины будут

искать отношений с детьми и не довольствоваться одними сексуальными отношениями. Поэтому мужская неготовность к эмоциям и женская менее исключаящая гетеросексуальная преданность обеспечивают женскую материнскую заботу о детях.

Таким образом, женская материнская забота производит психологическое самоопределение и способность к материнской заботе у женщин и сокращает и подавляет аналогичные способности и самоопределение у мужчин. Ранний опыт женской заботы создает фундаментальную структуру ожиданий у женщин и мужчин относительно того, что у матери нет интересов, не связанных с их младенцами, и что они всецело озабочены благополучием своих отпрысков. Дочери растут, идентифицируя себя с матерями, по отношению к которым они испытывают подобные ожидания. Этот набор ожиданий обобщается в предположении, что женщины естественным образом заботятся о детях всех возрастов, и вере в то, что «материнские» качества женщины могут и должны быть приложены и к нематеринскому труду, который они выполняют. Все эти результаты женской материнской заботы о детях гарантируют, что женщины опекают младенцев и несут за детей непрерывную ответственность.

Воспроизводство женской материнской заботы – это основа для воспроизводства женского положения в обществе и обязанностей в домашней сфере. Эта материнская забота о детях и ее обобщение в структурном положении женщины в домашней сфере связывает современную социальную организацию гендера и социальную организацию производства и способствует воспроизводству того и другого. Тот факт, что именно женщины осуществляют материнскую заботу, является фундаментальной организационной чертой поло-гендерной системы: он лежит в основе разделения труда между полами и порождает психологию и идеологию мужского доминирования, а также идеологию о способностях и природе женщин. Как жены и матери, женщины также способствуют ежедневному и поколенческому воспроизводству (как физическому, так и психологическому) мужчин-работников, а значит, и воспроизводству капиталистического производства.

Женская материнская забота о детях воспроизводит семью в том виде, в каком она была создана в обществе с мужским доминированием. Половое и семейное разделение труда, в котором женщины заботятся о детях, создает половое разделение психической организации и ориентации. Оно производит разделенных по гендерному признаку женщин и мужчин, которые вступают в асимметричные гетеросексуальные отношения. Оно производит мужчин, которые реагируют на женщин, боясь их и ведут себя по отношению к ним с превосходством; мужчин, которые вкладывают большую часть своих сил в мир труда вне семьи и не заботятся о своих детях. Наконец, оно производит женщин, которые обращают свои силы на воспитание детей и заботу о них, в свою очередь, воспроизводя такое половое и семейное разделение труда, в котором женщины заботятся о детях.

Поэтому социальное воспроизводство асимметрично. Женщины в своей домашней роли воспроизводят мужчин и детей физически, психологически и эмоционально. Женщины в своей домашней роли домработниц ежедневно заново создают себя физически и воспроизводят себя эмоционально и физически как матерей в следующем поколении. Таким образом, они способствуют увековечению своих собственных социальных ролей и своего положения в гендерной иерархии.

Институционализированные черты семейной структуры и социальных отношений воспроизводства воспроизводят сами себя. Психоаналитическое исследование показывает, что способности и обязанности женщин заботиться о детях и общие психологические способности и желания, которые являются основой эмоциональности женщин, эволюционно встроены в женскую личность. Так как о самих женщинах заботятся женщины, то они вырастают со способностью к отношениям, потребностью в них и психологическим определением себя в отношениях, что обязывает их к материнству и заботе о детях. Так как о мужчинах также заботятся женщины, то с мужчинами этого не происходит. Женщины заботятся о дочерях, которые, когда сами становятся женщинами, проявляют материнскую заботу о своих детях.

Перевод с английского А. А. Широкановой

ВИКС Джеффри
(Weeks Jeffrey)
(р. 1945)

Джеффри Викс (р. 01.11.1945, Уэллс) – британский социолог послевоенного поколения, социальный историк. Получил образование в университетском колледже в Лондоне и университете Кента в Кентербери. Занимал должность лектора по социологии в университете Кента. В 1989–1990 гг. стажировался в университете Манчестера, затем работал профессором социальных отношений и социологии в университетах Бристоля и Лондона. С 1995 по 1998 год – руководитель школы образования, политики и социальной науки в Лондоне, с 1998 г. – декан факультета гуманитарных и социальных наук.

Активно участвует в телевизионных программах, посвященных проблемам сексуальности. Автор многих книг и статей. Член редакционных коллегий ряда журналов, в том числе «Журнала истории сексуальности», «Журнала гомосексуальности», «Исторического журнала».

Викс одним из первых академических ученых в Великобритании стал изучать мужчин-геев. В 1970 г. стал одним из основателей и активным членом левой организации геев. В первой работе, появившейся как результат его «мужских исследований геев», – книге «Появление: гомосексуальная политика в Британии с XIX в. до наших дней» (1977) – Викс дал историческую хронику развития гомосексуальной политики с конца XIX в. вплоть до современного ему освободительного движения геев (книга выдержала два издания). После этого Викс стал регулярно издавать книги, посвященные проблемам сексуальности, морали, проблемам современной семьи и др.

Основные идеи, проповедуемые в работах Вика, сводятся к анализу сложности современной сексуальной и семейной жизни мужчин (а косвенно – и женщин) в эпоху всеобщей неопределенности. Викс пытается показать, что кризис традиционных форм семьи и брака – это не результат «упадка» современной морали, а следствие многих исторических изменений, против которых невозможно бороться. Он анализирует как негативные, так и позитивные стороны новых отношений, которые, по его мнению, не надо замалчивать, а, напротив, необходимо серьезно изучать.

Основные работы: «Появление: гомосексуальная политика в Британии с XIX в. до наших дней» (1977); «Социализм и новая жизнь» (1977); «Секс, политика и общество: регулирование сексуальности

после 1800 г.» (1981); «Сексуальность и ее неудовлетворенности» (1985); «Сексуальность» (1986); «Освобождение чувственности» (1988); «Против природы: эссе по истории, сексуальности и интимности» (1991); «Между законами: жизнь гомосексуальных мужчин 1885–1967» (1991); «Изобретенные морали: сексуальные ценности в век неопределенности» (1995); «Сексуальная культура: сообщества, ценности и интимность» (1996); «История сексуальности» (2000); «Однополая интимность. Семьи по собственному выбору и другой жизненный опыт» (2001).

Приведенная статья дает представление о том, какие изменения в сексуальности автор считает наиболее яркими проявлениями современной эпохи и как он характеризует саму эпоху. Данный текст был рекомендован лично автором и публикуется с его любезного согласия.

ВИКС ДЖЕФФРИ

ЖИЗНЬ С НЕУВЕРЕННОСТЬЮ¹

Сексуальность, отношения и демократическое воображение

«Говорить о сексуальности и теле и не говорить о СПИДе, – пишет Раби Рич (Rabbi Rich), – было бы просто неприлично». Я могу только согласиться с этим. С начала 1980-х годов СПИД, болезнь ВИЧ, преследовал сексуальное воображаемое, воплощая опасность и страх, которые тянутся вслед за телом и его удовольствиями. Даже когда эпидемия «нормализуется» в одних частях света, она превращается в эндемию в других, бросая тень на изменения, которые трансформируют сексуальный мир. <...>

Человек с ВИЧ или СПИДом все время должен жить с последующей неуверенностью: неуверенностью диагноза, прогноза, реакции друзей, семьи, тех, кого этот человек любит, а также анонимных и полных страха или ненависти других. Все остальные тоже должны жить с неуверенностью: неуверенностью, порожденной риском, возможным заражением, незнанием, чувством утраты. <...>

¹ *Weeks J. Living with Uncertainty // The Blackwell Reader in Contemporary Social Theory, A. Elliot (ed.). – Oxford: Blackwell, 1999. – P. 277–286 (в сокр.).* Пер. с англ. А. А. Широкаковой.

Случайность, случай, непредвиденное обстоятельство – это больше чем характеристики определенного набора болезней. Они проявляются как отличительная особенность современности. Что-то происходит с нами без очевидного разумного объяснения или оправдания. Надежда модернист – что мы можем контролировать природу, что можем стать хозяевами всего, что мы видим, – может быть сведена на нет случайными событиями в странах, о которых мы немного что знаем и до которых нам нет особого дела, или же каким-то микроскопическим организмом, неизвестным до 1980-х годов. Хотя события могут показаться случайными и неожиданными, способы, которыми мы реагируем на них, – нет. У них есть история, а на самом деле – много историй. СПИД может быть современным феноменом, болезнью конца тысячелетия (*fin de millennium*), но это в высшей степени исторический феномен, ограниченный историей, которая обременяет людей жизнью с ВИЧ или СПИДом – ношей, которую они не обязаны нести.

Существуют истории предыдущих болезней и реакций на болезни, которые обеспечили богатую почву для сравнений между влиянием сифилиса в девятнадцатом веке и СПИДом сегодня. Существуют истории сексуальности, особенно нетрадиционных сексуальностей, и истории способов регулирования сексуальности; они рассказывают историю власти, институционализации гетеросексуальной нормы и маргинализации упорствующих [Фуко, 1976/1979]. Существуют истории категоризации рас, развитости и недоразвитости, которые сконструировали в категориях расы меньшинства бедных и обделенных, «третий мир» в сердце городов «первого мира», а также развивающийся мир, сражающийся против бедности и болезни. Существуют истории моральной паники, фокусирующиеся на уязвимом: на карательных операциях с целью сдержать зараженных, на различных формах угнетения тех, кто не подчиняется нормам, и на сопротивлении [Weeks, 1991]. Мы перегружены историями, а также уроками, которым они могут нас научить, хотя обычно не учат. Но у этих историй есть общая черта: это истории различия и разнообразия.

Несмотря на обычные вирусные и иммунологические факторы, ВИЧ и СПИД переживаются по-разному разными группами населения. Страдания и утрата, которые испытывают гомосексуальные мужчины в городских сообществах больших западных городов, – не больше и не меньше, чем страдания и чувство утраты среди бедняков черных и латиноамериканских кварталов Нью-Йорка или в городах и мелких поселениях Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии; но они различны, потому что различны истории затронутых комьюнити. Как пишет Саймон Уотни (Simon Watney), «куда бы мы ни взглянули в мире, все время так случается, что человеческий опыт ВИЧ-инфекции и болезни неизменно повторяет местную социально-экономическую ситуацию *до* того, как началась эпидемия» [Watney, 1989:19]. Здесь мы можем найти ключ к силе СПИДа. Это синдром, который может угрожать катастрофой в беспрецедентном масштабе. Но он переживается, прямо или косвенно, как обособленная, исторически и культурно обусловленная серия болезней. СПИД одновременно глобален и локален по своему воздействию, и это говорит нам нечто жизненно важное об историческом настоящем, в котором мы живем.

Воздействие СПИДа – и реакция на него – действительно напоминают нам о сложностях и взаимозависимостях современного мира. Миграции через страны и континенты, из деревни в город, от «традиционных» способов жизни к «современным», в бегстве от преследования, бедности или сексуального подавления, сделали распространение ВИЧ возможным. Современное информационное общество, глобальные программы, международные консультации и конференции делают возможной всемирную реакцию на угрожающее бедствие. Хотя сам масштаб и скорость этой глобализации опыта влечет как будто рефлекторный расцвет культурно и политически разных реакций, равно как и новых идентичностей, новых общин и взаимоконфликтующих потребностей и обязательств. На пути осознания того, что мы живем в глобальной деревне, нам, кажется, еще нужно подтверждать и переподтверждать наши местные потребности, истории и традиции. Идентичность и различие: именно они являются

сегодня территорией многих наиболее острых политических, социальных и культурных дебатов.

В кризисе СПИДа – и в реакции, которую он породил, – мы можем видеть несколько тенденций, которые проливают яркий свет на более широкие тенденции и проблемы. Во-первых, есть общее чувство кризиса, «чувство конца», порожденное быстрыми культурными и сексуальными изменениями, которые СПИД, как считается, усиливает. СПИД не *вызвал* это всеобъемлющее настроение; наоборот, люди с ВИЧ должны были выносить его последствия – но эпидемия скользила по все сметающим волнам изменения, и теперь мы должны предстать лицом к лицу перед ее последствиями. Как утверждают некоторые, СПИД отражает то, каким образом мы, как культура, справляемся с социальными изменениями, особенно радикальными, и обсуждаем, какие процессы имеют к ним отношение. И мы полагаем, что этот процесс болезненно сложен.

Во-вторых, как следует из этого, СПИД напоминает нам о сложностях современных идентичностей. Именно рост новых сексуальных идентичностей и общин в 1960-х и 1970-х, особенно геев и лесбиянок, придал драматический характер фундаментальной переориентации модусов сексуального бытия, которая тогда происходила. Ассоциация этих идентичностей с угрозой болезни и смерти послужила только тому, чтобы подчеркнуть чувство сексуальной неуверенности, которое уже проявилось в возрождении морального абсолютизма и культурных контрастов. Неуверенность в том, кто мы и что мы, поддерживает более широкие страхи тревожности.

В-третьих, в связи с этим СПИД свидетельствует о «незавершенной революции» в сексуальных отношениях: разрушении установленных условностей семейной жизни, буме различных стилей жизни и жизненных экспериментов, значительной, но неполной демократизации отношений и остром несоответствии между индивидуальными желаниями и коллективной собственностью. Неудивительно, что СПИД, как утверждает Сейдман, стал принципиальным местом борьбы в области сексуальной этики и разъяснения значения и моральности секса [Seidman, 1992:146].

В-четвертых, именно эти изменения, которые, кажется, слишком многочисленны, чтобы проиллюстрировать окончательное разрушение просвещенных надежд модернисти, произвели на свет новые виды солидарности, так как люди борются с вызовами постмодернити весьма гуманными методами. ВИЧ и СПИД отменяют тебя. Они также обеспечили вызов и возможности для создания новых чувств, выкованных в горниле страдания, утраты и выживания. Из боли, гнева и ярости пришли забота, взаимность и любовь, доказательство возможностей реализации человеческих связей через пропасти непрощающей культуры. Здесь, я думаю, мы видим реальные возможности радикального гуманизма, основывающегося на человеческой борьбе, опыте, конкретных историях и избранных традициях. <...>

Сексуальность, отношения и демократическое воображение

Модернити, как заявляет Гидденс, – это посттрадиционный порядок, в котором на вопрос «Как мне следует жить?» нужно отвечать ежедневными решениями по поводу того, кем быть, как себя вести, что носить, что есть и – это имеет решающее значение для данной дискуссии – как нам следует жить вместе, кого мы можем любить [Гидденс, 1992]. По мере того как энергия постмодернити набирает скорость, размывая почву под установленными паттернами и прежними условностями, эти вопросы все более выходят на первый план, и нигде в большей мере, чем там, что следует назвать сферой интимного, территорией «частной жизни» и ее бесконечно податливого и неразборчивого партнера – эротики.

Интимность в ее современной форме, как полагает Гидденс, подразумевает радикальную демократизацию межличностной территории, потому что она допускает не только то, чтобы индивид был окончательным творцом своей собственной жизни, но также равенство между партнерами и свободу выбирать стили жизни и формы партнерства. Эта тема демократизации и ее дилемм является решающей для нашего понимания изменений в сексуальных нравах. Существуют две ключевые области, где

она особенно значительна: семья и/или организация домашней жизни и сексуальность и любовь.

Сейчас мы находимся в середине некогда лихорадочных дебатов о семье и организации домашней жизни. Среди консерваторов они принимают форму жалоб по поводу упадка семьи, священной темы, вряд ли новой, как мы увидели, для этого конца столетия, но получившей новый расцвет из-за откровенно драматических изменений в ее форме и из-за того, что она стала доступным символом для обозначения более широких изменений. С другой стороны, среди либералов и радикалов тема 1960-х годов о поиске альтернатив семье уступила место признанию того, что существуют «альтернативные семьи», различающиеся во всех аспектах: по классу, этничности, жизненному циклу и т. д., а также по сознательному выбору стиля жизни. Мы можем мучительно сожалеть по поводу некоторых из этих форм и можем пытаться определить, что есть лучшее для воспитания детей и социальной стабильности (два родителя представляются предпочтительнее, чем один; гетеросексуальных родителей обычно предпочитают гомосексуальным), но вообще говоря, либеральные левые, в целом, с разной степенью неохоты признают, что домашнее разнообразие все равно уже не исчезнет.

Проблема в том, что, в то время как мы можем признавать факт разнообразия, нам еще предстоит предложить язык или набор ценностей, которыми мы можем измерять легитимность всех этих появившихся форм. «Гостевые браки» (*commuter-marriages*) – отношения, происходящие на расстоянии, поскольку партнеры растягивают узы интимности постоянным путешествием (и это лучший неологизм в данной области), – очевидно, приемлемы; однако гомосексуальные партнерства, как бы одомашнены они ни были, обычно неприемлемы, несмотря на растущее признание «партнерских прав» в ряде стран. Фурор в конце 1980-х по поводу «симулируемых семейных отношений» – другого неологизма, используемого для описания лесбийских и гейских отношений, – показал, что, по крайней мере в Соединенном Королевстве, границы дозволенного, возможно, и в самом деле расширились, но не настолько далеко.

И все же одна из самых замечательных черт изменений в организации домашней жизни – это возникновение общих паттернов как в гомосексуальных, так и в гетеросексуальных образах жизни [Beck, 1992]. Современные лесбийские и гейские отношения, по крайней мере в принципе, свободно выбираются автономными индивидами и каждый раз должны создаваться заново. Они существуют настолько долго, насколько могут удовлетворять семейные, эмоциональные и/или сексуальные потребности партнеров, состоящих в свободных отношениях. Конечно, всегда присутствуют все виды неравенства: дохода, возраста, этнической или расовой принадлежности и т. д., – которые структурируют эти отношения, но в принципе – это партнерство между свободными агентами, несущими небольшой исторический багаж, кроме (большое исключение, которое я признаю) багажа общественного позора.

Гетеросексуальные же отношения, наоборот, остаются – выражаясь метким термином Кларка и Хэлдэйна – в значительной степени «обращенными», несмотря на вековой упадок уровня заключаемых браков и огромный рост сожительства [Clark, 1990]. В Британии, например, большинство людей все еще женятся на каком-то этапе, зачастую – когда уже появляются дети, и регулярно заново женятся в (частых) случаях развода. Даже сожительство похоже на брак, и при регистрации большинства детей, рожденных вне брака, записываются имена обоих партнеров. Какими бы ни были изменения, преобразившие этот институт, большинство из нас живет или жило в семьях, и мы остаемся преданными семейному языку. Недавние опросы в США и Британии выявили удивительный консерватизм в организации семейной и сексуальной жизни, по крайней мере среди большинства белого населения [Laumann, 1994; Wellings, 1994]. Хотя бок о бок с этой целостностью происходят глубокие изменения, настойчиво стучащиеся в дверь. Рост уровня разводов (ожидается, что треть браков закончится разводами), преобладание добрачного секса (подавляющее большинство партнеров уже вступали в сексуальные отношения до брака), постепенное исчезновение клейма незаконнорожденности (прогрессирующее геометрически

число рождений вне брака), рост семей с одним родителем (в 90 % – с женщиной), даже юридическое признание того, что в браке может иметь место изнасилование [Weeks, 1993], – все это знакомые факты, но их смысл часто неправильно понимается. Он не обязательно означает «распад семьи», как нередко считали консервативные комментаторы. Как часто отмечается, разведенные женятся снова и снова. Есть постоянное стремление «попытаться счастья». Но лежащая в основе идеология меняется.

Люди пытаются добиться успеха, иногда несколько раз подряд, по множеству причин, но главный мотив – это поиск удовлетворительных отношений как ключевого элемента в собственном утверждении. Брак все больше становится отношением, в которое вступают и которое поддерживают лишь пока оно приносит эмоциональное удовлетворение от близкого контакта с другими, от интимности. Конечно, как отмечают Джэнет Финч и другие, существует еще много обязательств, которые делают отношения сплоченными (особенно дети), и чаще всего они структурированы по гендерному признаку; кроме того, все еще правда, что большинство браков не заканчиваются разводом [Finch, 1989]. Но все большую роль играет выбор, в какие отношения вступать, а в какие – нет, и причины для выбора – это надежды, часто отброшенные, но неувядающие, что новые отношения принесут то, что нужно. А то, что нужно, – это эмоциональное участие и удовлетворение.

Другими словами, вступление в брак сейчас – в меньшей мере статусное изменение (хотя и оно имеет место), а в большей – знак обязательства. Но в этом брак только более символически могущественная форма обязательства, которое лежит в основе многих других форм отношений, включая негетеросексуальные.

Сегодня брак включает элементы того, что называют «чистыми отношениями». Чистых отношений ищут и в них вступают только ради того, что эти отношения могут дать партнерам. Отношения неизбежно опосредуются социально-экономическими и гендерными факторами. Часто они выживают благодаря инерции, привычке и взаимозависимости, а также благодаря сети обязанностей, объем которых уточняется в самих отноше-

ниях. Но принцип состоит в том, что отношения живут, пока живо обязательство или пока не представится возможность более удовлетворяющих отношений. Чистые отношения зависят от взаимного доверия между партнерами, которое, в свою очередь, тесно связано с достижением желаемого уровня интимности. Если разрушается доверие, то интимность, в конце концов, тоже разрушается, и поиск лучших отношений возобновляется. Это влечет за собой высокую степень нестабильности. В личных отношениях есть новая непредвиденность. Но акцент на личном обязательстве как ключе к эмоциональному удовлетворению также несет ряд последствий, поскольку обязательство подразумевает участие согласных друг с другом и более-менее равных индивидов. Чистые отношения подразумевают демократизацию интимных отношений: акцент на индивидуальной автономности и выбор обеспечивает укореняющуюся динамику, которая делает возможной трансформацию личной жизни.

Здесь важны две вещи. Во-первых, отношения, какой бы ни была их форма, брачные или небрачные, становятся определяющим элементом сферы интимного, что определяет рамку повседневности. Во-вторых, именно в центре личностной идентичности конструируется и реконструируется личностный нарратив, который обеспечивает чувство единства себя во времени, необходимое в мире постмодернити. Чистые отношения – это одновременно и продукт рефлексивного «Я», и центр для его реализации. Они предлагают ключевую точку для создания личностного смысла в современном мире. Именно здесь важны сексуальность и любовь, потому что сегодня они предоставляют одну из главных возможностей (*prime sites*) достижения смысла жизни.

По крайней мере с XIX в., как заявляют Фуко и другие, постоянно предпринималась попытка сказать, кто ты, рассказывая предполагаемую правду о твоей сексуальности. Великие противоположности, которые мы принимаем на веру, говоря об общественной и личной жизни, мужском/женском, гетеросексуальном/гомосексуальном, как предполагалось, находились в основе нашей сексуальной природы. Теперь нам более понятно, что эти разделения, которые, как мы с такой легкостью предположили,

являются врожденными и естественными, имеют для нас конкретный смысл и на самом деле глубоко укоренены в истории и общественной жизни. Частично они стали результатом долгого процесса внутренней борьбы, уточнения и самоопределения.

Гидденс, отчасти бросая вызов Фуко, заявил, что сексуальность имеет свое влияние в современном мире вовсе не из-за своего значения для систем контроля, а потому что это точка соединения между двумя процессами: процессом разделения опыта на дискретные категории существования, которое привело к приватизации смерти, а также приватизации сексуальности (на самом деле, оно сделало появление сексуальности как дискретной области возможным); и процессом трансформации интимности, которая демократизировала сексуальные отношения и открыла путь к чистым отношениям. Хотя эти процессы и представлены как антагонистические теории, на практике они вполне совместимы. Сам факт того, что сексуальность была тесно связана со структурами господства и подчинения (для женщин), неизбежно означал, что сексуальное было главной ареной борьбы за осмысление себя и своей идентичности. Эта борьба, в свою очередь, внесла свой вклад в демократизацию отношений. Теперь наше чувство самости и значения, которые мы придаем нашей жизни, с неизбежностью формируются в тесной связи с нашим чувством сексуальности. Сексуальность может быть «историческим конструктом», но она также остается ключевой точкой для конструирования личного смысла и места в обществе.

Вместе с тем значение сексуальности, сам ее смысл изменились. На долгое время запертая в историю репродукции, сейчас сексуальность в значительной степени освободилась от нее — этот процесс был достаточно развит задолго до того, как противозачаточные таблетки пообещали одноразовое технологическое решение для всех. Сексуальность продолжает вызывать образ греха, у многих — насилия (особенно у детей и женщин) и — возможно, для всех нас — силы. Она все еще связана с угрозой болезни, вновь вызванной присутствием ВИЧ-эпидемии. Это, по выражению Кэрол Вэнс, «территория опасности, но также и удовольствия» [Vance, 1984]. В результате сложных процессов зна-

чение сексуальности расширилось. Для большинства она стала такой, какой была в теории – полиморфной, или «пластичной». По крайней мере, в принципе, эротические искусства всегда были открыты всем нам, посредством тысячи руководств по радостям секса, процветающей торговли сексуальными изображениями и взрыва дискурса тела и его удовольствий. Сексуальность стала полем для экспериментов. Это тесно связано с вопросом отношений, потому что если обязательство, интимность, новые попытки обрести счастье – это ключи к современной частной жизни, то таковым является и их достижение путем сексуального удовлетворения, что все больше означает исследование эротического, во все более экзотических и интригующих формах. Существует, конечно, много типов отношений без секса и много секса без отношений. Но не случайно интимность – это термин, тесно связанный с сексуальной активностью. Современная интимность тесно связана с исследованием и удовлетворением сексуального желания.

Но где здесь место для любви? Легко говорить о сексуальности без любви и любви без сексуальности. Но ясно, что любовь – это все более что-то, формирующееся случайно, как фокус интимных отношений. Любовь, как и сексуальность, стала более изменчивой, менее – предписанием бесконечной преданности, более – делом личного выбора и создания себя, скорее видом коммуникации, чем вечной истиной [Luhmann, 1986]. Ее значения создаются для специфических обстоятельств и в них. Это не значит, что любовь становится менее важной; наоборот, именно ее мобильность, ее потенциальные возможности для преодоления пропасти между автономными индивидами, делают ее еще более важным ингредиентом общественной, а также частной жизни. Но мы не можем принять ее форму; ее нужно уточнять каждый раз заново. Любовь, как утверждает Бауман, – это воплощение небезопасности [Bauman, 1993:98].

Эти изменения в равной степени касаются как мужчин, так и женщин, но их значение сильно зависит от гендера. Гидденс заявляет, что женщины, на самом деле, стоят в авангарде изменений и что, определенно, есть много признаков новой способности

женщин встать у руля собственной жизни и выполняемых обязательств: большинство разводов, например, инициируются женщинами. Изменения в сексуальных нравах, возможно, сексуализировали женские тела до необычайной степени, хотя часто и эксплуататорским образом; они же открыли беспрецедентные пространства для женской автономии и самоактуализации. Хотя прагматика независимости всегда рискованна. В своем исследовании отношений молодых женщин к своим телам и сексуальностям в контексте риска ВИЧ и СПИДа, группа исследователей во главе с Холландом показала, как утверждение женской сексуальности остается приспособленным к крайностям мужских потребностей. Потенциал для автономии уже есть, но остается множество ограничений:

Секс соединяет тела, и это соединение дает женщинам интимное пространство, внутри которого можно ниспровергать силы мужчин и оказывать им сопротивление. Если женщины могут признать и завоевать это пространство, они могут изменять отношения с мужчинами, что нарушает гендерную иерархию и поэтому имеет общественно дестабилизирующий потенциал. Мы полагаем, что немногие молодые женщины признают и завоевывают это пространство, потому что им не хватает критического осознания того, что они живут невоплощенной женственностью. Там, где женщины критически осознают воплощения своей сексуальности и где им нравятся свои собственные желания, власть мужчин находится под прямой угрозой..., что может помочь объяснить преобладание мужского насилия в сексуальных столкновениях [Holland, 1994:34–35].

Подобные исследования показывают, что сексуальность остается полем битвы, где за значения сексуальности и любви все еще ведутся бои, даже в тех частях мира, где разговоры о сексе наиболее открыты. Однако эти исследования также подразумевают, что даже в наиболее мощных источниках мужского преимущества очевиден потенциал для изменений и пересмотра гендерных отношений.

Как и все процессы развития, эти подъемы и изменения в личных отношениях неравны по своему влиянию. Они находятся «на острие атаки», и их следствия преобразуют интимную жизнь, но все эти новации должны пробиваться через остатки глубоко осевших традиций. Изменения дифференцированы не только

по гендеру, но и по общинам. В своем исследовании смешанных расовых отношений в Британии Алибэй-Браун и Монтэгю иллюстрируют сложности выбора там, где расовая и этническая идентификации пересекаются с сексуальной привлекательностью и любовью [Alibhai-Brown, 1992]. Межрасовые отношения вовсе не новы, но они всегда должны были пересматривать риски возможных изменений для групповых норм, уже институционализированные паттерны предубеждения и дискриминации. Также они все чаще должны считаться с ростом исключаящих коллективных идентичностей среди расовых и этнических меньшинств, что ведет к ужесточению социальных табу на экзогамию. Рост фундаменталистских взглядов в этих общинах, утверждающий транслокальную преданность исламу, или индуизму, или другим системам верований как аспекту аффективной групповой преданности, постоянно связывается с контекстом тела как манифестации дискурсов гендера и сексуальности, как если бы сущность религиозной идентичности можно было утвердить только через телесное очищение. В то же самое время Алибэй-Браун и Монтэгю заявляют:

Множество британцев – азиатов и черных – сейчас бы высказались против смешанных отношений, есть и много других, жизни которых обогатились и преобразились благодаря таким отношениям и которые рассматривают подобные отношения как новый рассвет для себя. Больше нельзя утверждать, как раньше, что белые ценности будут преобладать: что черный или азиатский партнер превратится в «белого», будь это приуроченный к случаю этнический головной платок или сари на рождественской вечеринке в офисе, – как обычно случалось раньше... Ничто сегодня не принимается как должное [Alibhai-Brown, 1992:15].

«Ничто не принимается как должное». Это становится лейтмотивом сексуального поведения как борьбы индивидов, если говорить прямо, за определение своих потребностей в изменчивых обстоятельствах, в которых они проживают свою сексуальную жизнь. Бауман утверждает, что есть две характерные стратегии, чтобы справиться с современной изменчивостью отношений: это «закрепление» («fixing») и «блуждание» («floating») [Bauman, 1993:98]. Закрепление имеет место, когда потенциальная открытость «любви-слияния» и сексуальности прочно закреплена долгом.

«Блуждание» же происходит, когда сама трудоемкость постоянного уточнения рамок отношений ведет к тому, что партнеры «снижают издержки», начиная отношения заново, всегда в надежде, что в этот раз все будет хорошо. Ни одна из этих стратегий особенно не привлекательна. Первая в своей экстремальной форме, кажется, предпочитает пустую раковину креативности живых отношений. Вторая может вылиться в то, что Бауман описывает как «де-этизированную интимность», где ответственность по отношению к другим, особенно детям, потеряна в поисках личного удовлетворения [Bauman, 1993:106]. Однако, к счастью, это не единственные возможности. Демократизация сексуальности и отношений, стоящая сегодня в культурной повестке дня и лишь частично реализованная (хотя ее еще можно реализовать), создает пространство для переоценки этики и ценностей личных отношений, для исследования того, что мы подразумеваем под такими понятиями, как ответственность, забота, любовь и участие. Это вызов трансформации сексуальности, которая сейчас происходит. В этом мире постмодерна маловероятно, что мы когда-либо избавим себя от призрака неуверенности, но его присутствие может помочь нам осознать, что жизнь без уверенности — это лучший существующий стимул к тому, чтобы вновь задуматься о том, что мы действительно ценим и чего мы действительно хотим.

Литература

- Гидденс Э.* Трансформация интимности. Санкт-Петербург: Питер, 2004 [1992].
- Фуко М.* История сексуальности. Том 1 // Воля к истине. По ту сторону знания, власти и сексуальности. М.: Кастэльс, 1996 [1976/1979].
- Alibhai-Brown Y., Montague A.* The Colour of Love: Mixed Race Relationships. London: Virago, 1992.
- Bauman Z.* Postmodern Ethics. Oxford: Blackwell, 1993.
- Beck H.* Report from a rotten state: «marriage» and «homosexuality» in «Denmark» // Modern Homosexualities: Fragments of Lesbian and Gay Experience / Ed. by K. Plummer. London and New York: Routledge, 1992.
- Clark D., Haldane D.* Wedlocked? Intervention and Research in Marriage. Cambridge: Polity Press, 1990.

Finch J. Family Obligations and Social Change. Cambridge: Polity Press, 1989.
Holland J. et al. Power and desire: the embodiment of female sexuality // *Feminist Review*. 1994. Vol. 46.

Laumann E.O. et al. The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States. Chicago: University of Chicago Press, 1994.

Luhmann N. Love as Passion. Cambridge: Polity Press, 1986.

Vance C.S. (ed.) Pleasure and Danger: Exploring Female Sexuality. London and Boston: Routledge and Kegan Paul, 1984.

Seidman S. Embattled Eros: Sexual Politics and Ethics in Contemporary America. London and New York: Routledge, 1992.

Watney S. The Subject of AIDS // *AIDS: Social Representations: Social Practices* / Ed. by P. Aggleton, P. Davies, G. Hart. London, New York and Philadelphia: The Falmer Press, 1989.

Weeks J. Against Nature: Essays on History, Sexuality and Identity. London: Rivers Oram Press, 1991.

Weeks J. An unfinished revolution: sexuality in the twentieth century // *Pleasure Principles: Politics, Sexuality, and Ethics* / Ed. by V. Harwood. London: Lawrence and Wishart, 1993.

Wellings K. et al. Sexual Behaviour in Britain: The National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles. London: Penguin, 1994.

Перевод с английского А. А. Широкаковой

ЭЛИОТ Патриция (ELLIOT Patricia)

Патриция Элиот – доктор социологии, профессор. Заведует кафедрой социологии в университете имени Уилфрида Лорье, г. Ватерлоо (провинция Онтарио, Канада). Получила образование в университете Йорка по программе социальных и политических наук, там же защитила диссертацию. Активно использует междисциплинарный подход в исследованиях и преподавании. Главные исследовательские интересы Патриции Элиот лежат в области анализа различных гендерных теорий, трансгендера, сексуальности, квир-теории, феминизма и психоанализа. В своих работах автор соединяет теорию и жизненные реалии транссексуалов, дает им научный анализ на основе текстов наиболее известных авторов в этой сфере, но не оценивает сексуальность разных типов, сохраняя позицию наблюдателя в противоречивых дебатах о сексуальности. Центральным местом ее анализа является проблема, нужно ли поддерживать транссексуальность либо

запрещать ее – проблема, которая предполагает рассмотрение широких проблем гендера, сексуальной дифференциации, идентичности, дивергентности и т. п.

Является со-организатором и членом магистерской программы по культурному анализу и социальной работе в университете имени Уилфрида Лорье.

Основные работы: «Теории гендера в психоанализическом феминизме» (1991) – книга была опубликована в издательстве престижного американского Корнельского университета. Вторая книга «Дебаты о трансгендере, квинтеории и феминистской теории» была опубликована в 2010 в издательстве Эшгейт.

МЕНДЕЛЛ Ненси (MANDELL Nansy)

Ненси Менделл – доктор социологии, профессор социологии, факультет либеральных искусств, Университет Йорка, Торонто (провинция Онтарио, Канада). В западной социологии она имеет блестящую репутацию специалиста по проблемам женских и гендерных исследований. Получила образование в университете Торонто и Карлтонском университете (Канада), защитила диссертацию в Северо-восточном университете (США). Основные исследовательские и преподавательские интересы Н. Менделл связаны с феминистскими проблемами Канадского общества, теорией феминизма, современными перспективами феминизма, рассматриваемыми сквозь призму расы, класса, сексуальности, бедности и разнообразия.

Основные работы: Н. Менделл и А. Даффи (ред.) «Канадские семьи: разнообразие, конфликт и изменение» (1е изд. 1995, 4-е изд. 2011), «Феминистские вопросы: раса, класс и сексуальность» (1-е изд. 1995, 2-е изд. 1998, 3-е изд. 2001; 4-е изд. 2010); Н. Менделл, С. Вилсон и А. Даффи «Связь, компромисс и контроль: обсуждения канадских женщин» (2008).

Ненси Менделл – автор и редактор известного в гендерной сфере сборника «Феминистские вопросы: раса, класс и сексуальность» (1998). Отрывки из этого сборника были переведены и впервые опубликованы на русском языке Харьковским центром гендерных исследований в сборнике: «Гендерные исследования: феминистская методология в социальных науках» / Под ред. И. Жеребкиной (Харьков, 1998).

Публикуемый ниже текст – совместная статья Патриции Элиот и Ненси Менделл «Теории феминизма» (в сокр.), которая была впервые опубликована на русском языке в указанном сборнике «Гендерные исследования: феминистская методология в социальных науках» / Под ред. И. Жеребкиной (Харьков 1998, с.15–51). Перевод с английского Яны Боцман.

ЭЛИОТ ПАТРИЦИЯ, МЕНДЕЛЛ НЕНСИ

ТЕОРИИ ФЕМИНИЗМА¹

Определения феминизма

Слово «феминизм» получило широкое распространение в западном мире с восьмидесятых годов XVIII в. Появление этого термина было связано с необходимостью маркирования людей, выступающих не только за возрастающую социальную роль женщин, но также и за право женщины определять себя как самостоятельную личность. Однако в силу того, что в последнее столетие и приватная и публичная роль женщины расширилась и претерпела изменения, определение феминизма также расширилось и стало включать политические, культурные, экономические, сексуальные, расовые и этнические измерения. Вероятно, если бы сегодня преподаватель потребовал от студентов определения феминизма или феминистки, консенсус по этому вопросу едва ли был бы достигнут.

По мнению американской писательницы Адриенны Рич, феминизм – не фривольный ярлык, но этика, методология и, наконец, более взвешенный взгляд на действие в условиях нашего существования. По мнению английского социолога Крис Видон, феминизм представляет собой политику, направленную на изменение существующего соотношения сил между мужчинами и женщинами в социуме. В соответствии с позицией американского

¹ Элиот П., Менделл Н. Теории феминизма // Гендерные исследования: феминистские методологии в социальных науках / под ред. И. Жеребкиной. – Харьков: ХЦГИ, 1998. – С. 15–51 (в сокр.). Пер. с англ. Я. Боцман.

литературного критика Белл Хукс феминизм конституирует социальные, экономические и политические обязательства по искоренению расового, классового и сексуального доминирования, а также выступает за такую организацию социума, при которой индивидуальное саморазвитие имело бы приоритет перед империализмом, экономической экспансией и сосредоточением желаний на материальной сфере. Согласно канадской активистке Линде Карти, белым феминисткам необходимо осознать, что гендер – не единственная категория, и что он не всегда первичен в контексте борьбы за освобождение женщины.

Решившись на обобщение, можно утверждать, что, несмотря на разницу в определениях, теоретики феминизма озабочены четырьмя основными проблемами. Во-первых, теоретики феминизма пытаются выявить гендерно обусловленную природу в сущности всех социальных и институциональных отношений. Такие конвенции определяют, кто и что делает, для кого мы это делаем, что мы есть и чем мы можем стать. Во-вторых, гендерные отношения сконструированы как проблематичные и включены в систему неравенств и противоречий социальной жизни. Семья, образование, социальная помощь, мир работы и мир политики, культуры и досуга социально сконструированы через отношения гендера, власти, класса, расы и сексуальности. В-третьих, гендерные отношения не рассматриваются здесь как естественные и неизменяемые, но напротив рассматриваются как исторический и социокультурный продукт, как предмет для реконструкции. В частности, феминистский анализ деконструирует ошибки и мифы о способностях женщин, расширяет знания об эмпирической реальности женщин, конструирует теории женщин и о женщинах. В-четвертых, теоретики феминизма демонстрируют тенденцию к тому, чтобы быть открыто политичными в своей защите социальных изменений. Феминистки бросили вызов тому, что они называют традиционными расовыми, классовыми, сексуальными и властными конвенциями, в рамках которых существует предпочтение мужчин женщинам, белых – не белым, взрослых – детям, физически полноценных – физически неполноценным, граждан – негражданам, а также работающих –

неработающим. Однако теории комплексного феминизма далеки от завершения, и борьба за устранение такого рода предпочтений продолжается.

Либеральный феминизм

Идеи либерального феминизма репрезентируют наследие Просвещения, которое подразумевает доминирование разума над традицией, распространение гуманизма на обездоленные социальные группы, стремление к общему улучшению состояния человечества. В действительности либерализм конституирует философию, которая базируется на принципе индивидуальной свободы, в соответствии с которым каждой личности должна быть дана свобода выбора, независимая как от общественного мнения, так и от закона. В принципе, равные возможности и равные права должны быть предоставлены каждому (Андерсон). Однако на деле и прогресс, и справедливость были задуманы как распространяющиеся исключительно на мужчин.

Ранние либеральные феминистки предприняли попытку исправить недоразумения, допущенные в отношении женщин. В своей «Защите прав женщин», впервые опубликованной в Лондоне в 1792 г., Мэри Уолстоункрафт (1759–1797) энергично защищает права женщин. Через 15 лет Гарриет Тэлор Милль (1807–1858) вместе со своим соратником Джоном Стюартом Миллем (1806–1873) опубликовала ряд эссе, оправдывающих женскую эмансипацию. В «зависимости женщины», впервые опубликованной в 1851 г., традиционные конвенции, касающиеся работы и семьи, квалифицировались как подавляющие женщину и отказывающие ей в свободе выбора. И Уолстоункрафт и Милли отмечали, что женщина – это человеческое существо, которому доступна рациональная мысль, и что она заслуживает таких же естественных прав, которые гарантированы мужчине. <...>

Социал-феминизм

Корни социал-феминизма. Как и в случае традиции либерализма, корни социализма лежат в политических, интеллектуальных и социо-экономических изменениях, которые имели место

во второй половине XIX в. в Западной Европе и Северной Америке. Климат социальных реформ стал той ареной, на которой разворачивалось феминистское движение второй половины XIX и начала XX в. Распространение индустриального капитализма, стремительная индустриализация, урбанистическая бедность, сдвиги в структуре семьи и отход от стандартных экономических ролей породили как либеральный, так и социалистический отклики.

В то время как либеральный взгляд на проблему выделяет в качестве основных причин угнетенного положения женщины догматизированность гендерных ролей и отказ от предоставляемых возможностей, социал-феминизм рассматривает включенность женщины в экономику в качестве основной причины угнетения женщины. Гендер здесь концептуализирован как социальная, политическая, идеологическая и экономическая категория, которая принимает определенную форму в условиях капитализма. В то время как либеральный феминизм выдвигает равенство мужчины и женщины в качестве главной политической цели, социал-феминизм определяет свою цель как трансформацию основных структурных конвенций общества – таких, как категории класса, гендера, сексуальности и расы. Эти категории, по мнению социал-феминисток, не должны более быть барьерами к равному использованию социально-экономических благ.

Социал-феминизм критикует либеральные теории как утверждающие классовую и расовую иерархию, в то время как она распространяется и на женщин. Фактически большая часть социалистов рассматривает либеральный концепт изолированных индивидуумов с абстрактными правами и выборами как вредный миф, который делает неравенство вечным. Социал-феминистки рассматривают личность в контексте ее социального бытия, инкорпорированного в сеть конкретных социальных и экономических отношений. Капиталистические отношения в действительности вынуждают людей к тому, чтобы соревноваться друг с другом и эксплуатировать друг друга в ходе борьбы за экономическое выживание. Через анализ того, каким образом доминирующие институты организованы посредством категорий гендера, расы

и классового угнетения, либеральные феминистки облегчают участь привилегированных женщин, но оставляют незатронутой социальную организацию повседневной жизни.

Социалистское давление на капитализм напоминает феминисткам о том, что необходимо уделять внимание тем механизмам, благодаря которым экономика обуславливает наличие выбора и возможностей. Уничтожение эксплуатирующих структур смягчает социальные последствия, такие, как, например, феминизация бедности, неравенство в оплате труда и неоплачиваемая работа. Социал-феминистски, сделавшие социальный класс ведущей категорией анализа, сосредоточились на социальной и экономической организации труда в капиталистической системе. На отношениях между оплачиваемым и неоплачиваемым трудом, на взаимосвязи между продукцией и репродукцией, между приватным и публичным.

Марксистский феминизм

В 1848 г., когда теоретик либерализма Д. С. Милль опубликовал свой труд «О свободе», Карл Маркс (1818–1883) и его соратник Фридрих Энгельс (1820–1895) опубликовали в Париже «Манифест Коммунистической партии». Марксистский феминизм взял за отправную точку труд Энгельса 1884 года «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Следуя Марксу и Энгельсу, марксистские феминистки полагают, что начало угнетения женщин было положено введением частной собственности. Сосредоточение средств производства в руках сравнительно малого числа людей, по большей части мужчин, положило начало классовой системе, которая сформировала причины, обусловившие большую часть неравенств и несправедливостей в мире. В конце концов, женщины угнетены не столько сексизмом, сколько капитализмом. Гендерное неравенство исчезнет лишь тогда, когда капитализм будет замещен социализмом. А раз исчезнет экономическая зависимость женщин от мужчин, исчезнет также и материальный базис угнетения женщин.

Марксистские феминистки рассматривают женщину в контексте ее включенности в различного рода зависимости от средств

производства в капиталистической системе. Во-первых, капитализму присуще разделение труда по половому признаку. Женщина, которая работает дома, склоняется к тому, чтобы быть ответственной за производство продуктов и услуг, которые не имеют обменной стоимости. Однако женская домашняя работа и работа по уходу за детьми не рассматриваются как «настоящая работа», поскольку не приносят денег. Мужчина, который работает в общественном секторе, непосредственно вовлечен в производство предметов потребления, предметов, предназначенных для обмена на рынке. Во-вторых, ассоциирование женщины с домом, частным сектором сообщает ее труду вторичный статус. Культурное предписание, обязывающее женщину принадлежать дому, обуславливает и отношение к женщинам как к «резервной армии труда». Женщина будет оплачиваться хуже, будет уволена или отстранена от дел и возвращена домой, когда экономика больше не будет нуждаться в ее оплачиваемом труде.

Семья в условиях капитализма становится микрокосмом социальных отношений между классами. Жены могут быть сопоставлены пролетариату, моногамный брак развивается как часть формации частной собственности. А разделение частного и публичного труда становится гендерным. Все жены, вне зависимости от их трудовых доходов, ответственны за ведение домашнего хозяйства, уход за детьми, за эмоциональную поддержку членов семьи и за благополучие семьи в целом. Работа домохозяйки — их домашнее рабство — представляет собой одновременно и личное служение мужчине, хозяину дома, и неоплачиваемую экономическую службу обществу в целом. Только освобождение от капитализма и частной собственности освободит женщин от гендерного гнета.

Современные социал-феминистки

Классический марксистский феминизм рассматривает угнетение женщины как непосредственно следующее из капитализма, в котором женщина определена как собственность мужчины, а также как проистекающее из общей выгоды, которая содержится в эксплуатации женского труда. Новейшие социал-фемин-

нистки подвергают критике традиционных марксистских феминисток за то, что те склонны к избыточной акцентуации экономических источников гендерного неравенства и игнорируют тот факт, что гендерное неравенство также проявлено и в до-капиталистических, и в социалистических системах. Фактически социал-феминистки обвиняют марксистских феминисток в «половой слепоте». Поскольку те лишь добавляют женщину к уже существующей критике капитализма.

Более того, они указывают на то (Хартман), что марксистские феминистки привели в упадок дебаты о женщине, неутоlimо сосредоточивая свое внимание на связи между экономическими и гендерными отношениями. Единственный путь к совершенствованию теории об угнетении женщины лежит в расширении традиционного марксизма посредством углубления нашего понимания модусов производства. Производство подразумевает не только обеспечение наших материальных потребностей в пище, одежде и крове, но также включает все те пути, благодаря которым индивидуум организует производство и распределение средств удовлетворения репродуктивных, сексуальных нужд, а также потребностей, связанных с воспитанием и детьми.

С другой стороны, социал-феминистки усовершенствовали систему теоретических ограничений, проанализировав сферы, где классовые и гендерные отношения пересекаются. Отношения экономических классов важны в определении статуса женщины, но гендерные отношения оказываются в равной степени важными. Уничтожение только лишь социального неравенства классов не обязательно приведет к исчезновению сексизма. Патриархат, система, в которой мужчина доминирует над женщиной, над молодежью и над менее привилегированными мужчинами, существовал и до капитализма, он продолжает существовать и в капиталистических и в некапиталистических политико-экономических системах.

Современный социал-феминизм стремится сосредоточить анализ на следующих пяти проблемах. Первая состоит в исследовании роли домохозяйки в совершенствовании целостной капиталистической системы через репродукцию гендерных, расовых,

сексуальных и классовых отношений. В 1969 г. Маргарет Бенстон в «Политической экономии освобождения женщин» квалифицировала домашний труд как критическую форму женского труда, так как он одновременно и неоплачиваемый, и малоценный, и почти невидимый. Все многочисленные исследования, которые были вызваны к жизни работой Бенстон, ставили перед собой цель признания и легитимации традиционной женской ответственности перед домом. Исследования домашнего труда оказали большое влияние на формирование общественного мнения в отношении неоплачиваемого женского труда, а также и в отношении того, насколько существенно эта дополнительная ответственность ущемляет оплачиваемую женскую работу, насколько она ограничивает время женского досуга и увеличивает для женщины вероятность оказаться в бедственных условиях существования.

Вторая область повышенного внимания посвящена дискуссиям по поводу отношений женщины как оплачиваемого работника и модусов производства. Вне зависимости от ангажированности в систему оплачиваемого труда, как было выявлено еще Энгельсом, женщина обречена на двойной день – оплачиваемой и неоплачиваемой работы. Более того, культурные определения феминности непосредственно замкнуты на определения «хорошей матери», что не позволяет женщине избежать чувства неполноценности, вины и страха в те периоды, когда ее время и внимание направлены не на уход за домашними. Роль женщины как оплачиваемого работника также вызывает сожаление из-за существующей сегрегации женщин в сфере получения работы. Показательно, что женщины получают 64 % из каждого доллара в пяти наиболее низко оплачиваемых сферах деятельности. Ряд исследований выявил, что определение женщин как в первую очередь жен и матерей оказывает непосредственное влияние на формирование вторичного статуса женщин как работников (Брискин). Исследования, затрагивающие происхождение разницы в оплате и профессиональной сегрегации, породили критику идеологии «семейной оплаты», в соответствии со стандартами которой мужчина рассматривается как «кормилец

семьи», которому необходимо платить достаточные для содержания материально зависимых от него жены и детей суммы.

Третий проблемный узел связан с отношениями женщины и социального класса. Возникает вопрос, к какому социальному классу принадлежат женщины. Женщины имеют противоречивый классовый статус как жены, на которых переносится статус их мужчин-партнеров, и как работники, которым может быть приписана их собственная классовая позиция. Другой вопрос затрагивает тему классовой дифференциации среди самих женщин. Женщины обладают непохожим опытом. Женщина из рабочего класса ежедневно встречается с нуждой и озабочена проблемой экономического выживания, в то время как женщина-профессионал, принадлежащая к среднему классу, избавлена от таких забот. До какой же степени социал-феминизм необъективен, говоря о монолитной среде женщин среднего класса, при анализе жизни женщин? Каков он, этот общий опыт, объединяющий всех женщин, вне зависимости от класса, к которому они принадлежат? Насколько общественная политика и законодательство в действительности задевают интересы других социальных групп?

Роль семьи в идеологической социализации женщины, мужчины и ребенка репрезентирует четвертый узел проблематизации. В большей степени, нежели любая другая группа теоретиков, социал-феминистки рассматривали стратегии семейной занятости с целью выделения традиционных ценностей и линий поведения. Стереотипное поведение, которого ждут от мужчины и от женщины, весьма полезно капиталистической системе (Хартман). Мужчины социализированы в соревновательность, агрессивность, рациональность и независимость, т. е. в них акцентированы именно те черты, которые необходимы для достижения успеха в капиталистической экономике. По контрасту с этим женщины социализированы в относительные, контекстуальные, интегративные и жизнесберегающие отношения, роли, которые акцентируются в женщинах, определенно предназначены для выполнения ими основной домашней работы – ухода за детьми и близкими.

В пятых, такие концепты, как практика, воспитание сознательности и идеология являются центральными для исследований в области социал-феминизма. Воспитание сознательности, практика и практическое действие формируют базис феминистской методологии. Согласно Ненси Хатсок, практика повышения сознательности в малых группах с акцентом на выяснении и понимании опыта и на увязывании личного опыта со структурами, которые определяют нашу жизнь, представляет собой наиболее яркий пример методологического базиса феминизма. Социал-феминистки настаивают на необходимости развития альтернативных конвенций, которые бы обеспечивали модели для позитивных изменений и, в процессе этого, сами изменяли бы сознание женщин. Кризисные центры, созданные в целях помощи жертвам сексуального и криминального насилия, малый бизнес, детские сады представляют собой примеры новых структур, которые стимулируют альтернативные виды мышления и поведения.

Анализ идеологии направляет работу социал-феминизма. Термин «идеология» используется здесь в самых разнообразных значениях, например, предполагается и включение марксистской трактовки термина как такого «ложного» типа сознания, которое коренится в интересах правящего класса, но также и стандартная трактовка идеологии как процесса, в ходе которого смысл продуцируется, мигрирует, репродуцируется и трансформируется. Внимание феминисток к общественной политике, законодательству, личным конфликтам, наблюдение за образованием и другими типами социальных отношений репрезентирует те области борьбы, где конструируется идеология. Например, семья настойчиво воспроизводит идеологию социального класса посредством механизмов социализации ребенка. Культурный капитал переходит к детям также и в ежедневной практике взаимодействия во время учебы, дружбы и развлечений. Воспитание детей и жизненная активность изменяют сознание женщины, поскольку она испытывает на себе противоречивую природу обмана и радости. В то время как семья может быть воспринята кем-то как «прибежище» – как место личной свободы и потреб-

ления – слишком часто для женщины семейная жизнь оказывается скучной (Лэш).

Радикальный феминизм

Наиболее радикальные феминистки согласны с тем, что угнетение женщин – это первая, наиболее распространенная и наиболее глубокая форма человеческого угнетения. Доказательство того, что угнетение женщины есть наиболее фундаментальная форма угнетения, включает следующие утверждения: исторически женщины составляли самую первую угнетенную группу; угнетение женщин широко распространенное и интернациональное явление; угнетение женщин является наиболее тяжелой для искоренения формой угнетения; естественным следствием такого угнетения для женщины является страдание; угнетение женщины обеспечивает концептуальную модель для изучения других форм угнетения (Джаггер и Ротенберг).

Женщин угнетают, мужчин – нет. Эта специфическая форма жизни называется патриархатом. Мужчина присваивает себе преимущественные социальные роли и держит женщину в положении подчиненной и эксплуатируемой. Радикальный феминизм определяет патриархат как «систему власти, при которой именно мужчине принадлежит верховная власть и экономические привилегии» (Айзенштейн). Она рассматривает патриархат как автономную социальную, историческую силу (Андерсон). В частности, мужчины контролируют женскую сексуальность и доминируют в социальных институтах, что поощряет обесценивание женщин и продлевает их подчинение. Феминизм сосредоточивает свое внимание на изучении социо-политической формации самого патриархата и конституирует свою собственную социальную теорию в большей степени, нежели принимает такие более широкие философские теории, как марксизм или психоанализ. <...>

Перевод с английского Яны Боцман

БАУМАН Зигмунт
(BAUMAN Zygmunt)

(р. 1925)

Зигмунт Бауман (р. 19.11.1925, Познань, Польша) – британский социолог польского происхождения, один из ярких и оригинальных представителей постмодернистской социальной теории. Получил образование в университетах Англии, Канады и США. С 1971 г. живет в Великобритании. Ныне почетный профессор университета в Лидсе (Великобритания). Автор более 20 книг.

В «постмодерном повороте» Бауман видит не только критическую трансформацию ценностей и социальных форм модерна, но и возникновение специфических проблем, свойственных постсовременности, в которой кризис рациональности и рационального действия неизбежен. Общая тенденция определяется Бауманом как «фрагментация жизни», со свойственной ей радикальной индивидуализацией, гибкостью, недоверием к идеалам и ценностям, эпизодичностью личной судьбы и дисгармонизацией интересов. «Фрагментация жизни» упраздняет устойчивые этические основания поведения. Принципиальная черта постсовременности – довлеющая интенсивность постоянного морального выбора, не имеющего этического обоснования. Постмодерный мир – мир морали как индивидуального упражнения в выборе – бросил вызов этическому коду рациональной (философской) этики модерна.

Эти тенденции сформировались в контексте социального конструирования пространства, сутью которого стали возрастающая мобильность и сжатие времени-пространства. Особенно большую роль в их формировании сыграла передача информации – способ общения, при котором проблема перемещения физических тел снимается или, по крайней мере, становится второстепенной. Неуклонное развитие технических средств позволило перемещать информацию независимо не только от ее телесных носителей, но и от тех объектов, о которых она информирует; техника освободила «означающее» от «означаемого».

Сепарирование потоков информации от передвижения ее носителей и объектов привело к дифференциации скоростей; скорость передачи информации намного превзошла скорость перемещения физических тел. Последствия гипермобильности и фрагментации отражаются на динамике социальных институтов; особенно семьи, которая утрачивает функцию связи поколений. Согласно Бауману, под влиянием мобильности и производимой ею социальной поляризации, стремительно меняются параметры социальной стратификации. Мир поляризуется; эти тенденции обретают идеологическое обоснование в «концепции» глобализации. Быть местным в глобальном мире означает социальную деградацию. Глобализация вытесняет «местное», превращает его в отходы и издержки собственного процветания. Особенно явственно эти тенденции дают о себе знать в экономике. Капитал и его хозяева (инвесторы) оказываются вне конкретных территорий, вне обязательств перед обществом, вне любых социально значимых обязательств. Мобильность капитала позволяет ему навязывать правила игры без каких-либо последствий для себя. Политическая власть, неразрывно связанная с экономическим капиталом, также отчуждается от своих обязательств на конкретной территории и утрачивает свою географическую реальность.

Основные работы: «Между классом и элитой: эволюция британского рабочего движения» (1972), «Социализм: активная утопия» (1976), «Герменевтика и социальные науки» (1976), «К критической социологии» (1976), «Законодатели и интерпретаторы» (1987), «Современность и противоположность» (1991), «Намеки постмодерности» (1992), «Этика постмодерна» (1993), «Жизнь во фрагментах: очерки по морали постмодерна» (1995), «Постмодерность и ее неудовлетворенности» (1997), и др.

В предлагаемом тексте содержатся рассуждения З. Баумана о проблеме модернити, его положительных и отрицательных сторонах.

БАУМАН ЗИГМУНТ

ПОСТМОДЕРНИТИ, ИЛИ ЖИЗНЬ С АМБИВАЛЕНТНОСТЬЮ¹

Коллапс «метанарративов» (по выражению Лиотара) – рассеяние веры в надындивидуальные и надобщинные высшие инстанции – многие наблюдают со страхом как приглашение

¹ *Bauman Z. Postmodernity, or Living with Ambivalence // The Blackwell Reader in Contemporary Social Theory / A. Elliot (ed.). – Oxford: Blackwell, 1999. – P. 363–376 (в сокр.). Пер. с англ. А. А. Широкаковой.*

к ситуации, где «происходит абсолютно всё», к вселенской вседозволенности и, следовательно, в конце концов – к разрушению всякого морального, а отсюда и социального, порядка. Учитывая изречение Достоевского о том, что «если Бога нет, то все дозволено», и идентификацию Дюркгеймом асоциального поведения с ослаблением коллективного согласия, мы стали верить в то, что, пока какая-либо внушающая трепет неоспоримая власть – сакральная или светская, политическая или философская – не нависает над каждым из нас, весьма вероятна анархия и повсеместная кровавая бойня. Это убеждение хорошо поддерживало стремление модернизировать устанавливаемый искусственный порядок – проект, который сделал всякую спонтанность подозреваемой вплоть до момента доказательства ее невиновности, который изгнал все не эксплицитно предписанное и отождествил амбивалентность с хаосом, с «концом цивилизации», каким мы знаем его и можем себе представить. Возможно, этот страх возник из вытесненного знания о том, что данный проект был обречен с самого начала; возможно, он намеренно культивировался, так как играл полезную роль эмоционального укрепления против разногласий; возможно, это был просто побочный эффект, интеллектуальное следствие, рожденное из общественно-политической практики культурного крестового похода и навязанной ассимиляции. Так или иначе, но модернизировать, направленная на сметание на своем пути всех не предписанных различий и ненормативных жизненных паттернов, не могла не культивировать ужас перед девиацией и представлять девиацию как синоним разнообразия. По мнению Адорно и Хоркхаймера, продолжительный и эмоциональный шрам, оставленный философским проектом и политической практикой модернизировать, был страхом пустоты; и пустота эта была отсутствием универсальной связи, недвусмысленного и осуществимого стандарта.

О распространенном страхе пустоты и беспокойства, порожденном отсутствием четких предписаний, которые не оставляют ничего, кроме душераздирающей необходимости выбора, мы знаем из тревожных выступлений интеллектуалов, которых кто-то (или они сами) провозгласил толкователями общественного опы-

та. Повествователи всегда присутствуют в собственных нарративах, и бесполезно пытаться отделить их фигуру от их историй. Очень может быть, что во все времена была жизнь вне философии и что эта жизнь не разделяла тревог философов; что она неплохо обходилась и без регламентации рационально выверенными и философски одобренными универсальными стандартами истины, добра, красоты. Также очень может быть, что, по большей части, той жизнью можно было жить упорядоченно и морально *именно потому*, что в нее *не* вмешивались, пытаясь что-то исправить, ее *не* модифицировали, *не* портили самопровозглашенные деятели «универсального долженствования»². Однако вряд ли есть какие-либо сомнения в том, что существует одна форма жизни, которая едва ли может обойтись без поддержки универсальной связи и аподиктически действенных стандартов – это форма жизни самих повествователей (более точно –

² Отличительная черта постмодерной ментальности состоит в том, что эти и подобные сомнения все более и более разделяются интеллектуалами. Все больше социальных исследователей внезапно обнаруживают, что нормативная регуляция повседневности часто поддерживается инициативой простых обывателей, зачастую неортодоксальной («девиационной») – на официальном жаргоне) природы, и должна быть защищена от каких-либо вмешательств сверху. См., напр., сделанный Мишелем де Серто анализ *la perouque* [De Certeau, 1984:25] как средства защиты саморегулируемой сферы автономности; или блестяще выполненную Хебдиджем характеристику субкультуры (обычно объекта официально вдохновленной «моральной паники», «пережитка варварства» и «результата дезинтеграции порядка») как феномена, который «формируется в пространстве между надзором и уклонением от надзора» и «переводит факт нахождения под наблюдением в удовольствие от того, что на тебя смотрят. Это прятанье в свете». В интерпретации Хебдиджа, субкультура – это «декларация независимости, дружности, чуждой цели, отказа от анонимности или статуса подчинения». Это неподчинение, *антисубординация*. И в то же самое время это подтверждение факта беспомощности, празднование бессилия. Субкультуры – это одновременно игра за внимание и отказ, как только внимание гарантировано, быть прочитанным в соответствии с написанным» [Hebdige, 1988:35]. Субкультура – это преднамеренная или полупреднамеренная политика; у нее есть собственные сознательные и подсознательные мотивы, программа и стратегия. Она часто достигает своей цели: привлекает к себе внимание и затем внимательно исследуется, так что ее внутренняя природа как защита автономности может быть скрупулезно изучена.

такая форма жизни, которая содержит в себе истории, рассказываемые этими повествователями на протяжении большей части истории модерна).

Именно эта форма жизни в первую очередь лишилась своего основания, как только общественные власти отказались от своих вселенских амбиций, и поэтому ей как никакой другой грозило исчезнуть из универсалистских ожиданий. До тех пор пока власти эпохи модерна сохраняли свое намерение сконструировать лучший, более рациональный и, в конечном счете, универсальный порядок, интеллектуалы не испытывали трудностей в провозглашении заявлений о собственной критической роли в данном процессе: универсальность была их территорией и сферой их опыта. До тех пор пока современные власти настаивали на искоренении амбивалентности как средстве социального совершенствования, интеллектуалы могли рассматривать свою работу – поддержание универсально обоснованной рациональности – как главное средство и движущую силу прогресса. До тех пор пока современные власти продолжали порицать и изгонять «Другого», различающегося и амбивалентного, интеллектуалы могли рассчитывать на существенную поддержку собственной власти выносить приговоры, отделять правду от лжи и знание от обычного мнения. Как юный герой «Орфея» Кокто, убежденный в том, что солнце не взойдет без его гитары и серенад, интеллектуалы были убеждены в том, что судьба морали, цивилизованной жизни и социального порядка зависит от их решения проблемы универсальности, от их игры слов и окончательного доказательства того, что человеческое «долженствование» недвусмысленно и что его недвусмысленность имеет непоколебимые и вполне надежные основания.

Эта убежденность преобразовалась в два взаимодополняющих суждения: что в мире не будет добра, *пока* его необходимость не будет доказана, и что доказательство такой необходимости, *если* оно когда-нибудь и будет завершено, будет иметь на мир влияние, схожее с тем, что приписывается законодательным актам правителя: оно «заменит хаос порядком и сделает мрак светом». Гуссерль, возможно, был последним великим философом

фом эры модернити, подвигнутым к действию двумя этими убеждениями. Устрашенный мыслью, что всё, что мы бы ни принимали за истину, можно найти лишь в убеждениях, что наше знание имеет лишь психологическое основание, что, возможно, мы приняли логику в качестве безопасного проводника для правильного мышления просто потому, что людям так вообще свойственно мыслить, Гуссерль (как и Декарт, Кант, и другие признанные гиганты современной философской мысли до него) предпринял гигантское усилие, чтобы освободить разум от мирской среды обитания (или это была тюрьма?), от мира обычной повседневности; чтобы вернуть его в его истинное вместилище — *трансцендентальную*, внемирскую область, возвышающуюся над повседневной человеческой суетой на недостижимой высоте, которую нельзя ни увидеть, ни опорочить. Последняя, однако, не могла быть постоянным местом жительства разума, так как иначе она была бы тем миром обыкновенного, привычного и спонтанного, который и нужно было переделывать, реформировать и трансформировать суждениями разума. Лишь горстка избранных, способных к огромному усилию трансцендентальной редукции (опыт, недалекий от шаманских трансов или сорока дней медитации в пустыне), в состоянии достичь тех эзотерических мест, где можно созерцать истину. На время своего путешествия они должны забыть — приостановить и заблокировать — «обычное существование» так, чтобы они могли воссоединиться с трансцендентальным субъектом — тем мыслящим субъектом, который осмысливает истину, потому что не мыслит ничего больше, потому что он свободен от мирских интересов и обычных ошибок мирского пути.

Мир, который Гуссерль оставил позади, когда отправлялся в свою уединенную экспедицию к источникам истины и определенности, был миром беспутного зла, концентрационных лагерей и растущих запасов бомб и отравляющих газов. Самый захватывающий и продолжительный эффект последнего представления абсолютной истины заключался не только в его *неубедительности*, но в его полной *неуместности* по отношению к мирской судьбе истинного и хорошего. Судьба последних

была решена далеко от рабочих столов философов – там внизу, в мире повседневности, где бушевали сражения за политическую свободу и где устремления государства узаконить социальный порядок, определить, изолировать, организовать, принудить и подавить то продвигались вперед, то откатывались назад.

Кажется, что чем более сложны основания свободы у себя дома, тем меньше спрос на услуги исследователей тех отдаленных земель, где, по общему мнению, обитает абсолютная истина. Когда чья-то собственная истина кажется безопасной и истина других не кажется вызовом или угрозой, она может прекрасно обойтись без подхалимов, уверяющих ее в том, что она «самая истинная из всех», и военачальников, решительно настроенных удостовериться, что никто не выступает против. Как только отличие перестает быть преступлением, им можно наслаждаться в мире, и наслаждаться ради него самого, а не ради того, что оно собой представляет, или чем ему суждено стать. Как только политики оставляют свои имперские замашки, спрос на поиск философами универсальности быстро падает³. Империи неограниченной и неоспоримой суверенности и истина неограниченной и неоспоримой универсальности были двумя руками, с помощью которых модернисты хотела выковать мир в соответствии с планом совершенного порядка. Как только намерение исчезло, обе эти руки оказались не у дел.

³ Императору Ши Хуаньди, герою истории Борхеса, приписывают приказ о сооружении Китайской стены и сожжении всех книг, что были написаны до его времени. Он также хвалился в своих предписаниях, что все вещи под его властью имели имена, которые подходили им, и издал декрет, что его преемников следует называть Второй Император, Третий Император, Четвертый Император и так до бесконечности [Борхес, 1950:1-2]. Четыре декрета Ши Хуаньди в полной мере и логически связно олицетворяют стремление модернисты. Стена охраняла совершенное царство от вмешательства других принудительных давлений; сожжение книг остановило проникновение других идей. С царством, безопасным с обеих сторон, неудивительно, что все вещи в конце концов обрели свои правильные и соответствующие имена и, начиная с правления Ши Хуаньди, вся будущая история должна была стать лишь очередной порцией того, что уже было.

По всей вероятности, разнообразие истин, стандартов добра и красоты не появляется в тот момент, когда исчезает эта установка; не становится оно и более эластичным и упорным, чем раньше, — оно лишь выглядит менее тревожно. В конце концов, именно установка модернисти превратила различие в преступление, *то самое* преступление, самый смертный и непрощаемый грех, если быть точным. В эпоху, предшествовавшую модерну, на различие смотрели с хладнокровным спокойствием, как если бы в порядке вещей было предписано, что вещи различны и должны оставаться такими. Будучи неэмоциональным, различие также оставалось в безопасности вне познавательного фокуса. Через несколько столетий, в течение которых человеческое разнообразие существовало под постоянной угрозой изгнания и научилось стыдиться своего клейма беззакония, постмодернити (т. е. модернисти, освобожденная от своих собственных страхов и запретов) смотрит на различие с интересом и ликованием: различие красиво и от этого не менее хорошо.

Появление последовательности — это, если быть точным, само по себе уже результат современной привычки к аккуратным разделениям, четким разграничениям и чистым субстанциям. Постмодерное празднование различия и случайности не вытеснило модерную страсть к униформности и определенности. Более того, маловероятно, что постмодернити когда-либо сделает это; у нее нет для этого полномочий. Будучи тем, что она есть, склад ума и практика постмодернити не могут ни вытеснить, ни искоренить, ни изолировать, ни даже маргинализировать что-либо. Как это всегда бывает с пресловутым амбивалентным (многоцелевым: открывающим более чем одну возможность, указывающим на более чем одну линию будущих изменений) человеческим состоянием, достижения постмодернити являются одновременно и ее потерями; то, что дает постмодернити силу и привлекательность, также становится источником ее слабости и ранимости.

Не существует четкого разделения или недвусмысленной последовательности. Постмодернити слаба на исключения. Провозгласив границы без границ, она не может не включить

и не инкорпорировать модерни в собственное разнообразие, являющееся ее отличительной чертой. Она не может отказать в принятии, иначе она потеряет свою идентичность. Она, определенно, обречена на долгую и трудную жизнь сосуществования со своим заклятым врагом в качестве соседа по комнате.

На решительность модерни в поиске или насаждении консенсуса склад ума постмодернити может ответить только своим привычным принятием разногласия. Это делает шансы противников неравными, с большим перевесом на стороне решительного и упрямого. Толерантность – слишком бледная защита против упорства и отсутствия колебаний. Сама по себе толерантность остается неподвижной мишенью – легкой добычей для того, кто не разбирает средств. Она может отражать атаки только если превратится в солидарность, во вселенское признание того, что различие – это единственная безоговорочная универсальность и что атака против универсального права быть различным – это единственный способ ухода от той универсальности, которую ни один из агентов солидарности, сколь бы разными они ни были, не может терпеть иначе, чем на свой собственный (и всех других агентов) риск.

Таким образом, трансформация *рока* в *судьбу*, толерантности в солидарность – это не вопрос морального совершенствования, но условие выживания. Толерантность как «просто толерантность» умирает; она может выжить лишь в форме солидарности. Одного факта, что различие «других» не ограничивает мое собственное различие или не вредит ему – так как некоторые различия некоторых других наиболее очевидно связаны с ограничением и вредом, – будет недостаточно для того, чтобы остаться удовлетворенным. Выживание в мире случайности и разнообразия возможно, только если различие признает другое различие как необходимое условие сохранения себя самого. Солидарность, в отличие от толерантности как более слабой версии, означает готовность сражаться и вступить в битву за различие других, а не только за свое собственное. Толерантность эгоцентрична и созерцательна, солидарность общественно ориентирована и воинственна.

Как и у всех других человеческих устройств, у толерантности и разнообразия постмодернити тоже есть свои страхи и опасности. Ее выживание не гарантировано ни Божьим промыслом, ни мировым разумом, ни законами истории, ни любой другой сверхчеловеческой силой. В этом отношении, конечно, состояние постмодернити не отличается от всех остальных устройств; оно отличается только знанием об этом, его знанием о жизни без гарантии, о том, что оно действует самостоятельно, в одиночку, на свой собственный страх и риск. Это делает его чрезвычайно склонным к тревожности. Но это также дает ему шанс. <...>

Политическая повестка постмодернити

Ничего просто так не заканчивается в истории, никакой проект невозможно когда-либо завершить или отделаться от него. Четкие границы между эпохами – это всего лишь проекции нашего неустанного стремления разделить неразделимое и упорядочить бесконечное изменение. Модернити все еще с нами. Она живет в виде давления неосуществленных надежд и интересов, окаменевших в самовоспроизводящихся институтах; в виде рвения волей-неволей запоздалых подражателей, желающих присоединиться к празднованию, которым те, кто его сейчас с отвращением покидает, когда-то с гордостью наслаждались; в виде образа мира, который действия модернити оставили за собой в виде «проблем», породивших эти действия и определивших наш исторически тренированный, хотя до сих пор инстинктивный способ мышления о проблемах и реакции на них. Возможно, это то, к чему отсылает нас Хабермас, когда говорит о «незавершенном проекте модернити».

Сохраняет модернити свою определенную форму или нет, но что-то, несомненно, произошло с нами, людьми, которые принимают и завершают проекты. Сам факт, что мы говорим о модернити как о *проекте* (о замысле с устремлениями, целями и средствами), наиболее убедительно свидетельствует в пользу изменения, которое с нами произошло. Наши предки не говорили о «проекте», когда были деловито заняты тем, что сейчас для нас похоже на незаконченное дело.

Майкл Филлипсон дал своей недавно опубликованной книге название «*В кильватере модернити*»⁴. Удачная фраза, вызывающая яркий образ: корабль прошел; его прохождение вызвало волны, оставило беспокойство, так что все моряки вокруг вынуждены немного изменить курс своих лодок – в то время как те, кто упал с лодок в воду, должны хорошенько постараться, чтобы добраться до них. Но как только воды вновь успокаиваются, мы (как моряки, так и бывшие пассажиры) можем поближе взглянуть на корабль, который стал причиной всего этого. Этот корабль все еще довольно близко, огромный и хорошо видимый во всей своей огромности, но теперь мы *позади* него и больше не стоим на его палубе. Поэтому мы можем увидеть его во всей его впечатляющей форме, от носа до кормы, пристально разглядеть, оценить его и наметить курс, по которому он плывет. Теперь мы можем решить, следовать нам этим курсом или нет. Мы также можем лучше оценить мудрость его навигации и даже протестовать против команд капитана.

Жизнь «в кильватере» означает беспокойство, но также и более широкие перспективы и новую мудрость, которую они предлагают. Находясь в кильватере модернити, ее пассажиры начинают осознавать серьезные промахи в дизайне корабля, который привез их туда, где они теперь находятся. Они также смиряются с тем фактом, что он не мог привезти их в более приятное место, и готовы опять, свежим и критическим взглядом, окинуть старые принципы навигации.

Иными словами, то, что действительно ново в нашей ситуации сегодня, – это наше преимущество. В то время как мы все еще находимся в тесном соседстве с эрой модернити и ощущаем эффекты беспокойства, которые она вызвала на своем пути, мы *можем* теперь (мы *готовы и стремимся*) невозмутимо и критически взглянуть на модернити во всей ее тотальности, оценить ее представление, вынести приговор относительно прочности и согласованности ее конструкции. Это, в конечном счете, то, что означает идея *постмодернити*: существование, всецело зависящее

⁴ *In Modernity's Wake*. Здесь: игра слов «в кильватере», а также «по следам» и «на поводу». – *Прим. перев.*

и определяемое фактом состояния «*пост*» (приходящего *после*) и переполненности осознанием нахождения в таком положении. Постмодернити не обязательно означает конец, дискредитацию или отвержение модернити. Постмодернити – не более (но и не менее), чем разум модернити, который долго, внимательно и трезво оценивает самого себя, свое нынешнее состояние и свое прошлое; которому нравится не все, что он видит, и который ощущает побуждение к изменению. Постмодернити – это модернити, становящаяся совершеннолетней, модернити, смотрящая на себя скорее со стороны, чем изнутри, производящая инвентаризацию всех своих выигрышей и проигрышей, подвергающая себя психоанализу, открывающая намерения, которые она никогда раньше не расшифровывала, находя их взаимно перекрывающимися друг друга и несогласованными. Постмодернити – это модернити, приходящая к согласию со своей собственной невозможностью; наблюдающая себя модернити; та, что сознательно отбрасывает то, что когда-то бессознательно совершала.

Тем временем, тройной альянс ценностей свободы, равенства и братства, который господствовал на политическом поле битвы модернити, также не избежал испытующего взгляда и последующей цензуры. И неудивительно: как ни старались политические дизайнеры, они обнаруживали, что всегда идут на компромисс, напрасно пытаясь достигнуть всех трех ценностей одновременно. Оказывалось, что свобода препятствует равенству, равенство быстро расправляется с мечтой о свободе, а братство обретает сомнительное достоинство, как только две другие ценности не могут найти *modus coexistendi*⁵. Также был сформулирован вывод, что при огромной и не до конца раскрытой энергии человеческой свободы, цели равенства и братства продавали человеческий потенциал слишком дешево. Равенство нельзя было легко отделить от перспективы однообразия. Братство слишком часто на вкус отдавало принужденным единством и требованием, чтобы официальные братья и сестры жертвовали своей индивидуальностью во имя мнимого общего дела. Не то чтобы средства зашли дальше, чем цели. Покорение природы принесло больше

⁵ способ сосуществования (лат.)

потерь, чем человеческой радости. Единственное, в чем индустриальная экспансия имела захватывающий успех, так это умножение рисков: больше рисков, большие риски, неизвестные риски. На протяжении некоторого времени большая часть «экономического роста» стимулировалась потребностью обезопасить риски, которые он сам и создал: риски перенаселения, нехватки питания, потери климатически необходимых тропических лесов и создания социально опустошающих городских джунглей, перегрева атмосферы, загрязнения запасов воды, отравления пищи и воздуха, распространения «новых и улучшенных» болезней. Покорение природы все более и более становилось похожим на ту самую болезнь, которую оно должно было излечить.

Так начали изменяться ценности. Сначала на причудливых и особенных окраинах, которыми легко можно было пренебречь и от которых легко можно было отделаться как от «нетипичных» или просто ненормальных. Но затем вялое движение превратилось в стихийное и массовое. Нельзя было больше игнорировать тот факт, что новый альянс из трех ценностей набирает популярность за счет старого. Новые горизонты, которые, кажется, будоражат сегодня человеческое воображение и вдохновляют человеческое действие, суть *свобода, разнообразие и толерантность*. Это новые ценности, которые наполняют *ментальность постмодернити*. Однако что касается *практики* постмодернити, то она не выглядит ни на йоту менее порочной, чем ее предшественница.

Свобода, как и раньше, урезана – хотя части ее тела, что ампутированы сейчас, отличаются от тех, что отнимались в прошлом. В практике постмодернити свобода сводится к потребительскому выбору. Чтобы ею наслаждаться, сначала надо быть потребителем. Это предварительное условие исключает миллионы людей. Как и на протяжении эры модернити, в мире постмодернити бедность лишает людей прав. Свобода в своей новой, рыночной интерпретации – такая же привилегия, какой она была в старых версиях. Но существуют и новые проблемы: с переводом общественных нужд в индивидуальные акты приобретения, искажение свободы не может не касаться *каждого*, богатых и бедных, образцовых или обычных потребителей. Существуют

нужды, которые нельзя удовлетворить, какими бы большими ни были личные приобретения, и, таким образом, свобода выбора любого человека выглядит строго ограниченной.

Никто не может купить себе личный выход из загрязненного воздушного пространства, прорванного озонового слоя или возрастающего уровня радиации; никто не может купить себе пропуск в лес, свободный от кислотных дождей, или к побережью, защищенному от токсичных водорослей, разросшихся на питательной почве химически обработанных сточных вод. Есть всего несколько примеров, когда предоставлена возможность откупиться деньгами – как, например, скрыться от разваливающегося общественного транспорта в частной машине или убежать от убогого бесплатного здравоохранения в частную клинику, – однако и здесь выбор только вносит свою лепту в проблему, которая изначально сделала его обязательным, усугубляя невзгоды, вынудившие побег. Поэтому выбор становится неэффективным уже в тот момент, когда его принимают или, в лучшем случае, на несколько секунд позже. Существует множество слабых или недееспособных потребителей, которые еще должны получить эту свободу, официально признаваемую обществом потребления; но существуют также и слабые, заброшенные, обделенные стороны жизни *каждого* (включая жизнь официально свободных потребителей), которые еще нуждаются в защите общественными усилиями.

Разнообразие процветает; и рыночная площадь процветает вместе с ним. Выражаясь более точно: теперь разрешено процветать только такому разнообразию, которое выгодно рынку. Как поступало раньше жадное до власти, завистливое национальное государство без чувства юмора, так и сегодня рынок ненавидит самоуправление и автономию – дикую территорию, которую он не может контролировать. Как и раньше, за автономию нужно бороться, если только разнообразие означает что-либо, кроме множества продаваемых образов жизни – тонкого лака изменчивой моды, предназначенного для того, чтобы скрыть однообразное состояние зависимости от рынка. За что нужно бороться, так это за право обезопасить общественное, отличающееся от индивидуального

разнообразие; разнообразие, происходящее из общественно выбираемой и общественно обслуживаемой формы жизни. Такое разнообразие сейчас может бороться за признание и свою долю услуг, но не может (пока не будет доказана его рентабельность) надеяться на поддержку (не говоря уже о гарантированности) изобилия товарных идентичностей. Если не соблюдены стандарты товарности, самое большее, на что можно рассчитывать, — это безразличие рынка. В худшем случае будет необходимо считаться с его враждебностью. Общественно управляемые коллективные идентичности могут столкнуться с идеей индивидуально выбираемых стилей жизни — идеей, которой рынок должен поддерживаться с максимально искренним и ярко выраженным сочувствием.

Если лозунг братства переводить как навязчивую помеху альтернативным способам жизнедеятельности, как требование одинаковости, определяющей все различия как признаки отставания, отклонения и «проблем», требующих «решений», — то *толерантность* переводится как «Давайте будем жить и дадим жить другим». Там, где правит толерантность, различие больше не эксцентрично и не вызывающе. Различие, так сказать, приватизировали. Страсть обращать в свою веру увяла, дух крестовых походов рассеялся. Век культурной гегемонии, как кажется, прошел: культурами следует наслаждаться, а не бороться за них. В нашем типе общества экономическое и политическое господство может хорошо обходиться без гегемонии; оно нашло способ собственного воспроизводства в условиях культурного разнообразия. Новая толерантность означает несущественность культурного выбора для стабильности господства. И эта несущественность оборачивается *безразличием*.

Альтернативные формы жизни возбудили только зрительский интерес, наподобие того, который предлагается сверкающим и пряным варьете; они могут даже вызывать меньше возмущения (особенно если на них смотреть с безопасной дистанции или через безопасный щит телевизионного экрана), но также и не вызывают никакой симпатии; они принадлежат внешнему миру театра и развлечения, а не внутреннему миру политики

жизни. Они стоят друг за другом, но не составляют единого целого. Как и стили жизни, продвигаемые рынком, они не несут никакой другой ценности, кроме ценности свободного выбора. Чаще всего их присутствие не несет никаких обязательств, не порождает никакой ответственности. В практике управляемой рынком постмодернити толерантность вырождается в отчужденность; рост зрительского любопытства означает угасание человеческого интереса.

Когда чужеродные формы жизни сходят с безопасных телевизионных экранов или скапливаются в пышущих жизнью и разрастающихся по соседству общинах, вместо того чтобы ограничить свое существование мультикультуралистскими поваренными книгами, этническими ресторанами и модными безделушками, они переходят границы своей области значений: области театра, развлечения, варьете – единственной области, которая содержит заповедь толерантности, приостановки отчуждения. Внезапный прыжок от одной области значений к другой шокирует во все времена, и поэтому формы жизнедеятельности, к которым раньше относились как к красочным и забавным, сейчас ощущаются как угроза; они возбуждают гнев и враждебность.

Другими словами, продвигаемая рынком толерантность не ведет к солидарности: она *раскалывает* вместо того, чтобы объединять. Она служит общественному разделению и редукции социальной связи к поверхностному блеску, гламуру. Она живет только пока она остается жить в воздушном мире символической игры представления и не перетекает в царство ежедневного сосуществования, благодаря соответствующей территориальной и функциональной сегрегации. Наиболее важно то, что подобная толерантность полностью совместима с практикой социального господства. Ее можно проповедовать и применять без страха, потому что она скорее еще раз подтверждает, чем ставит под вопрос превосходство и привилегию толерантного: «другой», будучи различающимся, теряет право на равное обращение. И в самом деле: неполноценность «другого» становится оправданной его различием. Отказ от рвения обращать других в свою веру приходит вместе с изъятием самого обещания равенства.

С взаимными связями, редуцированными до толерантности, различие означает бесконечную дистанцию, не-сотрудничество и иерархию. «Слияние горизонтов» вряд ли выходит за пределы растущего числа этнических закусочных.

Это все, что предлагает постмодернити в отношении ценностей. Что касается средств, то насилие над природой было замечено заботой о сохранении природного баланса; созданная разумом искусственность – боевой клич модернити, быстро теряет публику и как объект популярного культа также быстро заменяется мудростью природы. Все меньше людей верят сегодня в волшебную силу экономического роста и технологическую экспансию. То, что люди доверяют совершать исключительно, и с нарастающими темпами, технологии – это создание еще большего дискомфорта и опасности, новых, менее просчитываемых, менее поддающихся контролю рисков.

Управляемые политикой силы и приводимые в движение силами рынка, новые заботы и новые виды чувствительности используются затем, чтобы усилить процессы ненависти и порицания. Столкновение между общественной природой рисков и приватизированными средствами их сдерживания – это постмодернистская версия старого противоречия капитализма (противоречия между общественными средствами производства и частной собственностью на них), на которую указывал Маркс как на главную причину неминуемого крушения этой системы. В результате этого столкновения риски не уменьшаются, не говоря уже об их уничтожении. Их только убирают с публичного обозрения и, таким образом, спасают от критики, по крайней мере на некоторое время. (Риски имеют тенденцию путешествовать по земному шару в направлении, противоположном богатству; богатые страны обладают внушительной способностью продавать свой собственный яд в качестве мяса для бедных – единственного мяса, на которое они могут надеяться⁶.)

Подобные порожденные технологиями риски, если их нельзя отодвинуть, смягчаются еще большим количеством технологии –

⁶ Английский вариант поговорки «Что русскому хорошо, то немцу смерть» – «Что для одного мясо, для другого яд».

к рукоплесканиям публики (по крайней мере временным). «Заботящиеся о природе», «дружественные для озона» и «зеленые» бензин, аэрозоли, моющие средства и отбеливатели превращаются в большой бизнес и приносят «новые и улучшенные» прибыли. Заботящиеся об экологии дизайнеры уменьшают количество углекислого газа, выпускаемого существующими машинными двигателями, так, чтобы больше машин можно было выпустить на большее количество дорог. (К 2015 году Европе ждет в четыре раза больше машин, чем сегодня; сложно представить процветающую Европу без них, так как каждый седьмой добывает себе средства к существованию производством автомашин. Однако сложно представить Европу без машин, умножающихся с современной скоростью, из-за которой Акрополь разрушился за последние двадцать лет больше, чем за предыдущие двадцать четыре столетия, и из-за которой альпийские леса, которые защищают эксперты, скоро разделят участь тропических лесов в верхнем течении Амазонки, которые эти же эксперты разрушают.)

Как и раньше, проблемы формулируются как требования для новых (естественно, коммерчески успешных) технических приспособлений и гаджетов; как и раньше, всем жаждущим быть свободными от дискомфорта и рисков напоминают, что такая свобода должна «окупиться» и что большие счета общественной катастрофы можно будет покрыть небольшим изменением в личных покупательских расходах. При этом глобальный источник проблем эффективно скрыт от глаз и крестовый поход против известных рисков может продолжать производить все более и более зловещие – еще неизвестные – риски, подрывая свои собственные будущие шансы на успех.

Однако это лишь небольшая часть обмана. Другая, еще большая и конструктивная часть – это рождение новой чувствительности в рамках технологического дискурса: как спасение, так и неохотно признаваемые грехи теперь герметично запечатаны в деполитизированный («политически нейтральный») дискурс технологии и экспертизы, что лишь закрепляет социальные рамки, которые делают грехи неизбежными, а спасение недостижимым. Что осталось за границами рационального дискурса, так

это тот самый вопрос, у которого есть шанс сделать дискурс рациональным и, возможно, даже практически эффективным – *политический* вопрос о демократическом контроле над технологией и экспертизой, их целями и желательными границами; вопрос политики как самоуправления и коллективно принимаемых решений.

Какую бы ценность и какие бы средства, отстаиваемые постмодернити, мы ни рассматривали, все они указывают (неявно или методом исключения) на политику, демократию, гражданство как на средства своего осуществления. С политикой эти ценности и средства выглядят как возможность лучшего общества; без политики, полностью оставленные на попечение рынка, они больше похожи на обманчивые лозунги – в лучшем случае, или на источники новых и еще неизмеренных опасностей – в худшем. Постмодернити – это не конец политики, как и не конец истории. Наоборот, что бы ни было привлекательного в перспективе постмодернити, она требует больше политики, больше политической вовлеченности, больше политической эффективности индивидуального и коллективного действия.

До сих пор состояние постмодернити принесло массивное изъятие потенциальных граждан из традиционной (или, по крайней мере, традиционно перевозносимой, если не всегда практикуемой) формы политики. Обольщенные – те, которые получают от этого прибыль, или думают, что получают, – требуют больше мелочи в своих карманах и не хотят слушать напоминаний о неоплаченных социальных счетах. Подавляемые принимают вердикт большинства, который отбрасывает их как плохих потребителей, и верят, как практически все остальные, что социальные счета лучше всего оплачивать, добавляя мелочи в частные карманы. Их страдания не учитываются, не накапливаются; лекарство, как и нездоровье, должным образом приватизировано. Общий результат – массовое политическое безразличие. Его давление превращает политический процесс в соревнование героев шоу-бизнеса в глубине экрана, с результатами выборов, копирующими рейтинги популярности. Предсказывает ли все это конец политики?

Есть признаки того, что эра постмодернити может породить свои собственные политические формы. Как и многое другое, старомодный, абсолютистский режим пал в последние годы в частях света, настолько далеких друг от друга и очевидно не связанных между собой, как Чили и Чехословакия, указывает на такую возможность. В отсутствие какой-либо предшествующей теоретической разработки, восстания, которые привели к падению режимов, на практике демонстрируют новое видение политики и политической власти – видение, в котором традиционные для модернити образы твердой и жесткой «материальности» политического господства необъяснимо, но откровенно отсутствуют.

Перечислим лишь некоторые общие черты таких восстаний. Во-первых, они не были «спланированными революциями», расписанными и подготовленными организованным ядром заговорщиков с тайной сетью альтернативной системы власти и планом будущей политики. Руководство, если оно и было, возникало в ходе событий и скорее следовало за общественным движением, нежели возглавляло его. Во-вторых, события развивались без плана, следуя единственно логике эпизодической последовательности и захватывая врасплох и самих протестующих, и мишени общественного гнева. По мере того как борьба создавала свои собственные войска, постепенно открывающиеся возможности создавали свои собственные стратегии. В-третьих, малое количество зданий (если вообще сколько-то) служили целью, были взяты штурмом или захвачены до того, как их обитатели покинули их или нахождение там потеряло свое политическое значение; это было, как если бы акторы не рассматривали власть как «вещь», находящуюся в определенном месте, где ее можно хранить и откуда ее можно взять; как если бы вместо этого они воспринимали правительство, правление, господство скорее как непрерывный процесс коммуникативного обмена, серию актов, а не как набор владений; что-то, что можно скорее прервать, разоблачить, а позднее вернуться к нему и снова созвать, чем изъять и перераспределить. В-четвертых, решительный удар и главная причина крушения состояли не в подавляющей силе

повстанцев и военном поражении правителей, а в бескомпромиссной иронии протестующих, не желающих быть выведенными из своего, похожего на карнавальное поведения беззаботного, буйного неуважения к высокопоставленным и власть имущим. Единичные выстрелы, будучи произведены, были встречены вселенским протестом не просто по причине страданий, которые они причинили конкретным жертвам, но из-за их чуждости, их полного несовпадения с характером события; эхо другой эпохи, выстрелы звучали раздражающе не в лад с настроением народного праздника, вновь обретенной свободы улиц.

Возможно, описанные события продемонстрировали, что даже если государственная власть не нуждается в народном согласии для своего повседневного функционирования, она не может пережить откровенного отказа в такой согласии: средства принуждения не замена согласию; именно наличие согласия делает подобные средства эффективными прежде всего. Это могло бы стать откровением, которое озарило бы эру новой политики *постмодернити*: вооруженная подобным знанием, политика может превратиться в совершенно новый вид игры, с последствиями, в еще большей степени трудными для предсказания. Однако это всего лишь одна из возможных интерпретаций. Скорость, с которой казавшиеся непреклонными сооружения деспотической силы обвалились с первым дымком народного отказа в кротости, возможно, была *локальным* феноменом: доказательством устарелости государства эпохи модернити, в котором слишком долго поддерживали жизнь одинаково стареющие и пресытившиеся коммунистические режимы и которому принесли внезапное облегчение практики общества постмодернити.

Возможно, то, свидетелями чего мы стали, было падением *патерналистского государства* – общественной / политической / экономической формации, исключительно не подходящей для эры постмодернити, где господствуют ценности новизны, стремительного (преимущественно непоследовательного и эпизодического) изменения, индивидуального наслаждения и потребительского выбора. В обмен на обещание личного обеспечения и личной безопасности патерналистское государство требует

отказа от права выбирать и самоопределяться. Патерналистское государство стремится быть монопольным источником удовлетворения потребностей, социального статуса и чувства собственного достоинства; оно трансформирует своих субъектов в клиентов и просит их быть благодарными за то, что они получили сегодня и получают завтра. Но по той же самой причине, по которой патрон чувствует себя вправе требовать признательности, он не может снять с себя ответственность за неудачу своих клиентов. Фрустрация, крушение планов немедленно превращаются в повод для недовольства, которое «естественным образом» ударяет по патрону и его политике как очевидным причинам страданий. В условиях постмодернити, когда возбуждающий опыт совершенно новых потребностей (а не удовлетворение уже имеющихся) становится главной мерой счастливой жизни (и, таким образом, производство новых соблазнов превращается в главное средство социальной интеграции и мирного сосуществования), патерналистское государство, приспособившееся к задаче определения и ограничения потребностей своих субъектов, не может выдержать конкуренции с системами, управляемыми потребительским рынком. И поскольку оно остается единственной целью в поле зрения последующего недовольства, то, вероятнее всего, накопленное разногласие скоро перевесит имеющиеся у него возможности достижения согласия и разрешения конфликтов. Неудивительно, что управляющие патерналистским государством явно потеряли свою решимость увековечить систему, приспособленную к диктату над потребностями и ответственности государства за их удовлетворение – наряду со способностью управлять.

Ведя свой рассказ из глубины противоречивого опыта художника, венгерский автор Миклош Харашти заметил, что в обществе, где главная (единственная?) сдерживающая сила, сковывающая свободу художника, исходила от рынка, «художник мог выразить ненависть даже по отношению к этой сдерживающей силе, если только его работа была продаваема... [но] планирование, в отличие от рынка, – это не мирная священная корова. Оно

не может с толерантностью относиться к презрению»⁷. Всё потребляющее стремление планирующего, конструирующего и возделывающего государства модернизировать оказалось, в конце концов, его главным недостатком и фатальным бедствием. Оно продолжало впутывать его в потенциально ведущий к крушению кризис.

Преемник государства модернизировать делает, скорее, ставку на уловку приватизации и рассеивания разногласий, чем на их коллективизацию и подталкивание их к накоплению. Отбросив амбиции конструктивизма, государство постмодернизма может обойтись меньшим количеством насилия и небольшой (если вообще какой-либо) идеологической мобилизацией. Кажется, что оно рассчитывает на то, что народное недовольство останется разрозненным и что его можно будет пережить. Оно может даже рассчитывать на такое недовольство, пока оно остается рассеянным, чтобы заботиться о воспроизводстве системы. Как только ее объявляют смертельной опасностью всему общественному и политическому порядку, амбивалентность уже не «враг у ворот». Наоборот: как и все остальное, она превращается в часть реквизита в пьесе под названием «постмодернизм».

⁷ Харашти [Haraszti, 1989:80-81] замечает, что существование цензуры при государственном социализме основано на идентичности интересов цензора и автора (р. 8). Создавая свой труд в 1980-х годах, Харашти добавил прилагательное «длительная» к существительному «идентичность»: система, которая успешно «впитала язык своих жертв», тогда казалась Харашти, как и практически всем остальным, обреченной длиться вечно. Исходя из ретроспекции, сегодня можно сказать: то, что тогда представлялось сильнейшим основанием безопасности системы, оказалось ее гибелью. Полностью приняв на себя бремя защиты «общих интересов», коммунистическая власть вложила свою судьбу в руки своих субъектов; она не могла пережить разногласия среди них. Если в неписаном контракте между коммунистическими правителями и народом нельзя было «замечать какого-нибудь разделения между уполномочиванием на господство ценностей и на господство ценных» (р. 26), тогда любой протест против типа ценностей, насаждаемых правителями, должен был немедленно превратиться в протест против принципа насаждения ценностей как такового. Все разногласие превратилось в *системный* кризис (в то время как в обществе, где потребности, ценности и само разногласие приватизированы, схожие разногласия лишь усилили бы основанный на рынке механизм воспроизводства системы).

Литература

- Борхес Х. Л.* Стена и книги // Новые расследования. 1952 [1950].
De Certeau M. The Practice of Everyday Life. Berkeley, 1984.
Haraszti M. The Velvet Prison: Artists under State Socialism. London: Penguin, 1989.
Hebdige D. Hiding in the Light. London, 1988.

Перевод с английского А. А. Широкановой

АЙЗЕНШТАДТ Шмуэль Ноах (EISENSTADT Shmuel Noah) (1923–2010)

Шмуэль Ноах Айзенштадт (10.09.1923, Варшава – 02.09.2010, Иерусалим) – израильский социолог и специалист в области теории цивилизаций.

В 1935–1940 гг., после эмиграции из Польши, Айзенштадт заканчивает свое школьное образование в Тель-Авиве. Вся трудовая жизнь Айзенштадта связана с Еврейским университетом Иерусалима, в котором он не только учился (1940–1944), изучал еврейскую историю и социологию культуры, получил степени магистра (1944) и доктора социологии (1947), но и постоянно работал с 1944 г. (профессор, заведующий кафедрой социологии, декан, а после ухода на пенсию в 1983 г. – почетный профессор и исследователь). В то же время Айзенштадт много раз приглашался для чтения лекций в лучшие университеты мира, включая Гарвард, Стэнфорд, Чикаго, Мичиган, Массачусетский технологический институт, Осло, Вену, и др. Айзенштадт приглашался для проведения исследований в международный Центр имени Вудро Вильсона (Вашингтон) и Стэнфордский университет, Нидерландскую королевскую академию (Вассенаар), Шведскую Коллегию по социальным исследованиям (Упсала). Он – почетный член Американской академии наук и искусств, Лондонской школы экономики, Китайской академии социальных наук, Открытого университета Израиля. Почетный доктор университетов: Гарвардского, Хельсинского, Тель-Авивского, университета Дюка, Центрально-Европейского университета и др.

Основные работы Айзенштадта посвящены историческому и социокультурному анализу империй и цивилизаций. Начиная с первой крупной работы (1963), посвященной политическим системам империй,

автор не только давал анализ собственно политических систем, определявших характер бюрократических империй в разные периоды истории, но также рассматривал их социальные и ценностные структуры. Работы Айзенштадта отличает яркая особенность: собственные концептуальные построения автора насыщены огромным историческим сопоставительным материалом, охватывающим большинство макро-социологических образований Старого Света. Айзенштадт показал, что отличительной чертой этих цивилизаций было развитие внутри них альтернативных, соперничающих представлений об отношениях между трансцендентным и мирским порядками. Эти альтернативные концепции формировались на основе трех исходных антиномий, присущих самим основам таких цивилизаций: (1) осознание разнообразия возможностей, связанных с трансцендентными представлениями, и путей их воплощения; (2) напряженность между разумом и откровением (верой); (3) проблемы, связанные со стремлениями к полноценной реализации этих представлений в социальных институтах.

Огромное место в творчестве Айзенштадта принадлежит анализу многообразия типов современных обществ. Он доказал, что нет единого типа модернити, что каждое общество может развить свой уникальный тип, определяемый своими историческими особенностями, и поэтому Восток не должен подражать Западу. Большое внимание Айзенштадт уделял роли революционных движений в формировании новых модернити.

Основные работы: «Фундаментализм, сектантство и революции» (2000); «Многообразие модерна» (2000); «Общественные сферы и коллективные идентичности» (2001, в соавт.); «Многочисленные общества модерна» (двухтомник, 2002); «Модернити и модернизация» (2004); «Исследования еврейского исторического опыта: цивилизационное измерение» (2004); «Политическая теория в поисках политического» (2005).

Приведенная статья содержит в концентрированном виде представления автора об эпохе модернити (см.: Eisenstadt S. N. Multiple Modernities. New Brunswick and London, 2002). Текст был отобран лично автором и любезно предоставлен переводчику в ходе личной встречи, состоявшейся на 37-м конгрессе Международного института социологии в июле 2005 г. в Стокгольме. Автор выражал горячее желание, чтобы его тексты стали известны русскоязычному читателю, и активно поддерживал идею данной публикации.

МНОГООБРАЗИЕ МОДЕРНИТИ¹

Культурная программа модернити

Культурная и политическая программа модернити (modernity) как проекта современности, по мере того как она развивалась сначала на Западе, влекла за собой отчетливые идеологические и институциональные предпосылки. Они вызвали вполне определенный сдвиг в концепции человеческой деятельности, ее автономности и места в потоке времени. Суть программы состояла, во-первых, в том, что предпосылки и легитимация социального, онтологического и политического порядка больше не брались на веру; была разработана весьма интенсивная – прежде всего рациональная – рефлексивность по поводу базисных онтологических предпосылок и по поводу основ социального и политического порядка власти в обществе. Рефлексивность разделяли и наиболее радикальные критики этой программы, которые в принципе отвергали легитимность такой рефлексивности. Во-вторых, центральным для этой политической программы было утверждение, что данный порядок, может быть, и является конституированным сознательной человеческой деятельностью – и, следовательно, что он влечет за собой возможность непрерывной трансформации. В-третьих, ядром этой программы стала «натурализация» космоса, человека и общества, и поиск эмансипации человека от уз «внешнего» авторитета или традиции.

Это ядро культурной программы в наиболее сжатой форме было сформулировано Вебером, который определил экзистенциальное начало модернити в деконструкции. Модернити возникает, только когда легитимность постулированного космоса больше не принимается бездоказательно, когда она прекращает быть недостижимой для критики.

Отсюда вытекают два тезиса: 1) модернити во всем своем разнообразии являются ответом на одну и ту же экзистенциальную проблематику; 2) какими бы они ни были, модернити являются

¹ *Eisenstadt S. N. Multiple Modernities // Daedalus, Winter, 2000. – Vol. 129. – № 1. – P. 1–29 (в сокр.). Пер. с англ. Л. Г. Титаренко.*

именно такими ответами, которые оставляют рассматриваемую проблематику нетронутой... Именно поэтому рефлексивность, развитая в программе модернити, не только сосредоточилась на возможности различных интерпретаций трансцендентных образов и базовых онтологических концепций, преобладающих в обществе, но и поставила под вопрос саму принимаемую как данность природу таких представлений и институциональных паттернов, относящихся к ним. Так, современная культурная и политическая программа привела к потере «маркеров определенности» в концепции мира. Это привело к осознанию существования множественности таких представлений и паттернов и к возможности того, что такие представления и понятия действительно могут подвергаться критике и постоянно реконституироваться. <...>

Та концепция натурализации человека и космоса, которая была впервые разработана в Европе, проявилась в нескольких главных, часто конфликтующих тенденциях и предпосылках: во-первых, изменение места Бога в устройстве космоса и человека и в их понимании; сопутствующая «натурализация» человека, общества и природы; во-вторых, распространение автономии и потенциального верховенства разума в объяснении мира и даже придании ему формы. Человек и природа стремились к натурализации – к тому, чтобы быть более понятыми не как прямо управляемые волей Бога, подобно монотеистическим цивилизациям, и не некими высшими, трансцендентными метафизическими принципами, как в индуизме и конфуцианстве, или универсальным логосом, как в греческой традиции. Скорее, они воспринимались как автономные сущности, регулируемые некими внутренними законами, которые могли быть полностью описаны и схвачены человеческим разумом, посредством рационального исследования человеком. Рациональное исследование «естественных» законов стало одним из главных фокусов новой культурной программы, и в ней все более и более предполагалось, что изучение этих законов может привести к разгадыванию загадок как вселенной, так и человеческой судьбы, а следовательно, – что разум сможет стать ведущей силой в объяснении мира и в формировании человеческой судьбы. Научное исследование стало преобладающим

компонентом этой программы – многими способами, многими объяснениями этой рациональности – миниатюрным изображением рационализма мира.

Эта натурализация человека и космоса не обязательно влекла за собой разъединение земного мира и трансцендентных представлений. В то время как такое разъединение действительно составляло один из важных компонентов культурной программы модернистского движения, оно все же выработало в этой программе другую важную, в чем-то противоположную тенденцию, а именно – веру в возможность наведения мостов между трансцендентным и земным порядками, осуществляемого в земном порядке посредством рационального исследования и сознательного человеческого действия, своего рода утопические, эсхатологические представления.

Такое исследование не было чисто пассивным или созерцательным. Значительным компонентом этого модернистского культурного представления было утверждение, что посредством такого исследования не только понимание, но даже господство над вселенной и человеческой судьбой и сопутствующее ему непрерывное расширение человеческой среды и переустройство социального порядка могут быть достигнуты сознательными усилиями человека.

«Рациональное» исследование природы и поиск потенциального господства над ней были направлены на то, чтобы включить в них не только научно-техническую сферу, но и социальную сферу. Это было тесно связано со взглядом, что исследование и изучение человеческой природы и общества можно связать с попытками применения знания, приобретенного в научно-технических исследованиях, рассматриваемого как релевантное для управления делами общества, социальной сферы, точнее – конструирования социально-политического порядка. Этот взгляд часто – хотя и не всегда – сопровождался акцентом на автономном участии членов общества в конструировании социально-политического порядка и его обустройстве, на открытом доступе всех членов общества к этому управлению и поэтому на возможности непрерывной трансформации этого порядка.

Сходная двойственная ориентация была также разработана в отношении понятий времени и открытого пространства, с вытекающим отсюда сильным акцентом на непрерывную линейность. Линейное время могло быть постигнуто как чисто природное, текущее в своем темпе в соответствии со своими естественными законами. Считалось, что то, что происходит, не столько является замещением цикличного, локального времени – линейным, модернистским временем, сколько перемещением в земную область дискурса концепции священного, линейного времени.

Подобные исследования и акцент на автономном доступе всех членов общества к центрам социального порядка и их устройству были тесно связаны с акцентом на автономности человека, его эмансипации от уз традиционной политической и культурной власти и постоянного расширения сферы человеческой автономности, моральной свободы, разума, человеческой воли. Такая автономия влекла за собой несколько составляющих: во-первых, рефлексивность и исследование, во-вторых, активное устройство, господство над природой, возможно, включая человеческую природу и общество.

Два основных компонента, а также потенциально противоречивые тенденции относительно лучших способов, посредством которых эта конструкция может существовать, были разработаны в программе. Первым была тенденция тотализации, которую можно найти уже в Просвещении, в Великих Революциях. Она положила начало вере в возможность сокращения разрыва между трансцендентным и земным порядками, в осуществление посредством сознательных человеческих действий в земных порядках, в социальной жизни утопических, эсхатологических представлений. Это тотализирующее направление воплотилось в технократические вариации, основанные на утверждении, что те, кто обладает знанием, кто господствует над секретами природы и человека, человеческой природы, могут придумывать соответствующие институциональные меры для воплощения в реальность хорошего общества. Это направление также провозглашало перестройку общества весьма тоталистским способом в соответствии с представлением (обычно моральным), облечен-

ным в рациональные термины. Вторая главная тенденция в процессе реконструкции общества коренилась в растущем признании законности множественности индивидуальных и групповых целей и интересов и в множественной интерпретации общественной пользы. Эти два направления могли иногда (как в некоторых направлениях Просвещения, в коммунистической идеологии) идти вместе.

Комбинация всех этих компонентов нового онтологического представления породила взгляд на модернити как на эпоху, заключающую в себе постоянный прогресс знания и его рациональное применение, человеческую эмансипацию, постоянное включение частей общества в свои рамки и расширения таких сил эмансипации на все человечество. Но эта же комбинация несла внутри себя семена возможности великого разочарования и травм, сопровождающих попытки реализации подобных обещаний.

Антиномии и напряжения в культурной и политической программах модернити

Цивилизация эпохи модернити, созданная впервые на Западе и затем распространившаяся по миру, с самого начала была полна внутренними антиномиями и противоречиями, что породило постоянный критический дискурс и политические дискуссии. Последние фокусировались на отношениях, напряжениях и противоречиях между ее обещаниями и их институциональным воплощением в обществах модерна. Важность этих напряжений была полностью признана в классической социологической литературе – Токвиль, Маркс, Вебер, Дюркгейм – и затем переместилась в тридцатые годы, прежде всего во Франкфуртскую школу с ее «критической» социологией, которая фокусировалась главным образом на проблемах фашизма, но которой, однако, затем пренебрегали в послевоенных исследованиях модернизации. Позднее эти напряжения опять вышли на передний план и составили постоянный компонент анализа модернити.

Основные антиномии модернити составили радикальную трансформацию тех антиномий, которые были присущи Осевым цивилизациям, а именно, которые, во-первых, сосредоточивали

внимание на осознании огромного числа возможностей трансцендентных представлений и числе путей их возможного осуществления; во-вторых, на напряжении между разумом и откровением или верой (или их эквивалентами в не-монотеистических Осевых цивилизациях), в-третьих, на проблематике желательности попыток полной институционализации этих взглядов в их первоначальной форме.

Трансформация этих антиномий в культурной программе модернити, уходящая корнями в комбинацию различных компонентов этих программ и противоречий между ними, была тесно связана с разными мета-нарративами модернити (следуя Э. Тириакьяну, христианским, гностическим и хтоническим). Она поставила под вопрос некоторые из ее собственных базисных предпосылок. Первоначально она сосредоточилась, во-первых, на оценке главных измерений человеческого опыта, особенно на месте разума в конструировании природы, человеческого общества и истории, и на сопутствующей проблеме природы оснований истинной морали и автономии, во-вторых, на напряжении между рефлексивностью и активным конструированием природы и общества, в-третьих, между тотализирующим и плюрализирующим подходами к человеческой жизни и состоянию общества, в-четвертых, между контролем и автономией, или дисциплиной и свободой.

Вероятно, самым критичным в политико-идеологических терминах было напряжение между тотализирующим и плюралистическим представлениями – между взглядом, признающим существование различных ценностей и рациональностей, и взглядом, который объединял такие разные ценности и упомянутые рациональности тоталитаристским образом. Центральный пункт этого напряжения касался самого понятия разума и его места в конструировании человеческого общества. Например, это демонстрировалось на примере различий между более плюралистическими концепциями Монтеня или Эразма, с одной стороны, и более тоталитарными представлениями о разуме, провозглашенными Декартом. Среди наиболее важных соединений разных рациональностей находилась версия суверенности разума,

которая часто отождествлялась с главным тезисом Просвещения, который относил ценностную рациональность или субстанциальную рациональность к целерациональности в их технократическом варианте или к тотализирующему моралистическому утопическому видению. В некоторых случаях, например, в коммунистической идеологии, может развиваться сочетание как технократического, так и моралистического утопического видения под одной тоталистической крышей. Сопутствующее напряжение между тоталистской, абсолютизирующей тенденцией и плюралистической тенденцией было также развито в определении других измерений человеческого опыта, особенно эмоциональных.

Именно это напряжение – между взглядом, принимающим существование разных ценностей, обязательств и рациональностей плюралистического многоцелевого видения, и взглядом, соединяющим разные ценности и рациональности тотализирующим способом, с тенденцией к их абсолютизации, – было решающим с точки зрения развития разных культурных и институциональных паттернов модернити, а поэтому и их возможных деструктивных потенций.

Вокруг этих напряжений развивался критицизм модернити. Самые радикальные критики модернити отрицали возможность обоснования любого социального порядка, морали с помощью базовых предпосылок культурной программы модернити, особенно с помощью автономии индивидов и верховенства разума. Они отрицали, что эти предпосылки можно считать покоящимися на каком-либо трансцендентном представлении, они также отрицали тесно связанные с этим утверждения, что данные предпосылки и институциональное развитие модернити можно было представить как миниатюрное изображение человеческой креативности. Эти критики утверждали, что предпосылки и институциональное развитие отрицают человеческую креативность и ведут к нивелировке человеческого опыта и эрозии морального порядка, моральной и трансцендентной основ общества, к отчуждению человека от природы и общества.

За пределами напряжений между различными предпосылками культурной и политической программы модернити получили

развитие те напряжения, которые фокусировались на противоречии между базовыми предпосылками и антиномиями культурно-политических программ модернити и институциональным развитием современных обществ, и которые действительно были наиболее глубоко проанализированы Вебером, особенно в дискурсе расколдовывания и железного занавеса. Центр этих противоречий составляли важные исключаяющие друг друга тенденции, укорененные как в онтологических предпосылках программы, так и в их институционализации, которые вызывают продолжительную дислокацию разных социальных направлений и обществ и их исключение из активного участия в этом порядке. Это противоречие усилилось напряжением между тенденцией к самоопределению и учреждению автономных политических единиц (прежде всего государств и национальных государств) и непрерывным развитием локальных и транснациональных групп, сетей и социальных пространств за пределами контроля таких кажущихся автономными само-учрежденных политических единиц. Если говорить детальнее, это прежде всего важность противоречий между креативным измерением, присущим образам модернити и распространенным Ренессансом, Реформацией, Просвещением и Великими революциями, с одной стороны, и упрощением этих образов, разочарованием в мире, которому присущи растущая рутинизация образов и растущая бюрократизация современного мира, между распространяющимся образом, посредством которого современный мир приобретает значимость, и фрагментацией этого значения, порожденной растущим автономным развитием разных институциональных (экономических, политических, культурных) компонентов.

Все эти напряжения существовали с самого начала распространения культурной программы модернити. Их постоянная борьба становилась неотъемлемым компонентом развития этой программы в современной истории. Повсеместность этой борьбы, которая наиболее полно отразила потерю «маркеров определенности» и вечные поиски их нового установления, стала центром культурно-политической программы модернити. Непрерывность этих напряжений и противоречий и продолжающийся

дискурс вокруг них определили центр непрерывно изменяющихся культурных и идеологических паттернов модернити, их множественность.

Пересмотренные структурные и культурные измерения институциональных порядков модернити

Кристаллизация культурной программы модернити, определенной модели интерпретации мира и попытки институционализировать их в новых паттернах исторически были тесно связаны с определенными структурно-институциональными измерениями современных обществ – прежде всего с новой компоновкой ранее относительно связанных социальных структур и новых пространств, в которых новые институциональные конструкции могли быть переформированы. В то время как было разработано очень тесное выборочное родственное сходство между кристаллизацией такой открытости и сопутствующим развитием новых социально-институциональных конструкций, относящихся к культурной программе модернити, хотя и противоположным некоторым представлениям ряда теорий модернизации (либеральной и марксистской), не имеется обязательной связи между какой-либо специфической современной институциональной формой – будь то разные типы капиталистической или плановой экономики; между специфическими типами политического режима – плюралистического, авторитарного или тоталитарного, и разными компонентами современной культурной программы.

Процессы структурной дифференциации образуют базовый компонент современного развития. Конкретный институциональный контекст кристаллизации и развития модернити – начальной фазы развития капитализма, сначала торгового, затем индустриального капитализма, и их непрерывной экспансии, вовлекавшей постоянно возрастающую структурную дифференциацию и развитие сопутствующих потенциалов и растущей социальной мобилизации все же не дает полной картины, и поэтому важно делать различия между разными аспектами структурных компонентов или измерений модернити.

Во-первых, есть огромные различия в масштабе и распространении дифференциации между разными современными

и модернизирующимися обществами. Во-вторых, степень, в которой такие институциональные сферы были определены и структурированы как автономные, регулируемые своими внутренними правилами или ценностями, сильно варьируется в разных обществах и внутри одного и того же общества, в разные периоды их исторического развития. В-третьих, формы, в которых такие разные структуры были организованы, в которых были упорядочены выявленные конфликты, сопутствующие таким процессам, чрезвычайно различаются в разных современных обществах, и именно эти формы дают главные характеристики специфических комплексов разных современных обществ.

Кроме того, нет обязательной связи между степенью или типом структурной дифференциации, развитием автономных институциональных сфер и специфических типов современных институциональных образований. Такие различные образования могут развиваться в обществах с относительно сходным уровнем дифференциации и, напротив, относительно сходные структуры – например, плюралистические и наоборот авторитарные режимы – могут развиваться в обществах с разными уровнями дифференциации развития автономных институциональных сфер, даже если между ними будут развиты важные различия в конкретных институциональных деталях. Каждое измерение или аспект модерни (современных обществ) – структурный, институциональный, культурный – аналитически отличны, и они соединяются разными способами в разных исторических констелляциях в разных исторических контекстах. В одном историческом случае – Токугава в Японии – были развиты многие институциональные и особенно экономические образования, которые могли бы привести к современной рыночной капиталистической экономике без сопутствующего развития культурной программы, соответствующей модерни, и только под влиянием Запада такая программа была разработана.

Посредством взаимопроникновения таких отличных институциональных констелляций с разными измерениями или компонентами новой формы интерпретации мира, культурной программы модерни, и присущей ей автономии, получили динамическое развитие разные современные общества. <...>

Напряжения, заложенные в культурно-политические программы модернити, тесно переплетались с постоянной экспансией модернити из западной в центральную и восточную Европу, в обе Америки и затем в Азию и Африку, порождая центральную тему в дискурсе модернити, который был разработан с кристаллизацией и экспансией модернити с самого начала – акцент на опасности, присущей экспансии современной культурно-политической программы в отношении к традициям других обществ; и на страхе, что распространение многих имиджей и черт, присущих программе модернити, произойдет в ущерб или за счет более плюралистических, аутентичных культурных традиций.

Особую важность в этом контексте получило относительно место незападных обществ в различных (экономических, политических, идеологических) международных системах, которые сильно отличались от западных систем. Не только тот факт, что западные общества стали создателями новой цивилизации, и что экспансия их систем, особенно в форме колонизации и империалистических экспансий, принесла западным институтам первенство в данных системах; не меньшую важность имеет тот факт, что эти международные системы породили динамику, которая дала жизнь как политико-идеологическим вызовам существующим гегемониям, так и продолжающимся сдвигам в местоположении гегемонии внутри Европы, из Европы в США, а затем также в Японию и Восточную Азию. Данная экспансия породила постоянное противоборство между культурными и институциональными предпосылками западного варианта модернити с вариантами, развитыми в других цивилизациях: осевых и неосевых, среди которых наиболее важна, конечно, Япония. Многие фундаментальные предпосылки и символы западного варианта модернити, как и его институты – представительные, законодательные, исполнительные – были по-видимому приняты другими цивилизациями. Однако в то же время в них происходили далеко идущие трансформации и поэтому возникали новые вызовы и проблемы.

Перевод с английского Л. Г. Титаренко

ДЖЕЙМИСОН Фредрик (JAMESON Fredric)

(р. 1934)

Фредрик Джеймисон (р. 14.04.1934, Кливленд, Огайо, США) – американский социолог и филолог, исследователь постмодернизма.

Учился в Хаверфордском колледже в США, где получил степень бакалавра по литературе. Продолжил образование в Европе (Франция, Германия). Знаток творчества французского философа Ж.-П. Сартра. В 1956 г. получил степень магистра, а в 1959 г. – доктора литературы в Йельском университете. С 1959 г. – на академической работе: Гарвардский университет (1959–1967), Калифорнийский университет в Сан-Диего (1967–1976), Йельский университет (1976–1983), университет Санта-Круз (1983–1986). С 1986 г. работает в престижном университете Дюка в Северной Каролине, преподает литературу.

Джеймисон получал различные премии от Американской академии наук и искусств, Ротари клуба, неправительственных фондов. Стажировался в Международном исследовательском центре имени Вудро Вильсона в Вашингтоне. Входит в редколлегию многих американских журналов, посвященных междисциплинарным проблемам современности.

Джеймисон – автор полутора десятка книг и множества статей по проблемам культуры, литературы, постмодернизма. Из его книг по искусству и культуре следует упомянуть работы, посвященные Сартру (1961), диалектическим теориям литературы (1971), критике французского структурализма и русского формализма (1972), творчеству Б. Брехта (1998).

Основные работы: «Политическая неопределенность: нарратив как социально символическое действие» (1988), «Постмодернизм и теории культуры» (1989), «Принуждения постмодерна» (1991), «Постмодернизм, или культурная логика позднего капитализма» (1992).

В представленной статье Джеймисона раскрывается взаимосвязь постмодернизма и общества потребления. Автор показывает, во-первых, что большинство произведений постмодернизма возникает как специфическая реакция по отношению к утвердившимся формам высокого модерна, по отношению к тому или иному господствующему типу высокого модерна. Во-вторых, он раскрывает стирание некоторых ключевых связей или различий между высокой культурой и так называемой массовой или поп-культурой. По его мнению, постмодер-

низм – это периодизирующий концепт, чья функция – сопоставлять появление в нашей культуре новых формальных особенностей с появлением нового типа социальной жизни и нового экономического порядка, того, что часто называют по-разному: модернизацией, постиндустриальным, или потребительским, обществом, обществом масс-медий или спектакля, транснациональным капитализмом.

ДЖЕЙМИСОН ФРЕДРИК

ПОСТМОДЕРНИЗМ И ОБЩЕСТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ¹

Сегодня концепт постмодернизма еще не снискал широкого признания или хотя бы понимания. Подобное сопротивление, возможно, связано с малой известностью произведений, которые им охватываются. Их можно обнаружить во всех видах искусства: поэзия Джона Эшбери, например, но в гораздо большей степени простая устная поэзия, которая в 1960-х годах возглавила мятеж против сложной, иронической, академичной поэзии модерна; поп-архитектура, восславленная Робертом Вентури (в его манифесте «Уроки Лас-Вегаса») как способ противодействия модернистской архитектуре и особенно монументализму так называемого «интернационального стиля»; Энди Уорхол и поп-арт, но также и более поздний фотореализм; в музыке – Джон Кейдж, но также и синтез классического и «популярного» стилей у композиторов вроде Филиппа Гласса и Терри Райли, а кроме того – панк и рок новой волны; в кино – все, что пришло вместе с Годаром, современный авангардный фильм и видео, но также и совсем новая стилистика коммерческих, или жанровых, фильмов, которая имеет свои эквиваленты и в области современного романа, – все они могут быть причислены к множеству, которое мы называем постмодерном.

Кажется, этот список проясняет одновременно две вещи. Во-первых, большинство упомянутых выше видов постмодернизма возникают как специфическая реакция по отношению к утвердившимся формам высокого модерна, тому или иному

¹ Джеймисон Ф. Постмодерн и общество потребления // Логос. – 2000. – № 4. – С. 63–77 (в сокр.).

господствующему типу высокого модернизма, который завоевал университеты, музеи, сеть художественных галерей и всевозможные фонды. Эти формально революционные и воинственные стили – абстрактный экспрессионизм, великая модернистская поэзия, «интернациональный стиль» (Ле Корбюзье, Фрэнк Ллойд Райт, Мисес), Стравинский, Джойс, Пруст и Томас Манн, – воспринимавшиеся более ранними поколениями как шокирующие и скандальные, для поколения 1960-х годов становятся воплощением истэблишмента и, тем самым, главным врагом – мертвящим, удушающим, навязывающим свой канон, – застывшими монументами, которые нужно разрушить для того, чтобы начать создавать нечто новое. Это означает, что должно было появиться столько же различных форм постмодерна, сколько и соответствующих форм высокого модерна, так как первые, по крайней мере на начальной стадии, представляли собой локальные и специфичные противодействия этим моделям. Очевидно, что последнее нисколько не облегчает задачу описания постмодернизма как целостного феномена, поскольку единство этого нового импульса – если таковое существует – дано не в нем самом, но именно в тех типах модернизма, место которых он стремится занять.

Другая характерная черта этой совокупности *постмодернизмов* – стирание некоторых ключевых связей или различий; наиболее примечательна здесь эрозия различия между высокой культурой и так называемой массовой или поп-культурой. Возможно, последнее – самое угнетающее в данной ситуации с академической точки зрения, которой в силу традиции надлежало удерживать некую область высокой или элитарной культуры во враждебном ей окружении филистерства, безвкусицы и кича, телесериалов и журналов вроде «Ридерз дайджест», а также передать своим послушникам сложные и требующие длительно-го усвоения навыки чтения, слушания и видения. Но многие из новейших типов постмодернизма были просто заморожены всем этим ландшафтом рекламных щитов и мотелей, зоной Лас Вегаса, ночными шоу, второсортными голливудскими фильмами, так называемой паралитературой, всеми этими книгами в мягких

обложках, которые берут для чтения в дороге, – готика, любовные истории, популярные биографии, детективы, научная фантастика. Они больше не «цитировали» подобные «тексты», как это делали Джойс или Малер; они инкорпорировали их настолько, что провести границу между высоким искусством и коммерческими формами стало все труднее и труднее.

Несколько иное указание на это стирание прежних жанровых и дискурсивных категорий может быть обнаружено в том, что иногда называют современной теорией. Одним поколением раньше еще существовал строгий терминологический дискурс профессиональной философии – великие системы Сартра и феноменологов, произведения Витгенштейна, аналитической философии, или философии обыденного языка, вместе с отчетливым разделением различных дискурсов других академических дисциплин, таких как политология, социология или литературная критика. Сегодня мы все в большей мере имеем некий род письма, называемого просто «теорией», которая представляет собой все эти дисциплины сразу и ни одну из них в отдельности. Этот новый тип дискурса, обычно связываемого с Францией и так называемым постструктурализмом становится очень распространенным и означает конец философии как таковой. Можно ли, например, назвать деятельность Фуко философией, историей, социальной теорией или политической наукой? Этот вопрос является неразрешимым; и я утверждаю, что подобный «теоретический дискурс» также можно причислить к манифестациям постмодерна.

Теперь я должен сказать несколько слов об употреблении этого концепта: это не просто одно из слов для описания некоего частного стиля. Это также... периодизирующий концепт, чья функция – сопоставлять появление в нашей культуре новых формальных особенностей с появлением нового типа социальной жизни и нового экономического порядка, того, что часто называют по-разному: модернизацией, постиндустриальным, или потребительским, обществом, обществом масс-медиа или спектакля, транснациональным капитализмом. Этот новый момент капитализма может быть датирован начиная с послевоенного

бума в конце 40-х – начале 50-х в США, или, как во Франции, начиная с провозглашения Пятой Республики в 1958-м. 60-е были во многом ключевым, переходным периодом, в течение которого новый международный порядок (неоколониализм, молодежная революция, компьютеризация, распространение информатики) устанавливается и одновременно сотрясается и рассеивается от внутренних противоречий и внешнего сопротивления. Я хотел бы наметить здесь несколько способов, посредством которых новый постмодернизм выражает сокровенную истину недавно возникшего социального порядка позднего капитализма, однако я хотел бы ограничить это описание лишь двумя его важными особенностями, которые обозначу как «пастиш» и «шизофрения»: это даст нам возможность почувствовать специфичность постмодернистского опыта пространства и времени соответственно.

Одна из наиболее значимых характеристик или практик постмодерна сегодня – это пастиш. Я хотел бы сначала эксплицировать этот термин, который обычно смешивают или ассимилируют с таким явлением, как пародия. И пастиш, и пародия включают в себя имитацию, или мимикрию под другие стили, в особенности под различные типы маньеризма и стилистические излишества последних. Очевидно, современная литература в целом дает богатый материал для пародии, начиная с великих модернистских писателей – все они изобретали или продуцировали в основном уникальные стили: вспомните длинные фолкнеровские предложения или естественную образность, характерную для Лоуренса; вспомните Уоллеса Стивенса и его особую манеру пользоваться абстракциями; подумайте о маньеризме философов, например, Хайдеггера или Сартра; не забудьте о музыкальных стилях Малера или Прокофьева. Все эти стили, как бы они ни были различны, сопоставимы в одном: каждый из них вполне опознаваем; познакомившись с ним однажды, вы вряд ли спутаете его с каким-то другим.

Ныне пародия обыгрывает эту уникальность подобных стилей, схватывая их идиосинкразии и эксцентричности, чтобы произвести имитацию, которая осмеивает свой оригинал. Я не хочу

сказать, что сатирический импульс осознанно возникает во всех формах пародии. В любом случае, хороший пародист должен иметь некую скрытую симпатию по отношению к оригиналу, так же как великий мим должен обладать способностью ставить себя на место имитируемой osoby. Однако общий эффект пародии – не важно, злой или доброжелательной, – состоит в том, чтобы высмеять особенности этих стилистических маньеризмов, а также их эксцессивность и эксцентричность по сравнению с тем, как люди обычно говорят или пишут. Так что где-то по ту сторону любой пародии остается общее чувство, что существует некая языковая норма, в силу контраста с которой можно «передразнивать» великих модернистов.

Но что бы случилось, если бы мы больше не верили в существование нормального языка, правильной речи, лингвистической нормы (скажем, род ясности и коммуникативной мощи, воспетой Оруэллом в его знаменитом эссе). Можно размышлять об этом следующим образом: возможно, безмерная фрагментация и приватность модернистской литературы – взрывное размножение опознаваемых частных стилей и маньеризмов – являются предвосхищениями более глубоких, более общих тенденций социальной жизни в целом. Предположим, что современное искусство и модернизм, далекие от того, чтобы быть некой специализированной эстетической любознательностью, действительно антиципируют социальные изменения по указанным силовым линиям; предположим, что за десятилетия, прошедшие с появления великих модернистских стилей, сама социальность стала фрагментироваться таким образом, что каждая группа начинает говорить на своем собственном идентифицируемом языке, каждая профессиональная сфера развила свой приватный код или диалект и, наконец, каждый отдельный человек становится неким языковым островом, отделенным от всех остальных. Но в этом случае сама возможность любой лингвистической нормы, от имени которой можно было бы высмеивать приватные языки и стили, каждый из которых отмечен своей собственной идиосинкразией, – такая возможность просто исчезла бы, и мы не имели бы ничего, кроме стилистического многообразия и гетерогенности.

Именно в этот момент пародия становится невозможной и появляется пастиш. Пастиш, как и пародия, – это имитация единичного или уникального стиля, ношение стилистической маски, речь на мертвом языке. Но это нейтральная мимикрия, без скрытого мотива пародии, без сатирического импульса, без смеха, без этого еще теплящегося где-то в глубине чувства, что существует нечто нормальное, по сравнению с которым объект подражания выглядит весьма комично. Пастиш – это белая пародия, пародия, которая потеряла свое чувство юмора: пастиш относится к пародии так же, как современная практика некоего рода белой иронии относится к тому, что Уэйн Бут называет устойчивыми и комическими типами иронии, скажем, XVIII в.

Однако теперь необходимо ввести другую деталь, которая поможет нам объяснить, почему классический модернизм стал прошлым, и почему постмодернизм должен теперь занять его место. Этот новый элемент есть то, что обычно называют «смертью субъекта» или, чтобы выразить это на более конвенциональном языке, – конец индивидуализма как такового. Великим модернистам приписывают изобретение персонального, частного стиля, такого же безошибочно опознаваемого, как отпечатки пальцев, такого же незаместимого, как ваше собственное тело. Это означает, что модернистская эстетика некоторым изначальным образом связана с концепцией уникальной самости и приватной идентичности, уникальной персоны и индивидуальности, которые, якобы, должны генерировать свое собственное уникальное видение мира и выковывать свой собственный уникальный, опознаваемый стиль.

Сегодня, сразу из нескольких различных перспектив, теории общества, психоаналитики, даже лингвисты, не говоря о тех из нас, кто работает в области культуры, культурных и формальных инноваций, все опробуют идею, что подобный род индивидуализма и персональной идентичности ушел в прошлое; что старый индивид или индивидуальный субъект «мертв»; и что можно даже описать концепт уникального индивида и теоретический базис индивидуализма как идеологические явления. В самом деле, здесь возможны две позиции, одна из которых

более радикальна, чем другая. Первая выражается в готовности признать: да, когда-то, в классическую эпоху предпринимательского капитализма, в момент расцвета нуклеарной семьи и появления буржуазии как господствующего класса, была такая вещь, как индивидуализм, как индивидуальный субъект. Но сегодня, в эпоху корпоративного капитализма, в эпоху организаций, бюрократий в бизнесе и государственной сфере, демографического взрыва – сегодня старый буржуазный субъект больше не существует.

Вторую, более радикальную позицию, с полным правом можно назвать постструктуралистской. Она добавляет к первой следующее: не просто буржуазный индивидуалистический субъект канул в прошлое, – он тоже был мифом; он никогда реально и не существовал как некая изначальная инстанция; никогда не было автономного субъекта такого рода. Скорее, этот конструкт является некой философской и культурной мистификацией, направленной на то, чтобы убедить людей, что они якобы имеют индивидуальную субъектность и обладают уникальной персональной идентичностью.

Здесь для нас не так уж важно решать, какая из этих позиций корректна (или, скорее, какая из них более интересна и продуктивна). То, что мы собираемся удерживать из всех этих тезисов, представляет собой скорее эстетическую дилемму: ибо если опыт и идеология уникальной самости, те самые опыт и идеология, которые сформировали стилистическую практику классического модернизма, исчерпаны, тогда уже не совсем ясно, что должны практиковать художники и писатели настоящего времени. Очевидно одно – старые модели (Пикассо, Пруст, Элиот) больше не работают или даже вредны, контр-продуктивны, поскольку никто больше не обладает уникальным внутренним миром и стилем, чтобы его «выражать». И, быть может, это не просто вопрос «психологии»: мы должны также учитывать колоссальное наследие, оставшееся после семидесяти или восьмидесяти лет господства классического модернизма. В этом другом смысле писатели и художники наших дней более не способны изобретать новые стили, поскольку эти последние уже

были изобретены; возможно только ограниченное число комбинаций; наиболее уникальные из них уже были продуманы. Так бремя целой эстетической традиции модернизма – ныне мертвой – «давит своей тяжестью на разум живущих подобно кошмару», как некогда выразился Маркс в другом контексте.

Отсюда вновь – пастиш: все, что нам осталось в мире, где стилистические инновации более невозможны, – так это имитировать мертвые стили, говорить через маску голосом этих стилей из воображаемого музея. Это означает, что современное или постмодернистское искусство устремляется к искусству как таковому по новому пути. Более того, это означает, что одним из его главных мессиджей будет падение искусства и эстетики, падение нового, заточение в узах прошлого.

Так как все это может показаться слишком абстрактным, я хотел бы привести несколько примеров, один из которых настолько распространен, что его редко связывают с обсуждаемым здесь изменением форм «высокого» искусства. Эта частная практика пастиша относится не к высокой культуре, а к массовой, и она хорошо известна в качестве «ностальгического кино»... Следует рассматривать эту категорию в более широком плане – в узком же, без сомнения, речь идет только о фильмах, посвященных прошлому и его специфическим «поколенческим» моментам. Одним из первых фильмов этого нового «жанра» был фильм Лукаса «Американские граффити», который в 1973 году оказался способным целиком воссоздать атмосферу и стилистические особенности 50-х годов – Соединенные Штаты эйзенхауэровской эры. Великий фильм Поланского «Китайский квартал» прodelывает нечто подобное по отношению к 30-м, как и «Конформист» Бертолуччи – по отношению к европейскому и итальянскому контексту того же периода, к эре итальянского фашизма, и т. д.

У меня есть основания думать, что нам нужны новые категории для описания подобных фильмов. Позвольте сначала указать на некоторые аномалии: скажем, для меня «Звездные войны» также являются ностальгическим кино. Что это значит? Я полагаю, это не исторический фильм о нашем собственном

межгалактическом прошлом. Давайте взглянем на это несколько иначе: одним из самых значительных культурных опытов поколений, взрослых с 30-х до 50-х годов, были сериалы по субботам, вроде «Бака Роджерса» – настоящие американские герои, героини, попавшие в беду, опасные чужаки, лучи смерти или зловещие контейнеры, а также непереносимая сцена с цепляющимся за выступ скалы персонажем, чудесное спасение которого ожидало вас в ближайший субботний вечер. «Звездные войны» заново изобретают этот опыт в форме пастиша, т. е. без малейшего следа пародии на такие сериалы, поскольку их давно уже нет. «Звездные войны», далекие от того, чтобы быть бездумной сатирой на эти ныне мертвые формы, отвечают глубиной (возможно, следует сказать «подавленной») тоске испытать их вновь: это сложный объект, построенный так, что на некотором внешнем уровне дети и подростки воспринимают все эти приключения непосредственно, тогда как взрослая аудитория реализует более глубокое и собственно ностальгическое желание вернуться в прежнюю эпоху и снова пожить среди ее причудливых реликтов. Этот фильм метонимически связан с историей и ностальгией – в отличие от «Американских граффити», он не воссоздает картину прошлого в его живой тотальности, скорее, воссоздавая чувство и форму характерных художественных объектов прошлого (сериалов), он стремится пробудить ощущение прошлого, ассоциируемое с этими объектами. «Искатели потерянного ковчега», если привести еще один пример, занимают здесь промежуточную позицию: на некотором уровне фильм повествует о 30-х и 40-х, но в действительности он также сообщает образ этого периода через его собственные характерные авантюрные истории (которые не являются более нашими историями).

Мне кажется в высшей степени симптоматичным, что сам стиль ностальгического кино можно обнаружить везде; сегодня он пропитывает и колонизирует даже те мотивы, которые принадлежат современному контексту, как если бы в силу каких-то причин мы не могли сосредоточиться на нашем собственном настоящем, как если бы мы утратили способность создавать

эстетические репрезентации нашего собственного актуального опыта. Но коль скоро это так, тогда речь должна идти о суровом приговоре потребительскому капитализму как таковому – или, по меньшей мере, о тревожном и патологическом симптоме общества, которое оказалось неспособным обращаться со временем и историей.

Вернемся к вопросу, почему ностальгическое кино и пастиш можно рассматривать как отдельные формы по отношению к прежним историческим романам или фильмам... Культурная продукция вновь погрузилась в наш дух из своих внешних объективаций: монадический субъект больше не может прямо взирать на реальный мир, чтобы найти в нем искомый референт, но должен, как в случае платоновской пещеры, следить за ментальными проекциями этого мира на стенах, в которые он заключен. Если здесь и возможен какой-либо реализм, то это «реализм», который возникает из потрясения при осознании своего «заточения» и от понимания того, что по тем или иным частным основаниям мы кажемся обреченными разыскивать историческое прошлое в среде поп-образов и стереотипов этого прошлого, которое само по себе всегда остается недостижимым.

Сейчас я хотел бы вернуться к тому, что рассматривается мною в качестве второй базовой характеристики постмодернизма, – его особый способ обращения со временем, который иные могли бы назвать «текстуальностью» или «écriture» (письмом), но который я со своей стороны считаю продуктивным обсуждать в терминах современных теорий шизофрении. Хочу предупредить все возможные недоразумения по поводу моего употребления этого слова: оно не выполняет диагностической функции, его значение дескриптивно. Речь не идет о некотором диагнозе нашему обществу, его культуре, его персонологическим особенностям, а также его искусству: я думаю, что в адрес нашей социальной системы могут прозвучать гораздо более серьезные обвинения, чем те, что так легко сформулировать с подачи поп-психологии. Я даже не уверен, что концепция шизофрении, на которую я собираюсь здесь опираться, – воззрение, в значительной мере обязанное своим возникновением француз-

скому психоаналитику Жаку Лакану, – является точной с позиции клиники; но для моих целей это несколько не важно.

Оригинальность мысли Лакана в этой области позволяет рассматривать шизофрению как род языкового беспорядка и связывать шизофренический опыт с определенным воззрением на формирование языковой компетенции – процесс, который представляется в качестве фундаментального пробела фрейдовской концепции формирования зрелой *psyche*. Он достигает этого, предъявляя нам лингвистическую версию Эдипова комплекса, в соответствии с которой Эдипово соперничество описывается не в терминологии биологического индивида-соперника в борьбе за материнское внимание, но скорее в терминологии, вводимой вместе с Именем Отца, – отцовский авторитет рассматривается теперь как языковая функция. То, что мы здесь должны удержать для последующего анализа, так это идея, что психоз, и в частности шизофрения, возникают из неудачи ребенка войти в сферу языка и речи.

Что касается языка, лакановскую модель сегодня можно причислить к ортодоксально-структуралистским. Эти модели отправляются от концепции лингвистического знака, имеющего две (или три) составляющих. Знак, слово, текст здесь представляются как отношение между означающим – материальным объектом, звуком артикулированной речи, фактурой текста – и означаемым, значением этого материального слова или материального текста. Третий компонент обычно называют «референтом» – это «реальный» объект в «реальном» мире, к которому отсылает знак (реальная кошка противопоставляется понятию кошки или звуку «кошка»). Но для структурализма в целом характерна тенденция рассматривать эту референцию как своего рода миф, так что никто более не говорит о «реальном» в такой соотнесенной с планом внешнего и объективной манере. Стало быть, остается знак сам по себе и две его составляющих. В то же время, другое устремление структурализма состояло в попытке подорвать старую концепцию языка как именования (к примеру, Бог даровал Адаму язык, чтобы тот дал имена животным и растениям эдемского сада), концепцию, предполагающую

непосредственное отношение между означающим и означаемым. Если придерживаться структуралистской точки зрения, то предложения не работают подобным образом: мы не переводим отдельные означающие или слова, те, что составляют предложение, в план их означающих на основе непосредственного соположения. Скорее, мы читаем предложение целиком, и из взаимоотношений его слов или означающих выводится более глобальное значение, что описывается как «эффект смысла». Означаемое – быть может, даже иллюзия или мираж означаемого и значения вообще – представляет собой эффект, производимый взаимоотношениями материальных означающих.

Все это позволяет нам интерпретировать шизофрению как разрыв отношений между означающими. По Лакану, опыт темпоральности, человеческого времени, прошлого, настоящего, памяти, сохранение персональной идентичности в течение месяцев и лет – это экзистенциальное или опытное сознание времени представляет собой некоторый эффект языка. Именно потому, что в языке есть форма прошлого и форма будущего, а предложение разворачивается во времени, мы можем обладать опытом, который кажется нам конкретным и живым опытом времени. Но поскольку шизофреник не знает этого способа языковой артикуляции, у него также нет нашего опыта временной непрерывности, и он обречен переживать повторяющееся настоящее, с которым разнообразные моменты его прошлого не обнаруживают ни малейшей связи, и на горизонте которого не существует представимого будущего. Другими словами, шизофренический опыт – это опыт изолированных, разъединенных, дискретных материальных означающих, которые не удастся связать в последовательный ряд. Стало быть, шизофреник не ведает о персональной идентичности в нашем смысле, поскольку наше сознание идентичности зависит от нашего переживания постоянства «Я» («I») и «собственного я» («me») во времени.

С другой стороны очевидно, что шизофреник будет обладать гораздо более интенсивным, нежели наш, опытом любого настоящего в этом мире, ибо наше собственное настоящее всегда является частью более широкого набора проектов, которые застав-

ляют нас относиться к перцептивному полю избирательно. Иными словами, мы не воспринимаем внешний мир просто как глобальное недифференцированное видение: мы всегда вовлечены в его использование, мы проторяем в нем некие тропы, обращая внимание на тот или иной предмет или персону внутри него. Шизофреник, однако, не есть лишь «никто» в том смысле, что у него нет никакой персональной идентичности; помимо этого, он бездеятелен, ведь иметь проект – значит быть способным подчинять себя обязательству, непрерывному во времени. Значит, шизофреник предан некоторому недифференцированному видению мира в настоящем – и это не радостный опыт. <...>

Это длинное отступление по поводу шизофрении позволило нам добавить еще одну тематическую единицу, к которой мы не могли обратиться в предшествующем анализе – а именно, само время. Поэтому теперь мы должны перевести наше обсуждение постмодернизма от визуальных искусств к темпоральным – к музыке, поэзии и некоторым типам нарративных текстов, таких как тексты Беккета. Любой, кто слушал музыку Джона Кейджа, мог приобрести опыт, подобный тому, что мы сейчас описали: фрустрация и безнадежность – прослушивание единичного аккорда или ноты, за которыми следует тишина, настолько продолжительная, что память не может удержать предыдущий звук, молчание, обреченное на забвение новым странным сонорным комплексом, который и сам через мгновение исчезает. <...>

В заключение я попытаюсь очень бегло охарактеризовать взаимоотношения культурной продукции [постмодернизма] и общественной жизни наших дней и нашей географии. Наступил подходящий момент, чтобы ответить на принципиальное возражение, выдвигаемое против концепта постмодернизма, который я здесь обрисовал, а именно, что все выделенные нами особенности в целом не новы, что они в большинстве случаев подходят для описания собственно модернизма или того, что я называю высоким модерном. Не интересовался ли, в самом деле, Томас Манн идеей пастиша, и не представляют ли собой некоторые главы «Улисса» ее очевидное воплощение? Что же во всем этом

нового? По-настоящему ли мы нуждаемся в концепте постмодернизма?

Я ограничусь предположением, что радикальный разрыв между периодами в целом не включает полного изменения содержания, но скорее подразумевает реструктуриацию некоторого числа уже данных элементов: те особенности, которые в более раннем периоде были подчиненными, теперь становятся доминантными, и, наоборот, те характеристики, которые были на первом плане, теперь становятся второстепенными. В этом смысле все, что мы здесь описали, может быть обнаружено в более ранних эпохах и, особенно, в самом модернизме. Я придерживаюсь точки зрения, что до настоящего дня все эти вещи были вторичными или миноритарными качествами модернистского искусства, скорее маргинальными, чем центральными, и что мы столкнулись с чем-то новым, когда они стали доминантными определениями культурной продукции.

Однако я могу обсудить этот разрыв в более конкретном плане, обратившись к взаимоотношениям культурной продукции и общественной жизни в целом. Старый, или классический, модернизм был искусством в оппозиции; он возник в формирующемся обществе бизнеса как скандал, как нечто оскорбительное в рецепции публики из среднего класса – отвратительный, дисгармоничный, богемный, шокирующий своей сексуальностью. Он был предметом насмешки (если при этом не призывалась на помощь полиция, чтобы конфисковать книги или закрыть выставку) – настоящее оскорбление для здравого смысла и хорошего вкуса, или, как называли это Фрейд и Маркузе, провокация и вызов принципу реальности и продуктивности, господствовавшему в среднем классе начала XX столетия. Модернизм в целом не очень ладил с прежними моральными табу, со всей этой викторианской мебелью с пышной обивкой, с конвенциями вежливости, принятыми в «хорошем обществе». Можно сказать, что каковым бы ни было эксплицитное политическое содержание великих произведений зрелого модернизма, эти последние всегда были некоторым скрытым образом опасны, наделены взрывной энергией, угрожающей установленному общественному порядку.

Если же теперь вернуться к ситуации наших дней, мы сразу можем оценить всю грандиозность культурных сдвигов. Джойс и Пикассо никому больше не покажутся зловещими и отталкивающими; напротив, ныне они – классики, для нас они выглядят весьма реалистичными авторами. Как в форме, так и в содержании современного искусства, очень мало того, что современное общество могло бы найти нестерпимым и скандальным. Наиболее агрессивные формы этого искусства, скажем, панк-рок или те, что содержат в себе откровенную сексуальную провокативность, – все они, в отличие от продукции высокого модерна, подчинены социальности и имеют несомненный коммерческий успех. Это и означает, что если даже современное искусство и старый модернизм характеризуются одними и теми же формальными особенностями, первое фундаментально изменило свою позицию в культуре. С одной стороны, товарное производство, наша одежда, мебель, здания и другие артефакты очень тесно связаны со стилистическими изменениями, исходящими из сферы художественной экспериментации; наша реклама, например, вскормлена постмодернизмом во всех видах искусства и немыслима без него. С другой – классики высокого модерна являются сейчас частью канона, их преподают в школах и университетах, что лишает их прежней подрывной силы. В самом деле, один из способов установления разрыва между эпохами может быть обнаружен в этом контексте: в некоторый момент (видимо, в начале 1960-х) в образовательных институтах утвердился авторитет высокого модернизма с преобладающей в нем эстетикой, а поэтому все новое поколение поэтов, художников и музыкантов стало воспринимать его как излишне академичное явление.

Но можно прийти к этому разрыву, двигаясь из другого места, – описав его в терминах смены эпох общественной жизни. И марксисты, и не-марксисты разделяли общее ощущение того, что в некоторый момент после Второй мировой войны стал формироваться новый тип общества (по-разному обозначаемый как постиндустриальное общество, транснациональный капитализм, общество потребления, медийное общество). Новые типы потребления; планируемая смена одних поколений вещей другими;

постоянно убыстряющийся темп изменений стилистики моды и энвайронмента; проникновение рекламы, телевидения и медиа в самые глубокие слои социальности; нейтрализация прежнего напряжения в отношениях между городом и селом, центром и провинцией через появление пригорода и процесс универсальной стандартизации; разрастание огромной сети хайвеев и приход автомобильной культуры, – все это лишь отдельные черты, которые маркируют радикальный разрыв с прежним довоенным обществом, в котором высокий модернизм был еще некой андерграундной силой.

Возникновение постмодерна тесно связано с появлением этого нового момента позднего, консьюмеристского или транснационального капитализма. Я уверен также, что его формальные особенности различными способами выражают глубинную логику этой частной социальной системы. Две характеристики постмодернизма, на которых я здесь остановился (трансформация реальности в образы и фрагментация времени в серию повторяющихся настоящих), оказываются необычайно созвучными этому процессу. Я хотел бы облечь свое заключение в форму вопроса о критической ценности новейшего искусства. Все согласны, что старый модернизм действовал против наличной социальности способами, которые описываются по-разному как критические, негативные, оспаривающие, субверсивные, оппозиционные и т. д. Можно ли утверждать нечто подобное по отношению к постмодернизму и его общественной значимости? Мы убедились в том, что существует модус, в соответствии с которым постмодернизм дублирует или воспроизводит – усиливает – логику потребительского капитализма. Более важный вопрос состоит в том, существует ли модус, в котором он сопротивляется этой логике. Но этот вопрос мы оставим открытым.

ARNASON Йохан Палл
(ARNASON Johann Pall)

(р. 1940)

Йоханн Палл Арнасон (р. 01.06.1940, Далвик, Исландия) – историк социологии и социальный философ, сторонник цивилизационного подхода и концепции множественных модернити. Деятельность Арнасона трудно связать с какой-либо одной страной. Детство и юность он провел в родной Исландии. Заинтересовался марксизмом, в связи с чем в 1960-е годы поехал изучать философию и историю в Карлов университет в Прагу. Разочаровавшись в марксизме после событий 1968 г., Арнасон уехал в Германию, где в 1970 г. защитил диссертацию под руководством Ю. Хабермаса на тему «Антропологический аспект критической теории» во Франкфурте-на-Майне (позднее опубликована под названием «От Маркузе до Маркса – пролегомены к диалектической антропологии»). В Германии началась и научная карьера Арнасона. В 1975 г., после хабилизации в университете Билефельда, он уехал в Австралию, где около 30 лет проработал в университете «Ла Троб» в Мельбурне. С 1987 по 2003 год был соредактором международного журнала «Thesis Eleven» (США), сыгравшего важную роль в распространении европейской критической теории в англоязычном мире. В разные годы приглашался на стажировки в Германию, Францию, Швецию, Италию. В последние годы читает лекции в Карловом университете.

Первые работы написаны Арнасоном в рамках критической теории, переосмысление которой привело его сначала к осознанию важности антропологии, затем – к повороту от социальной философии к макросоциологической теории. Последнее заставило его отойти от взглядов Хабермаса на развитие человека и вернуться к веберовской концепции культуры и интересу к цивилизационной теории. Арнасон стал одним из лидеров научной школы «множественных модернити», получившей широкое признание благодаря работам Айзенштадта. Данная школа старается преодолеть как классические модернизационные парадигмы периода «холодной войны», так и концепции, ставшие популярными после распада системы социализма («конец истории» Фукуямы, «столкновение цивилизаций» Хантингтона).

В работе «Будущее, которое не исполнилось» (1993) Арнасон, опираясь на работы представителей французской социальной теории (Касториадис, Лефорт), проанализировал разрушение советского коммунизма

как альтернативного проекта модернити, имевшего имперские устремления. Наряду с советской версией, он рассмотрел другие версии коммунистического проекта модернити (китайский, центральноевропейский), позднее – иные версии модернити (японский, африканский, восточноазиатский).

Основные работы: «Праксис и интерпретация» (Франкфурт, 1988), «Будущее, которое не исполнилось» (Лондон, 1993), «Социальная теория и японский опыт» (Лондон, 1997), «Дебаты о цивилизациях» (Лейден, 2003), «Осевые цивилизации и мировая история» (соредактор, Лейден, 2005).

Предлагаемый вниманию читателей фрагмент статьи Арнасона «Восточно-азиатский тип модернити» посвящен исследованию особого типа цивилизации, сложившегося, по его мнению, в Юго-восточной Азии, и отличного как от японского, так и от китайского и других типов. Данная статья была предложена для перевода и публикации на русском языке автором одному из составителей антологии во время встречи с ним в университете г. Эрфурт в июне 2011 года. Разрешение от издателя, где статья была впервые опубликована на английском языке, было получено самим Арнасоном и любезно предоставлено авторам-составителям в сентябре 2011 г. Публикуемый ниже перевод соответствует с. 395–399 оригинала в издании «Iudicium Verlag».

АРНАСОН ЙОХАНН ПАЛЛ

ВОСТОЧНО-АЗИАТСКИЙ ТИП МОДЕРНИТИ¹

Регионы и типы модернити

Когда мы обращаемся к «восточно-азиатскому типу модернити», мы полагаемся на два понятия, взаимосвязь между которыми еще широко не обсуждалась, хотя каждое из них становилось предметом интенсивных научных дебатов: на понятие «модернити» (*modernity*), понимаемое как открытое для признания существенных вариантов, выделенных в концепции «многообразия модернити» (*multiple modernities*), и на понятие «исторический регион» (*Geschichtsregion* – если использовать язык историков, которые больше других сказали о данном предмете), в на-

¹ Arnason J. P. East Asian Modernity Revisited // «Essays in honour of Irmela Hijiya-Kirschner» on the occasion of her 60th birthday. – München Iudicium Verlag, 2008. – P. 395–408 (в сокр.). Пер. с англ. Л. Г. Титаренко.

шем случае – регион Восточной Азии. Эти два понятия имеют различное происхождение; они соединились в особом интеллектуальном контексте. Потенциально это соединение может далеко нас завести; но, насколько я знаю, никакого систематического обсуждения того, как можно связать друг с другом эти два понятия, еще не было.

В дебатах о множественных модернити исторические регионы, безусловно, были одним из факторов множественности, принимаемых во внимание, даже если этот фактор как таковой и не был теоретически осмыслен. Было бы полезным выделить шесть аналитических уровней, которые значимы для данного обсуждения, хотя они и не всегда четко разграничены между собой.

Первый уровень лучше всего понимать как общую исходную предпосылку для всех остальных, а именно: возможны лишь множественные модернити, учитывая, что существуют множественные *компоненты* модернити – экономический, политический, культурный, и т. д., – разворачивающиеся согласно их собственной логике и способные к различным комбинациям в различных контекстах (*settings*). Список таких контекстов следует начать с *национальных государств* – единственного измерения идеи множественных модернити, который позволяет нам более серьезно рассматривать национальные вариации на тему многообразия модернити. Национальные вариации, конечно, могут иметь последствия, далеко выходящие за пределы их первоначальных границ. Очевидный тому пример – дебаты о различиях и сходствах между английским и французским путями к модернити. Японская модернити, независимо от того, что мы придаем ей более широкую значимость, является особенно существенной национальной конфигурацией. В случае Китая преобразование имперской структуры модернизации в национальную стояло на повестке дня – как это отмечали многие ученые – в течение столетия, и оно все еще не закончено. Наконец, послевоенная история Кореи представляет собой уникальный случай борьбы антагонистических типов модернити в пределах одной разделенной нации, и ни одна сторона не признает это разделение законным.

Следующим по списку контекстом идут отличительные *региональные* пути и образцы (*patterns*) модернити. Известный пример – Скандинавия, «Norden», как ее часто называют, – регион, отличающийся от остальной части Европы. Однако ясно, что идея о региональных различиях в различной степени применима к разным частям света.

Третий контекст имеет отношение к *цивилизациям*, или, точнее, – к цивилизационному наследию как источнику существенных различий между образцами модернити. Очевидно, что оно было главной отправной точкой тех, кто спорит об определяющих чертах или о самой возможности исламского типа модернити. Но если мы добавим случай конфуцианской модернити, то различие между уровнями стирается: цивилизационный контекст накладывается на региональный восточноазиатский контекст, и отношения между ними, как будет показано ниже, все еще являются предметом дискуссии. Чтобы закончить этот список, необходимо добавить еще две категории.

Для паттернов, которые конкурируют за превосходство на глобальной арене, и особенно для тех, которые стремятся заменить доминирующий паттерн, я зарезервировал термин «*альтернативные* модернити» – термин, иногда используемый как более или менее взаимозаменяемый с термином «множественные модернити». В этом смысле коммунизм был типичным паттерном альтернативной модернити двадцатого столетия. Здесь связь внутри восточноазиатского региона больше китайская, чем японская, поскольку центральным фактом восточноазиатской истории Нового и Новейшего (*modern*) времени является то, что возродившийся Китай создал свою собственную версию альтернативной модернити, попытавшись (неудачно, но не без некоторого влияния на международном уровне) распространить ее как превосходящую первоначальную российскую версию (альтернатива внутри альтернативы), а затем определил свой собственный путь за пределами этой (русской. – *прим. пер.*) версии.

Наконец, можно выделить отдельную категорию *глобальной* модернити: и в смысле последовательных и изменяющихся глобальных констелляций, в рамках которых происходят более

ограниченные процессы модернизации, и в смысле различных глобальных конфигураций современных экономических, политических и культурных образцов модернити. Экономическое, политическое и культурное преобразование разворачивалось каждое своим специфическим образом, а не в тесной иерархически связанной последовательности, которую предусматривает теория мира-системы. Снова сошлемся на опыт Восточной Азии: хорошо известно, что такие конфигурации особым образом влияли на внутрорегиональное развитие как в девятнадцатом, так и в двадцатом веке.

На первый взгляд, Восточную Азию можно рассматривать сразу на нескольких уровнях дебатов о множественных модернити, и не обязательно со строго региональной точки зрения. Чтобы прояснить этот аспект, начнем с более внимательного рассмотрения самой идеи «исторического региона». Эта идея развита намного меньше, чем идея «модернити», и пока что дискуссии происходили исключительно среди историков, – в то время как авторы, работающие в области исторической социологии, должны были бы посвятить этому больше внимания. Конечно, верно и то, что историки часто использовали это понятие, не рефлексировав его содержание. Это относится и к наиболее известной работе, написанной об историческом регионе, – книге Фернана Броделя о Средиземноморье. В последние годы проблематика исторических регионов исследовалась более систематично, особенно немецкими историками. Прежде чем продолжать наш анализ, будет полезно сформулировать два общих замечания, вытекающих из уже проделанной работы и касающихся нашей тематики.

Первое. Исторические регионы – это конструкторы, зависящие от интерпретации, однако следует кое-что добавить об источниках и использовании этих конструкторов. Убедительнее всего исторические регионы можно определить на основе накопленного опыта, который объединяет группу стран, обществ или культур. Будет ли накопленный опыт воплощен в однородности, и в какой степени, – это эмпирический вопрос. Некоторые регионы более гомогенны и (или) более культурно связаны, чем другие,

а некоторые (каждый по-своему) более дифференцированы внутренне, чем другие. Сами конструкторы являются инструментами исторического исследования, но они создаются не только историками и полезны не только для них. Их способность к распространению в другие сферы исследования варьируется от случая к случаю. В некоторых случаях историческая перспектива, безусловно, преобладает – и это случай региона, который чаще всего фигурировал в немецких дебатах, – Восточной Центральной Европы (региона, обычно определяемого в терминах ключевых исторических государств). Широкое региональное сознание здесь не особенно развито. Однако интересу к Восточной Центральной Европе предшествовали намного более публичные – теперь полузабытые – споры о Центральной Европе, которая была темой для обсуждения среди широких интеллектуальных и культурных элит (особенно для интеллектуальной оппозиции на западных окраинах советской империи). В результате историки оказывались более скептически настроенными, чем писатели и философы. Другой случай, который будет здесь рассмотрен, – это более или менее подлинный перевод региональных конструкторов в стратегии политических элит. Например, нет сомнений в важности восточноазиатской региональной рамки японского имперского проекта на стадии его формирования (на более поздней стадии был поставлен вопрос о его северном или южном расширении, что привело к фатальным осложнениям). Наконец, региональные конструкторы редко обладают влиянием на более широком уровне формирования коллективной идентичности, хотя это и не исключается. Скандинавские страны здесь, вероятно, самый существенный пример формирования такой идентичности, а незавершенный пока проект Европы как интегрированного макрорегиона – самый важный экзамен для этого механизма.

Во-вторых, конструкторы исторических регионов сложным образом взаимосвязаны. Регионы, о которых до сих пор шла речь, – это то, что немецкие историки называют мезорегионами, т. е., грубо говоря, это территория больше одной страны, но меньше континента. Однако можно конструировать регионы большего

или меньшего масштаба. С одной стороны, историки часто делят страны на микрорегионы. С другой – Европа, и даже вся Евразия целиком, может в определенных отношениях рассматриваться как макрорегион. Для целей данной статьи Восточная Азия может рассматриваться как мезорегион в рамках евразийского контекста. Конечно, могут быть подняты дополнительные вопросы о микрорегиональных делениях в самой Восточной Азии. Кроме того, конструкты могут пересекаться, и разграничительные линии могут пролегать по-разному в различные исторические моменты. Если вернуться на время к европейским примерам, то хороший пример – «Северо-Восточная Европа» как расширенная замена того, что раньше называли «Балтийским регионом», но очевидно, что она частично совпадает (по-разному на протяжении последовательных стадий) с «Восточной Центральной Европой». И всегда будут области или страны, которые могут быть классифицированы только как смешения различных регионов или мосты между ними.

Имея в виду эти общие комментарии к историческим регионам, кратко рассмотрим *отношение между регионами и типами модернити*. В рамках данной статьи мы не можем себе позволить развить детализированную типологию, но можно очертить некоторые базовые рассуждения. Для классификации рассматриваемых случаев два типологических контраста представляются особенно полезными.

Во-первых, *континуальность-прерывность*: хотя трансформации модернити по определению включают в себя радикальный разрыв с традиционными образцами, подлежащие тенденции все еще можно реконструировать, и в некоторых случаях они более существенны, чем в других. Многие историки выводят генеалогию европейского типа модернити из Средневековья, и некоторые даже предположили, что XII век является подлинным началом модернити. Этот аргумент часто связывается с представлением о модернити как о новой цивилизации, но здесь важно то, что она должна начинаться на региональном уровне, в Западной Европе, и цивилизационная перспектива здесь вводится как интерпретация региональной истории. В результате глобальной

экспансии европейского типа модернити трансформации в других частях мира были в большей степени вызваны внешними силами; поэтому первый шаг к типологии – дихотомическое разделение между *западными и незападными образцами модернити*. С одной стороны, незападные образцы характеризуются более высокой степенью прерывности. Но следующий наш шаг релятивизирует эту дихотомию, поскольку дискуссия о «ранних типах модернити» показала, что местные предшественники и прообразы в одних частях мира более важны, чем в других, и часто бывает полезным проанализировать также контекст в пределах региональной структуры. Недавний – и один из самых интересных примеров, касающийся дебатов о ранней модернити, – работы Энтони Рида [Reid, 1988–1993] и Виктора Либермана [Lieberman, 2003] по Юго-Восточной Азии. Юго-Восточная Азия – регион, которым историки ранее пренебрегали в сравнительных исследованиях. С другой стороны, именно в Европе мы находим самый крайний пример региональной прерывности. Экспансия коммунистической версии модернити привела к созданию нового региона, ведь никогда ранее в истории не было смысла говорить о «Восточной Европе» как о целостном регионе. Возможно, это был самый короткий по продолжительности существования регион в мировой истории: он просуществовал менее полувека, но – как показала сама динамика его внутреннего распада и дезинтеграции – этого времени оказалось достаточно для появления подлинно регионального профиля. Для сравнения, в Восточной Азии «холодная война» провела новые разграничительные линии внутри очень старого региона, но не привела к созданию системы государств-сателлитов, сопоставимой с коммунистической Восточной Европой.

Во-вторых, можно различить процессы модернизации, которые разворачиваются одинаково в рамках региона, и такие, которые вводят новые траектории дифференциации внутри региона. Конечно, исторические документы всегда напутаны, и вполне вероятно, что последний тип преобладает. Однако есть и интересные сопоставления. Атлантическое побережье Европы было очагом развития ранней модернити, и в то же время в разных ее

частях – Англии, Нидерландах, Франции, на Пиренейском полуострове – развились различные образцы модернити, намного более расходящиеся между собой, чем в Средние века. В этом случае Скандинавия, вероятно, самый известный контрпример, где царит относительное единообразие. Если перенестись на другой конец Евразии, то обнаружим, что огромное множество ответов на модернити и опыта модернити в Юго-Восточной Азии намного превышает региональное разнообразие, предшествующее этапу модернити. Восточноазиатский опыт – совершенно особенный: в XIX веке разные (*divergent*) ответы на западное вторжение в регион вызвали к жизни новые образцы дифференциации. Ответ Японии был не только самым эффективным и инновационным; он стал эталоном для других и в то же время преобразовал сами условия, с которыми страны должны были справиться. Следующие один за другим перевороты, под воздействием событий вне и внутри региона, изменили соотношение между двумя аспектами новой Японии – Японией как образцом для подражания и Японией как центром силы, стремящимся к региональному первенству. Идея миссии Японии в регионе с самого начала сопровождала революцию Мэйдзи, поэтому ее нельзя объяснять одними имперскими амбициями. В других частях региона образ Японии как пионера модернизации смог стать привлекательным и для течений, в других случаях остававшихся различными, и до некоторой степени превосходил образ Японии как колонизаторской власти. Но на уровне геополитической динамики победа над Китаем в 1895 г. стала решающим поворотным пунктом: этот грандиозный подрыв укоренившегося регионального порядка дискредитировал имперский режим Китая даже больше, чем неспособность сопротивляться западным державам, и при этом дал толчок модернизационным усилиям, которые, однако, начались слишком поздно, чтобы спасти правящую династию.

После периода хаоса на смену этому неудавшемуся эпизоду имперской модернизации пришли стратегии, которые также оказались неубедительными, даже когда они длились дольше и оказывали большее влияние. Это относится и к режиму Гоминьдана,

и к советскому образцу, принятому после 1949 г., и к попыткам маоистов пересмотреть последнюю стратегию (новая модель, объявленная Дэн Сяопином в конце 1970-х годов, все еще действует). Эта смена стратегий была связана с превратностями японского империализма, неудачное нападение которого на Китай нанесло столь значительный ущерб государству Гоминьдана, что оно оказалось неспособным восстановить контроль над страной после краха Японии в 1945 г. В то же время разрушение японской империи привело к разделению региона по линии начинающейся «холодной войны», что привело к созданию двух корейских государств и оформлению Тайваня как отдельного государства. В обоих случаях новые линии геополитической демаркации стали границами взаимно несовместимых проектов модернити.

Резюмируем сказанное: подъем и падение имперской Японии имели огромное значение для траектории и диверсификации типов модернити в Восточной Азии. При этом образ Японии как модели оказался более прочным, чем ее образ имперского центра. Широко признано, что как наследие японского правления, так и пример послевоенного развития Японии были ключевыми для развития государств, которые образовались в Южной Корее и Тайване. Случай постмаоистского Китая более сложен: ясно, что опыт развития соседних государств как-то учитывался, когда китайские лидеры вознамерились реструктурировать отношения между государством и экономикой. Но, насколько я знаю, было сделано очень мало, чтобы документировать изучение или внутренние дискуссии по поводу методов государственного вмешательства, которые были применены в регионе; и доступные источники, вероятно, не предоставляют возможности осуществить такой анализ. В любом случае, китайские трансформации начались в ситуации, весьма отличной от той, на которую так успешно до того времени реагировали существующие восточноазиатские модели, и более-менее методичный перенос моделей представляет собой лишь один аспект очень сложной трансформации, которая все еще происходит.

Подведем итог: восточноазиатский паттерн модернити характеризуется явно контрастирующими между собой вариантами модернити, и эта доминирующая тенденция была вызвана комбинацией факторов, происходящих как изнутри, так и извне региона.

Литература

Reid A. Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450–1680. New Haven: Yale University Press, 1988–1993.

Lieberman V. Strange Parallels. Southeast Asia in Global Context, 800–1830. New York: Cambridge University Press, 2003.

Перевод с английского Л. Г. Титаренко

**ИНГЛХАРТ Рональд
(INGLEHART Ronald)**

(р. 1934)

Рональд Инглхарт (р. 05.09.1934, Милуоки, США.) – американский социолог и публицист, один из лидеров современной прикладной социологии. Окончил социологическое отделение Принстонского университета и получил степень доктора социологии. Сегодня Инглхарт – профессор политических наук и директор исследовательских программ в Университете Мичигана. Научная деятельность Инглхарта началась в конце 1960-х годов. В 1970–1980-е годы вышло более ста статей Инглхарта, обобщенных им в работе «Культурный сдвиг в зрелом индустриальном обществе», которая стала значительным явлением в социологической науке начала 1990-х годов. Развитие авторской концепции культурных последствий модернизации воплощено Инглхартом в работе «Модернизация и постмодернизация: культурные, экономические и политические изменения в 43 обществах».

В последней работе Инглхарт рассматривает проблему связи между хозяйственными процессами и политическими событиями, анализирует возможности формирования стабильных демократических систем в странах, еще не прошедших стадию формирования зрелого индустриального общества. Он утверждает, что переход от материалистических к постматериалистическим ценностям представляет собой наиболее значимое социальное изменение последней трети XX века, и данный процесс не может изменить свое направление в рамках постиндустриальных обществ. С одной стороны, Инглхарт придает своей концепции большую теоретичность, встраивая ее в современную социологическую доктрину, оперирующую терминами модернизации и постмодернизации и акцентирующую внимание на взаимодействии и взаимозависимости экономических, политических, этических и иных факторов развития общества (поэтому существенной новизной отли-

чаются те главы, в которых автор анализирует обусловленность социального прогресса совершенствованием составляющих общество личностей). С другой стороны, он обращается уже не только к анализу ситуации в развитых индустриальных странах, но и к проблемам развития стран «третьего мира» и бывшего социалистического лагеря. В этом контексте весьма интересна его оценка современных преобразований в России и некоторых других странах советского блока; мягко говоря, эта оценка весьма далека от положительной. Подходя к исследованию происходящих здесь процессов с точки зрения ценностных ориентаций населения, автор отмечает, что с разрушением чувства социальной и экономической защищенности, бывшей у граждан этих государств очень сильным, фактически устранены стиль поведения и система мотивации, которые были присущи населению социалистических стран и вполне соответствовали современным требованиям. Формирование сугубо экономической, материалистической системы ценностей, происходящее в последние годы, делает социальную обстановку в этих странах более далекой от современных стандартов, нежели в менее развитых в хозяйственном аспекте регионах планеты.

Основные работы: «Мобилизация познания и европейская самобытность» (1970), «Молчаливая революция: изменение системы ценностей и политического стиля в западном обществе» (1977), «Культурный сдвиг в зрелом индустриальном обществе» (1990), «Модернизация и постмодернизация: культурные, экономические и политические изменения в 43 обществах» (1997).

В приведенном фрагменте Инглхартom рассматривается проблема взаимосвязи экономических, культурных и политических преобразований в обществах при смене направлений развития – от модернизации к постмодернизации.

МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПОСТМОДЕРНИЗАЦИЯ¹

(Modernization and Postmodernization. Princeton (NY), Princeton Univ. Press, 1990)

**Системы ценностей: субъективный аспект
политики и экономики**

Экономические, культурные и политические преобразования настолько связаны друг с другом в своем развитии, что эта взаимосвязь позволяет прогнозировать характер их воздействия на общество. Так звучит главный тезис теории модернизации в устах ее сторонников, от Карла Маркса и Макса Вебера до Даниела Белла. Чуть ли не два века вокруг этого тезиса идут горячие споры. В целом он верен: пусть мы не в силах точно предсказать, что именно произойдет в данном обществе в данное время, некоторые основные тенденции поддаются общему прогнозу. <...>

Идея о том, что социальные и экономические преобразования имеют логическую взаимосвязь, казалась интересной и одновременно спорной с того момента, как была впервые высказана К. Марксом. Она привлекает к себе умы не только потому, что способствует разъяснению характера экономических, социальных и политических преобразований, но и потому, что может обеспечить определенную степень их прогнозируемости. На сегодняшний день все попытки предсказать пути, по которым человечество пойдет в своем развитии, лишь тешили гордыню предсказателей: общеизвестно, что многие прогнозы Маркса оказались ошибочными. Поведение человека столь многогранно и подвержено влиянию со стороны столь многих факторов, действующих на самых различных уровнях, что любой попытке выступить с точным прогнозом, не допускающим вариантов, грозит неудача.

¹ Инглхарт Р. Модернизация и постмодернизация // Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология / под ред. В. Л. Иноземцева. – М.: Academia, 1999. – С. 261–277, 289–291 (в сокр.).

Мы на такой прогноз не претендуем, ибо невозможно предсказать точный путь социальных преобразований. Однако определенные совокупности экономических, политических и культурных трансформаций развиваются логически взаимосвязанным образом; причем одни направления такого развития представляются более вероятными, чем другие. Когда конкретные общественные процессы набирают темп, то в долгосрочном плане возникает вероятность определенных серьезных по своему значению изменений. Например, индустриализация порождает тенденцию к урбанизации, росту профессиональной специализации и повышению уровней формального в любом обществе, которое пошло по такому пути. Все эти элементы представляют собой ключевые аспекты того направления развития, которое в целом принято называть *«модернизацией»*.

Модернизация порождает в свою очередь тенденцию к проявлению менее очевидных, но также серьезных последствий, таких, например, как повышение уровня политической активности масс. И пусть мы не в состоянии прогнозировать действия конкретных руководителей в тех или иных странах, мы можем говорить о том, что (в данный исторический момент) активное участие населения в политической жизни с большей вероятностью сыграет решающую роль в Швеции или Японии, чем в Албании или Бирме. В более конкретном плане мы можем также определить, какие именно вопросы с наибольшей остротой будут вставать в политической жизни того или иного конкретного общества, причем вероятность, что этот прогноз окажется верен, будет далеко выходить за рамки случайности.

Модернизация связана с широким кругом преобразований культурного характера. Определенные культурные ценности благоприятствуют повышению склонности населения к сбережениям и инвестициям, открывая тем самым путь к индустриализации, а резкие различия в роли, отводимой мужчинам и женщинам в любом индустриальном обществе, в зрелом индустриальном обществе практически стираются.

Однако социальные преобразования не носят линейного характера. То, что переход от аграрного к индустриальному обществу

порождает возможность ряда перемен, не означает, будто какая-либо тенденция может продолжаться в одном и том же направлении до бесконечности. Достигнув в своем развитии какой-то точки, она начинает идти на убыль. Не служит исключением и модернизация. В последние десятилетия зрелые индустриальные общества вышли в своем развитии на поворотную точку и стали двигаться в новом направлении, которое можно назвать *«постмодернизацией»*.

С началом постмодернизации тот взгляд на мир, который преобладал в индустриальных обществах со времени промышленной революции, постепенно вытесняется новым мировоззрением. В нем находят свое отражение ожидания людей, желающих определенных перемен. Постмодернизация меняет характер базовых норм политической, трудовой, религиозной, семейной, половой жизни. Таким образом, процесс хозяйственного развития приводит к тому, что движение в направлении модернизации сменяется затем курсом на постмодернизацию. Оба они самым тесным образом связаны с процессами в хозяйственной сфере, однако постмодернизация представляет собой более позднюю стадию развития, которая характеризуется совсем иным комплексом убеждений и верований, нежели модернизация. Этот комплекс не просто является следствием экономических или социальных преобразований; он в свою очередь формирует социально-экономические условия, испытывая затем их воздействие.

Изучение модернизации играло ведущую роль в общественных науках в конце 1950-х и в начале 1960-х годов. Впоследствии, начиная с 1970-х, концепция модернизации была подвергнута серьезной критике и во многом признана несостоятельной. Со своей стороны, мы также хотели бы представить новые эмпирические обобщения и предложить новое толкование механизма модернизации.

Основной тезис теории модернизации заключается в том, что индустриализация связана с конкретными социально-политическими преобразованиями, которые осуществляются повсеместно: если между доиндустриальными обществами имелись огромные различия, то есть все основания говорить о единой

модели «современного», или «индустриального», социума, к которой придет любое общество, вставшее на путь индустриализации. Экономическое развитие связано с комплексом перемен, охватывающих, помимо индустриализации, урбанизацию, массовое образование, профессиональную специализацию, создание бюрократических структур, развитие коммуникаций, что, в свою очередь, порождает культурные, социальные и политические преобразования еще более широкого характера.

Одна из причин, вызвавших столь большой интерес к теории модернизации, заключалась в тех перспективах, которые она открывала с точки зрения социального прогнозирования; согласно этой теории, в обществе, вставшем на путь индустриализации, с определенной вероятностью осуществляются конкретные преобразования культурного и политического характера, начиная со снижения рождаемости и увеличения продолжительности жизни и кончая усилением роли правительства, возрастанием политической активности масс и даже установлением демократии. Некоторые критиковали теорию модернизации за то, что она якобы утверждает, будто экономическое развитие должно автоматически и безболезненно привести к становлению либеральных демократий, отвергали этот тезис как наивный и этноцентристский. Однако фактически прогнозы большинства сторонников этой теории были гораздо более осторожными; если же оставить за скобками необоснованное предположение о безболезненном и автоматическом характере модернизации, даже этот тезис не представляется сегодня совершенно невероятным.

Теория модернизации развивалась на протяжении более чем целого столетия. Широкий круг специалистов по социальным теориям в своих утверждениях сходил на том, что трансформации технологического и экономического характера логически связаны с предсказуемыми преобразованиями в сфере культуры и политики. Однако не утихали споры относительно характера их причинно-следственных связей: экономические преобразования влияют на изменения в культуре и политике или наоборот?

Маркс возводил во главу угла экономический детерминизм, утверждая, что технический уровень развития общества форми-

рует его экономическую систему, которая, в свою очередь, определяет его культурные и политические характеристики: технологический уровень ветряной мельницы таков, что в основе общества будет лежать натуральное сельское хозяйство, а масса обездоленных крестьян будет находиться в подчинении у помещного дворянства; паровой двигатель влечет за собой появление индустриального общества, в котором доминирующей элитой становится буржуазия, эксплуатирующая и угнетающая городской пролетариат.

Вебер, со своей стороны, подчеркивал влияние культуры: ее не следует сводить к вторичному явлению в рамках экономической системы, напротив, она представляет собой важный фактор, имеющий самостоятельное значение; культура способна формировать экономическое поведение, равно как и испытывать его воздействие. Например, становление протестантской этики способствовало расцвету капитализма, что благоприятствовало как промышленной, так и демократической революции; согласно этому взгляду, системы убеждений и верований влияют на экономическую и политическую жизнь, а также сами подвергаются ее влиянию.

Некоторые из последователей Маркса переносили акцент с экономического детерминизма (который предполагает спонтанное возникновение революционной утопии) на роль идеологии и культуры, уделяя им большее внимание. Например, Ленин утверждал, что рабочий класс сам по себе никогда не выйдет на такой уровень классового сознания, который необходим для успешного осуществления революции; необходимо, чтобы во главе пролетариата встал идеологически стойкий авангард профессиональных революционеров.

Мао Цзэдун уделил еще большее внимание роли революционного мышления. Порвав с ортодоксальным марксизмом, он провозгласил, что в Китае не обязательно ждать процессов урбанизации и индустриализации, чтобы изменить лицо страны; если идеологически подкованные кадры сумеют пробудить достаточный энтузиазм у масс, коммунистическая революция способна победить даже в аграрном обществе. Казалось, что вера

Мао Цзэдуна в могущество идеологической убежденности, способной восторжествовать над материальными препятствиями, нашла свое подтверждение в победе китайских коммунистов в 1949 году над противником, имевшим в своем распоряжении неизмеримо большие финансовые и людские ресурсы. Однако же тот факт, что идеологический детерминизм имеет свои пределы, был продемонстрирован в 1959 году позорным провалом «большого скачка»: оказалось, что для развития современного общества необходимы не только сознательные массы, но и знающие специалисты. Для осушения болот или строительства прокатного стана есть правильные методы и есть неправильные методы, вне зависимости от идеологической перспективы.

Обеспечивает ли модернизация становление демократии? Реформы Хрущева конца 1950-х годов породили надежды на то, что коммунистический блок пойдет по пути демократизации. Эти надежды укрепились в результате распада колониальной системы и появления множества молодых независимых государств в 1960-е годы. Однако весь оптимизм рухнул, когда в 1964 г. коммунистическая верхушка отстранила Хрущева от власти, в Советском Союзе воцарился брежневский авторитарный режим, которому, казалось, не будет конца, и одновременно авторитаризм восторжествовал в большинстве постколониальных наций. Утверждают, что экономическое развитие изначально благоприятствует демократизации, однако сегодня большинство социологов скептически воспринимают эту концепцию. Авторитарные режимы стали казаться неотъемлемой чертой современного мира, даже (если не в особенности) в тех коммунистических странах, которые добились внушительного экономического роста. Индустриализация, оказалось, способна вести как к демократии, так и к диктатуре.

Мы предлагаем новый взгляд на теорию модернизации. Мы согласны с ее сторонниками в отношении самого главного их тезиса: экономическое развитие, культурные преобразования и изменения политического характера логическим образом связаны друг с другом и в определенной степени даже предсказуемы. Одни направления преобразований более вероятны, чем иные,

поскольку определенные системы ценностей и верований, наряду с политическими и экономическими институтами, оказываются взаимно благоприятными, тогда как в отношении других дело так не обстоит. Таким образом, зная один компонент общества, можно прогнозировать судьбу других компонентов, причем с вероятностью, выходящей за рамки простой случайности.

Однако, соглашаясь с Марксом, Вебером и их последователями в том, что направления преобразований имеют не случайные, а, напротив, прогнозируемые характеристики, мы расходимся с большинством сторонников теории модернизации по следующим четырем важным моментам:

1. Социальные преобразования не имеют линейного характера. Они отнюдь не следуют одному направлению вплоть до конца истории. Напротив, рано или поздно они достигают поворотной точки и в последние десятилетия идут в совершенно новом направлении.

2. Предыдущие варианты теории модернизации носили детерминистский характер: марксизм делал упор на экономический детерминизм, а теория Вебера склонялась к детерминизму культурному. Мы считаем, что взаимосвязи между экономикой, с одной стороны, и культурой и политикой – с другой, носят взаимодополняющий характер, как это происходит в отношении различных систем биологического организма. Бессмысленна была бы постановка вопроса о том, что определяет деятельность человеческого организма: мускульная система, система кровообращения, нервная система или система дыхательных путей; каждая из них играет свою важную роль, и вся жизнедеятельность прекращается при отказе любой из них. Аналогичным образом политические системы, равно как и экономические, требуют поддержки со стороны культурной системы, в противном случае им пришлось бы опираться на откровенное принуждение, которое нельзя признать эффективным. И напротив, культурная система, несовместимая с экономикой, вряд ли окажется жизнеспособной. Экономический детерминизм, культурный детерминизм, политический детерминизм – все они представляют собой не что иное, как упрощенный подход к данной проблеме;

причины и следствия определены здесь чересчур жестко. Если эти системы не будут поддерживать друг друга на взаимной основе, им грозит отмирание.

3. Мы не согласны с этноцентристской позицией тех, кто приравнивает модернизацию к «вестернизации». В какой-то исторический момент модернизация действительно была чисто западным явлением, однако сегодня вполне очевидно, что этот процесс обрел глобальный характер и что в определенном смысле его возглавили сегодня страны Восточной Азии. В соответствии с этой точкой зрения мы предлагаем модифицировать интерпретацию тезиса Вебера, сформулированного им в 1904–1905 гг. и касающегося роли протестантской этики в экономическом развитии. Вебер совершенно правильно расценивал подъем протестантства как важнейшее событие в ходе модернизации Европы. Однако нельзя утверждать, что такое влияние присуще только протестантству; в то время оно в основном объяснялось тем обстоятельством, что рационализм и холодная расчетливость пришли на смену целому комплексу религиозных норм, характерных для большинства доиндустриальных обществ и сдерживающих экономическое развитие. Протестантство действительно является феноменом чисто западным, однако этого нельзя сказать о холодном расчете и рационализме. Несмотря на то, что индустриализация началась на Западе, ее подъем представляет собой всего лишь один из вариантов модернизации.

4. Демократия отнюдь не является феноменом, имманентно присущим фазе модернизации, как считает ряд сторонников этой теории. Возможны и альтернативные последствия, причем наиболее ярким их примером служат фашизм и коммунизм. Однако демократия действительно оказывается все более вероятным явлением по мере перехода от стадии модернизации к постмодернизации. На этой второй стадии осуществляется совершенно особый комплекс преобразований, которые до такой степени повышают вероятность утверждения демократии, что в конечном счете приходится дорого платить за то, чтобы ее избежать.

За последнюю четверть нашего столетия произошла смена главного направления развития, и этот сдвиг носит столь отчетливый

характер, что теперь вместо дальнейшего использования термина «модернизация» мы предпочитаем говорить о «постмодернизации». В термин «постмодернистский» вкладывается множество различных значений, причем некоторые из них ассоциируются с культурным релятивизмом столь экстремального толка, что он становится неотличим от культурного детерминизма: утверждается, что культура чуть ли не в полной мере определяет опыт человека, не ограничиваясь никакой внешней реальностью. И тем не менее этот термин имеет важное значение, поскольку в нем заложен определенный концептуальный смысл, согласно которому процесс, называемый модернизацией, уже не является самым последним событием в современной истории человечества и социальные преобразования развиваются сегодня совершенно в ином направлении. Кроме того, в литературе по постмодернизации назван ряд специфических признаков этого процесса: постмодернизация предусматривает отказ от акцента на экономическую эффективность, бюрократические структуры власти и научный рационализм, которые были характерны для модернизации, и знаменует переход к более гуманному обществу, где самостоятельности, многообразию и самовыражению личности предоставляется больший простор.

К сожалению, термин «постмодернистский» оказался нагружен столь многими значениями, что ему грозит опасность означать все подряд и одновременно ничего не означать. Термин «постмодернизм» имеет четкое значение в архитектуре, означая стиль, резко отличающийся от голого функционализма архитектуры времен модернизма, выхолощенной и эстетически убогой. Первая стеклянная коробка произвела сильнейшее впечатление, однако с появлением сотой коробки вся новизна пропала. Архитектура постмодернизма вернула себе человеческое измерение, практикуя элементы декора и ретроспективизм, однако на основе новой технологии. Аналогичным образом на стадии постмодернизации общество от стандартного функционализма, от увлечения наукой и экономическим ростом, которое было столь распространено в индустриальном обществе на протяжении всей «эпохи дефицита», и делает больший акцент на эстетиче-

ских и человеческих моментах, вводя элементы прошлого в контекст современности.

Мы не можем согласиться с тем, что концепция постмодернизации в какой-то степени связана с культурным детерминизмом. Вне всякого сомнения, авторы, пишущие на темы постмодернизации, имеют все основания считать, что любое восприятие реальности происходит через некие культурные фильтры. Более того, эти культурные факторы неуклонно становятся все *более и более важным* компонентом повседневного опыта по мере нашего перехода от «общества дефицита», где экономическая необходимость втискивает поведение человека в довольно узкие рамки, к миру, в котором человеческий фактор будет играть все более и более заметную роль по сравнению с внешней средой, открывая расширенный спектр возможностей для индивидуального выбора; это одна из основных причин все большей поддержки постмодернизации.

Однако мы не согласны, что культурная парадигма является *единственным* фактором, формирующим людской опыт. Помимо нее и объективная реальность, причем это относится как к сфере социальных отношений, так и к области естественных наук. Внешние реалии обретают решающую роль в тех случаях, когда дело доходит до насилия – последнего прибежища политики: расстрелянный человек умирает вне зависимости от того, верит он в баллистику или нет. Аналогичным образом, несмотря на широкие возможности архитектора в плане выбора и воображения, если он пренебрежет объективными принципами, лежащими в основе строительства, все здание может рухнуть. Отчасти именно поэтому архитектура сохранила должное уважение к реальности. В качестве другого примера можно отметить, что у физиков и астрономов культурные пристрастия играют минимальную роль. Люди, не имеющие отношения к науке, иной раз искажают принцип неопределенности, сформулированный Гейзенбергом, однако ученые, работающие в сфере естественных наук и изучающие реальность, существующую за пределами людских предубеждений, единодушны: та или иная теория в конечном счете побеждает или отмирает в зависимости

от того, насколько правильно она моделирует и прогнозирует эту реальность, пусть даже она идет вразрез с убеждениями, которые успели прочно сложиться. <...>

Одних объективных тестов недостаточно, чтобы научная парадигма была незамедлительно отвергнута; по мере накопления наблюдений доминирующая доктрина все чаще подвергается сомнению, однако новая парадигма, как правило, получает признание в результате смены одного поколения ученых другим поколением, а не благодаря изменению взглядов более старших представителей научного сообщества, что случается довольно редко. В любой исторический момент естественные науки отражают кросскультурный консенсус, который в конечном счете зависит от того, насколько эффективно имеющиеся интерпретации моделируют и прогнозируют внешнюю реальность. Искусство в этом отношении представляет собой полную противоположность. Эстетические предпочтения в большинстве своем *действительно являются* вопросом культурных установок.

Общественные явления занимают промежуточное положение между этими крайними точками. Поведение человека испытывает сильное влияние со стороны культуры, в которой осуществляется его социализация. Однако объективные факторы также устанавливают свои пределы; недавним примером может служить крах и дискредитация централизованной экономики в странах от Чехословакии до Китая: в сфере управления экономикой всегда существуют правильные и неправильные методы. <...>

Экономические, культурные и политические процессы развиваются в логической взаимосвязи друг с другом. Этот тезис не вызывал разногласий у двух наиболее авторитетных сторонников теории модернизации – Маркса и Вебера. Они принципиальным образом расходились друг с другом в вопросе о том, почему экономические, культурные и политические преобразования сопровождают друг друга. По мнению Маркса и его последователей, они взаимосвязаны постольку, поскольку экономические и технологические преобразования определяют изменения политического и культурного характера. По мнению

Вебера и его последователей, они взаимосвязаны потому, что культура формирует лицо экономической и политической жизни.

Надо отдать должное глубокой проницательности как Маркса, так и Вебера. Мы считаем, что *и* экономика определяет культуру и политику, *и* наоборот. Причинно-следственные связи имеют взаимный характер. Политические, экономические и культурные преобразования взаимообусловлены в силу того, что не может быть жизнеспособным общество, не располагающее политическими, экономическими и культурными системами, поддерживающими друг друга на взаимной основе: в долгосрочной перспективе соответствующие компоненты либо приспосабливаются друг к другу, либо система рушится. Общественные системы действительно не вечны: большинство из них, просуществовав на протяжении определенного периода, исчезли с лица Земли.

Культура представляет собой систему воззрений, ценностей и знаний, которые широко распространены в обществе и передаются из поколения в поколение. Если человеческая природа имеет биологически врожденный и универсальный характер, то культура является предметом усвоения и в разных обществах оказывается различной. Наиболее ключевые, наиболее рано усвоенные ее аспекты сопротивляются изменениям: во-первых, потому, что для трансформации центральных элементов когнитивной организации взрослого человека необходимо массированное воздействие, и, во-вторых, потому, что пересмотр своих самых сокровенных убеждений порождает страх и утрату уверенности в себе. В условиях длительных социально-экономических преобразований изменениям могут подвергнуться даже ключевые элементы культуры, однако их механизм скорее будет состоять в вытеснении одного поколения другим, а не в реформировании системы ценностей взрослых людей, чья социализация уже состоялась.

Под культурой мы понимаем *субъективный* аспект общественных институтов: убеждения и верования, ценности, знания и навыки, *усвоенные* представителями данного общества и дополняющие внешние системы принуждения и коммуникаций.

Таков упрощенный вариант определения культуры, обычно им пользуются в антропологии, но он устраивает и нас, поскольку в данном случае нашей целью является эмпирический анализ. Мы рассмотрим, в какой степени внутренние культурные установки и внешние общественные институты оказываются взаимосвязаны на практике, а не будем просто полагаться на предположку, утверждающую их существование. Если же пытаться в определение культуры втиснуть все, что только возможно, такая концепция окажется бессмысленной для подобного анализа.

Любая стабильная экономическая или политическая система располагает соответствующей культурной системой, на которую она опирается и которая как бы узаконивает ее существование. В таком обществе усвоен комплекс правил и норм. Если этого нет, то властям приходилось добиваться соблюдения таких правил путем внешнего принуждения, что является делом дорогостоящим и ненадежным. Для обеспечения эффективной легитимности такого общественного устройства культура устанавливает рамки поведения как для верхов, так и для масс, формируя политические и экономические системы, а также формируясь, в свою очередь, сама под их влиянием. Этот процесс лишен телеологического характера, он действует как бы сам по себе: жизнеспособными оказываются общества, располагающие узаконенными системами власти. <...>

Политические институты также формируются в ходе процессов естественного отбора. Некоторым из них уготована долгая жизнь, однако в отношении большинства других дело обстоит совсем иначе: три четверти ныне действующих национальных конституций увидели свет уже после 1965 года. Даже действующие институты и те подвержены мутации. Так, в большинстве обществ законодательные органы теперь уже редко выступают с законодательными инициативами, вместо этого они выполняют функцию легитимизации. Сами по себе они не обладают сознательной волей для выполнения этой функции, однако тот факт, что они ее осуществляют, служит основной причиной, обеспечивающей их выживание и распространение. Многие новые конституции появились в последнее десятилетие,

и практически каждая из них важное место отводит законодательным органам. В этом отражается широкое осознание того факта, что в современном мире политические системы, располагающие законодательными органами, имеют, по сравнению с другими системами, больше возможностей для легитимизации, выживания и процветания. <...>

Культурные факторы и экономический рост

Утверждение, что экономический рост испытывает частичное воздействие со стороны культурных факторов, считалось и считается в высшей степени спорным. Одна из причин неприятия этого тезиса заключается в том, что на культуру часто смотрят как на универсальную и неотъемлемую черту данного общества; поскольку же культура определяет экономический рост, следует отказаться от надежды на экономическое развитие, так как культура измениться не может.

Но если мы подходим к культуре как к чему-то такому, что может быть на практике измерено в количественном плане, эта иллюзия универсальности и неотъемлемости развивается. Нам приходится отказаться от таких грубых стереотипов, как «Немцы всегда склонны к милитаризму» или «Испанская культура экономическому развитию не благоприятствует». Вместо этого мы имеем возможность перейти к анализу конкретных компонентов данной культуры в данное время. Построенные по такому принципу исследования показывают, что с 1945 по 1975 год политическая культура Западной Германии претерпела коренные изменения, перейдя от относительного авторитаризма к демократии и активизации политической деятельности масс. Мы обнаруживаем, что с 1970 по 1995 год Соединенные Штаты Америки и ряд стран Западной Европы претерпели постепенный межгенерационный сдвиг от доминирующих материалистических приоритетов в направлении ценностей все более постматериалистического характера. Несмотря на то, что эти преобразования были постепенными, они свидетельствуют, что даже ключевые элементы культуры могут меняться и действительно меняются.

Помимо этого, эмпирические исследования способны содействовать выявлению специфических компонентов культуры, в наибольшей степени влияющих на экономическое развитие. Совершенно не нужно стремиться к тому, чтобы изменить весь образ жизни общества. Последние результаты позволяют сделать вывод, что ключевую роль в экономическом росте играет такой специфический компонент, как мотивация к успеху. В краткосрочной перспективе не так просто изменить даже столь узкий и четко определенный культурный компонент, однако это представляется гораздо более простой задачей, чем попытка изменить культуру общества в целом. Одним из шагов в правильном направлении может оказаться простое ознакомление родителей, школ и других организаций с соответствующими подходами в этой области.

Как предложил Вебер более 90 лет назад, культурные факторы играют важную роль в экономическом развитии; различия между обществами зависят от того, в какой степени они делают акцент на бережливость, накопительство индивидуальный экономический успех, в отличие от традиционных обязательств перед своим сообществом; те общества, которые возводят во главу угла ценности, относящиеся к первой категории, будут демонстрировать, как правило, более высокие темпы роста.

Означает ли это, что общества, которые обращают особое внимание на традиционные ценности, обречены на постоянное отставание в развитии? Ни в коем случае. К такому заключению может привести только устаревший взгляд на культуру. Мы подчеркиваем, что культура – это не константа, а фактор переменного характера. Несмотря на то, что промышленная революция взяла свое начало в преимущественно протестантских странах, «протестантская этика» распространилась в католических государствах Европы, которые сегодня характеризуются более высокими темпами роста, чем Северная Европа. Более того, именно потому, что они менее развиты, страны с низким уровнем дохода в конечном счете получают преимущества перед богатыми государствами: они располагают относительно дешевой рабочей силой, которая рано или поздно начинает привлекать капита-

ловложения со стороны более богатых стран. Например, в послевоенный период более богатые североевропейские страны начали строить заводы в Южной Европе, а денежные переводы, поступающие от иностранных рабочих в странах Севера, помогли экономическому подъему южных стран. Позже это произошло в Восточной Азии, где японская рабочая сила стала чересчур дорогостоящей по сравнению с рабочей силой соседних стран. Японские капиталовложения потекли в другие страны Восточной Азии, а затем и в Юго-Восточную и Южную Азию, где одновременно стало развиваться производство отдельных компонентов для японской продукции.

Эта тенденция охвата экономическим развитием стран, располагающих более дешевой и рентабельной рабочей силой, сопровождается и другим процессом: культурные изменения в развитых странах в конечном счете влекут за собой переход от экономического роста любой ценой к большему вниманию, уделяемому охране окружающей среды. Постматериалистические ценности могут также играть важную роль в отказе от акцента на бережливость и накопительство, пусть даже их влиянию противостоит то обстоятельство, что они распространены в относительно богатых странах, которые по самым различным причинам характеризуются низкими темпами роста.

Есть очевидная логика в том, что культуры, нацеливающие на бережливость и целеустремленность, демонстрируют, как правило, высокие темпы роста: бережливость обуславливает возможность более высоких уровней инвестиций. Однако если мы попытаемся придать этой причинно-следственной связи обратное направление, то увидим отсутствие очевидной причины, по которой быстрый рост должен вести ко все большему акценту на бережливость: совсем напротив. В данном случае следует, скорее, ожидать высоких уровней траты средств. Пока мы не располагаем достаточными сериями данных в области культуры, мы не вправе считать этот вопрос решенным, однако имеющиеся свидетельства дают все основания предположить, что определенные культурные ценности оказывают существенное воздействие на экономический рост.

Постановка вопроса типа «Культурные или экономические факторы обуславливают хозяйственный рост?» просто неправомерна. Культурные факторы тесно связаны с факторами экономическими, самым наглядным образом объясняя, почему в долгосрочной перспективе одни общества демонстрируют гораздо более высокие темпы экономического роста, чем другие. Теоретическая модель, учитывающая как культурные, так и экономические факторы, обладает гораздо большей актуальностью и объясняет гораздо больший спектр изменений различных показателей, чем модель, опирающаяся только на экономику.

ТУРЕН Алан
(TOURAINE, Alain)

(р. 1925)

Алан Турен (р. 03.08.1925, Германвиль-се-Мер) – французский философ и социолог, профессор университетов в Нанте и Париже. Закончил Высшую нормальную школу в Париже, где изучал историю и философию. В 1952 г. продолжил учебу в США. Собственный фокус исследований Турена связан с социальными движениями 1960-70-х годов как новыми коллективными субъектами социального действия. Многие годы Турен – исследовательский директор Высшей школы социальных наук в Париже. Лауреат премии принца Астурийского по социальным наукам (2010), почетный член многих академий.

Основные области исследования Турена – социология труда, методология социального познания, изучение индустриального и постиндустриального общества, социальных движений. Турен признает, что индустриальное общество находится в состоянии кризиса, что проявилось во всеохватывающем кризисе ценностей, кризисе культуры, широко движении контркультуры, которое поставило под вопрос ценности индустриализации и роста и которое потребовало необходимых трансформаций во всех сферах общества. Однако за этими проявлениями кроются более глубокие и фундаментальные сдвиги в способе производства, распределения, обмена и потребления важнейших благ и услуг, сдвиги в самой организации общественной жизни. Суть этих сдвигов состоит в переходе к новому типу общества, более активному и мобильному, способному создавать новые модели управления и осу-

ществлять культурные нововведения; но вместе с тем к обществу более волюнтаристскому и опасному, чем общество, оставленное позади. Программированное общество обладает значительно большей мобильностью, чем индустриальное, и создает более широкий простор для разнообразных и активных систем социального действия. Это находит воплощение в широко распространившихся социальных движениях — освободительных, феминистских, молодежных, экономических, экологических, региональных, этнических, культурных и др. Все эти разнородные и разнонаправленные движения придают в программированном обществе исключительную жизненность и широкое распространение. Но здесь же кроется и причина слабости этих движений, поскольку обобщенная природа конфликтов в данном случае лишает их общей основы.

Придавая большое значение в развитии общества социальным действиям, Турен создал их своеобразную типологию. Те конфликтные действия, которые представляют собой попытку защитить, реконструировать или адаптировать некий слабый элемент социальной системы, он называл коллективным поведением. Те конфликты, которые представляют собой социальные механизмы для изменения систем принятия решений и являются вследствие этого факторами изменения структуры политических сил, он назвал социальной борьбой. Те же конфликтные действия, которые направлены на изменение отношений социального господства, касающихся главных культурных ресурсов (производство, знания, этические нормы), он назвал социальными движениями. В процессе развертывания социальных движений главное внимание их участников, согласно Турену, концентрируется на социальном «акторе», его индивидуальности и идентичности. Акцент на индивидуальности и идентичности служит характеристикой поднимающихся социальных слоев и групп, и особенно новых классов, отстаивающих собственную идентичность и индивидуальность. В последние годы Турен уделяет большое внимание проблеме гармонизации отношений формирующего программированного общества с экологическими движениями и окружающей средой.

Основные работы: «Социология действия» (1965), «Движение Мая и коммунистическая утопия» (1968), «Постиндустриальное общество» (1973), «К социологии» (1974), «После социализма» (1980) и др.

В предлагаемом тексте А. Туреном развивается концепция социального действия на социальном уровне, где в качестве субъекта выступает социальное движение.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО¹

Постсовременное общество?

Последние двадцать лет понятие современности сильно атакуется вплоть до того, что выдвинуты формулировки «постсовременного» общества и даже «постисторического». Распространилась идея, что после нескольких веков резкого «взлета» (take-off) наши общества достигли уровня, когда им нужно снова больше заботиться о равновесии, чем об изменении. В этом заключаются причины того интереса, который столько умов испытывают к антропологическим исследованиям. Общества, изучаемые антропологом, вынуждены, с одной стороны, заботиться об условиях своего выживания, с другой – задаваться вопросом о своих истоках. Вот две характеристики, которые прямо противостоят направленности современных обществ. Если посмотреть еще глубже, то станет ясно, что антропологи чужды всякой форме историцизма и любят противопоставлять большое разнообразие так называемых традиционных культур однообразию и обеднению современной цивилизации.

Такая радикальная критика идет иногда вплоть до того, что призывает к попятному движению общества к «общине» и к разрушению всех политических агентов, обеспечивающих интеграцию и унификацию общественной жизни. Это соответствует некоторым важным тенденциям в самих наших странах, где наблюдается развитие все более и более различных в отношении друг друга культур: молодежной, «коммунитарной» или «маргинальной», культуры «третьего возраста», гомосексуальной и т. д. Не кажется ли, что сегодня после краткого, но интенсивного периода разрушения «других» культур – локальных, региональных, этнических – почти повсюду вновь появляется разнообразие.

¹ Турен А. Возвращение человека действующего // Кравченко А. И. Социология. Хрестоматия для вузов. – Академический проект; Екатеринбург; Деловая книга, 2002. – С. 720–728.

Второй важный аспект кризиса классического представления об общественной жизни касается роли государства. Отождествление общества с государством объяснялось тем, что последнее играло существенную роль в интеграции: первые национальные государства – Англия, Швеция, Франция – сначала были гарантами социального мира и свободной циркуляции личностей, благ и идей. Сегодня государство стало «активной» властью, которой выпало управлять не только экономической деятельностью, но и многими сторонами общественной жизни. Из юриста оно стало экономистом, сохраняя свои военные и дипломатические атрибуты. Эта эволюция имеет то преимущество, что роль государства не сводится, как некогда, к полицейским и юридическим функциям и потому оно не является более лишь репрессивным органом. Но параллельно, и это главный пункт, дистанция между государством и обществом не перестает увеличиваться.

Речь идет здесь не о том отделении государства и гражданского общества, которое существовало в XIX веке. Государство, напротив, играет все более и более важную экономическую роль, между тем как общественная жизнь состоит из изменчивых форм поведения, интеллектуальных дебатов, общественных конфликтов. Национальное единство общества является все более «практическим», и его материальная интеграция увеличивается, тогда как действующие лица общества, все значительнее различающиеся между собой, живут более автономно, будучи далеки от государственных интересов и идеологий. Когда государство превышает свою роль общественного предпринимателя и действующего лица международных отношений, когда оно вмешивается в общественную жизнь, то его вмешательство воспринимается как скандальное и отбрасывается как реакционное и авторитарное.

Государство не является теперь принципом единства общественной жизни. Его принимают как руководителя предприятия, бюрократа или как тоталитарную власть, но не в качестве агента интеграции действующих лиц общества. Вот почему национальное чувство сегодня гораздо слабее, особенно в Западной Европе, чем полвека назад. Плоды культуры становятся все

более интернациональными, всевозрастающее число индивидов путешествуют вокруг земного шара; идеи и материальные блага циркулируют с легкостью, еще немыслимой два поколения назад. Параллельно со всех сторон появляются коллективные движения, которые отрицают всякую возможность для государства вмешиваться в общественную жизнь.

Разделение общества и государства

Из этого с очевидностью следует, что ни одно государство не могло бы отныне считаться представителем современности, прогресса и т. д. В силу этого неизбежным оказывается раскол между политической историей и собственно социологией, т. е. теми областями исследования, которые были столь тесно связаны в классической социологии.

Самым примечательным проявлением этого разъединения между способом функционирования общества и способом его изменения является японский опыт, особенно в восприятии американцев, в глазах которых он представляет чудовищный вызов. Если следовать повсеместно принятой концепции современности, то американское общество можно считать гораздо более современным, чем японское. В то же время следует признать второе более модернизаторским, чем первое, так как рассматриваемые за долгий послевоенный период экспансии темпы его роста в четыре раза выше, чем в Соединенных Штатах (впрочем, наполовину ниже, чем в самой Западной Европе)...

Американцы сами себя отождествляют и отождествляются другими с образом современности, такая точка зрения приемлема и сегодня, но при непременном условии разделения современности и модернизации, понятий, неразрывно связанных в классической модели социологии.

Япония создала высокоразвитую промышленность, используя и распространяя такие способы экономической и общественной организации, которые пророками современности считаются традиционалистскими и даже архаическими. Это вовсе не доказывает, что такая модель развития выше, чем другая, но заставляет провести четкое различие между двумя родами проблем,

относящимися, с одной стороны; к функционированию данного типа общественной организации, с другой – к исторической трансформации страны, или, если говорить конкретнее, различие проблем индустриального общества и проблем индустриализации.

Политическая жизнь все более и более отождествляется с управлением экономикой, а общественная жизнь – с областью культуры и проблемами личности. Вследствие этого традиционное поле социологии разделяется. С одной стороны, мы присутствуем при оживлении политической теории, которую долгое время ограничивала идея, что политические институты являются только отражением общественных сил и интересов. С другой стороны, общественная жизнь все менее и менее анализируется как система, управляемая структурой и внутренними законами организации. Она представляется сетью общественных отношений действующих лиц, руководствующихся по крайней мере столько же собственными проектами и стратегиями, сколько мотивами, продиктованными их ролями и статусами.

Итак, классическая социология ограничивалась изучением передовых западных обществ, оставив изучение других антропологам. Сегодня социология должна изучать три мира: к первому принадлежат передовые индустриальные общества Запада, ко второму – коммунистические страны, к третьему – страны Третьего мира.

Социология далека еще от четкого понимания это требования, несмотря на весь интерес некоторых больших сравнительных исследований (особенно Барингтона Мура и Рейхарда Бендикса) или исследований марксистской ориентации, например, Иммануила Валлерстайна. Мы называем еще социологами людей, которые изучают Европу или Северную Америку, и африканистами – тех, кто изучает Африку. Но сегодня те теории модернизации, которые выстраивают страны на общей лестнице модернизации, кажется, столь слепы к формам, путям и механизмам исторической трансформации, что в них можно видеть идеологическое выражение гегемонии Севера над Югом. В противовес материалистическому эволюционизму Запада в Третьем мире

все чаще заявляет о себе волюнтаристский и идеалистический культурализм.

Анализ социальной системы заменен в Третьем мире историей страны, а последняя подчинена идее национальной или региональной природы. Внутренние конфликты кажутся подчиненными внешним конфликтам национального и иностранного. Национальная независимость представляется гораздо более важной целью, чем свобода или равенство.

Сегодня в конце XX века кажется, что во всех частях мира государство – особенно коммунистическое или националистическое, но также и государство-предприниматель в больших капиталистических странах – заняло всю общественную сцену. Его господство кажется столь абсолютным, что многие спрашивают себя, не закончилась ли эра гражданских обществ и не входим ли мы снова в эпоху, когда господствует столкновение империй. Вот почему самым сильным стремлением социологов должно быть сегодня доказательство, что и в самых могучих империях социальная жизнь не исчезла, что она может возродиться повсюду и не может быть сведена к процессу исторического развития. И наоборот, необходимо доказать, что проблемы исторического существования страны не могут сводиться к внутренним социальным проблемам, т. е., что не может существовать целиком эндогенного процесса исторического изменения.

Общественные движения

...Общественное движение – это конфликтное действие, с помощью которого культурные ориентации, поле историчности трансформируются в формы общественной организации, определенные одновременно общими культурными нормами и отношениями социального господства.

Все более и более ускоренное ослабление понятия общества и самой классической социологии вынуждает нас выбирать между двумя путями: с одной стороны, социология чистого изменения, в которой понятие борьбы занимает важное место, с другой – социология действия, которая основывается на понятиях культурных моделей и общественных движений. Большая часть об-

щих споров о социологии может быть понята как конкуренция, конфликт или компромисс между этими тремя направлениями.

Классическая социология рождена в Великобритании, Германии, Соединенных Штатах, Франции, т. е. в странах, которые основали столь различные политические, экономические, культурные целостности, что можно было говорить не только об обществах, но и о социальных действующих лицах (например, профсоюзах или объединениях хозяев), национально определенных. Сегодня ситуация другая: многие действующие лица защищают свои интересы на рынках или в тех областях конкуренции и конфликтов, которые больше не определяются глобальной национальной реальностью, а зависят от сформировавшихся на международном уровне технологий, экономической конъюнктуры, стратегических конфликтов, культурных течений: Сегодня никакое общественное движение не может отождествить себя с совокупностью конфликтов и сил социального изменения, замкнутых в национальных рамках. Таким образом, поле борьбы становится все более автономным... по отношению к общественным движениям, а формы коллективного поведения стремятся все больше стать тем, что я назвал общественными антидвижениями.

Невозможно более осуществлять социологический анализ в рамках эволюционистского представления, которое предполагало переход от традиционного к современному, от механической солидарности к органической, от общности к обществу. Но также невозможно вследствие исчезновения гегемонии центральных капиталистических стран над миром отождествлять их историчность и их собственные общественные движения с универсальной историей, этапы которой якобы обязательны для всех стран.

Нужно, значит, порвать с классической идеей, которая отождествляла человеческое творчество с его результатами, историчность, определенную как разум и как прогресс, с господством над природой с помощью науки и техники. И, следовательно, нужно ввести в социологический анализ другую концепцию субъекта, которая делает акцент на дистанции между творчеством и его творениями, между сознанием и практикой. Ибо

если верно, что культурные модели трансформируются в социальную практику, пройдя через конфликты между противоположными общественными движениями, то им нужно еще освободиться от этой практики, чтобы конституироваться в качестве моделей инвестиции и творчества норм, что предполагает рефлексивность, отстраненность и, если употребить это столь глубоко укоренившееся в западной культурной традиции слово, сознание.

Понятие общественного движения неотделимо от понятия класса. Но общественное движение от класса отличается тем, что последний может быть целиком сведен к обстоятельствам, тогда как общественное движение – это действие субъекта, т. е. человека, который ставит под вопрос приведение историчности к определенной социальной форме. Очень долго изучение рабочего движения сводилось к изучению капитализма, его кризисов и конъюнктуры. Еще более крайний случай такого подхода представляет изучение общественных и национальных движений в Третьем мире в рамках анализа империализма и мировой экономической системы. В результате складывается даже впечатление, будто формирование массовых движений невозможно, их место как бы занимает вооруженная борьба, которую ведут либо партизаны, либо военизированные массы, руководимые революционной партией.

Начиная с момента, когда исчезает обращение к метасоциальному принципу и, следовательно, к идее о противоречии между обществом и природой, становится необходимо понять классы в качестве действующих лиц и рассматривать их не в связи с противоречиями, а в связи с конфликтами. Чтобы подчеркнуть это важное изменение, предпочтительнее говорить об общественных движениях, а не об общественных классах. Общественное движение – это одновременно культурно ориентированное и социально конфликтное действие некоего общественного класса, который определяется позицией господства или зависимости в процессе присвоения историчности, т. е. тех культурных моделей инвестиции, знания и морали, к которым он сам ориентирован.

Общественные движения никогда не изолированы от других типов конфликтов. Рабочее движение, ставящее под вопрос социальную власть хозяев индустрии, неотделимо от требований и давлений, имеющих целью увеличить влияние профсоюзов в экономических, социальных и политических решениях. Но на его существование указывает наличие элементов, не поддающихся переговорам, и, следовательно, невозможность для профсоюза, выступающего носителем рабочего движения, осуществлять чисто инструментальное действие, остающееся в пределах цен и преимуществ. Так называемый рыночный синдикализм не принадлежит к рабочему движению. В результате развиваются формы поведения, порывающие с синдикализмом; нелегальные забастовки, невыход на работу, усиленное ее торможение, акты насилия и саботажа, которые выдают присутствие рабочего движения в рыночном синдикализме или таком, в котором требования очень сильно институционализированы.

Мы слишком привыкли говорить о переходе класса «в себе» в класс «для себя», о той ситуации, какую испытывает сознание при переходе к политическому действию. В действительности не существует класса «в себе» не существует класса без классового сознания. Зато надо различать общественное сознание класса, т. е. общественное движение, которое всегда, по крайней мере диффузно, присутствует там, где имеется конфликт относительно социального присвоения главных культурных ресурсов, и политическое сознание, обеспечивающее переход общественного движения к политическому действию. Действие, направленное против социального господства, никогда не сводится к стратегии в отношении политической власти.

Сама культурная инновация – или сопротивление ей – не может создать общественного движения, ибо последнее, по определению, объединяет вместе и отношение к культурным ценностям, и сознание социального отношения господства. Но культурный конфликт может включать социальное измерение и, по крайней мере, одно положение он всегда содержит в себе: не существует культурной модели в себе, целиком независимой от способа осуществляемого в отношении нее господства. Между

чистым культурным конфликтом, возникшим, например, внутри научной или артистической общности, и культурным выражением прямого социального конфликта, существует обширное поле, занятое культурными движениями, которые одновременно характеризуются и оппозицией в отношении старой или новой культурной модели, и внутренним конфликтом между двумя способами социального употребления новой культурной модели.

Движение женщин является самым значительным в настоящее время культурным движением. С одной стороны, оно выступает против традиционного положения женщин и заодно изменяет наш образ субъекта. С другой – оно разделено между двумя тенденциями, представляющими фактически противоположные социальные силы. Одна из них, либеральная, выдвигает ценность равенства и привлекает лиц высокого социального положения: гораздо интереснее требовать доступа к медицинской или парламентской деятельности, чем к занятиям, не требующим квалификации. Другая тенденция радикальная, она выступает скорее за специфичность, чем за равенство, испытывая даже недоверие к ловушкам последней, и борется одновременно против социального и сексуального господства, то ли присоединяя деятельность женщин к пролетарскому движению, то ли разоблачая собственно сексуальное господство, то ли, наконец, противопоставляя реляционистскую концепцию общественной жизни, более близкую биопсихологическому опыту женщин, технократической концепции мужского происхождения.

Культурные движения особенно важны в начале нового исторического периода, когда политические действующие лица не являются еще представителями новых требований и общественных движений и когда, с другой стороны, изменения культурного поля вызывают глубокие дебаты о науке, экономических инвестициях и правах.

Наряду с общественными движениями в строгом смысле слова и культурными или, точнее, социокультурными движениями, нужно еще признать существование социоисторических движений. Последние располагаются не внутри поля историчности, как общественные движения, а в области перехода от од-

ного общественного типа к другому (перехода, самой исторически важной формой которого является индустриализация). Новый элемент состоит здесь в том, что конфликт завязывается вокруг управления развитием и что, следовательно, господствующим действующим лицом не является правящий класс, определенный его ролью в способе производства, а правящая элита, т. е. группа, которая руководит развитием и историческим изменением и определяется прежде всего отношением к государственному управлению.

КАСТЕЛЬС Мануэль
(CASTELLS Manuel)

(р. 1942)

Кастельс Мануэль (р. 9.02.1942, г. Хеллин, Испания) – один из самых известных современных европейских социологов. Окончил Мадридский университет, где получил докторскую степень в 1966 г. С 1967 по 1979 год преподавал социологию в университете г. Нантер (Франция), где получил звание профессора в 1972 г. В 1970–1990 гг. преподавал и вел исследовательскую работу во многих престижных университетах (Мадрида, Монреаля, Каракаса, Мехико, Женевы, Копенгагена, штата Гонконга, Сингапура, Тайваня, Амстердама, Барселоны, Токио и др.). Кастельс многократно бывал в СССР и России, участвовал в работе исследовательских групп в Московском и Новосибирском университетах. В 1979–1995 гг. был профессором социологии и социального планирования в Калифорнийском университете в г. Беркли (США), а с 1995 г. Кастельс – директор Центра западно-европейских исследований того же университета. Профессор Кастельс является также членом Высшего экспертного совета по проблемам информационного общества при Комиссии европейских сообществ и действительным членом Европейской академии с 1994 г.

Трилогия Кастельса «Информационная эра: экономика, общество и культура» (1996–1998) стала самой масштабной попыткой осмысления нынешнего состояния и путей развития человеческой цивилизации. Она состоит из книг: «Становление сетевого общества», «Могущество самобытности», и «Конец тысячелетия». В соответствии с принятым «сетевым» подходом в рамках постиндустриализма Кастельс

рассматривает формирующуюся сегодня в глобальном масштабе социальную структуру как сетевое общество. Его важнейшей чертой выступает не доминирование информации или знания, как у Белла, а изменение направления их использования, в результате чего главную роль в жизни людей обретают глобальные, «сетевые» структуры, вытесняющие прежние формы личной и вещной зависимости. Кастельс считает, что такое использование информации и знаний ведет к совершенно особой социальной трансформации, к возникновению «информационализма», причем значение данного перехода для истории человечества столь велико, что он не может быть сопоставлен ни с переходом от аграрного к индустриальному, ни с переходом от индустриального к сервисному хозяйству. Обращаясь к анализу социальной структуры возникающего общества, Кастельс фокусирует внимание на противостоянии социума и личности, причем отмечает, что их взаимоотношения с наступлением информационной эры не только не гармонизируются, но становятся все более напряженными. Мануэль Кастельс широко известен многочисленными работами по широкому кругу социологических проблем – от теории информационного общества до вопросов экологической безопасности и исследования мировой криминальной экономики.

Основные работы: «Экономический кризис и американское общество» (1980), «Город и городские массы» (1983), «Город в информационный век» (1989). Многие работы Кастельса отмечены международными премиями.

Предлагаемый ниже текст представляет собой фрагмент из первого тома трилогии – «Становление общества сетевых структур» (1996) и дает представление о взглядах Кастельса на социальные изменения в сетевом обществе. Кастельс предпринимает развернутый анализ современных тенденций, ведущих к формированию общества сетевых структур. Исходя из того, что информация – ресурс, который легче других проникает через преграды и границы, он рассматривает информационную эру как эпоху глобализации, средством и одновременно воплощением которой выступают сетевые структуры капитала, управления и информации – наиболее характерное явление современного мира.

СТАНОВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА СЕТЕВЫХ СТРУКТУР¹

Общество сетевых структур

Исследование зарождающихся социальных структур позволяет сделать следующее заключение: в условиях информационной эры историческая тенденция приводит к тому, что доминирующие функции и процессы все больше оказываются организованными по принципу сетей. Именно сети составляют новую социальную морфологию наших обществ, а распространение «сетевой» логики в значительной мере сказывается на ходе и результатах процессов, связанных с производством, повседневной жизнью, культурой и властью. Да, сетевая форма социальной организации существовала и в иное время, и в иных местах, однако парадигма новой информационной технологии обеспечивает материальную основу для всестороннего проникновения такой формы в структуру общества. Более того, я готов утверждать, что подобная сетевая логика влечет за собой появление социальной детерминанты более высокого уровня, нежели конкретные интересы, находящие свое выражение путем формирования подобных сетей: власть структуры оказывается сильнее структуры власти. Принадлежность к той иной сети или отсутствие таковой, наряду с динамикой одних сетей по отношению к другим, выступают в качестве важнейших источников власти и перемен в нашем обществе; таким образом, мы вправе охарактеризовать его как общество сетевых структур (*network society*), характерным признаком которого является доминирование социальной морфологии над социальным действием.

Прежде всего я хотел бы дать определение понятию сетевой структуры, коль скоро последняя играет столь важную роль в моей характеристике общества информационного века. Сетевая структура представляет собой комплекс взаимосвязанных узлов. Конкретное содержание каждого узла зависит от характера

¹ Кастельс М. Становление общества сетевых структур // Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология / под ред. В. Л. Иноземцева. – М.: Academia, 1999. – С. 494–505 (в сокр.).

той конкретной сетевой структуры, о которой идет речь. К ним относятся рынки ценных бумаг и обслуживающие их вспомогательные центры, когда речь идет о сети глобальных финансовых потоков. К ним относятся советы министров различных европейских государств, когда речь идет о политической сетевой структуре управления Европейским союзом. К ним относятся поля коки и мака, подпольные лаборатории, тайные взлетно-посадочные полосы, уличные банды и финансовые учреждения, занимающиеся отмыванием денег, когда речь идет о сети производства и распространения наркотиков, охватывающей экономические, общественные и государственные структуры по всему миру. К ним относятся телевизионные каналы, студии, где готовятся развлекательные передачи или разрабатывается компьютерная графика, журналистские бригады и передвижные технические установки, обеспечивающие, передающие и получающие сигналы, когда речь идет о глобальной сети новых средств информации, составляющей основу для выражения культурных форм и общественного мнения в информационный век.

Согласно закону сетевых структур расстояние (или интенсивность и частота взаимодействий) между двумя точками (или социальными положениями) короче, когда обе они выступают в качестве узлов в той или иной сетевой структуре, чем когда они не принадлежат к одной и той же сети. С другой стороны, в рамках той или иной сетевой структуры потоки либо имеют одинаковое расстояние до узлов, либо это расстояние вовсе равно нулю. Таким образом, расстояние (физическое, социальное, экономическое, политическое, культурное) до данной точки находится в промежутке значений от нуля (если речь идет о любом узле в одной и той же сети) до бесконечности (если речь идет о любой точке, находящейся вне этой сети). Включение в сетевые структуры или исключение из них, наряду с конфигурацией отношений между сетями, воплощаемыми при помощи информационных технологий, определяет конфигурацию доминирующих процессов и функций в наших обществах.

Сети представляют собой открытые структуры, которые могут неограниченно расширяться путем включения новых узлов,

если те способны к коммуникации в рамках данной сети, т. е. используют аналогичные коммуникационные коды (например, ценности или производственные задачи). Социальная структура, имеющая сетевую основу, характеризуется высокой динамичностью и открыта для инноваций, не рискуя при этом потерять свою сбалансированность. Сети оказываются институтами, способствующими развитию целого ряда областей: капиталистической экономики, основывающейся на инновациях, глобализации и децентрализованной концентрации; сферы труда с ее работниками и фирмами, основывающейся на гибкости и адаптируемости, сферы культуры, характеризуемой постоянным расчленением и воссоединением различных элементов; сферы политики, ориентированной на мгновенное усвоение новых ценностей и общественных умонастроений; социальной организации, преследующей своей задачей завоевание пространства и уничтожение времени. Одновременно морфология сетей выступает в качестве источника далеко идущей перестройки отношений власти. Подсоединенные к сетям «рубильники» (например, речь идет о переходе под контроль финансовых структур той иной империи средств информации, влияющей на политические процессы) выступают в качестве орудий осуществления власти, доступных лишь избранным. Кто управляет таким рубильником, тот и обладает властью.

Поскольку сети имеют множественный характер, рабочие коды и рубильники, позволяющие переключаться с одной сети на другую, становятся главными рычагами, обеспечивающими формирование лица общества наряду с руководством и манипулированием таким обществом. Сближение социальной эволюции с информационными технологиями позволило создать новую материальную основу для осуществления таких видов деятельности, которые пронизывают всю общественную структуру. Эта материальная основа, на которой строятся все сети, выступает в качестве неотъемлемого атрибута доминирующих социальных процессов, определяя тем самым и саму социальную структуру.

Таким образом, можно говорить о том, что новые экономические формы строятся вокруг глобальных сетевых структур

капитала, управления и информации, а осуществляемый через такие сети доступ к технологическим умениям и знаниям составляет в настоящее время основу производительности и конкурентоспособности. Компании, фирмы и, во все большей степени, другие организации и институты объединяются в сети разной конфигурации, структура которых знаменует собой отход от традиционных различий меж крупными корпорациями и малым бизнесом, охватывая секторы и экономические группы, организованные по географическому принципу. Поэтому трудовые процессы обретают все более индивидуализированный характер, происходит фрагментизация деятельности в зависимости от производственных задач с ее последующей реинтеграцией для получения конечного результата. Это находит свое проявление в осуществлении взаимосвязанных задач в различных точках земного шара, что означает новое разделение труда, основывающееся на возможностях и способностях каждого работника, а не на характере организации данной задачи.

Ориентация на сетевые формы управления и производства отнюдь не означает заката капитализма. Общество сетевых структур, в любых его институциональных воплощениях, в настоящее время является буржуазным обществом. Более того, капиталистический способ производства сегодня впервые определяет социальные взаимоотношения повсюду в мире. Однако эта разновидность капитализма коренным образом выделяется на фоне своих исторических предшественников. Ее отличают два главных признака: она носит всемирный характер и в значительной степени строится вокруг сети финансовых потоков. Капитал работает в глобальном масштабе и в реальном времени, причем он реализуется, инвестируется и накапливается прежде всего в сфере обращения, т. е. как финансовый капитал. Последний всегда составлял основную часть капитала, однако сегодня мы являемся свидетелями несколько иного феномена: дальнейшее накопление капитала и финансовая деятельность все чаще осуществляются на глобальных финансовых рынках; из этих сетевых структур притекают инвестиции во все области хозяйственной деятельности: информационный сектор, сферу услуг, сель-

скохозыайственное производство, здравоохранение, образование, обрабатывающую промышленность, транспорт, торговлю, туризм, культуру, рациональное использование окружающей среды и т. д. <...>

Некоторые виды деятельности оказываются более доходными, чем другие, проходя через различные циклы, переживая взлеты и падения рынка, испытывая влияние глобальной конкуренции. При этом вне зависимости от того, что именно обеспечивает получение прибыли (производители, потребители, технология, природа или институты), она попадает в метасеть финансовых потоков, где любой капитал уравнивается в условиях обращенных в продукт демократии денег. В этом вселенском казино, которым управляют компьютеры, различные виды капитала расцветают или, наоборот, обесцениваются, определяя при этом судьбу корпораций, семейных сбережений, национальных валют и региональных экономик.

Общий итог равен нулю, поскольку выигрыш победителей оплачивают проигравшие. Однако выигравшие и проигравшие меняются ежегодно, ежемесячно, ежедневно, ежесекундно, и эти перемены отражаются на мире компаний, рабочих мест, зарплат, налогов, общественных служб, на том самом мире, который подчас считают «реальной экономикой» и который я бы предпочитал называть «нереальной экономикой», поскольку в век капитализма сетевых структур настоящая реальность, где делают или теряют, размещают или сберегают деньги, находится в финансовой сфере. Все другие виды деятельности (за исключением деятельности во все более сокращающемся государственном секторе) выступают либо в качестве основы для получения необходимых свободных средств, которые можно было бы вложить в глобальные финансовые потоки, либо же в качестве результата уже помещенных сюда капиталовложений.

Однако чтобы финансовый капитал мог работать и конкурировать, он должен опираться на знания и информацию, получающие обеспечение и распространение благодаря информационной технологии. Таково конкретное содержание взаимосвязи между капиталистической формой производства и информационной

формой развития. Капитал, которым распоряжаются чисто по наитию, всегда подвержен опасностям и в конечном счете размывается под воздействием элементарной статистической вероятности в условиях произвольных колебаний финансовых рынков. Процесс его накопления заключается ни в чем ином, как во взаимодействии между выгодным размещением средств в соответствующих фирмах и использованием накопленных прибылей для их обогащения в условиях глобальных финансовых сетей. Таким образом, накопление капитала связано с производительностью, конкурентоспособностью и наличием необходимой информации относительно инвестиций в каждом секторе экономики.

Фирмы, занимающиеся разработкой высоких технологий, зависят от финансовых средств, без которых они неспособны продолжать свой бесконечный поиск инноваций, обеспечивая производительность и конкурентоспособность. Финансовый капитал, действуя непосредственным образом через банковские институты либо же опосредованно, через динамику фондовых рынков, определяет судьбу высокотехнологичных отраслей. С другой стороны, технология и информация выступают в качестве решающих средств, обеспечивающих получение прибылей и завоевание рынка. Таким образом, финансовый капитал и промышленный капитал, связанный с высокими технологиями, оказываются во все большей взаимозависимости, пусть и сохраняя свою специфику в том, что касается формы деятельности каждой из отраслей.

Итак, капитал либо изначально носит глобальный характер, либо обретает его с целью приобщения к процессу накопления в условиях экономики, строящейся вокруг электронных сетей. По принципу сетей фирмы организуют как свою внутреннюю структуру, так и внешние связи. Благодаря этому потоки капитала и вызываемая ими к жизни деятельность, связанная с производством, управлением и распределением, растекаются по взаимосвязанным сетям самой различной конфигурации. Но кто же тогда в этих **новых** технологических, организационных и экономических условиях выступает в качестве капиталистов? Вряд ли в их число входят юридические владельцы средств производства, которыми могут оказаться, к примеру, ваш или мой пенси-

онный фонд либо прохожий на улице Сингапура, вкладывающий средства в растущий аргентинский рынок с помощью банковского автомата. К числу капиталистов нельзя отнести и менеджеров корпораций, как это предлагают сделать некоторые авторы, ибо они контролируют конкретные корпорации и конкретные участки **глобальной** экономики, однако ничего не знают о систематических, повседневных подвижках капитала в финансовых сетях, развитии знаний в сетях информационных или об эволюции стратегий в многогранном комплексе сетевых предприятий.

Менеджеры бывают представителями верхушки глобальной системы капитала; так обстоит дело в японских корпорациях. Их можно выявить и в рамках традиционной буржуазии, например, в зарубежных сетевых структурах китайского бизнеса, причем у этой категории прослеживаются отчетливо выраженные культурные связи, зачастую семейные или личные, наряду с общими ценностями и, подчас, политическими контактами. В Соединенных Штатах сложился причудливый портрет современного капиталиста, у которого одновременно просматриваются черты традиционных банкиров; спекуляторов-нуворишей; гениев, обернувшихся предпринимателями и самостоятельно поднявшихся на вершину социальной лестницы; магнатов глобального масштаба и менеджеров многонациональных корпораций.

В других случаях в качестве капиталистов выступают государственные корпорации (примером могут служить французские банки и компьютерные фирмы). В России бывшие представители коммунистической номенклатуры конкурируют с молодыми «дикими» капиталистами, стремясь урвать кусок дарственной собственности в условиях становления самой молодой провинции капиталистического мира. И во всех странах деньги, отмываемые самыми различными криминальными структурами, стекают в глобальную финансовую сеть, единовластную хозяйку всех накоплений.

Итак, речь идет о капиталистах, которые стоят во главе всех и всяческих экономик и одновременно распоряжаются людскими жизнями. Но можно ли объединить их в класс? Ни социологически,

ни экономически такой категории, как глобальный класс капиталистов, не существует. Вместо него имеется взаимосвязанная, глобальная система капитала, движения и изменчивая логика которого конечном счете определяют экономику и сказываются на судьбе любого общества. Таким образом, над многообразием буржуа во плоти, объединенных в группы, восседает безликий обобщенный капиталист, сотканный из финансовых потоков, управляемых электронными сетями. Это явление нельзя сводить к простому выражению абстрактной логики рынка, поскольку этот феномен не вполне подчиняется законам спроса и предложения: он реагирует на всякого рода встряски, на не поддающиеся прогнозу подвижки, обусловленные психологическими и социальными факторами в не меньшей степени, чем экономическими процессами. Эта глобальная сеть капиталистических сетей одновременно объединяет и ставит под свой контроль конкретные центры накопления капитала, определяя структуру поведения капиталистов на основе их подчинения самой себе. Отдельные же капиталисты следуют своим конкурирующим либо, напротив, взаимодополняющим стратегиям, двигаясь по контурам и цепям этой глобальной сети, оказываясь, тем самым, в конечном счете в зависимости от внечеловеческой логики произвольно обработанной информации, подчиняющейся компьютерам.

Это капитализм в его наиболее чистом выражении, живущий только для денег и ради денег и производящий товары ради производства других товаров. Однако деньги практически окончательно потеряли свою зависимость от производства, включая производство услуг; они ушли в сети электронных взаимодействий более высокого порядка, которые едва ли понятны даже тем, кто выступает в качестве их менеджеров. Капитализм по-прежнему остается правящей системой, однако капиталиста во плоти можно встретить только случайно, а капиталистические классы ограничены конкретными регионами мира, где они процветают в качестве придатка к мощному процессу, воля которого находит свое проявление в колонках биржевых ведомостей и в рейтинге фьючерсных сделок и опционов, мигающих на экранах компьютеров по всему миру.

Что же происходит с такой категорией, как труд, как социальные производственные отношения, в этом новом мире информационного капитализма? В пространстве финансовых потоков работники не исчезают, а работы остается в избытке. Вопреки апокалипсическим пророчествам, основывающимся на примитивном анализе, сегодняшний мир характеризуется большим числом рабочих мест и более высокой долей занятости самодостаточного населения, чем когда-либо в истории. В основном это объясняется широким привлечением женщин к оплачиваемому труду во всех индустриально развитых обществах, причем этот контингент рынку труда удалось в целом абсорбировать без особых проблем. Таким образом, распространение информационных технологий, несмотря на все изменения структуры труда и уничтожение определенных рабочих мест, не привело и вряд ли в будущем приведет к массовой безработице, даже несмотря на ее рост в Европе, который, скорее, больше связан с социальными институтами, чем с новой производственной системой.

Однако, несмотря на то, что работа, работники и трудящиеся классы существуют и даже получают все большее распространение в мире, социальные взаимоотношения между трудом и капиталом претерпевают коренные преобразования. Капитал по самой своей сути носит глобальный характер, а труд, как правило, — локальный. Историческая реальность развития информационных технологий такова, что ведет к концентрации и глобализации капитала, причем именно благодаря непреодолимому децентрализующему воздействию сетевых структур. Труд оказывается расчлененным в зависимости от осуществляемых операций, раздробленным по организационному признаку, диверсифицированным в аспекте наличия или отсутствия работы, отдельным в условиях коллективной деятельности. Сети сливаются друг с другом, образуя метасеть капитала, объединяющую капиталистические интересы на глобальном уровне, вне зависимости от сфер и участков деятельности; это не может не сопровождаться конфликтами, однако подчиняется одной и той же общей логике.

Труд же теряет свою коллективную самобытность, становится все более индивидуализированным с точки зрения возможностей

работников, условий труда, заинтересованности в нем и перспектив на будущее. Кто владелец? Кто изготовитель? Кто хозяин? Кто слуга? Эти понятия становятся все более размытыми в условиях системы производства, характеризуемой меняющейся конфигурацией, совместной работой, созданием сетей, привлечением внешних источников, использованием субподрядов. Вправе ли мы утверждать, что стоимость создается отупевшим от работы на своем компьютере изобретателем новых финансовых средств, чей труд отчуждается брокерами корпораций? Кто участвует в создании стоимости в электронной промышленности? Изобретатель чипа в Кремниевой долине или же девушка, работающая на конвейере фабрики где-то в Юго-Восточной Азии? Несомненно, они оба, хотя и совершенно в разной пропорции. Так что же, их обоих можно отнести к новому рабочему классу? Тогда почему в это понятие не зачислить и специалиста по компьютерам в Бомбее, которого на основе субподряда привлекают для разработки программы создания того или иного конкретного дизайна? Почему не включить сюда и разъездного менеджера, который мотается или просто сидит на связи между Калифорнией и Сингапуром, занимаясь урегулированием вопросов производства и сбыта электронных чипов? В рамках комплексных, глобальных сетей, которые взаимодействуют друг с другом, производственные процессы объединяются в одно целое. Однако одновременно происходит и дифференциация трудовых процессов, расслоение работников, расчленение труда в глобальных масштабах.

Таким образом, если капиталистические производственные отношения по-прежнему сохраняются (ведь во многих экономиках доминирующая логика сегодня в гораздо большей мере носит капиталистический характеру, чем когда-либо), то капитал и труд оказываются разнесенными в разное пространство и время: пространство потоков и пространство территорий, время компьютерных сетей, сжатое до мгновения, и почасовое время повседневной жизни. Они живут друг за счет друга, но друг с другом не связаны, ибо жизнь глобального капитала все меньше и меньше зависит от конкретного труда и все больше и больше

от накопленного объема труда как такового, которым управляет небольшой мозговой центр, обитающий в виртуальных дворцах глобальных сетей. За этой двойственностью кардинального характера по-прежнему кроется значительный объем социального многообразия, слагаемыми которого служат ставки инвесторов, усилия рабочих, мастерство человека, людские страдания, найденная и потерянная работа, повышение и понижение по службе, конфликты и переговоры, конкуренция и заключение временных союзов; обычная жизнь продолжается.

Но на более глубоком уровне новой социальной реальности производственных отношений в их прежнем виде больше не существует. Капитал стремится уйти в свое гиперпространство, где он имеет возможность беспрепятственного обращения, тогда как труд теряет свое коллективное лицо, растворяясь в бесчисленном множестве индивидуальных форм существования. В условиях сетевого общества капитал скоординирован в глобальном масштабе, тогда как труд индивидуализирован. Борьба между многообразными капиталистами и самыми различными рабочими классами перетекает в категорию более глубинного противоречия между голой логикой потоков капитала и культурными ценностями человеческого бытия.

Процессы преобразований, находящие свое выражение в идеальном типе сетевого общества, выходят за пределы сферы социальных и технических производственных отношений: они глубоко вторгаются в сферы культуры и власти. Проявления культурного творчества абстрагируются от исторических и географических факторов. Их обуславливают скорее сети электронных коммуникаций, взаимодействующие с аудиторией и в конечном счете формирующие оцифрованный, аудиовизуальный гипертекст. Коммуникация в основном распространяется через диверсифицированную, всеобъемлющую систему средств информации, и поэтому политическая игра все чаще и чаще разыгрывается в этом виртуальном пространстве. Лидерство становится персонализированным, а путь к власти лежит через создание имиджа. Речь не идет о том, что любая политика может быть низведена до уровня средств информации, как она не идет и о том,

что ценности и интересы не испытывают влияния со стороны политики. Однако вне зависимости от того, о каких политических деятелях идет речь, они оказываются вовлеченными в игру, ведущуюся через средства массовой информации и самими средствами массовой информации. Зависимость от языка средств информации, имеющих под собой электронную основу, приводит к далеко идущим последствиям для характеристик, организации и целей политических процессов, политических деятелей и политических институтов. В конечном счете власть, которой располагают сети средств информации, занимает второе место после власти потоков, воплощенной в структуре и языке этих сетей.

На более глубоком уровне происходит преобразование материальных основ общества, организованных вокруг пространства, которое пронизано потоками и где отсутствует время. За этой метафорой стоит серьезная гипотеза: доминирующие функции организуются в сетевые структуры в пространстве потоков, которое объединяет их по всему миру, одновременно разобщая второстепенные функции и самих людей в ином пространстве, состоящем из локалий, которые все больше и больше разделены и оторваны друг от друга. Безвременье оказывается результатом отрицания времени, настоящего и будущего, в сетевых структурах пространства потоков. Часовое же время, количественная характеристика и ценность которого определяются для каждого процесса по-разному, в зависимости от его положения в сети, по-прежнему сохраняет свою действенность в отношении второстепенных функций и конкретных локалий.

Конец истории, нашедшей свое воплощение в бесконечном обороте компьютеризированных финансовых потоков и в завершающихся в мгновение ока «хирургических» войнах, подминает под себя биологическое время нищеты и механическое время труда на производстве. Социальное построение новых форм пространства и времени ведет к развитию метасети, которая отключает второстепенные функции, подчиняет социальные группы и ведет к обесцениванию целых территорий. В этом процессе образуется дистанция между метасетью и большинством отдельных людей, видов деятельности и локалий по всему миру.

При этом ни люди, ни локалии, ни отдельные виды деятельности не исчезают; исчезает их структурное значение, переходящее в незнакомую ранее логику метасети, где формируются ценности, создаются культурные коды и кодексы и принимаются решения, связанные с властью. Общество сетевых структур, выступая в качестве нового социального порядка, большинству людей все чаще и чаще видится как метасоциальный беспорядок, как автоматизированная, произвольная последовательность событий, следующая неконтролируемой логике рынка, технологий, геополитических факторов или биологической детерминанты.

С точки зрения более широкой исторической перспективы общество сетевых структур представляет собой качественное изменение в жизни человека. Если мы посмотрим на старую социологическую традицию, согласно которой общественная деятельность на изначальном уровне может быть понята как структура изменчивых взаимоотношений между природой и культурой, мы убедимся, что действительно вступили в новую эпоху.

Первая модель взаимосвязей между этими двумя диаметрально противоположными полюсами людского бытия на протяжении тысячелетий характеризовалась господством природы над культурой. Кодексы социальной организации служили делу борьбы за выживание перед лицом внешних необузданных сил; об этом свидетельствует такая наука, как антропология, проследившая кодексы общественной жизни вплоть до корней формирования нашей биологической сущности.

Следующий тип взаимоотношений сформировался на заре современной эпохи. Он связан с промышленной революцией и с победой разума, когда культура возобладала над природой. Наше общество сформировалось тогда, когда человечество скинуло иго природных сил и одновременно изобрело свои собственные формы подчинения и эксплуатации.

Сегодня мы вступаем в новую эпоху, когда культура настолько подчинила себе природу, что ее приходится искусственно восстанавливать в качестве одной из культурных форм: именно в этом, по сути, заключается смысл экологических движений. Мы приблизились к созданию чисто культурной структуры

социальных взаимодействий. Именно поэтому информация стала основным компонентом нашей социальной организации, а потоки идей и образов составляют основную нить общественной структуры. Это отнюдь не означает, что история завершилась счастливым примирением человечества с самим собой. На деле все обстоит совсем иначе: история только начинается, если понимать под ней то, что после тысячелетий доисторической битвы с природой, сначала выживая в борьбе с ней, а затем покоряя ее, человеческий вид вышел на такой уровень знаний и социальной организации, который дает нам возможность жить в преимущественно общественном мире. Речь идет о начале иного бытия, о приходе нового, информационного века, отмеченного самостоятельностью культуры по отношению к материальной основе нашего существования. Но вряд ли это может послужить поводом для большой радости, ибо, оказавшись в нашем мире наедине с самими собой, мы должны будем посмотреть на свое отражение в зеркале исторической реальности. То, что мы увидим, вряд ли нам понравится.

БЕК Ульрих
(BECK Ulrich)
(р. 1944)

Ульрих Бек (15.05.1944, Штольп, Германия) – немецкий социолог и политический философ. С 1966 г. изучал социологию, философию, психологию и политологию в Мюнхенском университете. В 1972 г. там же защитил диссертацию, получил ученую степень доктора философии и был приглашен работать в исследовательском подразделении университета, при кафедре специалиста по социологии труда и социальной структуры К. М. Больте. С 1979 г. – доцент. С 1979 г. он преподавал социологию в Мюнстерском университете, университете Бамберга и Эссена. С 1992 г. – профессор социологии и директор Института социологии при Мюнхенском университете, а также Лондонской школы экономики. С 1999 г. Бек – руководитель программы «Возвращающаяся современность» Немецкого научно-исследовательского общества.

Бек – автор концепций рефлексивной модернизации и общества риска, которые принесли ему широкую известность, как и работы по периодизации эпохи модерна и всестороннему исследованию глобализации. В последние годы он разработал теорию космополитизма. В начале своей карьеры Бек занимался социологией труда. Сегодня он исследует изменения в условиях труда в мире глобальных капиталистических отношений, снижения влияния профсоюзов, изменчивость труда, экологические проблемы, индивидуализацию труда. Главная его тематика связана с глобализацией. Бек ввел в социологический оборот такие понятия, как «общество риска», «вторая модернизация», «рефлексивная модернизация», «бразилизация».

В 1996 г. университет г. Юваскюле (Финляндия) присудил ему почетную докторскую степень. В том же году он был отмечен премией за заслуги в области культуры Мюнхена, а в 1997 г. – наградой Германно-Британского Форума. Работая в Мюнстере, вместе с влиятельным

немецким социологом Х. Гартманом, он начал издавать журнал «Soziale Welt» («Социальный мир»), а с 1982 г. стал его ответственным редактором.

Основные работы, переведенные на русский язык: «Общество риска. На пути к другому модерну» (2000), «Что такое глобализация?» (2001), «Власть и ее оппоненты в эпоху глобализма. Новая всемирно-политическая экономия» (2007), «Космополитическое мировоззрение» (2008).

Публикуемый текст является сокращенной версией статьи Бека «Живя в мировом обществе риска и считаясь с ним. Космополитический поворот» (журнал ПОЛИС. 2012. № 5. С. 44–58). Основная идея статьи состоит в утверждении, что в современном мире риска национализм становится врагом нации. Вот почему космополитизация представляет собой и перспективу исследования, и политическую реальность, и нормативную теорию. Это самая востребованная критическая теория нашего времени, так как она бросает вызов такой фундаментальной истине истории, как национальное.

БЕК УЛЬРИХ

ЖИЗНЬ И ВЫЖИВАНИЕ В ОБЩЕСТВЕ ВСЕМИРНОГО РИСКА¹

Когда рушится мировой порядок, начинаются попытки анализа, хотя, кажется, они не имеют отношения к тому типу социальной теории, которая превалирует в настоящее время. Теории, кичащейся универсалистской отстраненностью и сомнамбулической уверенностью, витающей высоко над эпохальными тенденциями перемен.

Вдумайтесь в смысл «космополитических событий», которые преобразуют мир – 11 сентября 2001 г., обостряющийся финансовый кризис, усугубляющееся изменение климата, ядерная катастрофа в Фукусиме, последствия которой ощутимы до сих пор, продолжающаяся «арабская весна», затяжной упадок евро, бессрочное движение «Оккупируй Уолл-стрит». Все эти события можно охарактеризовать с помощью двух общих признаков: (1) внезапность, означающая, что они не подпадают под обще-

¹ Бек Ульрих. Живя в мировом обществе риска и считаясь с ним. Космополитический поворот // ПОЛИС. – 2012. – № 5. – С. 44–58 (в сокр.). Пер. с нем. В. С. Малахова.

принятые политические и социологические категории и находятся за пределами нашего воображения; (2) транснациональная сущность, глобальность масштаба и последствий.

Отсюда вопрос: правда ли, что универсалистский социальный анализ (с позиций структурализма, интеракционизма, марксизма или критической, а может быть, системной теории) устарел и отдает провинциализмом? Устарел, потому что исключает то, что очевидно – сдвиг парадигмы в современном обществе и политике. Провинциален, потому что абсолютизирует (исходя из ложных предпосылок) опыт западноевропейской и американской модернизации, искажая тем самым социологический взгляд на ее специфику.

Недостаточно сказать, что для довершения картины мира, предлагаемой европейской и мировой социологией в целом, понимание модернизации необходимо дополнить представлением о положении дел в других обществах. Скорее речь идет о том, чтобы нам, европейцам, «депровинциализироваться» – иными словами, научиться смотреть глазами других – в качестве социологического метода. И это я называю поворотом к космополитизму в социальной и политической теории и исследованиях.

Сделаем одну оговорку. Космополитизм – концепция, имеющая много значений, особенно в российском контексте; космополитизм, естественно, не означает «непатриотичный настрой и поведение», как Сталин определил его в политическом смысле. В теоретическом и эмпирическом смысле я рассматриваю «поворот к космополитизму» как ответ на гносеологический вызов глобализации: то есть то, как мы можем понять и анализировать новую взаимосвязанность мира. Иными словами: смотреть на себя глазами других – в плане методологии.

Предлагаю рассмотреть данный тезис в нескольких аспектах.

Во-первых, поставим под сомнение одну из наиболее прочно укоренившихся систем взглядов на общество и политику, одинаково присущую и социальным акторам, и ученым-обществоведам, – методологический национализм. Он приравнивает современное общество к национальному государству, ограниченному территорией.

Во-вторых, рассмотрим, что понимать под «космополитизацией»? На этот вопрос лучше всего ответить при помощи парадигмального примера из области глобальной трансплантологии.

В-третьих, что нового в обществе всемирного риска?

В-четвертых, представления о том, что такое новые космополитические сообщества риска, и реальность – на примере изменения климата.

Вывод: В обществе глобальных рисков национализм становится врагом нации. Следовательно, *космополитизация* – отправная точка для исследований, политическая реальность и нормативная теория.

Критика методологического национализма

Методологический национализм исходит из того, что национальное государство и общество суть «естественные» социальные и политические формы современного мира. То есть человечество естественным образом разделяется на ограниченное число наций, внутренне организующихся в виде национальных государств и устанавливающих внешние границы, чтобы отличаться от других национальных государств. Противопоставление национального и интернационального представляет собой фундаментальную категорию политической организации. Действительно, наши политические и общественно-научные референтные рамки уходят корнями в концепцию национального государства. Воображение политиков и социологов формируется под влиянием принятой национальной точки зрения на общество и политику, законы, правосудие и историю. Именно методологический национализм препятствует тому, чтобы общественные и гуманитарные науки проникли в суть того, что определяет политическую динамику мирового сообщества риска или Европы риска.

Там, где этого убеждения придерживаются социальные или политические акторы, я говорю о «национальной точке зрения»; там, где это убеждение принадлежит эксперту в области общественных наук, я говорю о «методологическом национализме». Различие взглядов социального актора и ученого-обществоведа очень важно, поскольку между ними существует не логическая,

а лишь историческая связь. И только эта историческая связь — между социальными акторами и учеными-обществоведами — порождает аксиоматику методологического национализма. Методологический национализм — не второстепенная проблема или незначительное заблуждение. Он включает в себя как привычный порядок сбора/обработки данных, так и базовые концепции современной социологии (общество, класс, государство, демократия, семья, воображаемое сообщество и т. д.).

Очевидно, что в XIX веке европейская социология возникла и формировалась в условиях национальной парадигмы, и любые космополитические настроения подавлялись ужасами великих войн. В рамках методологического национализма Эмиля Дюркгейма братство становится солидарностью и национальной интеграцией. Он, конечно, имеет в виду интеграцию национально-го общества — Франции — даже не упоминая о ней (но верно и то, что и Дюркгейм, и Огюст Конт одновременно говорили о космополитизме как о возможном развитии современного общества в будущем). Социология Макса Вебера включала сравнительное изучение экономической этики и мировых религий, но политическим источником вдохновения его социологии является нация и национальное государство.

Критику методологического национализма не следует подменять тезисом о конце национального государства. Национальные государства (как показывают исследования) будут и дальше процветать или преобразовываться в транснациональные государства (например, Европейский союз). Решающий момент состоит в том, что национальная организация как структурирующий принцип действия в обществе и политике не может больше служить точкой отсчета для наблюдателя-обществоведа. Даже тенденцию ренационализации или ретнификации в Западной или Восточной Европе и других частях мира невозможно понять вне космополитической перспективы. В этом смысле общественные науки способны адекватно реагировать на вызовы глобализации, только если им удастся преодолеть методологический национализм и разработать основы новоявленной космополитической общественной науки.

Для того чтобы преодолеть методологический национализм, нам нужен поворот к космополитизму, космополитическое видение перспективы.

Что подразумевается под «космополитизацией»?

Мы живем в эпоху не космополитизма, а космополитизации: «глобальный другой» находится среди нас. Понятие космополитизации сплошь и рядом встречает непонимание и неверное истолкование. Наилучший способ осмыслить его – это привести парадигмальный пример из области глобальной трансплантологии. Победа трансплантологии в хирургии стерла все этические барьеры медицины и проторила путь теневой экономике, которая поставляет на мировой рынок «свежие органы». В мире вопиющего неравенства нет недостатка в потерявших надежду людях, готовых продать почку, часть печени, легкое, глаз и даже семенник за гроши. Судьба обреченных пациентов, нуждающихся в органах, необъяснимым образом переплелась с судьбой столь же отчаявшихся доноров, поскольку каждая из этих групп ищет способ выживания. Так возникает то, что я называю реально существующей космополитизацией в чрезвычайных обстоятельствах.

Эта банальная, принудительная, протекающая далеко не в чистом виде космополитизация «свежих почек» образовала перемычку между Севером и Югом, центром и периферией, имущими и неимущими. В телах отдельных индивидуумов все переплавляется: континенты, расы, классы, нации и религии. Почка мусульманина очищает кровь христианина. Представитель белой расы дышит с помощью легкого, когда-то принадлежавшего чернокожему. Белокурый менеджер смотрит на мир глазами африканского оборванца. Католический священник выживает благодаря части печени, вырезанной у проститутки из бразильской фавелы. Тела богатых начинают напоминать лоскутное одеяло. Бедные же, напротив, становятся настоящими (с одним глазом или одной почкой) или потенциальными депозитариями органов. Продажа органов по частям – их способ страхования жизни. А на другом конце цепочки эволюционирует био-политический

«гражданин мира» – белый индивид мужского пола, стройный или толстый, с почкой индуса или глазом мусульманина.

Этот пример иллюстрирует то, что я подразумеваю под термином «космополитизация». Глобальные бедные не просто рядом с нами, глобальные бедные внутри нас; и по одной этой причине уже больше нет «глобального другого».

Факты космополитизации – это, безусловно, предмет общественных наук, поэтому важно провести четкое разграничение между философским космополитизмом, который рассматривает нормы, и социологической космополитизацией, которая имеет дело с фактами.

Космополитизм в философском понимании Иммануила Канта и Юргена Хабермаса означает нечто действенное, задачу, сознательное решение, то, что определенно является ответственностью элит и осуществляется сверху. Сегодня, с другой стороны, разворачивается космополитизация банальная и протекающая не в чистом виде – непреднамеренная, незаметная, развивающаяся подспудно, но мощно и агрессивно за фасадами существующих национальных пространств, суверенных территорий и этикетов. Она охватывает все – от верхушки общества до повседневной жизни семей, ситуаций на работе, индивидуальных карьер и живых организмов, хотя над этим еще развешаются государственные флаги, а позиции государств, национальная идентичность и национальные формы сознания даже укрепляются.

Это как раз случай общества всемирного риска

Почему понятие «общество всемирного риска» так важно для осмысления социальной и политической динамики и преобразований в начале XXI века? В сегодняшнем мире аккумулируются значительные риски – ядерный, экологический, финансовый, военный, террористический, биохимический и информационный. В той степени, в какой присутствие рисков ощущается повсеместно, возможны только три варианта реагирования: отрицание, апатия и трансформация.

Отрицание вписывается в современную культуру, но игнорирует политический риск, с ним связанный; это очевидно на примере

ядерной энергии после Фукусимы. В эпоху постмодернизма на смену апатии приходит нигилистическая напряженность. Трансформация характеризует проблему, которую отражает понятие «общество всемирного риска»: как множество ожидаемых вариантов рукотворного будущего и связанных с ними опасных последствий влияют на восприятие, условия жизни и институты современных обществ и трансформируют их? Один из самых ярких примеров – это, несомненно, мировой финансовый кризис и смятение, охватившее Европу и весь мир.

Прежде всего следует разграничить понятия риск и катастрофа. Риск не означает катастрофу. Риск – это ожидание катастрофы. Риски – это проецирование будущего в настоящее, тогда как подлинный характер будущих катастроф в принципе неизвестен. Без техник визуализации, символических форм, средств массовой информации риски ничего собой не представляют. Таким образом, глобальные риски – это в действительности риски, созданные СМИ в глобальном масштабе.

В социологическом и политическом смысле это означает: если есть ожидание разрушений и бедствий, возникает необходимость действовать. Предчувствие угрозы будущих катастроф в настоящем (и кризис евро опять-таки живой пример) приводит к всевозможным потрясениям на уровне национальных и международных институтов и в повседневной жизни. С политической точки зрения глобальные риски создают глобальное общественное мнение, мобилизующее людей, невзирая на любые границы – государственные, религиозные, этнические и т. п.

Что же нового в обществе всемирного риска? Современные общества до основания сотрясает глобальное предчувствие глобальных катастроф (изменение климата, финансовый кризис). Такое восприятие глобализированных, искусственно созданных рисков и неопределенности характеризуется тремя признаками:

Делокализация. Причины и следствия описанного восприятия не ограничиваются одной географической местностью, в принципе они присутствуют везде.

Невозможность просчитать. Их последствия не поддаются подсчету в принципе; в итоге это вопрос «гипотетических»

или «виртуальных» рисков, которые не в последнюю очередь базируются на стимулируемом с научных позиций незнании и нормативном несогласии.

Невозместимость. Мечты о безопасности, которые были присущи европейскому модернизму XX века, основывались на научной утопии, которая состояла в том, чтобы сделать небезопасные последствия принятия решений контролируемым процессом; аварии могли происходить постольку, поскольку считалось, что ущерб от них можно компенсировать. Если климат изменился необратимо, если достижения в генетике позволяют необратимо воздействовать на само существование человека, если происходит крупная авария седьмого уровня (Чернобыль и авария на АЭС «Фукусима»), тогда уже поздно. С учетом нового качества угроз человечеству логика компенсации нарушается, на смену ей приходит принцип «предосторожность через превентивные меры».

Можно ли представить себе и реализовать новые «космополитические сообщества риска»?

Ключевое понятие космополитических сообществ риска проистекает из работы Бенедикта Андерсона (1983) о подъеме национальных государств как «воображаемых сообществ». Как показал Андерсон, национализм формируется не столько через прямые столкновения, сколько через осознание того, что приобретаемый человеком жизненный опыт и события, которые на него влияют, схожи с тем, что переживают другие люди, находящиеся далеко от него. Андерсон ввел в употребление термин «воображаемые сообщества», чтобы показать, как строится национальная идентичность. Моя цель – расширить это понятие, попутно отвечая на следующий вопрос: как сделать «воображаемые космополитические сообщества риска» эффективным инструментом, призванным объяснить запутанные социальные, экономические и политические последствия изменений климата? Чтобы разобраться с этим вопросом, необходимо сделать следующие три замечания.

Первое. Динамика изменений климата сравнима с двуликим Янусом. С изменением климата само понятие «сообщество» уже

не зиждется исключительно на общих ценностях. Скорее, новые глобальные взаимосвязи устанавливаются через случайные интерпретации угроз и ответственности, что создает пространство для прагматической подотчетности. Это новое космополитическое пространство, которое не приходит на смену локальным и национальным сообществам, а трансформирует их, в значительной степени находится под влиянием каузальных определений; и оно открыто для обсуждения. «Климатический скептицизм» иллюстрирует степень двойственности естественных наук. Хотя рабочий консенсус по вопросу антропогенной природы климатических изменений получил признание во всем мире, вероятность достижения полного согласия, которое преодолеет социальные и географические барьеры, маловероятна. Динамика сотрудничества и динамика конфликта по-прежнему переплетаются.

Второе. Изменение карты политической власти и социального неравенства вследствие изменения климата. Глобальное потепление трансформирует социальное неравенство и политический антагонизм в краткосрочной и долгосрочной перспективе на местном, национальном, региональном и мировом уровнях. Возникновение новых космополитических сообществ риска в значительной степени формируется распределением власти и ресурсов, социальной и природной уязвимостью и восприятием несправедливости богатыми и бедными регионами. Это можно изучить на примере взаимосвязи глобальных городов в политической борьбе по вопросам климата.

Третье. Интенсивное международное сотрудничество становится абсолютной реальностью космополитического императива. В конечном итоге встает вопрос: как преодолеть глобальные риски в условиях плюрализма конкурирующих модернов с их различными нормативными моделями, материальными интересами и конфигурациями политической власти? Ключ к решению дает понятие космополитической Realpolitik. Чтобы усвоить и раскрыть его, необходимо проводить грань между нормативно-философским космополитизмом, с одной стороны, и идеалистическим утопическим космополитизмом – с другой.

Космополитическая Realpolitik не апеллирует к общим идеям и идентичностям, а ставит во главу угла власть и интересы. Если мы принимаем такую «реалистическую» точку зрения, то наиболее важным вопросом становится моделирование гегемонистских «игр мета-власти» глобальной внутренней политики и отстаивание интересов, чтобы они служили реализации общих космополитических целей. Иначе говоря, речь идет о том, как превратить личные пороки в общественные, космополитические добродетели.

Новая историческая реальность общества всемирного риска состоит в том, что ни одна нация не способна справиться со своими проблемами в одиночку. Космополитизм, понимаемый таким образом, не призывает к тому, чтобы жертвовать собственными интересами или отдавать предпочтение исключительно высоким идеям и идеалам. Напротив, космополитическая Realpolitik признает, что политические действия по большей части основаны на интересах. Но настаивает на том, чтобы преследование собственных интересов было совместимо с интересами более широкого сообщества. Так, космополитический реализм означает признание легитимных интересов других и их учет при формулировании собственных интересов. В этом процессе интересы становятся «рефлексивными национальными интересами» через повторяемые совместные стратегии самоограничения; точнее, полномочия возникают из самоограничения. В идеале индивидуальные и коллективные цели, как национальные, так и глобальные, могут быть достигнуты одновременно. В реальности, однако, часто приходится сталкиваться с ограничениями и дилеммами космополитической Realpolitik. Это не панацея от всех мировых проблем, и она далеко не всегда срабатывает. Имеет ли та или иная проблема космополитическое разрешение, зависит от нормативных и институциональных рамок. Тем не менее основная идея такова: будущее открыто и зависит от решений, которые мы принимаем.

Впервые в истории космополитические обязательства приобретают подлинно всемирное значение не только при ответах на вызовы общества глобального риска. «Гегельянский» сценарий

обещает возникновение императива космополитического сотрудничества: сотрудничай или потерпишь крах. Права человека или катастрофа человечества.

Итак, я восстановил справедливость в отношении космополитизма как якобы нереалистичной идеологии, напротив, утверждая, что это сторонники национальной точки зрения – идеалисты. Они рассматривают реальность сквозь устаревшую национальную призму и поэтому не способны увидеть глубинные изменения. В обществе глобальных рисков национализм становится врагом нации. Следовательно, космополитизация – отправная точка для исследований, политическая реальность и нормативная теория. Это кардинально важная теория нашего времени, поскольку она бросает вызов самым глубинным истинам, которых мы придерживаемся: национальным истинам.

Перевод с немецкого В. С. Малахова

РИТЦЕР Джордж
(RITZER George)
(р. 1940)

Джордж Ритцер (р. 02.01.1940, Нью-Йорк) – американский социолог, автор многих учебников по истории классической и современной социологии, которые переведены на многие языки мира (в том числе на русский). Заслуженный профессор социологии в университете штата Мэриленд, США.

Молодость Ритцера связана с Нью-Йорком, где в 1958 г. он окончил среднюю школу, а в 1962 г. получил степень бакалавра в городском колледже. Для продолжения образования Ритцер покинул родной город. В 1964 г. он получил степень магистра в Мичиганском университете, а в 1968 г. – в Корнельском университете защитил докторскую диссертацию по социологии. С 1968 г. – на преподавательской работе, с 1974 г. – в штате Мэриленд. Читал также лекции в университетах Германии, Италии, Франции, Дании, Финляндии, Великобритании, Китае, Австралии и др.

Дж. Ритцер прославился тем, что издал несколько социологических бестселлеров по проблемам современного общества эпохи пост-модерна. Идея Ритцера о том, что современное общество развивается по модели ресторанов Мак-Дональдса, очень быстро распространилась не только среди профессионалов-социологов, но и в массовом сознании Запада. Он ввел в обиход такой термин, как макдональдизация общества и культуры (по аналогии с распространением стандартных ресторанов быстрого питания). Ритцер выделил четыре принципа макдональдизации: эффективность, калькулируемость, предсказуемость и контроль. Макдональдизация – это управленческая концепция, и иррелевантность ее содержания проявляется, по мнению Ритцера, в возможности ее применения в различных областях жизни в качестве средства управления.

Кроме концепции макдональдизации общества, Ритцер создал теорию «глобализации ничто» (т. е. того, что не существует, чего нет): согласно этой теории, глобализация формализует все социальные отношения, превращает в симулякры и эти отношения, и вещи, и людей, создает артефакты, за которыми – пустота. По сути дела, Ритцер критикует современное потребительское общество и те отношения между людьми, которые в нем складываются.

За свои работы Ритцер награжден престижными социологическими наградами. Широко публикуется в научных журналах. Автор более чем десятка книг. Стил ь работ Ритцера отличается использованием слэнга, близкого к новоязу: он ввел множество новых слов, характеризующих современное общество потребления, которые никто, кроме данного автора, не употребляет.

Основные научные работы: «Макдональдизация общества» (1993) (переиздавалась много раз почти на двадцати языках); «Тезис о макдональдизации: распространение и объяснение» (1998), в которой автор углубил и расширил теорию макдональдизации. Последняя крупная работа Ритцера – «Глобализация ничто» (2004).

Из чтения публикуемой ниже главы из работы Ритцера «Глобализация ничто» вдумчивый читатель может узнать, какими основными чертами обладает процесс глобализации ничто, как он протекает, и что возникает в результате этого процесса.

РИТЦЕР ДЖОРДЖ

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ НИЧТО¹

Ничто

Огромные торговые центры, где можно найти всё. Много стекла, света, нержавеющей стали, хрома и гранита. Сотни магазинов вдоль длинных коридоров. Большинство магазинов – торговые точки больших сетей: это ясно по их хорошо знакомым вывескам и логотипам. Толпы людей, без дела ходящих по знакомым структурам вдоль рядов и мимо хорошо им знакомых магазинов. Эти торговые центры, ряды, покупатели и магазины могли бы быть почти где угодно: в Лос-Анжелесе, Сингапуре, Москве, Рио-де-Жанейро или Йоханнесбурге.

Покупают они что-нибудь в торговых центрах или нет, потребители по всему миру все более притягиваются к более или менее массово производимым и распространяемым продуктам и брэндам: диваны Ikea, белье Victoria's Secret, спортивная обувь Nike, платья Dolce & Gabbana, джинсы Gap и футболки Hard Rock Cafe.

Приобретая эти вещи..., потребители по всему миру сталкиваются с работниками, которые все меньше и меньше знают о том, что они продают и все больше обращаются к ним в безличной, даже искусственной, манере. В Интернете появляется все больше магазинов, где покупатели имеют дело скорее с техникой, чем с людьми.

Куда бы в мире ни пошли покупатели, они получают все меньше и меньше услуг от работников и, по сути, сами себя обслуживают или имеют дело с Сетью, банкоматом, различными автоматами.

Эти четыре виньетки дают пример основных форм Ничто, которые обсуждаются в этой книге, и того факта, что Ничто (обнаруживающее недостаток отличительного содержания) становится все более глобальным феноменом. <...>

¹ Ritzer G. Globalization of Nothing. – California: Newbury Park, 2004. – P. 1–3, 10–11, 166–188 (в сокр.). Пер. с англ. А. А. Широкановой.

Социальный мир, особенно в области потребления, все более характеризуется концептом «Ничто». В данном случае «Ничто» означает *социальную форму, которая обычно организуется и контролируется централизованно и сравнительно лишена отличительного существенного содержания*. Причем это утверждение *не* несет какого-либо суждения о желательности или нежелательности подобной социальной формы или о ее возрастающем доминировании. <...>

Если кредитная карточка – это не-вещь, тогда современная компания кредитных карт – которая может быть немногим больше телефонного центра, – это не-место, запрограммированные и соблюдающие предписания индивиды, которые работают там – это не-люди, а (зачастую автоматизированные) функции – это не-услуги.

Конечно, как и с чем-то и Ничто, каждый из этих концептов подразумевает континуум, образуемый с *местами, вещами, людьми и услугами* как противоположными *чтойными* полюсами (таблица). Возвращаясь к нашему примеру, если вещь – это традиционный личный заем, тогда место – это местный банк, в который люди все еще могут обратиться, чтобы лично иметь дело с людьми – банковскими служащими – и получать от них индивидуализированные услуги.

Четыре основных подтипа континуума что-то – Ничто (с примерами):

Что-то	Ничто
Место (местный банк)	Не-место (компания кредитных карточек)
Вещь (личный заем)	Не-вещь (заем по кредитной карточке)
Человек (личный банкир)	Не-человек (продавец товаров в телемагазине)
Услуга (индивидуализированная помощь)	Не-услуга (автоматизированная помощь)
Локально организуемые и контролируемые формы, богатые на отличительное содержание	Центрально организуемые и контролируемые формы, которым недостает отличительного содержания

Подводя итог мыслям о глобализации (и Ничто)

В противоположность видимости и несмотря на огромное количество внимания, посвященного этому, главный вопрос — это *не* Ничто как таковое, а скорее его глобализация. Сложности, связанные с концептом Ничто, потребовали, чтобы мы уделили ему много места. В то время как у концепта глобализации есть свои двусмысленности и сложности, мы знаем о нем намного больше, и с ним намного легче иметь дело, чем с Ничто.

Чтобы проанализировать глобализацию Ничто, мы ввели концепт глобализации (globalization) как комплиментарный к концепту глокализации (glocalization)²; вместе они рассматриваются как центральные процессы под более широким заглавием глобализации. Глобализация, в свою очередь, рассматривалась в рамках трех ее ключевых субпроцессов: капитализма, макдональдизации и американизации. Хотя существует множество других глобализационных процессов, эти три рассматриваются не только как самые важные на сегодня, но и как представляющие большой интерес для автора.

Именно глобализация — в общем — и капитализм, макдональдизация и американизация — в частности — являются ключевыми силами в глобальном распространении Ничто. Хотя не существует каких-либо, похожих на узаконенные, отношений между глобализацией и Ничто, между ними есть избирательное родство: одно имеет тенденцию вызывать к жизни другое. С одной стороны, все расширяющийся глобальный рынок настаивает на больших количествах и огромном разнообразии Ничто, чтобы удовлетворить возрастающий спрос на него, по крайней мере на его часть, произведенную (через рекламу и маркетинг) силами (корпорациями, государствами), которые получают выгоду от широкого распространения и продажи Ничто. С другой стороны, производство такого большого количества Ничто и требование, чтобы оно было прибыльным и успешным, приводит к нарастающему давлению находить все более отдаленные глобаль-

² Термин Роланда Робертсона — *Прим. перев.*

ные рынки для него. Намного легче глобализировать Ничто, чем что-то; производство Ничто, особенно в больших количествах, соответствует глобальному распространению. Глобализация внутренне экспансивна: она по определению ориентирована на рост, и глобальный рынок предлагает наибольшую возможную концентрацию экспансионизма. Намного легче продать (относительно) пустые формы – Ничто – в разнообразной обстановке по всему земному шару, чем феномены, обремененные содержанием, – «что-то».

Капитализм распространяется по всему земному шару из-за нашествия капиталистических фирм и желания тех, кто находится в других местах, соперничать с ними. Из-за того, что пустые формы легче создать, произвести и продать по всему миру, капиталистические фирмы в значительной степени предпочитают именно их. Как еще один вариант глобализации, макдональдизация глобально распространяется из-за веры – как у нации-прародительницы, так и у перенимающих наций – в эту простую модель и в то, что подобная модель продемонстрировала, что она может работать везде с небольшими (если вообще какими-либо) видоизменениями. За американизацией и ее распространением по всему миру стоит убеждение (опять же, как в исходной, так и в принимающих нациях) в американском способе функционирования – убеждение, что американизация в какой-то степени неизбежна. Хотя феномены, которые происходят из Америки, суть внутренне «что-то», поскольку они несут прикосновение – если не вливание – того, что определяет Америку, многие из них показали специфическую способность сбрасывать свои американские характеристики, становиться многими различными вещами для многих различных культур и «безшовно» впаиваться в другие культуры (Coca-Cola и Levi's в разных странах по всему миру – отличные примеры). Способность всего американского терять свои культурные характеристики, превращаться Ничто (или в почти Ничто) связана с той точкой зрения, что Соединенные Штаты – это вторая культура каждого, и поэтому их экспорт легко видоизменить, оголить и интегрировать в местную культуру.

Хотя капитализм, макдональдизацию и американизацию можно рассматривать как ключевые силы в глобализации. Ничто, макдональдизация – самая чистая из них сила, потому что она по самой своей природе направлена на создание феноменов, которые настолько длинны по форме и коротки по содержанию, насколько это возможно. Капитализм (как общее правило, он производит все, что прибыльно, включая «что-то») и американизация (ее продукты отражают американскую культуру) намного менее чистые силы, но они обе, возможно, более существенны, чем макдональдизация. В любом случае, в реальности сложно – и в некоторых случаях невозможно – провести различие между этими тремя процессами и результатом, который в реальном мире они взаимно усиливают. Например, Макдоналдс, как парадигма процесса макдональдизации, является (или был, до последнего времени) высоко успешной капиталистической фирмой, и он также тесно связан с американизацией.

Вышеперечисленное, кажется, подразумевает, что те, кто поддерживают определенную организационную форму и американскую культуру, представляют собой ключевые силы, стоящие за глобализацией. И хотя в этом взгляде есть доля истины, факт, что основной фактор (по крайней мере, в экономике) – это, без сомнения, потребность со стороны капиталистических предприятий не просто показывать прибыль, но и показывать из года в год возрастающую прибыль. Фондовая биржа – это жестокий хозяин, и любая корпорация, которая не может показать растущую прибыльность, имеет все шансы быть жестоко им наказанной. Данный императив находится в совершенном соответствии с понятием глобализации, поскольку именно потребность прибылей расти – главный фактор, снабжающий горючим экспорт всех видов товаров и услуг. Большинство макдональдизированных объектов или, по крайней мере, тех, что активны на глобальной арене потребления, суть делающие прибыль организации, и именно потребность показывать возрастающие прибыли – главное объяснение их глобального распространения. Таким же образом, большая часть американизации (хотя и не такая большая, как у макдональдизации) включает американские фильмы,

стремящиеся увеличить прибыли путем возрастающего проникновения на глобальный рынок. Таким образом, значительная часть глобализации объяснима требованиями современной капиталистической экономики.

Однако неправильно думать, что вся глобализация – это результат капиталистической динамики. Во-первых, есть верующие в глобализацию в общем, и макдональдизацию и американизацию – в частности, которые и продвигают их в качестве символа веры, и необязательно для первоочередного увеличения своей прибыли. Во-вторых, глобализация простирается за границы создающих прибыль предприятий в такие сферы, как религия, система наказаний и образование. Вовсе не прибыли подпитывают глобализацию в этих сферах, а скорее вера в преимущества макдональдизированных или американизированных систем. Может быть, эти системы приносят с собой большие экономические преимущества (например, более низкие цены), чем существующие системы, но это не является главным фактором, который стоит за глобализацией в этих сферах.

Глобализация versus глокализация

Один из ключевых моментов этой работы – положение о том, что ключевая динамика под широким заголовком глобализации – это конфликт между глобализацией и глокализацией. Это точка зрения, которая разительно отличается от *любого* общепринятого взгляда на глобальный конфликт. Например, я думаю, что большое число исследователей до сих пор склонны видеть главный конфликт (там, где он рассматривается как существующий) в сфере между глобальным и локальным. Однако взгляд, предложенный здесь, отличается от традиционной позиции по ряду решающих вопросов.

Во-первых, глобализация не представляет собой сторону в центральном конфликте. Это слишком широкий концепт, вбирающий в себя все транснациональные процессы. Он требует дальнейшего усовершенствования, чтобы быть полезным в этом контексте как различие между глобализацией и глокализацией. Когда сделано это различие, становится ясным, что широкий процесс

глобализации охватывает конфликтующие процессы. Поскольку глобализация содержит ключевые поля в этом конфликте, постольку она не принимает – и не может принять – одну сторону в конфликте.

Во-вторых, другой стороне традиционного взгляда на этот конфликт – локальному – придается в этой концептуализации второстепенное значение. То есть локальное – в той степени, в которой оно продолжает существовать, – рассматривается как все менее значительный игрок в динамике глобализации. Мало что из локального остается нетронутым глобальным. Поэтому многое, о чем мы часто думаем как о локальном, в реальности глокально. Поскольку глобальное все больше проникает в локальное, все меньше и меньше последнего останется свободным от глобальных влияний. То, что останется, будет отослано к перифериям и глубинам местного сообщества. Большая часть того, что останется, намного лучше описывается как глокальное, нежели локальное.

В одном сообществе за другим настоящая борьба происходит между более чистым глобальным против глокального. Решающий смысл этого – в том, что *все тяжелее найти что-либо на свете, не тронутое глобализацией*. Основная альтернатива во все большей части мира – это, как кажется, выбор между тем, что внутренне и глубоко глобализировано, – глобализацией – и тем, где смешиваются глобальное и остатки локальных элементов – глокализацией. Это четко подразумевает практически полный триумф глобального по всему миру. Тогда – по воле иронии – надежда тех, кто враждебно относится к эксцессам глобализации, т. е. глобализации, состоит, по-видимому, в альтернативной форме глобализации – глокализации. Эта догадка, по мнению большинства оппонентов глобализации, вряд ли что-то решает, но она наиболее реалистична и жизнеспособна из всех возможных. Смысл в том, что те, кто хочет противостоять глобализации, а конкретно – глобализации, должны поддерживать другую главную форму глобализации – глокализацию – и действовать в согласии с ней.

И все же глокализация действительно оставляет некоторую надежду. Во-первых, это последний аванпост большинства дав-

них форм локального, хотя они уже разбавлены глобализацией (т. е. важные остатки локального сохраняются в глокальном). Во-вторых, взаимодействие глобального и локального производит уникальные феномены, которые нельзя свести только к глобальному или локальному. Если само локальное больше не является источником уникальности, которым оно когда-то было, то, по крайней мере, что-то из лежащего без дела локального было подобрано глокальным. Можно даже вообразить, что глокальное является (или, по крайней мере, может являться) более значимым источником уникальности и инновации, чем локальное. Другой источник надежды лежит во взаимодействии двух или более глокальных форм для выработки чего-то отличного по содержанию.

Можно ли воскресить локальное?

Возможно ли, что глобализация в обоих своих главных обликах – глокализации и глобализации – может дать новую жизнь локальному? В конце концов, если одна из причин развития глокализации состоит в ответной реакции на глобализацию, то сочетание двух форм глобализации может, по крайней мере теоретически, иметь эффект объединения местных жителей, заставляя их взглянуть внутрь себя (если предположить, что еще не слишком поздно) в поисках альтернатив *обеим* формам глобализации. Хотя глобализация, конечно, может оскорбить местных жителей (*Victoria's Secret*³ в странах, где господствует религиозный фундаментализм), вырождения глокализации могут иметь весьма схожий эффект. Некоторые местные жители посмотрят на глокальные формы, возникающие вокруг, – например, в случае Макдоналдса – МакСпагетти на Филиппинах, МакХуэво в Уругвае, МакФалафел в Египте и Терияки Бургер в Японии, – и затоскуют по возврату к исходным местным формам. Мягко говоря, маловероятно, что макдоналдсовы фалафел или терияки собираются соответствовать своим местным версиям. Так, реакция одного местного жителя на новый сандвич от Мак-Арабии (куриные лепешки на куске хлеба) в Кувейте была следующей:

³ Фирма по производству женского нижнего белья. – *Прим. перев.*

«Это не настоящий арабский вкус». Некоторых можно довести до того, чтобы они копались в прошлом, силясь найти традиционные местные обычаи, которые можно было бы воскресить в попытке обеспечить альтернативу – и противоядие – как глобальному, так и локальному.

Хотя подобные сценарии возможны, и даже вероятны, сложно лучиться надеждой относительно возрождения локального и его перспектив в соревновании с глобализацией. Этот пессимизм основан на нескольких факторах. Во-первых, любое возрождение локального с самого начала подразумевается в рамках глобализации, поскольку является реакцией на нее. Во-вторых, если возрождение локального привлечет достаточно интереса, то фирмы – в конечном счете, те, что имеют глобальные интересы, – войдут в игру и будут искать контроля над ним. В конце концов, даже больший успех обратит на него внимание экспортеров, которые будут агрессивно стремиться экспортировать – глобализировать его (можем ли мы, к примеру, предвкушать глобальную торговлю бетелевыми орешками, если корейцы опять начнут жевать их?). Таким образом, возрождение чего-либо локального, особенно успешное, с большой долей вероятности будет глобализировано и, таким образом, потеряет свой локальный характер.

Хотя локальное в конце концов может быть обречено на полное поглощение силами глобализации и глокализации, то, что остается от локального, продолжает, по крайней мере в настоящее время, играть ключевую роль в мире в качестве источника как разнообразия, так и инноваций. Можно нарисовать в воображении сценарий, в котором разнообразие и инновация все больше происходят от глокального, но они никогда не смогут быть таким же хорошим источником инновации, как локальное. В конце концов, по определению, глокальное с самого начала видоизменяется множеством сил, которые стремятся сделать его приемлемым для широкого круга потребителей в разных местах по всему миру. Таким образом, связи с первоначальным местом и продуктом все более теряются, поскольку они все больше разбавляются, чтобы соответствовать разнообразным вкусам и ин-

тересам. Локальное же, наоборот, опять же по определению, не было так видоизменено, так что оно, в целом, более уникально и является источником большего разнообразия.

Можно спорить, что мир идет ко все большему обнищанию, поскольку локальное падает в своем значении и, возможно, исчезает. Парадокс в том, что глобализация приносит с собой не имеющее равного развитие в некоторых частях мира в то самое время, как ведет к культурному (и, по мнению Джозефа Стиглица, экономическому) обнищанию других, уменьшая или исключая роль их локального. Этот довод замечательным образом ведет к комментарию по поводу атаки террористов на Соединенные Штаты в 2001 г. и их отношения к обнищанию локального и – на более высоком уровне – глобализации ничего.

Глобализация Ничто и 11 сентября 2001 года

На поверхности кажется неочевидным, что распространение Ничто имело какое-то отношение к событиям 11 сентября. Как может Ничто иметь какое-то отношение к событиями, которые, определенно, обладали монументальной важностью как для преступников, так и для жертв? Часть ответа, конечно, заключается в том, что Ничто означает очень многое для многих людей, как и его глобализация – включая капитализм, макдональдизацию и американизацию. Я не доказываю, что между 11 сентября и глобализацией Ничто прослеживается какого-то рода прямая связь. Однако я считаю, что последняя обеспечила, по крайней мере, часть топлива если не для этой атаки, то для той атмосферы, которая существует сегодня во многих частях света – для порождения тех чувств, которые стоят за атаками на американские интересы, включая посольства, военные сооружения и самую излюбленную цель – Макдоналдс.

Говоря это, я не оправдываю атаки, возвеличивая их или предоставляя им какого-либо рода рациональное обоснование. Я просто говорю, что нам необходимо понять контексты, в которых произошло 11 сентября, и один из этих контекстов – это глобализация Ничто.

Атаки 11 сентября были нацелены на главные американские символы: Мировой торговый центр, Пентагон и, возможно, Белый

дом. Среди прочего эти структуры символизировали глобальную область экономического (включая область потребления), военного и политического влияния Америки. Нападая на эти культурные иконы, атакующие, определенно, пытались сделать заявление (на самом деле – много заявлений) о том, что Соединенные Штаты уязвимы, что подобные атаки могут иметь долговременные катастрофические последствия для сложного общества и что в мире существует недовольство по поводу глобальных амбиций Соединенных Штатов и того, что они делают с местными институтами, которые остаются важными, по крайней мере, для некоторых людей в каждой культуре.

Хотя здесь наш фокус направлен на потребление, а поэтому – на экономику и культуру, важно подчеркнуть, что концепт глобализации достаточно силен, чтобы охватывать и политику, и военные вопросы. С распадом Советского Союза Соединенные Штаты – верховная власть в мире, и сложно придумать им какого-либо серьезного соперника в этих областях. Глобализация – это хороший термин, чтобы описать усилия США по распространению своей власти, как политической, так и военной, на весь мир. Недавние примеры включают войну с Ираком 1991 г., вытеснение Талибана в Афганистане в 2001–2002 гг., войну 2003 г., которая привела к свержению Саддама Хусейна и его режима в Ираке.

В этих случаях ясно, что американизация – это часть глобализации, поскольку такая значительная доля политической и военной глобализации происходит из Соединенных Штатов. Ясно, что капиталистические интересы участвуют, например, в больших запасах нефти, которые есть в Ираке (и повсюду на Ближнем Востоке), а также в военном оснащении, которое использовалось в войне – и подлежит обновлению. Макдоналдизацию также можно связывать с этими процессами и, по крайней мере в некоторой степени, отличать ее от капитализма и американизации. Например, многое из современного высоко рационализированного оружия, разработанного в Соединенных Штатах, используется для поддержки военной и политической глобализации. Примеры, которые приходят на ум, – это беспилотный

самолет, крейсерные ракеты, «умные бомбы» и тому подобное. Это, определено, не только негуманные технологии, но они часто и спроектированы так, чтобы практически полностью уничтожить воюющих. Они также очень эффективны. Они высоко предсказуемы, поскольку их улучшенная технология означает, что они с высокой долей вероятности окажутся именно там, куда их посылали. Им дана точная начальная скорость, и, чтобы дать им такую точность, делаются тщательные и детальные расчеты. Конечно, как и все другие проявления макдональдизации, они подвержены иррациональности рационального. Например, войны намного вероятнее будут начаты, а данные виды оружия использованы, потому что намного меньше риск человеческих потерь, по крайней мере, с американской стороны.

Возвращаясь к главной теме потребления: экспортирование в значительной степени пустых форм в другие страны, вероятно, глубоко оскорбительно для некоторых из них, особенно когда они служат для угрозы, уменьшения значимости или замещения локальных форм, богатых по существу. Для многих угроза — и замещение — богатых локальных феноменов теми, которые в значительной степени лишены содержания, представляет огромную потерю и оскорбление — в конце концов, Ничто захватило место, где раньше находилось что-то. Таким образом, глобализация, вероятно, приведет к огромному негодованию среди некоторых стран (и вероятно, что ее открыто подхватят другие), особенно по поводу пустых форм, связанных с капитализмом и макдональдизацией, а также форм, связанных с американизацией.

Как обсуждалось ранее, американизация (и формы капитализма и макдональдизации, которые трудно от нее отличить) также осуждается по прямо противоположной причине. То есть некоторые страны могут негативно среагировать на рост форм, пропитанных американизмом, в контексте своих собственных культур и обществ. Конечно, в этих суждениях присутствует значительный элемент субъективности, и если одни могут рассматривать форму как пустую, то другие могут рассматривать ее как американский культурный империализм в миниатюре, а еще кто-то может увидеть в ней и то и другое. Есть еще одна

возможность: пустые формы могут рассматриваться как продукт Соединенных Штатов, как внутренняя характеристика американской культуры, которая агрессивно экспортируется по всему миру. Таким образом, пустыми формами – Ничто – можно возмущаться не только самими по себе (из-за их пустоты), но также и потому что они кажутся настолько американскими.

Какова бы ни была форма и как бы она ни организовывалась, Ничто с долей вероятности приобретает огромную символическую значимость, когда экспортируется в другие культуры. Другой парадоксальный аспект этой линии анализа: Ничто часто имеет огромное символическое значение, особенно в странах и культурах, в которые оно экспортируется. Рассматривается ли кредитная карта Visa как Ничто, проявление капитализма, форма макдональдизации, форма американизации или какая-то комбинация из них, это важный символ во многих странах по всему миру. В то время как многие приветствуют, используют и принимают кредитку, другие, вероятно, оскорблены ею, особенно если рассматривать ее вкупе со многими подобными формами, которые зачастую сопутствуют ей. Как реагируют оскорбленные? Есть много способов: отказ от использования или принятия кредитных карт, но возможны и более символические реакции, особенно когда угроза рассматривается с символической точки зрения. Таким образом, разрезание карты Visa (возможно, публичное) может быть одной из таких символических реакций. Разбивание окна местного магазина, который имеет изображение логотипа Visa, будет другой, более драматической реакцией. Однако подобные реакции вряд ли оказывают какое-либо влияние на банки, которые поддерживают Visa, или на общество, не говоря уже об обществе, которое является создателем и главным экспортером этих карт и всего, что они обозначают и символизируют – Соединенных Штатах.

Таким образом, те, кто хочет иметь большее влияние, должны наносить удары более видимым символам, и они должны выбирать цели, ущерб которым привлечет большое общественное внимание. Именно в этом контексте мы можем рассматривать такие явления, как ограбление, подрыв и разрушение рестора-

нов Макдоналдс, атаки на американские посольства, нападения на американские корабли и, конечно, преступления, совершенные 11 сентября. Мировой торговый центр был могучим символом глобализации, и его разрушение казалось преступникам и им сочувствующим драматическим символическим ударом по глобализации. Если Мировой торговый центр символизировал глобализацию в экономической сфере, то Пентагон – это мощный символ военной глобализации. Крушение одной из его стен в военной среде имело влияние, схожее с тем, которое оказало разрушение башен-близнецов на экономический сектор. Вообразите себе значение, которое могло бы иметь прямое попадание в Белый дом, на политическую систему и американскую расположенность к политической глобализации.

Именно поскольку значение глобализации более чем символично – человеческие жизни уже изменились, – многое из этого можно сказать об атаках на символы глобализации 11 сентября. Глобализация рассматривается многими как процесс, оказывающий негативный эффект на экономику многих стран. Например, на данный момент аргентинская экономика обвалилась, и многие в этой стране обвиняют в обвале то, что я называю глобализацией. Подобным же образом атаки 11 сентября, особенно разрушение башен Мирового торгового центра, имели ошеломляюще негативные последствия для американской экономики вообще (и особенно Нью-Йорка), и – более точно – для американской авиационной индустрии и туризма. Когда я пишу это, спустя более года после этих событий, американская экономика все еще далека от восстановления после шока того дня и его бесчисленных отзвуков. Например, крупные американские авиалинии продолжают оставаться в глубоком кризисе и вторая по величине из них – United Airlines – недавно заявила о своем банкротстве.

Возвращаясь к парадоксам, затрагивавшимся в этом анализе: довод, приводимый здесь, состоит в том, что распространение глобального Ничто обеспечивает, по крайней мере, контекст для лучшего понимания одного из наиболее значительных (и ужасных) событий нашего времени.

Потребление и дальше

Сущностные доводы, приведенные в данной книге, – и большинство примеров в ней – получены из области потребления. Однако, как было выяснено в некоторых пунктах этого анализа, потребление – это довольно эластичный концепт, который можно применить к областям, которые обычно не представляются с этой точки зрения. Два примера, описанных ранее, по крайней мере вкратце, – это образование и медицина. То есть их легко представить с точки зрения потребления: к примеру, с учениками и пациентами в качестве потребителей, школами и больницами, рассматриваемыми в качестве обстановки потребления, и образованием и медицинской помощью, которые являются тем, что потребляется.

Когда мы проговорили это, можно пойти дальше и утверждать, что они представляют собой области, на которые также повлияла глобализация Ничто. Например, можно спорить, что в области высшего образования учебник выпадает на не-вещный конец вещно-невещного континуума. Учебник – это в значительной степени американское изобретение, созданное ищущими прибыли корпорациями, *и* его можно рассматривать как книгу, ориентированную на рационализацию, макдоналдизацию и передачу информации. То есть вместо того, чтобы читать много книг или отрывков из них, студенту дается учебник, который предлагает основные мысли данных работ, изложенные авторами. Это все более макдональдизирует чтение, исключая сложные идеи и тексты, и предлагает единственный доступный голос вместо голосов множества авторов, многие из которых студентам понять нелегко. В конце концов, первоначально авторы писали для сообщества соратников, а не студентов, и часто работы были написаны некоторое время назад, когда нормы, применяющиеся к написанию, сильно отличались от современных.

В любом случае, учебник пришел к глобализации. Во многих странах, где американское использование учебника не так давно осмеивалось или осуждалось, можно теперь найти в использовании американские учебники и местные учебники, по-

пулярность которых растет. В некоторых случаях успешные американские учебники пересматриваются местными профессорами, чтобы они лучше отражали природу предмета в данной стране. Особенно важно замещение примеров из американской общественной жизни местными. Существуют даже «глобальные» учебники – книги, которые были написаны так, что их можно использовать во многих различных странах.

Возвращаясь к здравоохранению, можно утверждать, что глобальный рынок лекарств или обычных медицинских процедур – это примеры глобализации Ничто. Эти примеры также четко показывают, что глобализация Ничто – это часто желанное и положительное развитие (даже в области потребления, которую мы за это критиковали). Хотя глобальное распространение учебников, например, можно рассматривать в негативном свете (тот факт, что студенты читают скорее не-книги, чем оригинальные книги, на которых основаны тексты и которые богаты по сущности), это не случай с глобальным распространением лекарств и стандартных медицинских процедур. Последние – Ничто в том смысле, что это центрально организованные и контролируемые формы, во многом лишенные содержания (например, сейчас существует стандартная процедура для проведения чего-то настолько сложного, как трансплантация сердца), но в большинстве случаев они приветствуются.

Учебник, наоборот, можно рассматривать и как пустую форму, и как не-вещь, что не должно приветствоваться, потому что она втягивает студентов в пустоту образовательной системы, где властвуют учебники. Фокус на тексте учебника означает, что нужно меньше оригинальных работ с их уникальным и отличительным содержанием (очередная потеря!). На самом деле, именно из-за этого содержания они и рассматриваются в учебнике. Но вместо того, чтобы читать эти оригиналы, студенты читают упрощенные изложения в учебниках.

Однако нам не следует останавливаться на образовании и здравоохранении; многие другие области можно рассматривать как включающие потребление и поэтому подверженные глобализации Ничто.

Например, сообщество, особенно преступников, можно рассматривать как потребителей услуг полиции. Глобализация Ничто здесь будет включать, помимо всего прочего, выработку стандартных полицейских практик, которые распространяются по всему миру.

В той же самой области: осужденных преступников можно рассматривать как потребителей тюремных услуг. Развитие стандартных структур внутри системы наказаний (например, паноптикумоподобных структур, которые обеспечивают полную видимость поведения заключенных, рост тюрем типа «супермакс») создают вероятность, что эти структуры, если они считаются успешными, будут переняты тюремными системами во многих географических точках по всему миру.

Церковь, несомненно, имеет своих «клиентов» (тех, кто посещает, или тех, кого церковь хотела бы видеть среди посещающих), и церкви развивают техники для привлечения и удержания паствы, которые – в случае успеха – копируются другими церквями по всему миру.

Даже в политике можно рассматривать общественность в качестве потребителей политической системы. Ясно, что демократические принципы доказали, что они – наиболее стабильный и надежный способ обращения с общественностью, так что эти принципы распространились по всему миру.

Эти примеры четко показывают, что основные положения этой книги не так безграничны, как кажется на первый взгляд. Если многие сферы жизни можно рассматривать как подпадающие под заголовок «потребление», тогда глобализация Ничто, несомненно, оказывает влияние не только на множество стран, но и на широкий круг структур и институтов в этих обществах. Однако глобализация Ничто имеет место вне области потребления вообще, а также потребления в каждой из этих областей. Например, она, несомненно, применима к другому виду потребления – к производству. У нас буквально не было бы глобализации, например не-вещей, без применения систем, производящих огромные количества не-вещей для продажи и распространения по всему миру. Но даже производство или связь производство-

потребление – это слишком узкая область для исследования глобализации Ничто. Ничто не распространяется глобально в рамках политики, или церкви, или системы уголовной юстиции по миллиону причин, многие из которых характерны для какой-то конкретной области и не имеют ничего общего с производством или потреблением.

Например, ряд типичных проблем привел к тому, что по всему миру идет поиск моделей, которые оказались бы успешными в их решении. Таким образом, полицейским управлениям по всему миру противостоят непокорные толпы, демонстрации и акции протеста – например, частые теперь антиглобалистские (используя понятие, развитое здесь) демонстрации, – и они часто полагаются на примеры поведения, когда подобные толпы сдерживались без излишних потерь, разрушений, ранений или гибели протестующих, политиков и зевак. В той степени, в которой достигаются перечисленные цели, те, кто противостоит подобным демонстрациям, будут рассматривать их как пример глобализации Ничто, когда недостатки перевешивают достоинства, хотя этот взгляд и не разделяется демонстрантами, чьим целям мог бы лучше служить спонтанный и плохо спланированный контроль толпы.

Нет лучшего индикатора свирепствующего распространения Ничто, чем то, что *и* про-, *и* антиглобалистские силы подверглись его влиянию. Вся эта книга посвящена способам, которыми первые были подвержены влиянию, но что насчет последних – сил, которые противостоят глобализации, особенно глобализации Ничто? Дело в том, что для того, чтобы такое массовое движение процветало, оно должно полагаться на методы, которые попадут, в соответствии с критериями, развитыми и используемыми в этой книге, в ничтожный конец континуума. Лучшим примером будет развитие, рутинизация и широкомасштабное распространение (особенно через Интернет) проверенных и надежных техник для привлечения внимания к антиглобализационному движению. Вместо того чтобы прибегнуть к развитию своих собственных техник (чего-то), эти группы все более полагаются на методы, которые срабатывали в другое время и в другом

месте. Конечно, в действиях этих групп много спонтанного, но они тоже становятся жертвами соблазна Ничто.

Бенджамин Барбер несколько иначе выразил подобную мысль в работе «Jihad vs. McWorld». Барбер описывает глобальное пространство Мак-мира – тезис, который очень схож с тем, который утверждается здесь в отношении Ничто, особенно роли, играемой макдональдизацией, в его глобализации. Мак-мир, осуществившись он полностью, был бы миром, изобилующим Ничто. «Джихад» – это термин Барбера, которым он определяет широкий круг сил, противостоящих распространению Ничто. Они совершенно точно попадут ближе к чтойному концу упомянутого континуума. Интересно, что это лишь подтверждает, что что-то *не* обязательно должно предпочитаться Ничто. В данном случае, в то время как силы джихада обладают многими похвальными целями и задачами и являются «чем-то» в том смысле, что они по-особому богаты, они также совершили много отвратительных актов (как мы видели в предыдущей дискуссии об 11 сентября). В любом случае, главный тезис, представляемый здесь, – о том, что те, кто поддерживает джихад, для того чтобы преуспеть, должны использовать техники Мак-мира (например телевидение, Интернет).

Роль брэндов

Многие брэндовые имена были упомянуты на протяжении этой книги. До сих пор, однако, мы интересовались скорее феноменами того, что является брэндовым, – вещами, местами и услугами, – чем самими брэндами или процессом брэндинга. В этом разделе мы обратимся к брэндам, брэндингу и дискуссии о том, какое отношение они имеют к глобализации, в общем, и глобализации Ничто – в частности. Брэнд можно определить как «имя, логотип или символ, нацеленный на различение предложений определенного продавца от предложений конкурентов».

Мы можем начать с замечания, что брэнды, особенно наиболее успешные из них, глобальны. Чтобы достичь этой транснациональной «известности»⁴, могущественные глобализацион-

⁴ Используемое здесь слово *notoriety* имеет также смысл «дурная слава». – Прим. перев.

ные силы поддерживали наиболее заметные и успешные бренды. Хотя бренды могут глокализоваться, но что действительно определяет успех широко известных и наиболее успешных брендов – это глобализация.

Если наиболее успешные бренды определяются глобализацией, описываем ли мы здесь глобализацию Ничто или глобализацию чего-то? Имея определения того, что такое что-то и Ничто, нелегко думать о брендах как о чем-то (хотя они значат очень много для многих людей) в том смысле, что их *нельзя* организовывать или контролировать локально. Однако бренды – это формы с отличительным содержанием; содержание (идеациональное, эмоциональное), связанное с одним брендом, отличается от связанного с другим, особенно конкурирующим брендом. В результате о них *нельзя* думать как о «Ничто» или «что-то», по крайней мере, с перспективы употребляемых здесь определений. Таким образом, думать о брендах или как о «чем-то», или как о «Ничто» – это сложный вопрос, который потребует значительного времени и усилий, чтобы попытаться распутать все сложности, с этим связанные. Я оставляю этот анализ для другого раза, а здесь хочу рассмотреть аспект отношений между брендами и «что-то» – «Ничто». То есть я хочу здесь доказать, что именно увеличивающееся распространение Ничто, на национальном и транснациональном уровнях, делает брендинг все более важным.

Массовое производство Ничто тесно связано с брендингом. Это лучше всего видно в случае не-вещей (например обуви Nike), но также применимо и к не-местам (например Niketown'у), не-людям (продавцам в Niketown'е) и не-услугам (самообслуживание в Niketown'е). Хотя мы привыкли думать о брендах применительно к вещам (и особенно не-вещам), появилась драматическая тенденция к брендингу не только вещей, но и мест, людей (населяющих Disney World героев, которые играют распределенные роли, – Микки Мауса, Белоснежку и т. д.) и услуг («You've got your mail» AOL).

С учетом вероятности, что есть несколько конкурирующих аналогов Ничто в каждой из этих областей, существует сильная потребность в создании и агрессивном продвижении на рынке

брэнда, чтобы различить одно разнообразие Ничто от другого. Например, не нужно много усилий, чтобы отличить беговые кроссовки Nike от других брэндовых или даже безымянных кроссовок. Поэтому огромные количества денег и внимания уделяются рекламе товара и иконы – Swoosh, – которая стала неразрывно связанной с ними. В самом деле, Nike – это почти чистый пример Ничто, потому что сама корпорация производит немного, кроме брэнда и инфраструктуры для его поддержания и увековечения.

Важность брэндов и брэндинга особенно очевидна в случае массово произведенных не-вещей. Если производство одного изготовителя и других изготовителей производит практически идентичные не-вещи, то производители сталкиваются с задачей поиска отличий своих не-вещей от не-вещей конкурентов – создания отличий, когда их нет или почти нет. Брэнд, особенно успешно продвигаемый на рынок и впечатываемый в мозг потребителей, часто служит для различения того, что или совсем не отличается от своих конкурентов, или отличается незначительно.

Конечно, *лучший* пример брэндига Ничто – это бутилированная вода. Рынок бутилированной воды центрально организуется и контролируется, и, возможно, это высшая точка в не-вещах, которых не хватает в определенный момент. Не нужно никаких усилий, чтобы различить один брэнд воды в бутылках (Perrier) от другого (Evian), не говоря уже о той, что течет из наших кранов. В результате эти брэнды прикладывают весьма агрессивные усилия, чтобы создать различие там, где его вообще не существует.

Хотя все это может быть не так очевидно для потребителей – в самом деле, ведь прилагаются активные усилия, чтобы скрыть от них это, – экспертам в области это ясно. Один из таких экспертов заявляет: «Маркетинг – это борьба восприятий, а не *продуктов... Нет объективной реальности*. Нет фактов. Нет лучших продуктов. Все, что существует в мире маркетинга, суть восприятия в умах покупателей или в рекламных проспектах. Восприятие есть реальность. Все остальное – иллюзия». На самом деле, в этом мире иллюзии, то, что является «Ничто», имеет огромное

преимущество перед «что-то». То есть, поскольку нет отличительной субстанции, чтобы сдерживать данный брэнд, его восприятие можно свободно вести куда угодно. В противоположность этому брэнд, который представляет собой что-то, намного более ограничен отличительным содержанием, которое он представляет.

Более того, есть относительно небольшая потребность в брэндинге, когда мы рассматриваем *вещи* (а также *места, людей и услуги*). Массовое производство вещей не только вообще противоречие в понятиях, но «вещь» обычно определяется тем фактом, что она локально организовывается, контролируется и производится и небольшое массовое производство происходит в местных районах и для их жителей. «Вещь» также определяется ее обладанием действительно отличительным содержанием, и поэтому почти или совсем нет нужды в брэндинге для различения того, что уже достаточно различно. То есть чем больше предложение «чего-то», тем меньше потребность в брэнде. В значительной степени «что-то» продает себя. В одном смысле, нет или почти нет потребности в брэндинге «чего-то». В другом смысле, «что-то» более или менее автоматически брэндирует себя (Пикассо или Майкл Джордан, например). Я не хочу сказать, что временами не предпринимаются активные попытки брэндировать «что-то». Примеры, которые приходят на ум, – туризм и случаи, когда огромные усилия прилагаются, чтобы сделать брэндом место (Акапулько, Ямайку).

Таким образом, главные тезисы здесь – в том, что основная причина для существования брэндов связана с проблемой ничтожности в мире потребления и что брэндинг вырос в геометрической прогрессии из-за огромной экспансии этой ничтожности. Все дело не только в очевидном росте не-вещей, но и в неместах, не-людях и не-услугах. Огромные средства и усилия расходуются на то, чтобы сделать то, что представляет брэнд, похожим на «что-то». Эта потребность обратно пропорциональна степени ничтожности того, что представляет брэнд. В добавление к очевидному примеру бутилированной воды, что может быть более прозаичным, более не хватающим отличительного

содержания, чем кола: неисчислимые компании делают колу, и мало что отличает одну от другой. Таким же образом, известно, что ботинки Nike производятся независимыми поставщиками в Юго-Восточной Азии (и в других местах), которые на тех же самых конвейерах и, возможно, в тот же самый день могут произвести очень похожие кроссовки для бега под другим или под безымянным брэндом. Когда мало что отличает продукт, у амбициозного производителя остается мало выбора (кроме ценовой конкуренции, которую большинство компаний презирают, поскольку она урезает прибыли), кроме как создать иллюзию или образ различия путем создания и активной рекламы брэнда. Поэтому-то Кока-Кола (и Пепси-Кола), а также Nike, находятся в числе компаний, которые тратят наибольшие суммы на «уход и кормление» (не говоря уже о рекламе) своих брэндов.

Очень интересный пример брэдинга – появление в конце 2002 г. Мекка-Колы во Франции и ее распространение в Англии (и в других странах) в 2003 г. Содержание продукта не является вопросом рассмотрения, поскольку Мекка-Кола «ориентирована на мусульман, которым нравится вкус классического американского напитка, но которые не хотят способствовать американскому экономическому успеху». Мотивация у основателя Мекка-Колы как экономическая (делать деньги), так и политическая. С точки зрения последней, 10 % прибылей идут на палестинские нужды (и еще 10 % – на другую благотворительность), а веб-сайт безалкогольного напитка предлагает картинки палестинцев, сражающихся с израильскими солдатами на Западном Берегу. Что более важно для целей данной дискуссии: происходит создание брэнда, который не только стремится отличить себя от Кока-Колы, но также сделать ясным, что он того же рода. Поэтому упаковка, включая белые буквы на красном фоне, очень похожа на упаковку Кока-Колы. Однако важнее всего тот факт, что, в конечном счете, содержание – кола – неотличимо от Кока-Колы или многих других брэндовых и небрэндовых кол. Именно брэнд и его политизированный призыв к мусульманам поддерживать друг друга, а не Соединенные Штаты, продается в данном случае.

Обыденность брэдинга и его процветание связано с процветанием не только (не-)вещей, но и не-действительностей. То есть

те, кто предлагает не-места, не-людей или не-услуги, или по отдельности, или вместе с не-вещами, сталкиваются с проблемой создания брэндов, которые различают то, что неразлично. Поэтому, например, H&R Block (и другие сети контор, предлагающих услуги в оформлении налоговых деклараций) предлагает налогоплательщикам стандартизированные услуги; в самом деле, большинство из этих услуг получаются путем компьютеризированных вычислений и решений, которые могли бы сделать сами налогоплательщики, если бы у них был доступ к этим программам. Налогоплательщикам доступны компьютеризированные программы, которые делают, по большей части, ту же работу, что и работники компаний типа H&R Block. Более того, H&R Block предлагает услуги, не отличимые от предлагаемых многими другими компаниями и независимыми налоговыми консультантами. В самом деле, если и есть что-то отличительное в том, что предлагает компания, то только то, что ее услуги, вероятно, будут осуществляться менее умелым персоналом, который менее склонен уделять личное внимание каждому клиенту. С учетом всего этого у H&R Block, очевидно, есть огромная потребность агрессивно продвигать свой брэнд услуг, чтобы компенсировать ничтожность, которая является сущностью налоговых услуг, которые она предлагает.

Таким образом, здесь предлагается другой старомодный метанарратив. Огромная экспансия не-вещей, не-мест, не-людей и не-услуг привела к все расширяющейся потребности в различении между конкурентами среди них. Поскольку они являются недействительностью, то, по определению, между всеми ними мало или совсем нет отличий. Поэтому есть потребность создавать иллюзию различения, и один из наиболее важных совершенных способов – это брэндинг. В результате процветание недействительностей всех типов привело к огромной экспансии в числе, типах и важности брэндов.

Отвечая на глобализацию Ничто

Самый очевидный ответ на глобализацию – в том, что никакой ответ не нужен. С одной стороны, очевидно, что именно глобализационная тенденция будет продолжаться и никакая нация

(даже американцы), не говоря уже об индивидах (или малой группе), ничего не может с этим поделать. Трудно представить себе обстоятельство (кроме, возможно, глобальной катастрофы), которое привело бы к замедлению, остановке или повороту глобализации Ничто в противоположном направлении. С другой стороны, это тенденция с множеством положительных эффектов. В мире потребления становится больше вещей, доступных большему количеству людей по более низким ценам и часто – в величественных «кафедральных соборах потребления» *из-за* глобализации Ничто. Большинству людей по всему миру нравится процветание Ничто и те, кому еще предстоит испытать его, будут в восхищении от этого опыта. Конечно, есть и много людей, которые мало что выигрывают от глобализации и даже становятся ее жертвами. Однако, кажется, им не хватает власти разобратся с этим процессом в своей собственной стране, не говоря уже обо всем мире.

Хотя, как мы уже отметили, существуют проблемы помимо того, чтобы быть неудачниками в глобализации Ничто, и есть те, кто остро чувствителен к ним. Для этих людей ответ на проблему «ничтожности» лежит в «чтойности», в глобализации или глокализации «чего-то». В то время как между глобализацией и Ничто есть сильное избирательное родство, но есть и некоторая тенденция, хотя совсем и не такая сильная, сосуществования глобализации и «чего-то».

В любом случае, что действительно необходимо, так это создание, использование и поддержка тех феноменов, которые приходятся ближе к чтойному концу континуума – к местам, вещам, людям и услугам. В то время как предприниматели, безусловно, являются решающим фактором, все не-места, не-вещи, не-люди и не-услуги продолжают существовать, потому что потребители ими пользуются и, по сути, все чаще предпочитают именно их. В мире, который все более характеризуется Ничто, потребители предпочитают делать покупки в не-местах (например, в торговых центрах), покупать не-вещи (хаки от Dockers) и иметь дело с не-людьми (людьми в ресторанах фаст-фуда) и не-услугами (заказ книг от Amazon.com). Есть множество очевидных причин

для таких предпочтений, не последняя из которых – это *осознание* более низкой их стоимости. В некоторых случаях, конечно, цены *действительно* ниже, но в других – сбережения, по сути, иллюзорны. В других случаях много средств инвестируется, чтобы придать Ничто чувство волшебного очарования, так, чтобы потребители чувствовали, что они должны посетить, приобрести или использовать данную форму Ничто.

Для заинтересованных в развитии этих тенденций первое, что необходимо, – это *защита* все сокращающихся остатков «чего-то» на локальном уровне. Это положение основано на убеждении, что многое из того, что есть у «чего-то», проистекало из локального, по крайней мере, исторически. Оно [положение] также основано на мнении, что локальное подвергается нападкам глобального и, по сути, оно, вероятнее всего, будет или уничтожено, минимизировано, или глокализовано. В любом случае, локальное в чем-либо, достигающем его чистого смысла, стремительно исчезает. Защита локального основывается на идее о том, что намного легче защитить то, что уже существует или происходит, чем возродить исчезнувшие феномены. Когда феномены уже исчезнут, интерес к ним пойдет на убыль или исчезнет. Помимо прочего, и ремесленники, и даже мастера, которые создали локальные феномены, легко могут перейти к какому-нибудь другому предприятию. Воспоминания потребителей об этих феноменах увянут и начнут исчезать. Целые поколения будут рождены с отсутствием прямого знания о локальных феноменах, которые когда-то считались «чем-то».

Основываясь на этом, становится возможным расширять производство форм чего-то, что уже существует, и производить новые формы чего-то. Требуется защита *и* дальнейшее создание мест, вещей, людей и услуг. То есть мы хотим предотвратить дальнейшую эрозию *и* поощрить создание новых мест, вещей, людей и услуг, которые уникальны и единственны в своем роде; имеют локальные географические связи; специфичны для этого времени; включают человеческие отношения и несут печать волшебства. Во-вторых, это означает поддержку тех мест, вещей, людей и услуг, которым присуща аура постоянства, которые

являются локальными и предлагают людям источник идентичности, т. е. аутентичных.

Здесь ни в коем случае не утверждается, что наводнение Ничто, происходящее из глобализации, должно быть сокращено или уничтожено. Ясно, что существует огромная потребность в Ничто в его многочисленных обликах и с ним связано много преимуществ. Однако если сегодняшние тенденции продолжатся, то «что-то» все больше будет сокращаться и выталкиваться в более отдаленные и узкие уголки мира. Глобализация будет угрожать «чему-то» больше и больше, и «что-то» все больше будет глокализироваться и, таким образом, придвигаться к ничтожному концу континуума (по крайней мере, в сравнении с истинно локальным). Капитализм и макдональдизация здесь особенно могущественные силы из-за их глобальных амбиций и вовлеченности в производство Ничто. Главное значение американизации (как всегда – в той степени, в которой ее можно отделить от капитализма и макдональдизации) менее четко выражено. Ясно, что она необычайно могущественна и одновременно зачастую участвует и во всемирном распространении Ничто или того, что им становится, и в экспорте того, что является «чем-то», по крайней мере, в той степени, в которой оно насыщено характеристиками американского.

В то время как глобализация и глокализация поддерживаются по различным причинам, также должны существовать и координированные усилия в поддержку того, что осталось от локального, особенно тех его аспектов, которые вовлечены в создание «чего-то». Важно не переромантизировать локальное: многое из того, что оно порождает, не так желательно и, возможно, даже деструктивно и достойно порицания. Никто здесь не говорит о том, чтобы вернуться в мир, где доминирует локальное; глобализация и глокализация дали людям по всему миру много того, что усовершенствовало их жизнь и что, кажется, сделало многих из них счастливее. Что необходимо, так это мир, в котором люди продолжают иметь *возможность* выбрать локальное – мир, в котором локальное не было бы уничтожено, как жизнеспособная альтернатива, глобализацией и глокализацией.

Что насчет аргумента экономистов и других ученых, которые принимают перспективу рационального выбора? То есть как насчет того аргумента, что люди по всему миру свободно выбирают Ничто: не-места, не-вещи, не-людей и не-услуги – и поэтому нет нужды вставать на защиту локального – естественного средоточия мест, вещей, людей и услуг, – потому что ясно, что все меньше тех, кто хочет локального? Однако наша позиция здесь – в том, что борьба между локальным, с одной стороны, и глобальным и глокальным – с другой, в высокой степени неравна; это борьба, которая выигрывается двойными силами глобализации. Практически вся власть – экономическая, маркетинговая, рекламная и т. д. – держится на силах, которые поддерживают глобализацию. На так называемом свободном рынке глобальное и глокальное стремительно уничтожают локальное. В результате должны предприниматься активные усилия для того, чтобы поддержать и подкрепить локальное. Задача не в том, чтобы оттолкнуть мир на столетия назад в эпоху, когда локальное было практически всем для подавляющего большинства людей на планете. Скорее задача – в сохранении хотя бы некоторых аспектов локального, чтобы люди могли сделать действительно рациональный выбор между локальным, глобальным и глокальным. Но это не просто вопрос обеспечения возможности большего выбора; это также вопрос поддержания решающего источника инноваций в мире. Без идей и инноваций, ключом бьющих снизу, из локального, мир будет инертным и обедненным. Конечно, это утверждение не является истинным для инноваций в таких областях, как медицина и наука, которые в высокой степени зависят от глобализации (хотя здесь тоже есть проблемы, такие как подавление новых и альтернативных видов медицины из многих локальных областей по всему миру), но оно истинно в области культуры, понимаемой в самых широких рамках. Нам нужны глобальные инновации в медицине, науке и тому подобном, чтобы выжить (хотя многие из них, в военных технологиях, например, угрожают нам) и чтобы жить так, как мы хотим жить, но нам также нужна культура и культурные инновации – чтобы по-настоящему быть людьми. Продолжительная культурная

инновация зависит, хотя бы частично, от поддержки локального перед лицом глобальных процессов, которые, на данный момент, уже довольно сильно подавляют его.

Мы можем выйти за рамки обобщений, чтобы обсудить (по крайней мере вкратце) реальный пример организации – «Слоу Фуд»⁵, – который принимает активное участие в поддержании жизни локального.

«Слоу Фуд» можно рассматривать как глобальную организацию. Она стремится, и до сих пор достаточно успешно, стать глобальной силой и сейчас имеет около 70 тыс. членов в более чем 45 странах мира. Однако в отличие, в сущности, от всех остальных организаций подобного рода, эта глобальная организация заинтересована в поддержании того, что организовывается и регулируется как локальное и богато на отличительное содержание (другими словами, она заинтересована как в поддержании локального, так и в глобализации «чего-то»). Движение «Слоу Фуд»:

Поддерживает традиционные способы выращивания и возделывания еды, исключительной по качеству и вкусу.

Способствует потреблению такой еды в противоположность альтернативам, производимым глобальными корпорациями.

Стремится продолжить локальные традиции не только в том, каким образом производится еда, но и в том, что естся и как оно готовится.

Поддерживает способы приготовления пищи, являющиеся традиционными и настолько близкими к немеханизированным, насколько возможно.

Предпочитает сырые ингредиенты, которые являются настолько специфичными для места, в котором приготавливается еда, насколько возможно.

Борется против истощения окружающей среды, которые грозят локальным методам производства пищи.

Поддерживает локальных держателей лавок и ресторанов (благоприятствует «местным тавернам и кафетериям») в их уси-

⁵ Slow Food – медленная еда (англ.) (как противоположность fast food). – *Прим. перев.*

лиях выжить перед лицом бешеной атаки могущественных глобальных конкурентов.

Создает локальные сообщества, которые встречаются и участвуют в акциях по содействию вышеперечисленным целям.

Создала «Ковчег Вкуса», который насчитывает сотни видов еды, которые находятся в опасности исчезновения и нуждаются в защите. «Ковчеговая еда» должна жить в современном мире – должна противостоять угрозам, которые создаются мягкой, синтетической, производимой массово и угрожающе дешевой едой.

Стремится вовлекать рестораны, сообщества, города, национальные правительства и межправительственные службы в поддержку «медленной еды».

Предлагает ежегодные награды «Слоу Фуд», особенно тем, кто «сохраняет биоразнообразие в отношении еды – людям, которые могут в итоге спасти целые деревни и экосистемы».

Предлагает специальные призы и поддержку усилиям третьего мира и стремится организовать там локальную поддержку, чтобы помочь сохранению «растений, животных и пище обладателей приза».

Этими и многими другими способами «Слоу Фуд» борется за поддержание продолжительного существования «чего-то» в области еды. Чтойность во всех областях и всех типов нуждается в организациях наподобие «Слоу Фуд» и в схожих усилиях, если только она и мы не будем затоплены морем ничтожности. Нет причин, из-за которых нельзя было бы сформировать подобные глобальные организации с целью поддержания «чего-то» и отражения атак Ничто в различных областях.

В дополнение к универсальным организациям наподобие «Слоу Фуд» мы можем представить четыре специфических типа глобальных организаций: ориентированных на поддержание и защиту мест, вещей, людей и услуг. Конечно, нужно будет создать бесчисленное множество намного более специфических организаций. Следуя основным измерениям, все эти организации будут направлены на поддержание и защиту того, что является уникальным, имеет локальные географические связи, специфично

для времени, включает человеческие отношения и овеяно мистикой. Действительно, Движение «Слоу Фуд» посвящено именно таким вещам и поэтому предстает как удачная глобальная модель для заинтересованных в защите и продвижении чего-то в мире, который все более характеризуется глобальным распространением Ничто.

Хотя и поддержание, и защита чего-то важны, необходимо помнить, что движение «Слоу Фуд» не хочет, чтобы его рассматривали как создателя музея древностей. То есть оно не заинтересовано в простом поддержании прошлого и настоящего — оно озабочено созданием будущего. Это значит, что для него и для всех организаций того же рода важно активно участвовать в поощрении создания *новых* форм «чего-то». Это может включать новые комбинации того, что уже существует, или создание принципиально новых мест, вещей, людей и услуг. Последнее — задача не из легких, однако ее не следует терять из виду в поддержании существующих форм «чего-то».

Перевод с английского А. А. Широкаковой

ВАЛЛЕРСТАЙН ИММАНУИЛ

2008: ПРОВАЛ НЕОЛИБЕРАЛЬНОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ¹

Идеи неolibеральной глобализации звучали повсюду с начала 1980-х. Да. Это не новая в истории современной мир-системы идея, хотя ее и подавали как новую. Скорее, это очень старая мысль, мол, правительства во всем мире должны убраться с пути крупных эффективных предприятий, пытающихся доминировать на мировом рынке. В политике это означало прежде всего, что правительства должны разрешить этим корпорациям свободно пересекать любую границу с их товарами и их капиталами. Второе последствие для политики правительства. Все правительства должны отказаться от какой-либо роли как собственники-вла-

¹ *Валлерстайн И.* Провал неolibеральной глобализации // Социологические исследования. — 2009. — № 6. — С. 91–94. Пер. с англ. Н. В. Романовского.

дельцы производственных предприятий, приватизируя все, чем они владеют. Третье требование к политикам правительства, все правительства должны минимизировать, если не ликвидировать, любые формы трансфертных выплат в рамках социальной поддержки своего населения. Мода на эту очень старую идею всегда была цикличной.

В 1980-е годы эти идеи выступали как противовес столь же старым кейнсианским или социалистическим взглядам, доминировавшим тогда в большинстве стран мира: экономика должна быть смешанной (государственные плюс частные предприятия); правительства должны защищать своих граждан от поползновений квази-монопольных корпораций, собственники которых иностранцы; правительства должны стремиться выравнять жизненные шансы путем трансфертных выплат своим менее зажиточным согражданам (особенно образование, здравоохранение, гарантированные уровни доходов), что, конечно, требовало налогообложения зажиточных резидентов и корпораций.

Программа неолиберальной глобализации воспользовалась застоєм в прибылях во всем мире, начавшимся после длительного периода беспрецедентного глобального роста в период 1945 г. – начала 1970-х, что стимулировало господство кейнсианских и/или социалистических взглядов в политике. Застой в доходах создал проблемы платежных балансов большинства правительств мира, особенно на глобальном юге и в так называемом блоке социалистических стран. Неолиберальное контрнаступление возглавили правые правительства США и Великобритании (Рейган и Тэтчер), а также два межправительственных финансовых агентства – МВФ и всемирный банк. Они вместе создали и провели в жизнь то, что стали называть Вашингтонским консенсусом. Лозунгом этой глобальной политики стал ННА – Нет никакой альтернативы (TINA – There is No Alternative). Этот лозунг давал понять всем правительствам, что им нужно или подчиняться рекомендациям, или им откажут в международной помощи при любых трудностях, с которыми они столкнутся.

Вашингтонский консенсус обещал всем возобновление экономического роста и выход из глобального застоя прибылей.

Политически сторонники неолиберальной глобализации были очень успешны. Одно правительство за другим: на глобальном Юге, в социалистическом блоке, в сильных странах Запада — приватизировали отрасли промышленности, открывали границы торговым и финансовым транзакциям, урезали социальные расходы. Социалистические, даже кейнсианские идеи были основательно дискредитированы в общественном мнении и отвергнуты политическими элитами. Наиболее очевидным последствием стало падение коммунистических режимов в Центрально-Восточной Европе и бывшем Советском Союзе плюс политический курс, дружественный к рынку, во все еще номинально социалистическом Китае.

Единственной проблемой при этом большом политическом успехе было то, что он не сопровождался успехом экономическим. Застой в прибылях промышленных предприятий всего мира сохранялся. Повсеместный взлет мировых фондовых рынков основывался не на доходах от производства, а на спекулятивных финансовых махинациях. Распределение доходов во всем мире и по странам приобрело перекошенные формы — массовый рост доходов 10 % самых богатых, особенно верхнего 1 %, и падение реальных доходов большинства остального населения мира.

Разочарование в достижениях несдерживаемого «рынка» стало проявляться к середине 1990-х. Этому много свидетельств: возвращение к власти во многих странах правительств, ориентированных на сильную социальную политику; возобновление призывов к правительствам проводить политику протекционизма, особенно со стороны рабочего движения и организаций сельских работников; рост во всем мире антиглобалистских движений под лозунгом — «Возможен другой мир».

Такая политическая реакция росла медленно, но устойчиво. Но сторонники неолиберальной глобализации получили поддержку от режима Джорджа Буша. Его правительство проталкивало одновременно все более непропорциональный рост доходов (очень крупные налоговые изъятия для богатых) и милитаристскую, одностороннюю внешнюю политику в стиле «мачо» (вторжение в Ирак). Все это оно финансировало немыслимым ростом

заимствований (долгов) путем продажи облигаций казначейства США тем, кто контролировал мировые источники энергии и дешевое производство товаров.

На бумаге все выглядело хорошо, если читать только лишь данные по фондовым рынкам. Но все это было мыльным пузырем, который не мог не лопнуть, и сейчас он лопается. Вторжение в Ирак (плюс Афганистан плюс Пакистан) оказалось большим военным и политическим фиаско. Экономическая надежность США дискредитирована, вызвав радикальное падение доллара. Фондовые рынки мира вздрагивают, когда до них долетают брызги мыльного пузыря.

Какие же политические выводы делают правительства и народы? Их, по-видимому, четыре. 1. Конец роли доллара США как мировой резервной валюты, что делает невозможным продолжение политики сверх-задолженности правительств и США и их клиентов. 2. Возврат к высоким уровням протекционизма и на глобальном Севере и на глобальном Юге. 3. Возврат к покупке государством падающих предприятий и проведение кейнсианских мер. Последнее – возврат к росту государственных перераспределительных социальных мер.

Маятник в политике пошел назад. Неолиберальную глобализацию через десяток лет будут описывать как цикл истории капиталистической мир-экономики. Реальный вопрос не в том, кончилась ли эта фаза, а в том, сможет ли такой поворот, как в прошлом, вернуть относительное равновесие этой мир-системе. Или вреда сделано слишком много, и мы сейчас вошли в фазу более насильственного хаоса в мир-экономике и поэтому во всей мир-системе в целом?

ДЕПРЕССИЯ: ДОЛГОСРОЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Депрессия началась. Еще журналисты осторожно спрашивают экономистов, вступили ли мы просто в рецессию. Не верьте. Мы уже в начале полнокровной всемирной депрессии с большой безработицей почти везде. Она может иметь форму классической номинальной дефляции со всеми негативными последствиями для простых людей. Или примет форму безудержной инфляции,

что есть лишь другой способ дефляции ценностей, что еще хуже для простых людей.

Все, конечно, спрашивают: чем вызвана эта депрессия? Деривативами, которые Уоррен Баффитт назвал «финансовым оружием массового уничтожения»? Или игрой с ипотекой? Или спекуляцией на нефти? Это все бессмысленная игра в виноватого, концентрация на пыли, по словам Фернана Броделя, от краткосрочных событий. Если мы хотим понять, что происходит, нужно посмотреть на два других временных измерения, это даст гораздо больше. Одно из них – среднесрочные циклические колебания, другое – долгосрочные структурные тренды.

Мир-система капитализма за последний ряд столетий, как минимум, знает две формы крупных циклических колебаний. Одна – так называемые кондратьевские циклы исторической протяженностью 50–60 лет. Другая – циклы гегемонизма, гораздо более длительные.

В циклах гегемонизма США стали заметным претендентом на гегемонию с 1873 г., достигли полной гегемонии в 1945 г. и утрачивали ее с 1970-х. Глупости Джорджа Буша превратили медленный спуск в падение. Сейчас мы уже миновали всякое подобие гегемонии США. Мы вступили, и это нормально, в многополярный мир. США остаются мощной державой, даже самой мощной, но будут идти под уклон по сравнению с другими державами ближайшие десятилетия. Едва ли кто-то может с этим что-либо поделать.

Иное дело кондратьевский цикл. Мир вышел из последней фазы-Б этого цикла в 1945 г., наступила самая сильная в истории А-фаза современной мир-системы. Она достигла вершины примерно в 1967–73 гг., затем начался спад. Эта фаза длится дольше, чем прежние Б-фазы, и мы пока находимся в ней.

Черты кондратьевской Б-фазы хорошо известны, совпадая с тем, что испытала мир-экономика после 1970-х. Уровни дохода от производства снижаются, особенно в самых прибыльных производствах. Естественно, капиталисты, желая получать самые высокие уровни прибыли, поворачиваются к финансовой арене, к тому, что, в сущности, является спекуляцией. Производственная деятельность, чтобы не быть слишком неприбыльной, пере-

мещается из стержневых зон в другие части мир-системы, меняя низкие транзакционные расходы на низкую цену труда. Вот почему Детройт, Эссен, Нагоя теряют рабочие места, а заводов становится больше в Китае, Индии, Бразилии.

Мыльные пузыри спекуляции всегда приносили кое-кому большие деньги. Но такие мыльные пузыри всегда лопаются, рано или поздно. Спрашивают: почему последняя кондратьевская Б-фаза была такой долгой? Потому что власти, то есть казначейство США, Федеральный резервный банк, МВФ и их соратники в Западной Европе и Японии регулярно и решительно вмешивались в дела рынка, чтобы подпереть мир-экономику. В 1987 г. – падение фондового рынка, 1989 – крах займов и сбережений, 1997 – финансовый крах в Восточной Азии, 1998 – долгосрочное порочное управление менеджментом капитала, 2001–2002 (Энрон). Они усвоили уроки прежних кондратьевских Б-фаз. Властям казалось, что они могут пересилить систему. Но всему есть непреодолимые пределы. И мы сейчас подошли к ним, в чем Генри Полсон и Бен Бернанки убеждаются с раздражением и, вероятно, удивлением. В этот раз будет нелегко, если не невозможно, избежать худшего.

В прошлом после разрушительных депрессий мир-экономика опять набирала скорость на основе инноваций, которые можно было на время квази-монополизировать. То есть, когда люди говорят, что фондовый рынок оправится, они верят, что и в этот раз все будет, как прежде, после всего, что перенесли люди во всем мире. Может быть, так и будет через несколько лет.

Но есть нечто новое, что может нарушить тот циклизм, что поддерживал систему капитализма 500 лет. Структурные тренды могут помешать ходу цикла. Базовые структурные черты капитализма действуют по определенным правилам, которые на диаграмме выглядят как восходящее равновесие. Проблема, как со всяким структурным равновесием всех систем, в том, что со временем кривые стремятся уходить прочь от равновесия, становится невозможным вернуть их обратно к равновесию.

Что заставляет систему уходить дальше от равновесия? Вкратце, дело в том, что за последние 500 лет основные расходы капиталистического производства: персонал, ресурсы, налоги –

постоянно поднимались в форме процента возможной цены продаж так, что сегодня невозможно извлечь крупную прибыль из квази-монопольного производства, которое всегда было базой значимого накопления капитала. Не потому, что у капитализма не получается то, что он делает лучше всех. Именно потому, что он это делал хорошо, он, наконец, подорвал основу будущего накопления.

Когда мы подходим к такой точке, система вступает в бифуркацию (на языке изучения сложностей). Непосредственным следствием становится хаотичная турбулентность, которую в данный момент испытывает наша мир-система и будет испытывать еще наверное лет 20–50. Когда каждый тянет в любом направлении, которое кажется в данный момент лучшим, новый строй возникнет из хаоса одним или двумя альтернативными и очень разными путями.

Можно уверенно утверждать, что нынешняя система не выживет. Но нельзя предсказать, какой новый строй придет ей на смену. Выбор будет результатом бесконечного множества отдельных действий. Но рано или поздно установится новая система. Она будет не капиталистической, но может быть гораздо хуже (более поляризованной и иерархичной) или намного лучше (относительно демократичной и относительно эгалитарной). Выбор новой системы – предмет крупнейшего политического противоборства во всем мире нашего времени.

Что касается кратко- и среднесрочных перспектив, ясно, что происходит повсюду. Мы движемся в мир протекционизма – забудьте о так называемой глобализации. Мы идем к намного большей прямой роли правительств в производстве. Даже США и Британия частично национализируют банки и умирающие крупные предприятия. Мы идем к правительствам популистского перераспределения, что может принять форму или левоцентристской социал-демократии, или крайне правого авторитаризма. И мы идем к острому социальному конфликту внутри стран, где каждый борется за свой кусок пирога. В ближайшей перспективе это, в целом, неприятная картина.

Перевод с английского Н. В. Романовского

БУРДЬЕ Пьер
(BOURDIEU Pierre)
(1930–2002)

Пьер Бурдьё (10.08.1930, Денгин – 23.01.2002, Париж) – один из видных социологов-теоретиков Франции, учился у Л. Альтюсера и М. Фуко, испытал воздействие идей К. Маркса, внес существенный вклад в общую социологическую теорию, социологию культуры и социологию образования. Закончил в 1955 г. Высшую педагогическую школу по специальности «философия», преподавал философию в лицее г. Мулен, в 1958 г. уехал в Алжир, где продолжил преподавательскую работу и начал исследования как социолог. В 1964 г. стал директором-исследователем Высшей практической исследовательской школы г. Парижа. В 1975 г. основал и возглавил Центр европейской социологии, имеющий обширные международные научные контакты и программы. Ему принадлежит большое количество глубоких инновационных исследований в области социологии культуры, образования, политики, эпистемологии социальных наук, получивших признание научных кругов и принесших ему широкую известность.

Существенное внимание Бурдьё уделял рассмотрению социальной действительности и прежде всего «социального пространства», состоящего из реального положения (позиции) в нем индивида (или агента) и его представления о своем положении (диспозиции), в соответствии с которым он организует и преобразует это пространство. Совокупность диспозиций действия, система приобретенных предрасположенностей, структур, предназначенных для функционирования, по Бурдьё, составляет так называемый габитус. Данное понятие характеризует совокупность черт, которые приобретает индивид, свойства, результирующие присвоение некоторых знаний, опыта, вытекающего из социального статуса, других позиций. Габитус – это структурированное социальное отношение, система долговременных групповых и индивидуальных

установок, ориентаций, функционирующих как матрицы восприятия, постановки социальных целей, действий и поведения. Он представляет собой слепок объективных структур, воспринятых индивидом, глубоко укоренившихся в его сознании и «забытых», недоступных рациональному осмыслению. Габитус консервативен, стремится поддерживать самого себя и в то же время способен на обновление, которое производится в соответствии с его собственными принципами. В понимании Бурдьё габитус представляет собой структуру когнитивных и мотивационных систем; продукт наличных исторических условий. В этом смысле он объективен – отличен от индивида, находится «вне» его. Однако он инкорпорирован в сознание индивида и в этом смысле является неотделимой частью агента социального действия. Габитус, структурируя и опосредуя восприятие, мышление и поведение, воспроизводит культурные и социально-политические правила, стили жизни и существования различных социальных групп.

Составной частью социологической концепции Бурдьё выступает теория социального поля. Поле в концепции Бурдьё есть место отношений сил и борьбы, направленной на трансформацию этих отношений, и, как следствие, это место непрерывного изменения. Конфронтация между классами приводит к появлению совокупности полей власти. Бурдьё ввел понятия «символическое насилие» – иерархию ценностей, навязываемых властью, и «символический капитал» – интеллектуальное богатство субъекта, которое ему полезно.

Основные работы: «Педагогическое отношение и коммуникация» (1965), «Школа как консервативная сила» (1966) «Ремесло социолога» (1968), «К социологии символических форм» (1970), «Воспроизводство» (1970), «Политическая онтология Мартина Хайдеггера» (1976), «Алжир 60» (1977), «Основы теории и практики» (1977), «Отличие» (1979), «Чувство практики» (1980) «Гомоакадемик» (1984), «Нищета мира» (1993), «Социология политики» (1993) и др.

В предлагаемом тексте раскрываются генезис и структурирование социального пространства и его связи с физическим пространством в формировании габитуса.

ФИЗИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВА¹

Проникновение и присвоение

Социология должна действовать исходя из того, что человеческие существа являются в одно и то же время биологическими индивидами и социальными агентами, конституированными как таковые в отношении и через отношение с социальным пространством, точнее, с полями. Как тела и биологические индивиды, они помещаются, так же как и предметы, в определенном пространстве (они не обладают физической способностью вездесущности, которая позволяла бы им находиться одновременно в нескольких местах) и занимают одно место. Место, *topos* может быть определено абсолютно как то, где находится агент или предмет, где он «имеет место», существует, короче, как «локализация», или же относительно, регулятивно, как позиция, как ранг в порядке. Занимаемое место может быть определено как площадь, поверхность и объем, который занимает агент или предмет, его размеры или, еще лучше, его габариты (как иногда говорят о машине или о мебели).

Однако, физическое пространство определяется по взаимным внешним сторонам образующих его частей, в то время как социальное пространство – по взаимоисключению (или различию) позиций, которые его образуют, так сказать, как структура рядоположенности социальных позиций. Социальные агенты, а также предметы в качестве присвоенных агентами, и, следовательно, конституированные как собственность, помещены в некое место социального пространства, которое может быть охарактеризовано через его релятивную позицию по отношению к другим местам (выше, ниже, между и т. п.) и через дистанцию, отделяющую это место от других. На самом деле, социальное пространство стремится преобразоваться более или менее строгим

¹ Бурдьё П. Физическое и социальное пространства // П. Бурдьё. Социология социального пространства. – М.: Ин-т экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2007. – С. 49–63 (в сокр.). Пер. с фр. Н. А. Шматко.

образом в физическое пространство с помощью искоренения или депортации некоторых людей – операций неизбежно очень дорогостоящих.

Структура социального пространства проявляется, таким образом, в самых разнообразных контекстах как пространственные оппозиции обитаемого (или присвоенного) пространства, функционирующего как некая спонтанная метафора социального пространства. В иерархизированном обществе не существует пространства, которое не было бы иерархизировано и не выражало бы иерархии и социальные дистанции в более или менее деформированном и, в особенности, замаскированном виде посредством действия натурализации, вызывающей устойчивое занесение социальных реальностей в физический мир. Различия, произведенные посредством социальной логики, могут, таким образом, казаться рожденными из природы вещей (достаточно подумать об идее «естественных границ»).

Так, разделение на две части внутреннего пространства кабилыского дома, которое я детально анализировал ранее, несомненно, устанавливает парадигму любых делений разделяемой площади (в церкви, в школе, в публичных местах и в самом доме), в которые переводится снова и снова, хотя все более скрытым образом, структура разделения труда между полами. Но можно с таким же успехом проанализировать структуру школьного пространства, которое в различных его вариантах всегда стремится обозначить выдающееся место преподавателя (кафедру), или структуру городского пространства. Так, например, пространство Парижа представляет собой помимо основного обратного преобразования экономических и культурных различий в пространственное распределение жилья между центральными кварталами, периферийными кварталами и пригородом, еще и вторичную, но очень заметную оппозицию «правого берега» «левому берегу», соответствующую основополагающему делению поля власти, главным образом, между искусством и бизнесом.

Здесь можно видеть, что социальное деление объективированное в физическом пространстве, как я показывал ранее, функ-

ционирует одновременно как принцип видения и деления, как категория восприятия и оценивания, короче, как ментальная структура. И можно думать, что именно посредством такого воплощения в структурах присвоенного физического пространства, глухие приказы социального порядка и призывы к негласному порядку объективной иерархии превращаются в системы предпочтений и в ментальные структуры. Точнее говоря, неосязаемое занесение в тело структур социального порядка несомненно осуществляется в значительной степени с помощью перемещения и движения тела, позы и положения тела, которые эти социальные структуры, конвертированные в пространственные структуры, организуют и социально квалифицируют как подъем или упадок, вход (включение) или выход (исключение), приближение или удаление по отношению к центральному и ценимому месту (достаточно подумать о метафоре «очага», господствующей точки кабильского дома, которую Хальбвакс натуральным образом подыскал, чтобы говорить об «очаге» культурных ценностей»). Я думаю, например, об уважительной поддержке, к которой апеллируют величие и высота (например, памятника, эстрады или трибуны), или еще о противостоянии произведений скульптуры и живописи или, более утонченно, о всех проявлениях в поведении почтительности и реверансов, которые негласно предписывает простая социальная квалификация в пространстве (почетное место, первенство и т. п.) и любые практические иерархии областей пространства (верхняя часть/нижняя часть, благородная часть/постыдная часть, авансцена/кулисы, фасад/задворки, правая сторона/левая сторона и др.).

Присвоенное пространство есть одно из мест, где власть утверждается и осуществляется, без сомнения в самой хитроумной своей форме – как символическое или незамечаемое насилие: архитектурные пространства, чьи бессловесные приказы адресуются непосредственно к телу, владеют им совершенно так же, как этикет дворцовых обществ, как реверансы и уважение, которое рождается из отдаленности, точнее, из взаимного отдаления на почтительную дистанцию. Эти архитектурные пространства несомненно являются наиболее важными

составляющими символичности власти, благодаря самой их незаметности.

Социальное пространство, таким образом, вписано одновременно в объективные пространственные структуры и в субъективные структуры, которые являются отчасти продуктом инкорпорации объективированных структур. Например, как я уже писал, оппозиция «левого берега» Сены (под которым сегодня практически понимаются и предместья) «правому берегу», которая отражается на картах и в статистических обзорах (о публике, посещающей театры, или об особенностях художников, выставляемых в галереях на том и другом берегу), представлена «в головах» потенциальных зрителей, но также и в головах авторов театральных пьес или художников и критиков в виде оппозиций, функционирующих как категории восприятия и оценивания: оппозиция театра авангарда и поиска театру бульварному, конформистскому, повторяющемуся; публики молодой, публике старой, буржуазной; или кино как искусством и экспериментом залам с исключительным правом показа некоторых фильмов и т. д.

Как можно видеть, нет ничего более сложного, чем выйти из овеществленного социального пространства, чтобы осмысливать его именно в отличие от социального пространства. И это тем более верно, что социальное пространство как таковое предрасположено к тому, чтобы позволять видеть себя в форме пространственных схем, а повсеместно используемый для разговоров о социальном пространстве язык изобилует метафорами, заимствованными из физического пространства.

Физическое пространство и социальное пространство

Таким образом, нужно начинать с определения четкого различия между физическим и социальным пространствами, чтобы затем задаться вопросом, как и в чем локализация в определенной точке физического пространства (неотделимая от точки зрения) и присутствие в этой точке могут принимать вид имеющегося у агентов представления об их позиции в социальном пространстве, и через это – самой их практики.

Социальное пространство – не физическое пространство, но оно стремится реализоваться в нем более или менее полно и точно.

Это объясняет то, что нам так трудно осмысливать его именно как физическое. То пространство, в котором мы обитаем и которое мы познаем, является социально обозначенным и сконструированным. Физическое пространство не может мыслиться в таком своем качестве иначе, как через абстракцию (физическая география), т. е. игнорируя решительным образом все, чему оно обязано, являясь обитаемым и присвоенным. Иначе говоря, физическое пространство есть социальная конструкция и проекция социального пространства, социальная структура в объективированном состоянии (как, например, кабийский дом или план города), объективация и натурализация прошлых и настоящих социальных отношений.

Социальное пространство – абстрактное пространство, конституированное ансамблем подпространств или полей (экономическое поле, интеллектуальное поле и др.), которые обязаны своей структурой неравному распределению отдельных видов капитала, и может восприниматься в форме структуры распределения различных видов капитала, функционирующей одновременно как инструменты и цели борьбы в различных полях. Реализованное физически социальное пространство представляет собой распределение в физическом пространстве различных видов благ и услуг, а также индивидуальных агентов и групп, локализованных физически (как тела, привязанные к постоянно-му месту: закрепленное место жительства или главное место обитания) и обладающих возможностями присвоения этих более или менее значительных благ и услуг (в зависимости от имеющегося у них капитала, а также от физической дистанции, отделяющей от этих благ, которая сама в свою очередь зависит от их капитала). Такое двойное распределение в пространстве агентов как биологических индивидов и благ определяет дифференцированную ценность различных областей реализованного социального пространства. <...>

Генезис и структура присвоенного физического пространства

Пространство, точнее, места и площади овеществленного социального пространства или присвоенного физического пространства обязаны своей дефицитностью и своей ценностью

тому, что они суть цели борьбы, происходящей в различных полях, в той мере, в какой они обозначают или обеспечивают более или менее решительное преимущество в этой борьбе.

Способность господствовать в присвоенном пространстве, главным образом за счет присвоения (материально или символически) дефицитных благ, которые в нем распределяются, зависит от наличного капитала. Капитал позволяет держать на расстоянии нежелательных людей и предметы и в то же время сближаться с желательными людьми и предметами, минимизируя таким образом затраты (особенно времени), необходимые для их присвоения. Напротив, тех, кто лишен капитала, держат на расстоянии либо физически, либо символически от более дефицитных в социальном отношении благ и обрекают соприкасаться с людьми или вещами наиболее нежелательными и наименее дефицитными. Отсутствие капитала доводит опыт конечности до крайней степени: оно приковывает к месту. И наоборот, обладание капиталом обеспечивает, помимо физической близости к дефицитным благам (место жительства), присутствие как бы одновременно в нескольких местах благодаря экономическому и символическому господству над средствами транспорта и коммуникации (которое часто удваивается эффектом делегирования – возможностью существовать и действовать на расстоянии через третье лицо).

Возможности доступа или присвоения, как мы уже видели, определяются через отношение между пространственным распределением агентов, взятых как нераздельно локализованные тела и как владельцы капитала, и распределением свободных в социальном отношении благ или услуг. Отсюда следует, что структура пространственного распределения власти, иначе говоря, устойчиво и легитимно присвоенные свойства и агенты, наделенные неравными возможностями доступа к благам или их присвоению, как материальному, так и символическому, представляет собой объективированную форму состояния социальной борьбы за то, что можно назвать пространственными прибылями.

Эта борьба может принимать индивидуальные формы: пространственная мобильность, внутри- и межпоколенная – пере-

мещения в обоих направлениях, например, между центром (столицей) и провинцией или между последовательными адресами внутри иерархически организованного пространства столицы — являет собой хороший показатель успеха или поражения, полученного в этой борьбе, и более широко, всей социальной траектории (при условии понимания, что агенты разного возраста и с разной социальной траекторией, так же как, например, молодые управленческие кадры высшего звена, могут временно сосуществовать на одних и тех же постах, и равным образом они могут оказаться, тоже лишь временно, соседями по месту жительства).

Борьба за пространство может осуществляться и на коллективном уровне, в частности, через политическую борьбу, которая разворачивается, начиная с государственного уровня — политика жилья, и до муниципального уровня, а именно посредством строительства и предоставления социального жилья или через выбор коммунального оснащения. Борьба может идти исходя из целей формирования однородных групп на пространственной основе, т. е. за социальную сегрегацию, которая есть одновременно причина и результат исключительного обладания пространством и оснащением, необходимым для группы, занимающей это пространство, и для ее воспроизводства. (Пространственное господство — одна из привилегированных форм осуществления господства, а манипулирование распределением групп в пространстве всегда служило манипулированию группами; можно, в частности, сослаться на использование пространства, практикующееся при различных формах колонизации).

Пространственные прибыли могут принимать форму прибылей локализации, которые в свою очередь могут быть подвергнуты рассмотрению в двух классах. Во-первых, рента от *ситуации*, которая связывается с фактом нахождения рядом с дефицитными или желательными вещами (благами или услугами, такими как образовательное, культурное или санитарное оснащение) и с агентами (определенное соседство, приносящее выгоды от спокойной обстановки, безопасности и др.) или вдали от нежелательных вещей или агентов. Во-вторых, прибыли позиции или

ранга (как те, что обеспечиваются престижным адресом) – частный случай символических прибылей от *отличия*, которые связываются с монопольным владением отличающей собственностью. Физические расстояния, которые можно измерить пространственными мерками или, лучше, временными мерками, по длительности времени, необходимого для перемещения в зависимости от доступности средств общественного или частного транспорта, иначе говоря, власть, которую капитал в его различных видах дает над пространством, есть также власть над временем. Они могут затем принимать форму прибылей от оккупации пространства (или от габаритов), т. е. от обладания физическим пространством (обширные парки, большие квартиры и т. п.), которые могут стать способом сохранения разного рода дистанции от нежелательного вторжения (это «радующие взор виды» английской усадьбы, которые, как отмечал Р. Вильямс в «*Town and Country*», превращают сельскую местность и ее крестьян в пейзаж для убаживания владельца, а «нефотогеничные ракурсы» – в рекламу по недвижимости). Одно из преимуществ, которое дает власть над пространством, – возможность установить дистанцию (физическую) от вещей и людей, стесняющих или дискредитирующих, в частности, через навязывание столкновений, переживаемых как скученность, как социально неприемлемая манера жить или быть, или даже через захват воспринимаемого пространства – визуального или аудио – представлениями или шумами, которые, в силу их социальной маркированности и негативной оценки, неизбежно воспринимаются как вмешательство или даже агрессия. <...>

Можно физически занимать жилище, но собственно говоря, не жить в нем, если не располагаешь негласно требующимися средствами, начиная с определенного габитуса². Короче говоря, габитус (*habitus*) формирует место обитания (*habitat*) посредством

² Ансамбль диспозиций действия, мышления, оценивания и ощущения определенным качественным образом составляет *габитус* (от *habere* (лат.) иметь). Габитус – совокупность черт, которые приобретает индивид, диспозиции, которыми он располагает, или иначе говоря, – свойства, результирующие присвоение некоторых знаний, некоторого опыта. – *Прим. перев.*

более или менее адекватного социального употребления этого места обитания, которое он (габитус) побуждает из него делать. Мы подходим, таким образом, к тому, чтобы поставить под сомнение веру в то, что пространственное сближение, или, более точно, со-жительство сильно удаленных в социальном пространстве агентов, может само по себе иметь результатом социальное сближение, или если угодно – распад: в самом деле, ничто так не далеко друг друга и так не невыносимо, как социально далекие друг другу люди, которые оказались рядом в физическом пространстве. И нужно еще задаться вопросом об игнорировании (активном или пассивном) социальной структуры пространства обитания и ментальных структур его предполагаемых обитателей, которое направляет стольких архитекторов поступать так, как если бы были в силах навязать социальное употребление здания и оснащения, на которые они проецируют собственные ментальные структуры, иначе говоря, те социальные структуры, продуктом которых являются их ментальные структуры. <...>

Помимо экономического и культурного капиталов, некоторые пространства, в частности, наиболее замкнутые, Наиболее «избранные», требуют также и социального капитала. Они могут обеспечить себе социальный и символический капиталы лишь с помощью «эффекта клуба», который вытекает из устойчивого объединения в недрах одного и того же пространства (шикарные кварталы или великолепные особняки) людей и вещей, похожих друг на друга тем, что их отличает от огромного множества других, что у них есть общего, не являющегося общим. Эффект клуба действует в той мере, в какой эти люди исключают по праву (с помощью более или менее афишированной формы *numerus clauses* – порядок, исключение) или по факту (чужак обречен на некоторое внутреннее исключение, способное лишить его определенных прибылей от принадлежности) не проявляющих всех желательных свойств или проявляющих одно из нежелательных свойств.

Эффект гетто есть полная противоположность эффекту клуба. В то время как шикарные кварталы, функционирующие как

клубы, основанные на активном исключении нежелательных лиц, символически посвящают каждого из своих обитателей, позволяя ему участвовать в капитале, аккумулированном совокупностью жителей, гетто символически разлагает своих обитателей, объединяя в некоторой резервации совокупность агентов, которые, будучи лишены всех козырей, необходимых для участия в различных социальных играх, могут делиться только своим отлучением. Кроме эффекта «клеяния», объединение в одном месте людей, похожих друг на друга в своей обделенности, приводит к удвоению этого лишения, особенно в области культуры и культурной практики (и наоборот, эффект «клеяния» укрепляет культурные практики наиболее обеспеченных).

Среди всех свойств, которые предполагает легитимное занятие определенного места, имеются такие, и они не являются наименее определяющими, которые приобретаются лишь при длительном занятии этого места и продолжительном посещении его законных обитателей: очевидно, это случай социального капитала связей (в особенности, таких привилегированных, как дружба с детства или с юношеских лет) всех тех наиболее тонких аспектов культурного и лингвистического капитала, как манера держаться, акцент и т. п. Существует масса черт, которые придают особую весомость месту рождения.

Чтобы показать, каким образом власть и, в частности, власть над пространством, которую дает обладание различными видами капитала, переводится в присвоенное физическое пространство в форме пространственного распределения возможностей обладать и иметь доступ к дефицитным благам и услугам, частным или общественным, я попытался несколько лет назад вместе с Моник де Сен-Мартен собрать воедино множество имеющихся статистических данных на уровне каждого французского департамента одновременно по показателям экономического, культурного и даже социального капитала, а также по благам и услугам, предлагаемым на этом уровне. Целью этой затеи было постараться уловить все то, что часто относят на счет физического или географического пространства, бессознательно подчиняясь действию натурализации, которое производит преобразование

социального пространства в присвоенное физическое пространство, и что на самом деле может и должно быть отнесено на счет структуры пространственного распределения как частных, так и общественных ресурсов и благ. Эта структура есть не что иное, как кристаллизация в данный момент времени всей истории рассматриваемой локальной единицы (регион, департамент и т. д.), ее положения в государственном пространстве и т. п. Несмотря на то, что это исследование за отсутствием времени не было доведено до конца, оно по меньшей мере позволило сделать вывод, что главное из региональных различий, которое часто приписывают результату действия географического детерминизма (например, в логике противопоставления севера и юга), обязано своим воспроизводством в истории эффекту кругового подкрепления, непрерывно осуществляемого в ходе истории. Поскольку устремления, особенно в отношении места жительства и более широко – культуры, являются большей частью продуктом структуры распределения благ и услуг в присвоенном физическом пространстве, они и имеют тенденцию меняться вместе со способностью их удовлетворять, а потому результат действия неравного распределения стремлений приводит к удваиванию в каждый момент результата действия неравного распределения средств и шансов удовлетворения.

Определив и измерив совокупность феноменов, хотя и связанных внешне с физическим пространством, но отражающих в действительности экономические и социальные различия, остается только постараться выделить неразложимый остаток, который должен быть полностью приписан эффекту близости или дистанции в чисто физическом пространстве. Например, эффекту экрана, который следует из локализации в какой-либо точке физического пространства и из антропологической привилегии принадлежать не только непосредственно воспринимаемому настоящему, но видимому и ощущаемому пространству сопresentующих предметов и агентов (соседи и соседство). Таким образом, можно видеть, что вражда, связанная с близостью в физическом пространстве (конфликты между соседями, например), может затмить солидарность, ассоциирующуюся с позицией,

занимаемой в государственном или межгосударственном социальном пространстве, или что представления, связанные с занимаемой в локальном социальном пространстве позицией, могут воспрепятствовать восприятию реально занятой в государственном социальном пространстве позиции.

Перевод с французского Н. А. Шматко

ШТОМПКА Петр
(SZTOMPKA Piotr)

(р. 1944)

Петр Штомпка (р. 02.03.1944, Варшава) – крупнейший польский социолог современности, получивший международное признание. Выдающийся вклад П. Штомпки в развитие международной социологии был подтвержден на XV Всемирном социологическом конгрессе в Брисбене (Австралия) в 2002 г., избравшем польского социолога Президентом Международной социологической ассоциации (2002–2006).

Родился в семье музыканта. Учился в самом известном в Польше Ягеллонском университете, по окончании которого получил степень магистра права (1966) и магистра социологии (1967). В 1970 г. защитил диссертацию по социологии в том же университете, где и работает постоянно: с 1974 г. – доцент, с 1980 г. – профессор социологии. С 1996 г. – руководитель Центра анализа социальных изменений «Европа – 89».

Петр Штомпка регулярно выезжает в разные страны мира (Америка, Европа, Австралия) для преподавания, проведения научных исследований, на стажировки, включая такие университеты, как Гарвард, Стэнфорд, Беркли, Колумбия (США), Болонья (Италия), Оксфорд (Великобритания), Шведскую коллегию по развитым социальным исследованиям, Нидерландскую королевскую Академию искусств, Венский институт развитых исследований. П. Штомпка – член Европейской академии (Лондон) и Американской академии искусств и наук (Кембридж), в Польше – член Польской академии наук и Польской академии искусств и наук. Петр Штомпка – член редколлегий более десятка социологических журналов в разных странах мира. Имеет международные награды.

На профессиональное становление П. Штомпки большое влияние оказали работы и личность Р. Мертона, с которым в его зрелые годы П. Штомпка был хорошо знаком. П. Штомпка – автор нескольких теорий, в том числе теории социальных изменений. Как теоретик постсо-

ветской трансформации он известен теорией культурной травмы, которая дает социокультурное объяснение противоречивому процессу социетального изменения постсоветских стран, а также объясняет преобразования, происходящие на уровне личности и социальных групп, участвующих в этом процессе. Характерно, прежде чем излагать свои взгляды на сущность социальных изменений, П. Штомпка, как правило, предпринимает «инвентаризацию» теорий и подходов предшественников и современников. В этом качестве книги П. Штомпки – подлинные энциклопедии, блестяще организованные по содержанию и структуре изложения, охватывающие в широком объеме и самые современные теории, и их приложения к интерпретации и объяснению исторических событий последних лет.

Основные работы: «Структура и функция» (1974), «Социологическая дилемма» (1979), «Роберт Мертон: интеллектуальный профиль» (1986), «Переосмысление прогресса» (1990), «Общество в действии» (1991), «Социология социальных изменений» (1993, три издания), «Дейтели и структуры: переосмысливая социологическую теорию» (1994), «Доверие: социологическая теория» (1999), «Социология. Анализ современного общества» (2005), «Визуальная социология. Фотография как метод исследования» (2007). Полный список его трудов включает более 20 научных монографий и 200 статей на 13 языках.

В предлагаемой ниже статье Петр Штомпка раскрывает свое представление о целях и основных задачах социологического образования. Вслед за Ч. Р. Миллсом он предлагает выделить концепцию социологического воображения, определяя его как способность связывать любое событие в обществе со структурным, культурным и историческим контекстом, а также с индивидуальными и коллективными действиями членов общества.

ШТОМПКА ПЕТР

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ. ЗНАЧЕНИЕ ТЕОРИИ¹

В фокусе обучения: социологическое воображение

Обучение будущих социологов преследует четыре цели: 1) преподавание языка этой дисциплины, набора концептов, посредством которых можно охватить социальную реальность; 2) развитие

¹ Штомпка П. Формирование социологического воображения. Значение теории // Социологические исследования. – 2005. – № 10. – С. 64–72. Пер. с англ. Н. В. Романовского.

специфического *способа видения*, точки зрения, с которой осуществляется подход к социальной реальности; 3) обучение методам, процедурам и техникам эмпирического исследования; 4) предоставление информации о главных фактах и данных, относящихся к современной социальной жизни. Совместим пункты 1) и 2) – язык и способ видения – под одним понятием «социологическое воображение», заимствованным из классической книги Ч. Р. Миллса. Он так определил это понятие: «Социологическое воображение позволяет нам понять историю, биографию и отношение между ними в обществе» [Mills, 1959]. Разберемся с полным значением этой формулировки и расширим ее за пределы того, что виделось Миллсу.

Я понимаю под *социологическим воображением* комплексный навык, способности, состоящие из пяти частей. А) – видеть все социальные феномены воспроизведенными некими *социальными агентами*, индивидуальными или коллективными, и идентифицировать этих агентов. Б) – понимать глубокие, скрытые *структурные и культурные ресурсы* и сдержки, влияющие на социальную жизнь, включая шансы, которые имеют усилия агентов (М. Комаровская так сформулировала эту мысль: «Настойчиво обучать социологическому видению, чтобы студенты могли обнаруживать невидимую социальную структуру») [Komarovsky, 1951], распознавать накопившийся груз традиции, устойчивого *наследия прошлого* и их влияние на настоящее, вникать в социальную жизнь в ее непрестанной динамике, в процессе текущего *становления (becoming)* [Sztompka, 1991], находить огромные разнообразия и разноликость форм, в которых может проявляться социальная жизнь). Э. Хьюз так определяет одну из основных целей социологического образования: «Освобождение, благодаря расширению собственного мира, путем проникновения в мир других людей и других культур, и сравнение его со своим – не единственный аспект социологического воображения. Но это одна из крупных частей его, как и самой жизни человека» [Hughes, 1970].

Иными словами: социологическое воображение – это способность связывать все, что случается в обществе, со *структурным, культурным и историческим контекстом*, с *индивидуальными и коллективными действиями членов социума*, при понимании

вытекающих отсюда *разнообразия* и различий социальных форм (arrangements).

Ч. Р. Миллс приводит пример: «Одним из результатов обучения социологии должна быть способность читать газеты. Разбираться в газете – вещь весьма сложная. Нужно учиться тому, как связывать сообщаемые события, как понимать их связи с более общими концепциями общества, отражением которого они являются, а также тенденций, часть которых они образуют... Я считаю: социология, прежде всего, это способ выйти за пределы того, что мы читаем в газете. Социология дает набор концепций и вопросов, которые помогают нам в этом. Если этого нет, тогда социология – неудачная часть либерального образования» [Mills, 1960]. Обучение социологии нельзя ограничить «книжной социологией». Она должна выйти за эти пределы к «социологии в жизни», к более глубоким интерпретациям, лучшему пониманию всего, что нас окружает. Как подчеркивал другой классик – Р. Парк: «Когда не пытаешься интегрировать выученные в классе вещи с опытом и проблемами реальной жизни, обучение тяготеет к педантству, проявляющемуся в отсутствии здравого суждения и того вида практического понимания, что зовется здравым смыслом» [Park, 1937]. О том же писала М. Комаровская: «Нет большей опасности при обучении, чем следующая: студенты учат социологические концепции чисто формально и вербально без богатства и полноты их значения; эта сумма слов остается бесплодным куском менталитета, не связанным с запутанным течением жизни, который студент пытается интерпретировать» [Komarovsky, 1951].

Я считаю обучение социологическому воображению и способности прилагать его к конкретным проблемам социальной жизни ключевым в подготовке социологов – как тех, кто думает о научной карьере, так и тех, кто идет в практически ориентированную профессиональную деятельность.

Социологическое воображение и теоретические ресурсы

В большой мере обучение *социологическому воображению* – синоним обучения социологической теории. Но не в смысле запоминания имен, школ, определений и аргументов. Скорее в смысле

использования теории, т. е. ее связи с конкретной практикой, взглядом на текущие проблемы, на окружающее общество, а также ее связи с нашими личными биографиями и жизненными шансами. Социологическое воображение должно дать нам карту, лучшую ориентацию в хаосе событий, перемен, трансформаций; Оно должно дать их более глубокое понимание, и тем самым – большие возможности для рациональной жизни и социальной практики. В этой статье я покажу ресурсы решения задач теоретического обучения, которое нам дает социологическая традиция, а также новейшая социальная теория.

Первый огромный резервуар теоретических идей мы найдем в *истории нашей дисциплины*, начиная с первых лет XIX в. Изучать историю социологии – не значит проводить время у антиквара. Традиция нашей дисциплины все еще предельно vitalна. Большая часть концепций, моделей, проблем, вопросов, изучаемых сегодня, унаследованы от мыслителей XIX в. Они заложили прочный фундамент под предприятие – социология, и их труды не утратили значения. Эти труды следует изучать не в строго исторической манере, в контексте времени и биографий авторов, а в контексте нашего времени, так как их плодотворные идеи проливают свет на современные реальности. Конечно, не все мыслители прошлого ставили одинаково значимое наследие. Мой личный выбор охватывает прежде всего «большую тройку»: К. Маркс, М. Вебер, Э. Дюркгейм – воистину бесспорные гиганты социологии, а также О. Конта, Г. Спенсера, Г. Зиммеля, Ф. Тенниса, В. Парето, А. де Токвиля, Ч. Кули, У. Самнера и Дж. Г. Мида. Читать и перечитывать их критически – важно, чтобы находить новые подходы и вопросы, формулировать социологические проблемы, рассматривать их в некоем диалоге с нашими собственными идеями и, что может быть важнее всего, – видеть в них хорошие модели работы интеллектуала. Как писал Р. Мертон: «Подставляя себя под проникающее воздействие таких социологических умов, как Дюркгейм и Вебер, мы облегчаем формирование стандартов вкуса и суждения при идентификации хорошей социологической проблемы – такой, что имеет важные последствия для теории, – и учимся тому, что составляет удачное

социологическое решение этой проблемы. Классические труды – то, что Сальвемини любил называть «либри фекондатори» – книги, обостряющие способности трудолюбивых читателей, которые отдают им безраздельно все свое внимание» [Zstompka, 1996]. Читая такие труды, студент узнает, что у социального мира много измерений, что он предельно сложен и поэтому требует для своего понимания множества подходов; Изучение истории социологических теорий – огромный урок *теоретического плюрализма*, терпимости к *расхождениям и разнообразию* точек зрения, а также лучшее лекарство против узколобого догматизма и ортодоксии.

Но оставим социологическую традицию, сосредоточим основное внимание на современной социологической теории и ее значении для преподавания. Я утверждаю, что у нас есть четыре типа теории и теоретизирования в современной социологии и что они имеют неравное значение для целей обучения, для тренировки социологического воображения. В порядке убывающего значения ниже будут представлены: объяснительная, эвристическая, аналитическая и экзегетическая теории.

Теоретический бум

В целом последнее десятилетие XX века – хорошее время для социологической теории. В середине XX в. много говорили о ее кризисе (см. известный труд А. Гоулднера). Сейчас ситуация изменилась. Многие наблюдатели разделяют мнение британского социолога Г. Деланти: «Социальная теория обрела *большую силу* в настоящее время» [The Tasks of Social Theory, 1998]. В подтверждение этих слов можно привести некоторые институциональные и организационные факты. Исследовательский комитет по теории (ИК-16) МСА, который я вместе с Дж. Александером основал в 1986 г., вырос так, что стал одним из самых крупных среди более чем пятидесяти комитетов Ассоциации. В Американской социологической ассоциации теоретическая секция самая крупная. За последние десятилетия века группа теоретических журналов значительно выросла по тиражам, появились новые журналы: «Теория, культура и общество», «Европейский

журнал социальной теории», «Теория» (орган Американское социологической ассоциации), «Теория и общество». Новый «Журнал классической социологии» начал выходить в издательстве «Сейдж» под редакцией Б. Тернера. Ряд крупных сборников по теоретическому знанию вышел из печати: Хрестоматия по социальной теории в издательстве «Полити» (1994) [Polity Reader in Social Theory, 1994]; Книги для чтения в издательстве «Блэквелл» по социальной теории (1996) и о крупных социальных теоретиках (2000) [Ritzer, 2000]; «Справочник по социальной теории» в издательстве «Сейдж» (2000). Опубликованы новые монографии, подводящие итоги современной теории: П. Баерт «Социальная теория в XX в.» [Baert, 1998], Дж. Скотт «Социологическая теория: современные дискуссии» [Scott, 1995]. Крупные издательства – «Полити Пресс», Издательство Кембриджского университета, «Сейдж» выпустили ряд теоретических трудов, классических и новых, включая такие значимые работы, как «Кембриджские социальные и культурные исследования» под редакцией Дж. Александера и Сейдмана. По всему миру проходят конференции, сконцентрированные на проблемах теории. Для примера назову две недавние конференции, в которых пришлось участвовать: «Новый взгляд на теории социальных перемен» в Монреале в 2000 г. и «Новые источники критической теории» в Кембридже в том же году. Весьма характерно, что теория вернулась в свою колыбель – Европу после долгого пребывания в Северной Америке [Nedelmann, 1993]. Именно Британия, Франция и Германия сейчас представляют собой наиболее плодородную почву для теоретической работы. Как признал Н. Смелсер: «Фактически за последние 50 лет центр тяжести общей теоретической мысли сместился из Соединенных Штатов в Европу, и это смещение представлено трудами таких ученых, как А. Турен, П. Бурдье, Ю. Хабермас, Н. Луман и Э. Гидденс. Большая часть современной теоретической мысли в США производна от влияния этих лиц на преподавателей и аспирантов» [Smelser, 1990]. С европейской стороны этому вторит Б. Тернер, предсказывающий, что «социальная» теория в Европе может возникнуть вновь и выработать новую форму доминирования в мире развития социальной теории» [The Tasks of Social Theory, 1998].

Объяснительная теория

Как интерпретировать эти факты и тенденции? Согласно старой традиционной позиции «теория против исследования» или «теоретическая социология против эмпирической» (примером могут служить споры Парсонса и Мертона в 1947 г. на ежегодном съезде Американской социологической ассоциации) [Merton, 1948], можно подумать, что пришествие теории означает бегство от исследования – в схоластику и сферу чистого разума, прочь от реальных социальных проблем и конкретных социальных фактов, отказ от эмпирического исследования. Нет ничего более далекого от истины! Имеет место как раз обратное. Взлет теории вызван тем, что она проложила себе путь во все области эмпирической социологии, нашла себе место во всех социологических специализациях, наконец, была принята как значимая и необходимая составная часть социологических исследований. *Отделять теорию от исследования стало немыслимым.* Напротив, мы – свидетели бурного роста числа теорий разных важных социальных проблем и вопросов.

Теоретики и исследователи встретились на середине пути. Многие теоретики перестали гоняться за абстракциями, повернулись к реальным проблемам: глобализация, идентичность, риск, доверие, гражданское общество, демократия, новые формы труда, социальная эксклюзия, культурные травмы и т. д. Исследователи-эмпирики больше не ограничиваются поиском фактов и сбором данных, а предлагают *модели генерализации* в своих областях, сформированные путем накопления исследовательских данных: теории девиантности, коллективное поведение, социальные движения, этничность, СМИ, социальный капитал, постматериалистические ценности и т. д. Например, недавно вышедший «Справочник по социологии» [Quah, 2000], задуманный как обобщение состояния разных дисциплин социологии, в каждой главе содержит существенный объем теории. В результате теория сближается с анализом реальных «социальных проблем» в отличие от эзотерических «социологических проблем», т. е. переживаемых простыми людьми, а не только социологами-профессионалами. Она объясняет насущные социальные проблемы,

генерируя гипотезы, более или менее поддающиеся проверке. И может влиять на более широкие слои, на простых людей, давая им руководство к мышлению, карты конкретных сфер их социального «жизненного мира».

Этот первый тип теории можно назвать «ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЙ ТЕОРИЕЙ». Она представляет то, что Б. Тернер назвал «сильной программой» для теории. Зададим этому типу теории [Turner, 1996] три наводящих вопроса – *Теория чего? Теория для чего? Теория для кого?* – Реальных социальных проблем: почему растет преступность, появляются новые социальные движения, откуда берется бедность, этническое возрождение. Для Мертона, Бурдьё, Тернера теория должна вырастать из исследований и быть направленной на исследования. «Для того чтобы вклад теории был ценным, ею должны двигать проблемы» [Turner, 1996]. Социальная теория живет и выживает лучше всего, когда она связана с эмпирическими исследованиями и общественными проблемами». Для чего? – Чтобы объяснять или, как минимум, давать модели, позволяющие лучше организовать разрозненные факты и феномены, интерпретировать разнообразные комплексные события и явления. Для кого? – Не только для коллег-теоретиков, но и для простого люда, его ориентации, просвещения, понимания им условий жизни. Одна из важных ролей теорий – «формирование демократического общественного дискурса» [Calhoun, 1996]. Эта роль будет еще рельефней, когда большее число стран станет демократическими, в будущем «обществе знания» информированных, образованных граждан, которым близки социальные, публичные проблемы, где демократия примет форму «дискурсивной демократии» [Druzek, 1990].

Сформулируем гипотезу в рамках «социологии знания»: истоки такого взлета объяснительной теории – в быстрых, радикальных, *ошеломляющих социальных переменах*. Мы переживаем очередной «большой переход» (формулировка М. Полани). Теории особенно нужны, пользуются спросом во времена перемен. На социологов есть давление со стороны простого народа, но также и политиков, которым нужна ориентация в хаосе. Все они хотят знать, откуда мы пришли, где находимся и куда идем.

Никакие данные и факты не дают ответов на такие вопросы. Видение, карту могут предоставить только *генерализирующие объясняющие модели*. «Ничто не требует от нас этих теоретических усилий больше, чем опыт исторических перемен и кросскультурное разнообразие» [Calhoun, 1996]. На мой взгляд, преподавать объяснительные теории – самая важная цель социологического образования. Особенно в периоды крупных социальных перемен. Такие теории сильнейшим образом стимулируют развитие социологического воображения, связывая теоретизирование с конкретным опытом.

Эвристическая теория

Перейдем ко второму типу теории – тому, что я бы назвал «ЭВРИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИЕЙ» (не проверяемой непосредственно, но более или менее плодотворной, генерирующей релевантные концепты, представления, модели). Она ближе всего к социальной философии, особенно к онтологии или метафизике социального мира, поскольку пытается отвечать на вечные онтологические вопросы об устройении социальной реальности: об основах *социального порядка, природе человеческого действия, механизме и курсе социальных изменений*. Такие вопросы задавали все классики, основатели социологии. Хорошими примерами классических ориентаций, доминировавших в середине века и пытавшихся разобраться с этими вопросами, были структурный функционализм, символический интеракционизм, теория обмена, марксизм. Потом возникли некоторые новые тенденции, о которых ниже.

О характеристиках эвристической теории. Опять зададим три вопроса. *Теория чего?* – Оснований социальной реальности. Она ставит вопросы не типа «почему», а типа «как»: как возможен социальный порядок (как существуют социальные единицы, как люди живут вместе, сотрудничают, сожительствуют), как осуществляется социальное действие, как происходит социальная перемена. *Теория для чего?* – Для обеспечения концептуальных рамок более конкретной объясняющей теоретической работы, для чувствительности к конкретным типам переменных, нахождения

точных категорий, позволяющих охватить различные разбросанные факты. *Теория для кого?* – В основном для исследователей, строящих объяснительные модели конкретных сфер деятельности, отвечающих на конкретные проблемы.

Бурный рост таких эвристических теорий в конце века нельзя объяснить ссылками на социальные факты; – скорее речь об интеллектуальных процессах. Здесь нужен подход с инструментами не социологии знания, а скорее – истории идей. Это, видимо, вызвано новыми сложившимися интеллектуальными процессами, новыми тенденциями, привлекательными, инновационными и оригинальными точками зрения. Есть удивительный «парадигматический сдвиг» [Kuhn, 1970], даже фактически три одновременных парадигматических сдвига, очевидных в современной теории. Первый сдвиг – от фиксированных органических систем к *текущим полям социальных сил*. Другими словами, от «первой» ко «второй» социологии. Социальный строй видится возникающим, создаваемым, постоянным достижением агентов, производимым и воспроизводимым действием людей. Примерами таких точек зрения полны работы Бергера, Лукмана, Элиаса, Гидденса, Бурдье. Второй сдвиг – от картины эволюции или социального развития к социальному становлению. Делается акцент на исторических сценариях с открытым исходом, движимым решениями, выбором, но также контингентными, случайными происшествиями. Это лучше всего представлено «исторической социологией» – авторами типа Тилли, Арчер, Скокпол, Штомпка [Sztompka, 1996]. Третий сдвиг – от картины «гомосоциологикус» (нормативно направляемый исполнитель роли), все еще представляемого «нео-функционализмом» (Дж. Александер, Н. Луман, Р. Мюнх), к «гомо когитанс» (обладающему знанием и смыслом актору, сформированному и ограничиваемому коллективными символическими системами знания и верования). Эту тенденцию часто называют *интерпретативным* (культурным, лингвистическим) *поворотом*. «Современная социальная теория совершила поворот на 180 градусов, отдав предпочтение и приоритет культурным явлениям и культурным отношениям» (Тернер) [Turner, 1996]. Здесь есть много вариан-

тов. В одном, который кто-то назвал «ментализмом», акцент делается на инвариантных компонентах человеческого мозга. Примерами могут быть структурализм Леви-Стросса и феноменология Шюца. Второй – то, что некоторые авторы зовут «текстуализмом», представлен постструктурализмом, теорией дискурсов Фуко, где социальная реальность предстает как форма текста со специфическим семантическим значением и собственными правилами грамматики. Третий иногда называют «интерсубъективизмом», где велик вклад Хабермаса с его теорией коммуникативного действия. Наконец, есть реакция против «сверхинтеллектуализированной картины человека» – мыслящего, знающего, – да, но лишь дискурсивно. Акцент сдвигается на практическое значение (Гидденс), этнометоды (Гарфинкель), но также на тело как инструмент действия (Тернер), эмоции как сопровождение действий, используемые вещи, встречающиеся объекты, окружение, обеспечивающее действие. Индивиды предстают как носители рутинизированных типичных комплексных наборов практик (Бурдье).

Итак, имеется богатое и разнообразное меню эвристических ориентаций. Преподавание их должно сделать студента чувствительным к необходимости использования многих из них, к рассмотрению общества с разных точек зрения, подхода к нему с разных сторон, если желаешь получить полное понимание социальной жизни.

Аналитическая теория

Еще один, третий тип теории можно назвать «АНАЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ». Что делает она? Она обобщает концепции, дает типологии и классификации, определения, применимые в объясняющей теории. Она имеет важное, но вспомогательное, инструментальное применение. Она не должна вырождаться в вечное совершенствование инструментов, которые никогда не используются, или в производство закрытых обязательных систем концептов. Попытки сконструировать концептуальные системы, специальные языки, охватывающие всю сферу социологии, кажется, кончились с Н. Луманом (до него лишь у Т. Парсонса

были похожие амбиции). Но на более ограниченном уровне эти усилия весьма полезны, необходимы и ближе всего подходят к тому, что Мертон назвал «теорией среднего уровня»: концептуальные схемы, применимые к конкретным эмпирическим проблемам. Это – теории среднего уровня роли и наборов ролей, референтных групп, стратификации, мобильности, аномии, девиации и т. д.

Какова природа такой теории? Вновь ответим на вопросы: это *теория чего?* – Богатых концепций, полезных для понимания феноменов. *Для чего?* – Для идентификации, объяснения явлений или важных измерений феноменов. *Для кого?* – Для социологов, обеспечивая их каноническим словарем, техническим языком, позволяющим выявлять суть дела, превосходящим обычный язык и здравый смысл. Преподавание аналитической теории важно для развития способности студентов мыслить и говорить социологически. Оно дает студенту основные инструменты профессии. *Вводные курсы* по социологии должны фокусироваться как раз на этом виде теорий.

Экзегетическая теория

Наконец, есть четвертый тип теории. Ее можно назвать «ЭКЗЕГЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИЕЙ». Она сводится к систематизации, реконструкции, критике существующих теорий. Она важна как *приготовление* к теоретической работе, ее, видимо, следует считать этапом в карьере ученого, неким периодом подмастерья. Через нее прошло большинство крупных теоретиков: Парсонс со «Структурой социального действия» (1937) [Parsons, 1937], Дэйв с «Теориями социального действия» [Dawe, 1978], Гидденс с «Капитализмом и современной социальной теорией» (1971) [Giddens, 1971], Александер со знаменитыми четырьмя томами «Теоретической логики в социологии» (1982) [Alexander, 1982], Смелсер с «Объяснением и социальной теорией» (1968) [Smelser, 1968]. Я бы включил и свои «Социологические дилеммы» (1979) [Sztompka, 1979] в эту категорию. Но произошло бы смещение целей, если бы главной заботой стали бесконечные рассечения и анализ трудов модных авторов. Чем более эзотерична, непо-

нятна, неясна и запутанна теория, тем лучшие шансы она даст для экзегетических споров. Она вызовет лихорадочный поиск «в темной комнате черной кошки, которой там нет». В этом секрет некоторых современных теорий (пример – вся школа «постмодернизма»). И их популярности среди интерпретаторов. Если теория однозначна, ориентирована на проблемы, точна и ясна, – в ней нечего интерпретировать и критиковать.

Три наших вопроса очень полезны и тут. *Теория чего?* – Других теорий, определенных книг, текстов, фантомов социологического соображения, ведущих к ориентированным на себя самое упражнениям. *Теория для чего?* – Для апологии или деструкции предложенных теорий, что легко переходит во фракционность, догматизм, ортодоксию школ, сект, фанатов и вырождается из «вольного рынка идей» в заколдованный круг «битвы идей». *Теория для кого?* – Для других теоретиков, которые играют в интеллектуальные игры в секте посвященных. Я считаю, что такие теории наименее важны, часто тщетны, нерелевантны. Они нередко вырождаются в эпигонство. Это мнение можно встретить у ряда теоретиков. «Социальная теория – одновременно и наиболее тщетная и наиболее жизненная из интеллектуальных занятий. Она тщетна, когда оборачивается вовнутрь себя, закрывается в себе, вырождается в иссушающую войну концептов или в завистливое празднование когнитивных подвигов данного автора, данной школы, моей традиции, твоей ортодоксии» [The Tasks of Social Theory, 1998]. «Нужно впустить свежий воздух в часто закрытые помещения кабинетного теоретизирования. Социальная теория – не только концептуализация и дискурс по поводу концепций других теоретиков». «Без стремления играть роль в обществе социологическая теория станет внутренним времяпрепровождением ученых, просто обеспечивающим декоративные последствия для ученой карьеры». «Без таких политических и публичных устремлений социальная теория грозит превратиться в эзотерический, элитистский и эксцентричный объект интереса ученых-маргиналов» [Turner, 1996]. «Немало ученых, кажется, считают, что теоретический процесс зависит лишь от внимательного освоения и переделки предшествующих

социальных теорий... Эта линия едва ли приведет к новаторски глубокому социальному знанию» [Baert, 1998].

Едва ли нужно добавлять, что я не рекомендовал бы этот тип теорий для студентов-социологов. Если к ним и обращаться, то место их в учебном плане должно быть маргинальным, может быть, только для дипломников или аспирантов – как некое умственное упражнение в прочтении и забывании эзотерических текстов.

Заключение

Я показал, что самые важные, плодотворные и перспективные типы теорий важны для социологического воображения, – *теории объяснительные и эвристические. Аналитические теории* играют вспомогательную роль в совершенствовании концептуальных инструментов и обеспечении языка для социологического мышления. *Экзегетические теории* полезны в лучшем случае для подготовки основ теоретизирования, развития критических навыков, но не вносят прямого вклада в саму теорию и не должны заменять другие формы теоретизирования.

Объяснительные и эвристические теории образуют плюралистичную мозаику теоретических объяснений и теоретических ориентаций. Как быть со столь значительной фрагментацией теоретического поля? Для объяснительной, практически ориентированной теории, обращенной к людям, а не только к коллегам-теоретикам, хорошим ответом выглядит положение о «дисциплинарном эклектицизме» [Merton, 1976]. Это следует внушать студентам-социологам. «Дисциплинарный» – значит критический подход, оценка теорий по их внутренним достоинствам, логичности, убедительности, плодотворности для генерирования гипотез. «Эклектицизм» – значит открытый, инклюзивный подход, толерантная установка, свобода от одностороннего догматизма. Некоторые авторы в последнее время, кажется, поддерживают такую стратегию: «В целом, невозможно задать все интересные вопросы о каком-либо действительно важном явлении в рамках одной теории или даже в рамках набора сопоставимых, логически совместимых теорий» [Calhoun, 1996]. «Получить

обобщенное знание о мире можно, исходя из различных соперничающих точек зрения» [Alexander, 1988]. Дисциплинарный эклектицизм позволяет пересекать междисциплинарные границы, возвращаясь к «социальной теории», как ее практиковали классики, – в противоположность узко заданной «социологической теории». Доклад Фонда Гюльбенкяна «Открыть социальные науки» (под ред. И. Валлерстайна) показывает, как в силу интеллектуальной необходимости социологии следует контактировать с психологией, экономикой, антропологией, политической наукой, и сколь важно отказаться от некоторых вредных междисциплинарных границ, которые возникли в XIX в. и оказались очень стойкими [Wallerstein, 1988]. На той же программе настаивает М. Доган: «Сети междисциплинарных влияний таковы, что делают устарелой прежнюю классификацию социальных наук. Тенденция, которую мы видим сегодня, такова – от новых формальных дисциплин к новым гибридам социальных наук» [Dogan, 1997]. Преподавание социологической теории должно акцентировать междисциплинарные связи, а не традиционные разделы. Это, может быть, самый большой вызов, перед которым сегодня стоит социологическое образование.

Литература

- Alexander J. C.* Theoretical Logic in Sociology, 4 vols. L., 1982.
Alexander J. C. New Theoretical Movement // Smelser N. (ed.), The Handbook of Sociology, Newbury Park 1988. P. 77–102.
Baert P. Social Theory in the Twentieth Century. Cambridge, 1998.
Calhoun C. Social Theory and the Public Sphere // Turner 1996. P. 429–470.
Dawe A. Theories of Social Action // T. B. Bottomore, R. Nisbet (eds.), The History of Sociological Analysis. NY., 1978. P. 362–417.
Dogan M. The New Social Sciences: Cracks in the Disciplinary Walls // International Social Science Journal, vol. 153, September 1997. P. 429–443.
Dryzek J. S. Discursive Democracy. Cambridge, 1990.
Giddens A. Capitalism and Modern Social Theory. Cambridge, 1971.
Hughes B. C. Teaching as Fieldwork // The American Sociologist, vol. 5, № 1/1970. P. 13–18.
Komarovsky M. A Note on a New Field Course // American Sociological Review, Vol. 9/1945. P. 194–196.

Komarovsky M. Teaching College Sociology // Social Forces, vol. 30, December 1951. P. 252–256.

Kuhn T. The Structure of Scientific Revolution, 2nd edition, Chicago 1970.

Merton R.K. The Position of Sociological Theory // American Sociological Review, vol. 13, 1948. P. 164–168.

Merton R. K. Sociological Ambivalence. NY., 1976.

Mills C. W. Introduction // Images of Man: The Classic Tradition in Sociological Thinking, NY., 1960. P. 16–17.

Mills C. W. Sociological Imagination. NY., 1959.

Nedelmann B., Sztompka P. (eds.). Sociology in Europe. Berlin, 1993.

Park R. A Memorandum on Role Learning // American J. of Sociology, vol. 43, July 1937. P. 23–36.

Parsons T. The Structure of Social Action. Glencoe, 1937.

Polity Reader in Social Theory. Cambridge, 1994.

Quah S., Sales A. (eds.). International Handbook of Sociology. L., 2000.

Ritzer G. (ed.). The Blackwell Companion to Major Social Theorists. Oxford, 2000.

Scott J. Sociological Theory: Contemporary Debates. Cheltenham, 1995.

Smelser N. J. Sociology's Next Decades: Centrifugality, Conflict, Accommodation // Cahiers de recherche sociologique, № 14, printemps 1990. P. 35–49.

Smelser N. J. Explanation and Social Theory. Englewood Cliffs, 1968.

Sztompka P. Society in Action: A Theory of Social Becoming, Cambridge, 1991.

Sztompka P. The Sociology of Social Change. Oxford, 1996.

Sztompka P. Robert K. Merton on Social Structure and Science. Chicago, 1996.

Sztompka P. Sociological Dilemmas: Toward a Dialectic Paradigm. NY., 1979.

The Tasks of Social Theory (editorial) // European Journal of Social Theory, vol. 1, № 1/1998. P. 127–135.

Turner B. S. Introduction // Blackwell Companion to Social Theory. Oxford, 1996. P. 1–19.

Turner B. S. (ed.). The Blackwell Companion to Social Theory. Oxford, 1996.

Wallerstein I. Should We Unthink the Nineteenth Century? // Francisco O. Ramirez (ed.), Rethinking the Nineteenth Century. Westport, 1988. P. 185–191.

Перевод с английского Н. В. Романовского

ЙОАС Ханс
(JOAS Hans)

(р. 1948)

Ханс Йоас (р. 27.10. 1948, Мюнхен) – один из самых известных представителей «молодого» (послевоенного) поколения немецких социологов, директор Центра Макса Вебера по социальным и культур-

ным исследованиям при Эрфуртском университете и одновременно профессор социологии Чикагского университета (США).

Йоас учился сначала в Мюнхенском университете, где изучал социологию, философию, историю и немецкую литературу, затем в 1971 г. перевелся в Свободный университет Берлина, где в 1972 г. получил степень магистра социологии, а в 1979 г. – степень доктора социологии. В 1979–1983 гг. работал в Институте Макса Планка в Берлине, в 1984–1987 – в Гейдельберге. С 1987 г. – профессор социологии в университетах Нюрнберга, Берлина, в 2002–2011 гг. – директор Центра Макса Вебера, Эрфуртский университет. С 1985 г. Йоас регулярно приглашается в разные университеты США (Чикаго, Мэдисон-Висконсин, Блумингтон, Нью Йорк), а также университеты Вены, Упсалы, Торонто и другие для чтения лекций и выступлений с докладами. Активно участвует в работе Международной социологической ассоциации, член редколлегии многих журналов, член Берлинской академии наук. В 2010 г. получил Лумановскую премию университета Билефельда. В настоящее время – профессор Фрайбургского университета.

Для большинства работ Йоаса характерна сильная ориентация на американский прагматизм, в котором, по его мнению, идеи демократии приняли форму философской системы. Ядром прагматизма у Йоаса объявляется специфическое понимание творческой природы человеческого действия, а не отождествление истины с полезностью, которое он считает карикатурой на философию прагматизма. Не в последнюю очередь благодаря Йоасу идеи прагматизма сегодня получили дальнейшее развитие на немецкой и французской почве в европейской социологии.

Йоас развивает собственную теорию социального действия, которую он выводит за узкие рамки символического интеракционизма. Его понимание социального действия отлично как от Парсонса, так и от Мида, Хабермаса и других авторов. Йоас пытается дать интегрированное понимание социального действия, показать его креативность и направленность на решение проблем, которые затем хабиитуализируются в практике и ведут к изменению образцов действия. Таким образом, он выводит теорию социального действия на уровень макросоциологии и связывает ее с возможностью демократического решения проблем модернизации.

Ханс Йоас – автор многих книг по теории и истории социологии, в том числе учебника «Социальная теория. Двадцать вводных лекций» (англ. изд. 2009, в соавторстве с В. Кноблем).

Основные работы: «Современное переосмысление Дж. Г. Мида» (1980); «Социальное действие и человеческая природа» (1988); «Прагматизм и социальная теория» (1993); «Возникновение ценностей» (1997); «Война и модернити» (2002). Одна из книг Йоаса – «Креативность действия» (1996) – в 2005 г. была переведена на русский язык и опубликована в Санкт-Петербурге.

Приведенный ниже текст представляет собой не опубликованное ранее выступление Йоаса на Пленарном заседании 37-го Конгресса Международного института социологии (Стокгольм) в июле 2005 г., в котором дано переосмысление связи классической и современной социологической мысли и которое автор любезно предоставил для перевода на русский язык.

ЙОАС ХАНС

ВОЗНИКНОВЕНИЕ УНИВЕРСАЛИЗМА: ПОЗИТИВНАЯ ГЕНЕАЛОГИЯ¹

Свою социологическую деятельность я рассматриваю как находящуюся под сильным влиянием двух различных национальных традиций – немецкой традиции историцизма и герменевтики, с одной стороны, и американской традиции прагматизма – с другой. Здесь немедленно возникают два вопроса. Первый: может ли один и тот же ученый быть представителем этих двух традиций одновременно? И второй: какое именно отношение имеют эти две первоначально несоциологические традиции к социологическому наследию? Разрешите мне сначала кратко ответить на эти два вопроса, а затем я попытаюсь выразить свой специфический подход, основанный на этих двух традициях, в сфере моих современных исследований истории прав человека.

Начну со второго вопроса. Нет сомнений в том, что философия прагматизма и философская герменевтика оказали влияние на классическую социологию, хотя бы в некоторой степени. Много было написано о важности прагматизма для Чикагской школы социологии, например, в работах У. Томаса, Р. Парка и,

¹ Joas H. The Emergence of Universalism: an Affirmative Genealogy. Текст Выступления на 37-м Конгрессе Международного института социологии. Июль, 2005. Пер. с англ. Л. Г. Титаренко.

конечно, в социальной психологии Дж. Г. Мида и Ч. Г. Кули и ее продолжении в символическом интеракционизме. Однако прагматизм так никогда и не стал всецело интегрированной частью амбициозной попытки теоретического синтеза, предпринятой Парсонсом. И для доминирующего типа американской социологии после 1945 года – сочетания функционализма среднего ранга Мертон и количественной методологии Лазарсфельда – этот подход всегда оставался маргинальным. Это в еще большей степени касается Европы, где традиционное чувство культурного превосходства по отношению к США на долгое время помешало серьезному восприятию идей прагматизма в философии и социальных науках.

Точно так же можно сказать, что невозможно игнорировать решающую важность историцизма и герменевтики для таких немецких классиков социологии, как Макс Вебер и Георг Зиммель. Однако, подобно тому как пренебрежение Пирсом, Джеймсом и Дьюи в понимании того, что представляет собой социология прагматизма, показало свой огромный вред, изучение упомянутых двух авторов (Вебера и Зиммеля) без более широкого интеллектуального контекста может только ввести в заблуждение. Дональд Ливайн в его «Видах социологической традиции» справедливо решил уделить почти столько же места В. Дильтею, сколько и М. Веберу, когда он описывал специфику немецкой социологической традиции. Включив сюда Дильтея, мы обнаружим, в чем Вебер все еще зависел от неокантианского «предлингвистического поворота»; включив затем в рассмотрение таких известных социологов того времени, как Эрнст Трельч или Георг Йеллинек или Отто Хинце, которые номинально принадлежали к другим дисциплинам, мы можем понять, как глубоко идиосинкретичны были некоторые веберовские взгляды, например, на религию или демократию, и что мы не обязаны принимать их все как часть веберовской программы. Поэтому мой ответ на второй вопрос таков, что прагматизм и герменевтика сыграли весьма существенную роль для социологии, хотя каким-то образом они потерялись в дальнейшем развитии этой дисциплины. Социология должна восстановить связь не только с наследием

своих основоположников, но также с более широким интеллектуальным контекстом, из которого выросли работы этих основоположников.

Что же касается первого вопроса, на первый взгляд, две традиции (прагматизм и герменевтика) представляются весьма различными. Прагматисты явно больше всего интересовались естественными науками от физики до биологии, тогда как герменевтики очевидно вели интенсивный диалог главным образом с теологией, историей философии, литературой и правом. Американская традиция, включая прагматизм, всегда подчеркивала единство науки, тогда как немецкая традиция акцентировала почти дихотомические различия между науками о духе и науками о природе – что делало местонахождение социальных наук до некоторой степени непростым. Однако нельзя серьезно принять это первое впечатление, которое слишком поверхностно. За этими различиями можно найти поразительное сходство, которое во всех деталях раскрыли Ричард Бернштейн и Юрген Хабермас. И прагматизм, и герменевтика отрицают существование общих оснований, считают, что все подвержено ошибкам, подчеркивают социальный характер «Я», подвергают сомнению условия исследования, и внутренне плюралистичны. У меня нет времени останавливаться ни на одной из этих важных черт. В моих работах я постарался подробно показать, что представляет собой современная социологическая теория, основывающаяся на прагматизме и герменевтике: ее главной чертой является акцент на креативном характере человеческого действия – со всеми последствиями, которые оно имеет для проблем теории действия от мотивации до восприятия и вопросов возникновения социального порядка из креативных достижений людей. Это может казаться абстрактным до тех пор, пока мы не перейдем в область конкретного историко-социологического анализа. Последнее основанное на вере положение здесь таково: одна из главных опасностей социологии состоит в том, что она принимает на веру эмпирические знания из своей классики. Сколько студентов выучили о протестантской этике или религии тотемизма что-то совершенно ложное, но до сих пор хранящееся

в социологическом наследии, только потому, что Вебер или Дюркгейм однажды утверждали это? Для позитивистов это означает, что мы должны окончательно «положить конец поклонению мертвым»; однако с моей точки зрения мы просто не должны забывать об основном герменевтическом понимании того, что не существует прямого непосредственного доступа к «фактам». Мы должны синтезировать снова и снова то, что пыталась сделать классика; понимая, что этот синтез никогда не был до конца завершен. И мы должны подвергать сомнению преемственность и расхождения между попытками классики и нашими собственными.

Разрешите мне проиллюстрировать эти программные заявления в специфической сфере исследований, а именно, в историко-социологическом исследовании того, что я назвал «Возникновением универсализма». Под этим я понимаю культурные, политические и социальные процессы, из которых появились первые декларации о правах человека в Северной Америке и Франции в конце XVIII века и более поздние волны распространения того, что Томас Хэскел назвал «гуманитарной чувствительностью». Мой отправной пункт – что эти процессы начались в XVIII веке – может сразу быть оспоренным, ибо кто-то будет утверждать, что начало этому было положено раньше, например, в период возникновения мировых религий. Но хотя я понимаю эту позицию и никогда не стану отрицать универсалистского «потенциала» христианской религиозной традиции, мне представляется социологически неприемлемым принять период длиною более чем 17 веков, разделяющих Иисуса Христа и принятие деклараций о правах человека, в качестве времени созревания чего-либо такого, что уже якобы существовало.

Тот тип социологии, представителем которого я являюсь, пытается анализировать креативные процессы и утверждает, что другие конкурирующие подходы не в состоянии это сделать. Больше всего в настоящий момент меня интересует креативный процесс создания новых ценностей. Я бы предпочел говорить не о создании, а о генезисе ценностей, поскольку одна из по-видимому парадоксальных черт нашей приверженности ценностям

состоит в том, что мы воспринимаем их не созданными нами, а покоряющими, притягивающими нас и завладевающими нами («*Ergriffensein*»). Во всех креативных процессах существует пассивное измерение, которое всегда описывается в таких терминах, как «вдохновение»; в случае ценностей только с позиции внешнего наблюдателя становится ясно, что можно рассматривать ценности как созданные. Участники таких процессов не могут чувствовать свою приверженность бытию своего собственного создания, напротив, они считают ценности открытыми или вновь открытыми.

Социологическое исследование главных инноваций в области ценностей не есть философская попытка дать рациональное оправдание этим ценностям, равно как не есть и простая историческая реконструкция случайности их возникновения. Философские оправдания не апеллируют к истории. В случае с правами человека они главным образом выводят свое доказательство якобы из природы разума или моральных обязательств как таковых, безотносительно к условиям мысленного эксперимента или оснований идеализированного рационального дискурса. Вследствие этого история идей рассматривается как предыстория определенного решения, которое можно найти в трудах Канта или Роулса или Хабермаса. С другой стороны, историография, конечно, имеет некие подразумеваемые элементы оценочного характера и их оправдания, и это может быть историографией философских, политических или религиозных доказательств, касающихся прав человека и универсального человеческого достоинства. Однако как историография она кажется ничем, кроме как эмпирически надежной реконструкцией исторических процессов, а не вкладом в оправдание ценностей. В разделении труда между философией и историей существует строгое разделение между вопросами генезиса и вопросами валидности.

Роль социологии, по крайней мере, с моей точки зрения, могла бы преодолеть это разделение философии и истории. Сначала я объясню в негативных терминах, почему такое преодоление представляется необходимым. Я не верю в возможность чисто рационального объяснения высших ценностей. Если мы называ-

ем нечто высшей ценностью, на чем должно базироваться ее рациональное объяснение? Что может быть более высоким и в то же время иметь оценочную природу? Многие из тех, кто, как и я, скептически относятся к возможности подобных первичных (базовых) объяснений, опасаются, что такое прагматистское, не признающее оснований отношение приведет к историческому или культурному релятивизму и отворит ворота для произвольности постмодерна. В случае прав человека, они правомерно утверждают, мы не можем позволить простое игривое отношение. Но и альтернатива «абсолютное рациональное оправдание или релятивизм» опять только воспроизводит острое различие генезиса и валидности. Если такое разграничение реально не имеет силы в отношении к ценностям – как отличное от когнитивных или нормативных требований обоснованности – теперь можно объяснить в позитивных терминах, в чем может состоять вклад социологического подхода (в этот вопрос). Такая социология может связать повествование и оправдание специфическим образом, в котором она анализирует историю возникновения и распространения определенных ценностей. Как повествовательная реконструкция такого процесса, она делает нас осведомленными, что наша привязанность к ценностям и наше восприятие ценного базируются на опыте и его интерпретации. Таким образом, они становятся понимаемыми как случайные, т. е. не-необходимые. В подобном анализе они больше не выступают как пред-данные. Однако такое повествование случайного процесса, ценностей как исторических индивидуальностей, не ослабляет нашей приверженности ценностям или нашего желания их разрушить.

Здесь я должен объяснить, почему подзаголовок моего выступления звучит как «Позитивная генеалогия». Само понятие генеалогии взято, конечно, из Ницше, который является пионером всех исследований генезиса ценностей. Ницше подчеркнул случайность этого генезиса, роль силы в данном процессе, и предположил, что мы всегда теряем веру в идолов, как только видим, что они были созданы. Я согласен с акцентом Ницше на **случайности** и силе, однако не приемлю деструктивный характер его

генеалогического метода. Бернард Уильямс говорит о защитительной генеалогии; я заимствую из «герменевтики утверждения» Поля Рикёра термин «утвердительный» для того чтобы подчеркнуть, что проникновение в суть случайности генезиса ценностей может даже усилить нашу приверженность им. Достаточно небольшого примера этому. Почему тот факт, что немцы после Второй мировой войны чувствуют приверженность правам человека из-за Холокоста и других нацистских преступлений, может привести к ослаблению их (нашей) преданности этим ценностям, как только мы понимаем условность этого контекста? Почему тот факт, что власть, а именно – военная власть Союзников, сыграла решающую роль в демократизации Германии, почему это понимание роли власти может ослабить преданность немцев демократии? Ницше и его последователи, включая Фуко, откровенно ошибаются в этом отношении.

Социология может внести свой вклад в позитивную генеалогию ценностей в двойном смысле. Она должна изучать динамику, которая приводит к ценностным инновациям и институционализации ценностей, тому, что можно назвать генезисом ценностей в «хронологическом» смысле. Однако она также должна изучать этот генезис в экзистенциальном смысле. Мы не чувствуем себя приверженными ценностям по той простой причине, что ценности когда-то были порождены. Права человека, например, смогли бы исчезнуть вновь после их возникновения, и мы тогда рассматривали бы их из простого любопытства к веку Просвещения, подобно месмеризму. Мы всегда должны спрашивать, являются ли те культурные силы, которые однажды сделали возможными институционализацию ценностей, сегодня существующими, появились ли новые культурные силы, которые способны компенсировать потерю ослабленных традиций, и – что еще более важно – имеется ли новый опыт, который придает новые силы старым ценностям и возвращает к жизни старые традиции. Без применения, ценности, согласно Полю Валери, представляют собой не более чем «набивные чучела на полке».

Такое исследование должно оправдать как позитивное (скажем, восторженное) происхождение приверженности ценностям,

так и негативный опыт, из которого приверженность ценностям может возникнуть. В своей книге «Генезис ценностей» я обратил внимание только на позитивные корни, на «очарования», а не на «ужасы» в переживании, так сказать, священного. В следующей моей книге «Война и модернити» я попытался проанализировать опыт насилия как «ошибочного брата» опыта конституирования ценностей, но снова не в отношении возможной трансформации такого «негативного» опыта в «позитивную» приверженность. Это основная проблема моего нынешнего исследования. Какова роль опыта (переживания) насилия в истории прав человека? Как опыт насилия можно трансформировать в приверженность ценностям, и, в частности, в приверженность ценностям морального универсализма?

В более полном докладе я бы выделил четыре ступени. Здесь я только могу кратко обрисовать результаты такого исследования. Во-первых, я должен исследовать вопрос, существуют ли следы истории насилия в важных документах по истории прав человека. Во-вторых, надо разобраться и поставить вопрос, какие части истории насилия действительно включены в дискурс по правам человека. Если результат второго шага будет негативным, т. е. если можно показать, что современный дискурс по правам человека высоко селективен, тогда нам понадобятся концептуальные средства для анализа того, что не стало частью дискурса из-за недостаточной артикулированности случаев. Исследование «травмы» в недавнее время стало известным в социальных и гуманитарных науках в качестве средства для этой цели. Я разделяю уверенность, что здесь мы имеем важный подход, хотя я остаюсь весьма скептическим в отношении понятия так называемой «культурной травмы». И, наконец, необходимо систематизировать условия для успешной трансформации опыта насилия в универсалистскую приверженность ценностям.

Несколько замечаний по поводу всех четырех ступеней.

1. В немецком случае очень легко показать, как, например, понятие человеческого достоинства сформировало точку ориентации в планах немецкого антигитлеровского сопротивления до 1945 г. и как затем оно пронизывало подготовку новых институтов

в германских государствах. Они главным образом относятся к «варварству» и «уничтожению» и вытекают из опыта оправдания такой ценностной ориентации. Однако то же самое верно и на мировом уровне. Устав ООН 1945 года связывает права человека и варварство. Несколько авторов тщательно изучили, как разделяемое людьми отречение от нацизма и фашизма повлияло на черновые варианты Всеобщей декларации прав человека ООН 1948 г. Опыт нацизма и Второй мировой войны называют «эпистемологическим основанием» этой декларации, общей почвой для различных религиозных и нерелигиозных мировоззрений. И это имеет место не только в отношении преамбулы, но и отдельных статей и специальных формулировок, направленных против рабства. Например, против «жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания», на право поиска убежища. Право на политическое участие (Статья 21) прямо направлено против фашистской концепции независимой воли народа, воплощенной в личности «фюрера», а «интернационалистская» интерпретация прав человека (Статья 30) не может быть понята вне связи с осознанием международным сообществом того факта, что до 1939 (или 1941) борьба против нацизма не рассматривалась как задача всех других государств.

2. Насколько неамбициозной кажется эта картина с первого взгляда, настолько же сильно она изменяется, как только мы сменим перспективу. Хотя позитивные ценности могут быть очищены от негативного опыта, было бы абсурдным предположить, что несправедливость всегда ведет к более высокой справедливости, а насилие к прогрессу. Страдания могут привести к потере надежды, отчаянию, реваншу, расширению насилия. Чем меньше мы полагаем, что нацизм характерен для государственно организованного и коллективного насилия как такового, тем меньше дискурс прав человека, базирующийся на опыте нацизма, может считаться всесторонним. Сталинизм в какой-то степени аналогичен фашизму и нацизму, но только в определенной степени, и Сталинский Советский Союз в то время не допустил серьезных дебатов по поводу прав человека в проектах обсуждаемых нами документов. То же самое необходимо сказать

о колониальных властях и их роли в этом процессе. Даже сегодня мы еще не достигли приемлемого включения истории колониализма в современный дискурс о правах человека.

3. В такой ситуации социальные науки обязаны поставить вопрос, существуют ли поддающиеся проверке следы опыта насилия, долгосрочные последствия опыта, которые были полностью исключены из официального дискурса. Исследование «травмы» может рассматриваться как одна из успешных попыток в этой связи. В моей книге о войне я сам попытался внести вклад в это рассмотрение. Однако в работе Джеффри Александера исследование травмы стало «культурализованным» – не в смысле культурных пред-условий человеческого познания и его артикуляции, а в смысле предположения, что целые культуры могут быть травмированы; это концептуальное движение сопровождалось «субъективацией» самой концепции травмы, в результате чего оказывается, что травма существует только «когда члены коллектива чувствуют, что они подвергались чему-то ужасному...» Однако может ли понятие травмы быть действительно расширено до целых культур? Существуют ли такие феномены, как «культурная» травма? Зависит ли травма от ее определения теми, кто в наибольшей мере был затронут ее влиянием?

Я не могу развивать здесь свою аргументацию, однако она ведет меня к негативным заключениям во всех трех отношениях. Несомненно, в нашей культуре можно найти утверждения о культурной травматизации, и что социологическое исследование возникновения и распространения таких утверждений действительно полезно. Однако этот аспект не должен объединяться с вопросом, каковы последствия действительной личностной травматизации. «Культурные травмы» не являются ни предусловием индивидуальной травматизации, ни ее последствиями. Индивидуальная травматизация как таковая не зависит от своего культурного определения в качестве травмы. Подобный «культурализм» должен проверяться «экспериментализмом» – этим, я бы сказал, важным наследием как прагматизма, так и герменевтики.

4. Для анализа успешных процессов трансформации в данной области исследований нам необходимы две вещи. Во-первых,

это исследование процессов артикуляции, и, во-вторых, интеграция этого исследования в сферы власти и интересов. Ни культурный, ни материальный детерминизм не являются подходящими для этих целей. Посмотрим на возникновение аболиционизма как на исследование отдельного случая в «возникновении универсализма». Динамика артикуляции относится к взаимосвязи процессов на четырех уровнях: сами ситуации действия и опыта со своей собственной качественной непосредственностью; наши до-рефлексивные ответы на эти ситуации; наша собственная артикуляция этих до-рефлексивных ответов; общественно приемлемые и установленные интерпретации. Подобная модель артикуляции опыта не имеет ничего общего с наивным верованием в непосредственный доступ к «опыту как таковому». И, по крайней мере, в случае исследования аболиционизма, эта модель может быть интегрирована с динамикой социального движения, его интернациональными чертами и когнитивными последствиями возрастающей роли рынков в то же самое время, когда происходила революция в человеческой чувствительности (восприимчивости).

Все это изложено на относительно абстрактном уровне, но, возможно, этого достаточно для вполне состоятельного утверждения, что подобная «позитивная генеалогия» морального универсализма является жизнеспособным социологическим проектом и действительно заполнит имеющийся провал в моральной философии. Так как сила «рациональной мотивации» довольно слаба, моральный прогресс зависит от сильных мотиваций, и поэтому исследование их источников представляет важный интерес как для социологии, так и для моральной философии.

Перевод с английского Л. Г. Титаренко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современное развитие общества отличается чрезвычайной сложностью и разнообразием, что с неизбежностью влечет за собой быструю смену исследовательских подходов к нему, корректировку теоретико-методологических принципов его изучения.

Социологическое знание в силу своих возможностей постоянно рефлексировало по поводу непрекращающейся трансформации современного глобального общества: практически каждые 20–25 лет происходит смена ведущих парадигм, появляются новые макросоциальные теории, претендующие на главенствующую роль в понимании и объяснении социальных процессов и развития общества. И хотя век макросоциальных нарративов и «высоких теорий» ушел в прошлое, попытки вернуться к ним в обновленном виде предпринимались не раз (Гидденс, Бурдье, Луман), подтверждая стремление социологов найти «абсолютную истину» или хотя бы создать всеобъемлющую теорию объяснения социума.

Представленные в антологии тексты дают представление о том, в каком направлении движется сегодня западная социологическая теория. Поскольку одного ведущего направления развития так и не появилось, часть авторов стараются превратить социологию в строгую науку, сблизить с естествознанием, другие движутся по пути создания универсальных социально-философских конструкций, третьи ищут альтернативу доминированию Запада как в теории, так и в методологии исследований. В этом смысле в науке не произошло радикальных перемен:

все сформировавшиеся ранее основные социологические парадигмы (функционалистская, феноменологическая, критическая и т. д.) по-прежнему существуют и имеют сторонников, хотя и модифицировались. Поэтому изучение ведущих парадигм по-прежнему представляется необходимым для тех ученых, которые хотят разобраться в новейших подходах и теориях.

Вместе с тем появились и новые направления и теории, тесно связанные в своем развитии с современной философской мыслью (Бауман, Арнасон), другими социальными дисциплинами – экономикой, урбанистикой, культурологией, сетевым подходом (Инглхарт, Кастельс, Грановеттер, ДиМаджио и Пауэлл). Получил развитие миро-системный подход к обществу (Валлерстайн).

Глобализация, неопределенность и риски современного мира обусловили большой интерес, проявляемый современными социальными мыслителями к феноменам мультикультурализма и «множественности модернити», который предполагает признание многообразия путей и моделей социального развития, а также необходимость системной методики его изучения (Айзенштадт). Не отбрасывая сохраняющий свою плодотворность цивилизационный подход, принцип многообразия типов модернити акцентирует внимание на том, что в конкретных эпохах и конкретных обществах имеют место явления, которые можно понять лишь в контексте разных цивилизаций и разных типов реализации «культурной программы модернити»; они сосуществуют в одном и том же обществе, чрезвычайно запутывая пути культурно-исторического развития объекта. Некоторые общества и даже регионы всегда представляли собой смешение нескольких типов модернити, или могли рассматриваться как «мосты» между ними, т. е. цивилизационное пограничье. Исследование таких объектов в рамках традиционных парадигм и моделей, как и цивилизационного подхода, невозможно. Требуется инновационный подход, конструирование новых теорий и моделей развития, учета особенностей каждого региона, страны, но без отказа от неких признанных моделей. Иначе современная социология не сможет выполнить свою теоретическую функцию

в двадцать первом веке, т. е. не будет способна дать научное объяснение социальной реальности, используя адекватные новой эпохе теоретические конструкты. Признание многообразия моделей развития, их смешения и взаимопересечения стало в настоящее время принципиальным для всех социальных и гуманитарных наук для рассмотрения сложного объекта исследования, что отражено в текстах антологии.

Применительно к странам и народам, живущим в регионах «культурного пограничья» (например, Новая Восточная Европа), нельзя напрямую применять к ним модели и теории, разработанные для других регионов. В ряде случаев более корректным может стать применение теории многообразия модернизи, регионального подхода, или иных теорий, адаптированных к социокультурным условиям региона. Поэтому так важно не пропускать ничего нового, что появляется в западных социальных науках, перерабатывать эту информацию и включать в отечественное актуальное поле знания. В этом отношении антология предлагает целый спектр концепций и подходов, ознакомление с которыми может способствовать самостоятельному анализу происходящего на постсоветском пространстве, или, выражаясь метафорически, осуществлять «диагностику клинического состояния общества».

Современная теоретическая социология демонстрирует рост интереса ученых к *контекстуальному* подходу. В методологическом плане контекстуальность означает, что всякое событие, явление, процесс необходимо анализировать в рамках культурно-исторической среды, породившей это явление или процесс. Поэтому прежний поиск универсальных категорий и универсальных моделей, пригодных для любой страны независимо от ее социально-исторического своеобразия, признается неадекватным, или, по крайней мере, недостаточным. Это означает отказ ряда социологов от позиции признания значимости лишь универсалистских аналитических моделей и объяснительных теорий: они не отбрасываются, но требуют дополнения – учета широкого контекста протекания любого социального процесса. Например, даже такие общеупотребительные понятия и концепты,

как глобализация, модернизация или демократия предлагается рассматривать не сами по себе, а применительно к конкретному этапу развития региона, страны, мира.

Данный вывод имеет непосредственное отношение к России и постсоветскому пространству, где процессы развития следуют путями, отличными от тех, что были разработаны западными авторами. Научно обоснованное признание дивергентности процессов мирового развития, наличия разных механизмов и путей демократизации и модернизации, – важный методологический момент, характерный именно для последних десятилетий развития социальных наук. Именно локальность и конкретика наполняют модель демократии реальным содержанием, позволяют применять ее для организации, описания и объяснения эмпирического материала. В противном случае (т. е. в случае неучета локального и регионального контекстов) наука может дискредитировать себя в глазах общественности, давая рекомендации, весьма далекие от проблем того реального общества, которому они предназначены.

Проблема понимания сложных путей производства нового социального знания, роли разных субъектов познания в этом процессе и механизмов обмена знаниями между этими субъектами, предполагает обращение современного читателя к самым разным источникам социального знания, умение самостоятельно сопоставлять разные теории, находить место каждой из них в социальной мозаике знания. Этот процесс никогда не может быть завершен, или сведен к единственному «правильному решению», так как вместе с развитием общества развивается и социальная мысль, порождая новые теории и заставляя обращаться к ним не только социологов-профессионалов, но и всех, кому интересны сложные переплетения процесса развития социальной мысли.

Содержание антологии позволяет внимательному читателю понять, что современное социологическое знание не руководствуется какой-либо единой методологией. Современное социальное знание полипарадигмально; причем количество парадигм и их классификация определяются критериями, применяемыми

тем или иным автором (в целом, выделяют от трех до десяти парадигм). Однако и внутри каждой парадигмы продолжают споры между теориями, претендующими на доминирование.

Несмотря на многообразие теоретических подходов, сегодня в научном сообществе практически не существует макросоциальных теорий, имеющих общее признание. В связи с этим напомним, что в социально-гуманитарных науках уже не первое десятилетие обсуждается проблема теоретико-методологического кризиса, и ни одна из существующих теорий не показывает выход из него. Данное обстоятельство обусловлено быстрыми радикальными изменениями самого общества, вследствие чего современная наука никак не может угнаться за ними в попытках объяснения и систематизации этого развития. Однако вероятно и другое – что социально-гуманитарное знание по своей природе несовершенно, и поэтому никогда не сможет окончательно освободиться от неточностей, нелогичности, противоречивости и прочих «недостатков» гуманитарного знания. Именно на второй точке зрения до сих пор настаивают те авторы, которые подчеркивают «особую природу» социального знания, его незавершенность как открытой системы и качественное отличие от естественнонаучного знания. С этой точки зрения, кризиса тоже нет – имеет место противоречивый процесс социального познания.

Представленные тексты, давая общее представление о современной западной мысли, не могут охватить все многообразие существующих в западной социологии теоретико-методологических подходов. Тем не менее их изучение по собранным в антологии текстам позволит социальным ученым, представителям других наук, всем заинтересованным в росте своих знаний читателям углубить познание социума и расширить набор возможных научных подходов к объяснению и интерпретации современности.

Антология будет полезна и представителям властных структур, от которых зависит принятие важных социетальных решений. Изучение и творческое использование современного социального знания может помочь научно обосновывать принимаемые решения, опираясь на выверенные научные данные и с учетом конкретного социально-культурного и исторического контекста.

Научное издание

**ЗАПАДНАЯ СОЦИОЛОГИЯ:
СОВРЕМЕННЫЕ ПАРАДИГМЫ. АНТОЛОГИЯ**

Составители:

Соколова Галина Николаевна,
Титаренко Лариса Григорьевна

Редактор *А. В. Волченко*
Художественный редактор *И. Т. Мохнач*
Компьютерная верстка *О. Л. Смольской*

Подписано в печать 17.02.2015. Формат 60×84^{1/16}. Бумага офсетная. Печать цифровая.
Усл. печ. л. 33,36. Уч.-изд. л. 30,1. Тираж 200 экз. Заказ 25.

Издатель и полиграфическое исполнение:

Республиканское унитарное предприятие «Издательский дом «Беларуская навука».

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 1/18 от 02.08.2013.

Ул. Ф. Скорины, 40, 220141, г. Минск.